

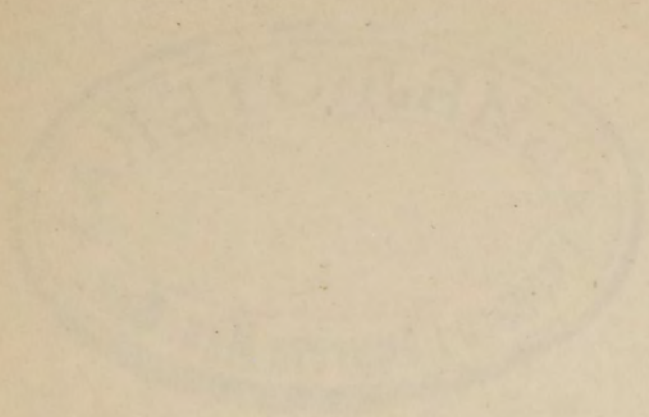
15069.

ВЪ

ССІМ

Д.



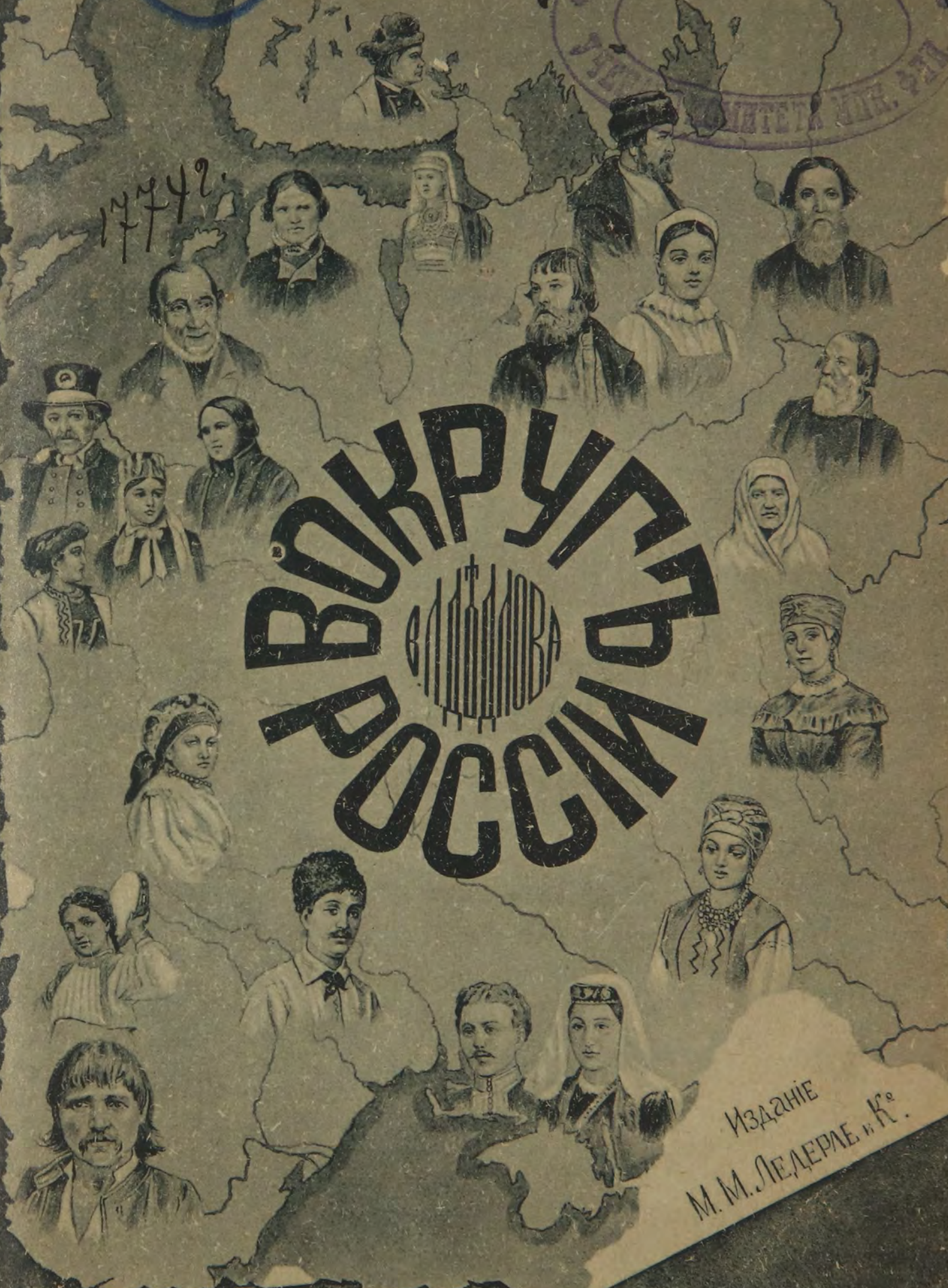


13064

П. В. ЛОТЪРЪ
УПРАВЛЕНІЕ М. П. Д. П. Д.

17742

ВОКРУГ РОССИИ



Изданіе
М. М. ЛЕДЕРЛЕ и К^о.

15069.

17742



В. ДѢДЛОВЪ.

ВОКРУГЪ РОССІИ.

*Польша. — Бессарабія. — Крымъ. — Уралъ. —
Финляндія. — Нижній.*

ПОРТРЕТЫ и ПЕЙЗАЖИ.

ОБЛОЖКА СКОМПАНОВАНА

Т. И. НИКИТИНЫМЪ.

Изданія М. М. Ледерле и К^о. удостоены на Первой
Всероссійской Выставкѣ Печатнаго Дѣла Малой Сере-
бряной Медали.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1895.

39

Библиотека ИИФ СССР

✓

В. Давдов

8447

ВОКРЪУЛЪ РОССІИ

79222

Типо-Лит. и фотот. И. И. Бабкина, М. Морская, 20.

ОБЩЕСТВО СЪЮЗНИКОВЪ

Т. В. НИКОЛАЕВЪ

Издана М. М. Бабкина в № 12477 на 12-й
Воскресенской парт. библиотеке в М. Морская 20
в М. Морская

С. ПЕТЕРБУРГЪ

1898

Издана в № 12477



Русскій читатель все еще слишкомъ мало знаетъ свое отечество и его окраины, въ особенности. Всякая попытка, придти въ этомъ случаѣ на помощь, не бесполезна, — и я рѣшаюсь издать эту книгу, которая составилаь изъ статей, писанныхъ въ разное время, но всегда на основаніи непосредственныхъ наблюденій.

Книга посвящена главнымъ образомъ нашимъ окраинамъ, на которыя я смотрю, какъ на *наши* окраины. Возможна и другая точка зрѣнія, — считать Россію *ихней* окраиной; но статья на нее русскому литератору мудрено. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, что русскій литераторъ долженъ Россіи льстить. Россіи лесть не нужна, и нужна ей не лесть.

Авторъ.





ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
I. У Поляковъ.	
Въ вагонъ	3
1. <i>Варшава.</i>	
Люди	8
Городъ	22
2. <i>Въ провинціи.</i>	30
Уѣздный городъ	32
Сто верстъ лошадыми	48
Губернскій городъ	52
На полчаса за границу	59
3. <i>«Панъ» и «Хлопъ».</i>	66
Панъ	73
Хлопъ	86
II. Бессарабія.	
I. <i>Стверный человекъ на югъ.</i>	96
Кишиневъ	100
II. <i>Молдо-Жидовія.</i>	
Молдаваны	107
Жиды	117
Сельскіе и городскіе пейзажи	130
Бѣльцы	140
Сороки	144

III. Русская болгарія.

Переселеніе народовъ въ XIX вѣкѣ . . .	146
Буджакъ	153
Русская болгарія	160
Въ странѣ коммунъ	172
Болградъ	179
Дунай и землетрясеніе	181

IV. Акерманландія. 185

Исторія нѣмецкой колоніи	191
Колонія идетъ въ Россію	200
Хлѣбъ ихъ насущный имъ данъ	206

V. Игрушечная Италия.

Южный берегъ	230
Симферополь	231
Алушта.	238
Ялта	248
Крымскій Неаполь	252
Ялтинская проза	262
Крымская Сицилія	270
Пушкинскій уголокъ	279

VI. Уголки Волги и Урала.

I. Вола.

Великоруссы	291
Ближе къ Волгѣ	297
Самара	312

II. Южный Уралъ 329

Гористая степь	330
Предгорія	339
Горы	350
На годъ въ степь	372

VII. Въ Стокгольмъ черезъ Финляндію.

I. *Финляндія съ палубы.*

Norra Finland.	385
Гельсингфорсъ	392
Або	400

II. *Стокгольмъ.*

Мы ориентируемся	406
Городъ	430
Люди	449

III. *Финляндія изъ окна вагона*

470

VIII. Въ Нижнемъ на Ярмаркѣ.

Въ Бологомъ сворачиваемъ на Рыбинскъ

487

Ярославль

497

Письмо I.

С. Т. Морозовъ и Н. М. Барановъ

504

Ждутъ министра

519

Министръ пріѣхалъ

528

Обѣдъ министру

535

Письмо II.

Обширные горизонты и внушительныя

цифры

540

Прогулка по ярмаркѣ

555

Ярмарочное веселье

566

Коммерческіе нравы

579

387	I Финляндия	387
392	Норвегия	392
400	Дания	400
406	II Швеция	406
430	Министерство	430
440	Горы	440
449	Леса	449
470	III Финляндия из Швеции	470
487	IV Вильгельм из Вюртемберга	487
497	V Вильгельм из Вюртемберга	497
504	VI Г. Т. Морозов и Н. М. Баранов	504
519	Министерство	519
528	Область министерства	528
533	Министерство	533
571	Одобрение	571
572	Цифры	572
577	Пролок по дороге	577
586	Природное население	586
579	Климатические условия	579
	Великорусия	
	Ближе к Волге	
	Самара	
	II Южная Урал	
	Гористая часть	
	Пралгория	
	Горы	
	На голь в степи	

У ПОЛЯКОВЪ.

У ПОЛЯКОВЪ.

Въ вагонѣ.

Сто верстъ, двѣсти верстъ, четыреста, восемьсотъ, тысячу, тысячу-двѣсти, наконецъ... Это называется русскій переѣздъ! Кромѣ того, это зимній переѣздъ. Сотни верстъ проходятъ, однѣ за другими, а въ окнѣ вагона только—окно вагона, съ его бѣлыми морозными узорами. Иногда отъ скуки выйдешь на крылечко,—и тамъ на тысячу и на тысячи верстъ все одно и то-же: бѣлая равнина, черныя розги лиственныхъ лѣсовъ, сине-зеленя стѣны боровъ да сугробы, съ завернутыми и хитро загнутыми макушками,—однообразная забава русскихъ вьюгъ и мятелей. Отъ Петербурга до Польши, на западъ, отъ Петербурга до Архангельска и Чернаго моря, до Владивостока и Камчатки, въ остальные стороны, все—голые лѣса, хмурые боры въ зеленыхъ

шубахъ съ бѣлой оторочкой, и—сугробы, сугробы и сугробы, одни бѣлѣе другихъ, одни холоднѣе другихъ; а по сугробамъ нитками тянутся таинственные звѣриные и птичьи слѣды и слѣдки. Эти слѣды напомнили мнѣ такіе-же таинственные отпечатки ногъ и лапокъ, которые я ровно два года тому назадъ, также въ началѣ марта, разсматривалъ въ Египтѣ на тонкой пыли, покрывающей камни развалившихся храмовъ и могилъ...

Ничего не видно изъ окна вагона на зимнемъ русскомъ тысячеверстномъ переѣздѣ, и волей-неволей начнешь фантазировать: не даромъ вспомнились вдругъ египетскіе храмы и пыль Сахары вмѣсто снѣга. Естественнѣе этихъ воспоминаній было мысленное созерцаніе тѣхъ странъ, изъ которой и въ которую я ѣхалъ. На дорожномъ досугѣ, въ вагонной полудремотѣ, вамъ начинаютъ грезиться вещи даже на историческія и политическія темы.

Больше всего васъ начинаетъ занимать громадность страны, по которой вы ѣдете, ваши каторжныя сотни верстъ,—и вотъ мало-помалу вы начинаете ощущать эту громадность. Громадная и неуклюжая четырехъугольная равнина точно упала, и никакъ ее нельзя поднять; точно ею овладѣла спячка и ее нельзя разбудить: приподнимется чуточку, пріоткроетъ глаза, и опять упадетъ навзничь, и опять

она блѣдна и недвижима. Исторія уже давнымъ-давно расталкиваетъ и будить эту необъятную равнину, уже давно приливъ культуры подымался и надвигался, омывая своими волнами ея берега. Сначала хлынула на нее античная культура; но, едва-едва коснувшись, отступила и исчезла для нея безслѣдно. Позднѣе прокатилась византійская волна, прокатилась Днѣпромъ и Волховомъ, доплеснула до сѣверныхъ Владиміра и Ростова, — и опять, не поднявъ навзничь поверженной бѣлой равнины, сбѣжала и испарилась. Византія и Греція были далеки и сгибли сами; не имъ было одолѣть сѣверную безграничную равнину. Равнина выдержала натискъ и гораздо большихъ силъ, когда въ эпоху Возрожденія на нее ополчилась цивилизація всей западной Европы. Европа отвоевала только малую часть равнины, Польшу, завоевала ее не прочно, создавъ странную общественную и политическую культуру Польши, и когда эта страна погибла, еще разъ была побѣждена косной, безграничной равниной...

Но теперь, въ это время, когда мы съ читателемъ дѣлаемъ нашу тысячу съ лишнимъ верстъ въ какіе-нибудь тридцать часовъ, теперь громоздкая равнина наконецъ тронулась съ мѣста. Ее наконецъ взломало, какъ большую рѣку; стонъ стоялъ, пока ломало толстый

ледъ; какъ будто города рушились, — такъ грохотали ея ледяныя поля, истирая себя въ мелкіе осколки; вода замутилась; гибли звѣри, гибли люди, оторванные отъ береговъ. И странное, и величественное было это пережитое нами время. И сколько нужно было культурнаго тепла, чтобы прогрѣть эту махину! Ни античная культура, ни религіозная Византія, ни Возрожденіе съ его порохомъ и книгопечатаніемъ ея не проняли. Нужень былъ паръ и электричество, которыя уничтожили разстоянія; нужно было почти волшебство, чтобы разбудить погруженнаго въ летаргію. Не будетъ разстояній, — не будетъ и отличія Россіи отъ Европы. Кровь колоссальнаго организма будетъ обращаться такъ-же быстро и энергично, какъ и въ сосѣднихъ маленькихъ... Въ добрый часъ сказать.

Какъ теперь отъ Петербурга до западной границы Россіи больше тысячи верстъ, такъ триста лѣтъ тому назадъ столько-же нужно было пройти отъ Варшавы, чтобы оставить предѣлы великаго польскаго царства и вступить въ загнанную далеко на сѣверъ и востокъ Московію. Польша въ то время подступала подъ Псковъ, Вязьму, доходила до Донца и устье въ Днѣпра; ей принадлежали Балтійскій край, Пруссія, Познань и Галиція. Въ одиннадцатомъ вѣкѣ побѣды Болеслава

Великаго дали Польшѣ Богемію и придвинули ея границы едва не къ самой Вѣнѣ. Въ семнадцатомъ столѣтіи было мгновеніе, когда король польскій Сигизмундъ III могъ занять троны шведскій и русскій и сдѣлаться такимъ образомъ повелителемъ всего сѣвера и востока Европы и безграничной Сибири. Но, видно, въ тѣ времена западная культура еще не изобрѣла средства, которое смогло-бы оживить великую снѣжную равнину. Равнина начала междоусобную борьбу и надолго еще впала въ культурное ничтожество.

Польская исторія — исторія политическаго миража, какъ-бы предвозвѣщавшаго возникновеніе истиннаго культурнаго царства на бѣлой равнинѣ, такъ долго не поддававшейся культурѣ. Самыя границы государства-миража были непостоянны; онѣ ни росли, ни систематически уменьшались, ни оставались неизмѣнны, — а перебѣгали, какъ перебѣгаютъ и трепещутъ контуры марева. Миражъ былъ великолѣпенъ, сверкалъ пурпуромъ и золотомъ, но онъ былъ миражъ, отраженіе на бѣломъ фонѣ великой равнины западно-европейской культуры. Миражъ исчезъ, и бѣлая равнина осталась такою, какою она была до польскаго владычества.

Да, Польша была миражемъ. У нея былъ король, но король-фантошъ. У нея было дво-

рянство, слишком измельчавшее и раздробившееся, чтобы быть чѣмъ-либо инымъ, а не шляхтой, служившей въ дворнѣ нѣсколькихъ магнатовъ. Въ Польшѣ былъ народъ,—но онъ былъ доведенъ до такой степени рабства, униженія, забитости и позора, какой не знаетъ и не знала никогда вся остальная Европа. Въ Польшѣ, наконецъ, была буржуазія, третье сословіе, основавшее на Западѣ новую эру, эру пара и электричества,—но польская буржуазія была исключительно еврей. Что-то такое было вынута изъ польскаго царства, какая-то становая кость, и оно не могло стоять и устоять, все сгибаясь и падая на-земь.

Таково прошлое неудачнаго царства бѣлой равнины, и такъ думалъ о немъ легкомысленный туристъ, сынъ другого равниннаго царства, въ лучшее время вступившаго на стезю культуры...

I.

Варшава.

Люди.

Замерзшее окно, бѣлая равнина и сугробы съ завитушками—до самой Варшавы. Мамуни (онѣ-же мамуси и мамци) молодыхъ поляковъ, отправляющихся въ Петербургъ учиться, шьютъ своимъ сынкамъ такія шубы и мѣховые сапоги, въ какихъ и въ Сибири было-бы

жарко. Кромѣ этого, мамуни и мамци вяжутъ безконечные цвѣтные шарфы и толстыя рукавицы. Весь этотъ мамусинъ нарядъ долженъ служить въ Петербургѣ съ половины сентября и до половины мая. Въ немъ сынокъ долженъ двигаться въ университетъ, въ литовскую кухмистерскую и польскую кавярню. Затѣмъ мамци обязываютъ сыновъ своихъ на улицахъ слѣдить за ушами и носами, чтобы не отморозить, а дышать сквозь шарфъ или мѣховой воротникъ. Къ удовольствію сынковъ, они встрѣчаютъ въ Петербургѣ обширный классъ людей, всю зиму обходящихся ватнымъ пальто; шубы и мѣховые сапоги немедленно отправляются въ ломбардъ, а на вырученную сумму покупается элегантная визитка, непременная принадлежность молодого петербургскаго поляка.

Уѣзжая изъ Петербурга въ Варшаву, я не вѣрилъ никакимъ сынкамъ и мамунямъ, увѣрявшимъ, что Варшава—*Эуропа*, и что климатъ тамъ благословенный. Вообще, благословенныхъ климатовъ я еще не видалъ. Я видѣлъ побитые іюньскимъ морозомъ огороды въ Берлинѣ и замерзшую іюньскую росу на его букахъ и плющѣ (а покажите мнѣ плющъ и букъ въ Варшавѣ?); я видѣлъ посинѣвшія отъ снѣжной вьюги фізіономіи (свою собственную и спутниковъ) въ ноябрѣ въ благо-

словенной Италиі, я видѣлъ, какъ въ февралѣ на Нилѣ кутались въ ватныя пальто и толстыя пледы пассажиры египетскаго парохода, — но благословенныхъ климатовъ, повторяю, я еще не видалъ. Въ Варшавѣ климатъ оказался болѣе чѣмъ неблагословеннымъ. Морозы держались преисправно, снѣгъ шелъ смѣняясь крупой, а крупа — снѣгомъ, и климатъ, казалось, совершенно позабылъ, что на дворѣ 1-е (а по Варшавски такъ и 13-е) марта. О приближавшей веснѣ гораздо болѣе, чѣмъ климатъ, думали тоже мало-благословенныя полиція и городское управленіе. Послѣднее распорядилось, а первая наблюдала за очисткой улицъ отъ снѣга. Снѣгъ кое-какъ скололи флегматичныя мазуры и сложили кучами вдоль тротуаровъ, но свозить и не думаютъ. Узенькія улицы стараго города стали почти непроѣзжи. Правда и то, что еслибы появились за снѣгомъ телѣги, то изъ почти непроѣзжихъ улицъ стали-бы непроѣздными совсѣмъ.

Баршава — столица Польши и отраженіе Польши и польской культуры: хоть-бы что-нибудь нашлось тамъ свое, оригинальное, національное! Петербургъ, этотъ архи-подражательный городъ, и тотъ имѣетъ нѣчто, чего не найдете въ другихъ городахъ, — колоссальныя размѣры. Улицы въ немъ колоссально

длинные, широки и необыкновенно прямы. Съ его Невой можетъ спорить только Босфоръ, съ министерствами—пирамиды, съ монументами—церкви, съ площадями—поля для маневровъ. Въ Варшавѣ все—сколокъ съ *Эвропы*: городъ, улицы, дома, рынки, храмы, дворцы. Сколокъ — старина и въ еще большей степени — современность. И въ довершеніе несчастія, поляки гордятся этимъ. Въ Варшавѣ все—*Эуропа* и совершенство, тогда какъ какая-нибудь Москва, будь она сто разъ оригинальна, именно въ силу этой оригинальности достойна всякаго презрѣнія.

Вступивъ въ Варшаву, вы дѣйствительно чувствуете себя въ Европѣ, почти въ настоящей современной Европѣ. Это сразу-же даютъ вамъ почувствовать хоть-бы уличные нравы и сцены. Прежде всего, нѣтъ суеты и крика, которые характеризуютъ востокъ да нашу матушку Россію. Полякъ не суетливъ, когда онъ работаетъ, и не ругается такъ адски, какъ сквернословить восточный или русскій человекъ. По костюму, сословія не различаются такъ рѣзко, какъ у насъ. Мужики ходятъ въ ботфортахъ, черныхъ суконныхъ пальто и черныхъ барашковыхъ шапкахъ, колпачкомъ; отъ не слишкомъ радикальнаго студента старыхъ временъ не отличить. Такихъ мужиковъ я видалъ не меньше двухъ-

сотъ на какомъ-то отвратительно-грязномъ мясномъ и овощномъ рынкѣ, помѣщающемся въ самомъ центрѣ города на какихъ-то заднихъ дворахъ. Мужики съѣхались на своихъ парныхъ телѣгахъ и саняхъ, набились такъ, что яблоку негдѣ упасть, и все-таки не было ни суеты, ни «мушинскихъ» словъ.—«Пане!» «Пане!»—и разъѣдутся: кому время—уѣдетъ, кому нужно—выѣдетъ на рынокъ. Народъ все рослый, стройный, со спокойными, нѣсколько утомленными небольшими голубоватыми глазками и очень свѣтлыми усами и волосами.

Въ Польшѣ всѣ—паны и пани. Такихъ паней, какія попадаются въ Варшавѣ, я увѣренъ, нигдѣ не найти. Я не про красавицъ варшавскихъ говорю, а про уродовъ. Боже мой, что это за ужасъ! Люди, повидимому, отвергли ихъ, потому-что онѣ пріютились на внутреннихъ темныхъ папертяхъ костеловъ. На каждой паперти не меньше дюжины этихъ клубковъ тряпья и невозможныхъ капоровъ. Это что-то сгорбленное, пухлое, обрюзгшее, беззубое, съ гноящимися глазами, хромящее, больное, старое и нищее до неслыханныхъ нигдѣ, кромѣ Варшавы, размѣровъ. Антропологи говорятъ, что чистота расы дольше сохраняется у женщинъ. Тьфу-тьфу! Какъ надо быть осторожнымъ даже въ выводахъ науки.

Папертныя пани и ломовыя лошади оди-

наково характеристичны для Варшавы. Трудно рѣшить, чей образчикъ несчастія печальнѣй: человѣческій или звѣриный. Во время моего проѣзда вывозили съ улицъ снѣгъ, и Варшава была полна лошадьми, запряженными въ необычайно длинныя и очень узкія телѣги, болѣе похожія на корыта, чѣмъ на телѣги, или даже на гробы, приготовленные для тѣхъ самыхъ лошадей, которыя ихъ таскаютъ. Варшавская лошадь небольшая и тонкая, къ ломовой работѣ непригодна и потому видъ имѣетъ ужасный: кожа да кости и очень мало шерсти, такъ-какъ она вытерта постромками, хомутами и ударами бича. Въ Варшавѣ существуетъ общество покровительства животнымъ, но или оно лошадей считаетъ не животными, или бѣдные скоты чѣмъ-нибудь провинились и отданы обществомъ на каторгу.

Изъ другихъ достопримѣчательностей варшавскихъ улицъ слѣдуетъ назвать извощиковъ. Въ Петербургѣ извощикъ имѣетъ видъ общительнаго и зажиточнаго мужиченка. Въ Варшавѣ—это обнищавшій магнатъ. Взгляните, какъ стоитъ онъ со своей крытой пролеткой на улицѣ. И самъ «панъ друшкажъ», и его разбитый экипажъ, и его пара коней, величественно дремлютъ. Кони—я уже описалъ коней. Самъ панъ одѣтъ въ синюю ливрею, на которой болѣе заплатъ, чѣмъ металличе

скихъ пуговицъ, въ мѣховую шапку съ большимъ козырькомъ и наушниками, а его ноги обвернуты пестрымъ пледомъ. Панъ откинулся назадъ; положилъ голову на кузовъ экипажа и величаво не то дремлетъ, не то мечтаетъ о невозвратно прошломъ. Гордые заплаты и вылинявшія краски одежды, экипажа и лошадей дополняютъ впечатлѣніе, производимое мечтателемъ.

Друшкѣжи, ломовыя клячи, мужики, одѣтые студентами радикальныхъ убѣжденій и папертныя старухи многочисленныхъ костеловъ, — вотъ что бросается въ глаза прежде всего. Послѣ глаза больше всего поражается обоняніе. Въѣхавъ въ Варшаву, вы немедленно убѣждаетесь, что это не Россія, а Европа. Прежде всего, какъ я сказалъ, вы замѣчаете европейскіе видъ и манеры людей. Но есть и еще что-то, столь-же сильно говорящее о Европѣ, но что — не могу уловить. Что-бы это было, что такъ и напоминаетъ вамъ западный городъ, отъ Берлина до Палермо, отъ Вѣны до Лондона? Несомнѣнно, это что-то то-же самое и здѣсь, какъ и тамъ. Воздухъ, что ли, такой-же? Пахнетъ ли такъ-же? — Ну, наконецъ, это и воздухъ европейскій и пахнетъ Европой: дымкомъ и копотью каменнаго угля. Каменный уголь приобрѣлъ право гражданства въ большинствѣ мѣстностей Польши, а дрова прода-

ются мѣстами по копѣйкѣ за фунтъ. Въ большинствѣ гостинницъ печи топятъ только по особому требованію и за особую плату, совсѣмъ какъ въ «Эуропѣ», которая, замѣтимъ, даже во Флоренціи въ послѣднее время стала устраивать и двойныя рамы, и солидныя печи. Впрочемъ, лучшія варшавскія гостинницы измѣнили «Эуропѣ» и не предполагаютъ возможнымъ при двадцати-градусныхъ затяжныхъ морозахъ жить въ нетопленой комнатѣ. Въ остальномъ и гостинницы, и рестораны, и винныя погреба—настоящая Европа и никоимъ образомъ не Россія. Въ гостинницахъ прислуга въ форменныхъ одеждахъ, со строго опредѣленными и распределенными обязанностями и съ фамиллярными и задушевными манерами, распространенными по Европѣ швейцарскими нѣмцами, — манерами, столь отличными отъ русскаго стиля прислуживать по-солдатски, безъ разговоровъ и выраженія чувствъ. Еслибы отъ меня зависѣло, я для поляковъ ввелъ-бы русскую манеру, потому-что швейцарскій нѣмецъ выходитъ изъ нихъ плохой: вмѣсто фамиллярности получается распущенность и небрежность. Тоже еслибы отъ меня могло зависѣть, я, немедленно и не останавливаясь предъ мѣрами самыми энергичными, поднялъ-бы опрятность гостинницъ. Не знаю, кто кого неопрятности научилъ, еврей-ли по-

ляковъ, или поляки евреевъ, но неопрятны обѣ расы. Ковры на лѣстницахъ гостинницъ лежатъ, право, понѣскольку лѣтъ безсмѣнно; въ углахъ, куда не часто заглядываетъ глазъ, кучи сора и пыли; въ кухни лучше и не заходите; мясныя и рыбныя лавки поражаютъ своей неопрятностью; полы второстепенныхъ ресторановъ не только не метутся, но еще посыпаются пескомъ... О бѣльѣ поляковъ и полякъ я говорить не буду, такъ-какъ это вопросъ слишкомъ щекотливый.

аршавскій ресторанъ посѣтителя, привыкшаго, на примѣръ, къ величавымъ капищамъ кулинарнаго искусства Москвы, привелъ-бы въ уныніе и заставилъ-бы усомниться въ возможности съѣсть въ такой норѣ что-либо путное. Въ Москвѣ трактиры помѣщаются точно какіе-нибудь національные музеи, на площадяхъ. Пышный подъѣздъ, толпы прислуги въ обширномъ вестибюлѣ-шинельной, анфилады общихъ залъ, нѣсколько этажей кабинетовъ, громадныя органы, многочисленная толпа. Ничего подобнаго въ Варшавѣ. Минували тѣ времена, когда Польша была классической землей ѣды, питія, пьянаго веселія и буйства. Теперь—это одна изъ самыхъ разсчетливыхъ и скопидомныхъ странъ, ближе всего напоминающая скаредныхъ итальянцевъ. Какъ въ Римѣ, такъ и въ Варшавѣ ѣдятъ только

79222
по необходимости. Кухмистерскія полнымъ-полны, а гастрономическіе рестораны пусты. Поэтому и ресторанъ болѣе чѣмъ скромень. Деревянная, обтопанная лѣстница, съ грязнымъ половикомъ, темненькая, прямо въ буфетъ, или буфетъ въ прихожей, или двѣ-три небольшія и низкія комнаты, два-три лакея, холодъ, въ окна и двери дуетъ, вмѣсто скатерти лоскутья оберточной бумаги и огромный преісъ-курантъ кушаній, изъ которыхъ девяти-десятихъ нѣтъ, однихъ—потому что сегодня среда, другихъ—потому что четвергъ только завтра, третьихъ—по той причинѣ, что они къ вечеру вышли, четвертыхъ—такъ-какъ не сезонъ и т. д. Больше всего требуются какъ туземцами, такъ и пріѣзжими кушанья національныя: бигось, колдуны, фляги, борщокъ. Три-четыре наличныхъ посѣтителя ѣдятъ навѣрно что-либо изъ этихъ четырехъ блюдъ. И забавно держатъ себя поляки въ ресторанахъ съ прислугой. Полякъ прислугу называетъ теперь: панъ, по *Европейски*;—но старый полякъ еще живъ въ шкурѣ, европейца, и ему до смерти хочется обругать пана-хама. И вотъ полякъ ругаетъ, но не лакея, а кушанье. Какъ-бы безукоризненно ни было оно приготовлено, полякъ непременно охаетъ его.

— Развѣ можно, пане, такъ готовить фляки! ворчитъ онъ, вытаращивая глаза и дрожа-

щимъ отъ негодованія голосомъ. — Это не фляки, а... а... а корпія для больницы, кокосовая мочала изъ бани. Гм... панъ называетъ это «фляки»; я называю это — паскудство. Если и зразы будутъ таковы-же, то прошу васъ, пане, не нести ихъ сюда, а лучше выбросить псамъ.

Прислуга привыкла къ этой поголовной причудѣ польской публики и переноситъ ворчанье стоически. Особенно забавно ворчатъ старики и молокососы, потому что и сами они особенно забавны. Польскіе старики почти всегда ужасно старые, лицомъ сѣро-зеленые, съ рѣденькими волосишками, беззубые, но съ замѣчательно молодыми выпуклыми глазами и быстрыми, тоже молодыми движеніями. Эти ворчатъ удивительно искренно, такъ что подъ конецъ даже злиться начинаютъ и дѣлаются при этомъ поразительно похожи на престарѣлыхъ обезьянъ. Полякъ и полька — какъ грибъ или спаржа: пока они молоды, они восхитительны, въ среднемъ возрастѣ они уже мало привлекательны, въ старости они противны. Молодой полячекъ, лѣтъ восемнадцати-двадцати, который ворчитъ на «паца-хама» за недостаточно сочные колдуны, прелестень. Онъ выстригся по послѣдней модѣ, коротко, и носитъ одни усы, старопольскіе усы. Онъ нарядился парижаниномъ, а держитъ себя англичаниномъ: но его добродушные и вмѣстѣ съ

тѣмъ лукавые глаза, его простодушно хитрая усмѣшка выдають забавника-деревенскаго паничишку, который не знаетъ, какую-бы штуку выкинуть, потому что у него въ головѣ этихъ штукъ тысяча.

Вѣроятно, поляки привлекательны для женщинъ въ такой-же мѣрѣ, какъ польки для нашего брата мужчинъ, но полька благороднѣй. Вотъ что говоритъ о полькахъ Реклю въ своей знаменитой географіи: «Если антропологи правы, что первоначальный типъ полнѣе сохраняется въ женщинѣ, тогда развитая и образованная полька своими рѣдкими качествами обнаруживаетъ высокое достоинство родной расы: она не только любезна, остроумна, всегда весела и разговорчива, но и преданна, мужественна, рѣшительна и здравомысляща». Въ этихъ очень немногихъ словахъ очень много лестнаго для полякъ. Къ сожалѣнію, такимъ идеаломъ является полька развитая и образованная, великая рѣдкость въ странѣ, гдѣ и мужчина въ послѣднее время преданъ не столько наукѣ и искусству, сколько техническому знанію и наживѣ. Тѣмъ не менѣе, молодая полька очень мила. Она стройна и красива, она нравится и хочетъ нравиться. Она, пока молода, имѣетъ такой видъ, точно задача ея существованія — веселье во что-бы то ни стало. Радостей и счастья она требуетъ отъ жиз-

ни съ нервной энергіей, съ дерзкимъ нати-скомъ. Полька не знаетъ скучныхъ кавалеровъ: она развеселитъ любого; она не знаетъ скучныхъ собраний: гдѣ она, тамъ шутки и смѣхъ. И все это веселье достигается не какими-нибудь хитрыми средствами, а одной только простой жаждой радости. Не мѣшало-бы только немного меньше нервной. А то она обнаруживается прямо-таки въ тѣлодвиженіяхъ полекъ: частенько ихъ какъ-бы немножечко подергиваетъ. Да и ходятъ они по улицамъ чуточку однимъ плечомъ впередъ и съ неестественной быстротой, — тоже медицинскій признакъ нервовъ.

Вообще слабонервность современнаго поляка бросается въ глаза. Происхожденіе этой болѣзненности объясняется весьма просто безпорядочнымъ образомъ жизни прежнихъ поколѣній дворянства и еще недавнею крайней нищетою низшихъ сословій. Дворянство физически выродилось, простой народъ, это депо нетронутыхъ силъ, въ Польшѣ былъ изнуренъ, буржуазіи не было, — и народъ, сравнительно еще очень молодой, можетъ поспорить своими старческими недугами не только съ французами, но и съ итальянцами.

Въ настоящее время, по словамъ врачей, въ Варшавѣ самая распространенная болѣзнь — нейрастенія, раздражительная слабость нерв-

ной системы. Возбужденность чередуется съ изнеможеніемъ и апатіей. Такъ идетъ у отдѣльныхъ лицъ, такъ бьется и общественный пульсъ Польши.

— Вы не узнаете бѣдныхъ поляковъ, говорили мнѣ передъ отъѣздомъ изъ Петербурга.— Они теперь не только не станутъ вамъ надоѣдать, но вамъ ихъ сердечно жалко будетъ.

Я не вѣрилъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ русскому человѣку здѣсь проходу не было. Лакеи въ ресторанахъ вамъ по часамъ не давали кушаній, папертныя пани не пускали васъ въ костель и вслухъ ругали за ересь и московское происхожденіе; въ магазинахъ вмѣсто чая совали галоши, отзываясь незнаніемъ того совершенно неизвѣстнаго языка, на которомъ вы говорите: дайте мнѣ фунтъ чаю. Словомъ, на каждомъ шагу, не прямо, такъ косвенно, вамъ выражали не столько ненависть, сколько презрѣніе. Тогда я попалъ въ полосу возбужденія. Теперь возбужденіе смѣнилось апатіей. И дѣйствительно мнѣ почти что жалъ было бѣдняковъ: такіе они на этотъ разъ были тихіе, кроткіе, ласковые, добрые. По-русски на этотъ разъ понимала вся Варшава, а говорила по-русски половина города. Ни дерзкихъ взглядовъ, ни дерзкихъ словъ; наоборотъ, какая-то агнецеподобная готовность претерпѣть.

Городъ.

«Во времена князей Мазовецкихъ», «при князьяхъ Мазовецкихъ», «въ мазовецкую эпоху» — такъ начинается описаніе любой древности въ любомъ путеводителѣ по Варшавѣ. Оказывается, Варшава не городъ поляковъ, а городъ мазуровъ. Послѣ соединенія Литвы съ Польшей было постановлено собирать общіе сеймы въ Варшавѣ именно потому, что она «ни польская, ни литовская, а стоитъ на ничьей землѣ Мазовецкой». Столицей Варшава дѣлается только въ 1595 г., при Сигизмундѣ III, на смѣну древнему Кракову. То, что Варшава будто-бы ничья, потому-что она мазовецкая, было сказано простоватой литвѣ только для отвода глазъ. Мазовія-то и была настоящей Польшей; князья Мазовецкіе были польскими «собиратели земли», и князь Владиславъ Локетекъ (1305—1333 г.), сдѣлавшись королемъ польскимъ, соединилъ Великую Польшу (княжества по Вартѣ) съ Малой (земли по Вислѣ). При немъ впервые Польша становится настоящей организованной государственной силой.

Судьба Варшавы — не веселая. Свои не могли ее сберечь, и городъ, которому давно уже слѣдовало стать посредникомъ великой европейско-русской торговли и промышленности, разцвѣлъ только при русскомъ владычествѣ.

Въ половинѣ XVII столѣтія столица Польши насчитываетъ въ своихъ стѣнахъ только 300 домовъ и 6,000 жителей. До такого состоянія ее довело шведское нашествіе (1655 г.), пожары 1660 года, моровая язва 1662 г. и безобразія и грабежи пановъ во время выборовъ короля на смѣну удалившемуся въ 1668 г. отъ дѣлъ Яну Казимиру. Не счастливей было и начало XVIII вѣка, и только къ концу его число жителей доходитъ до 100,000. Время наибольшаго роста Варшавы начинается съ 1831 года, т. е. какъ-разъ съ потери поляками послѣднихъ политическихъ правъ. Должно быть, призваніе Варшавы быть суетной Марфой, а не возвышенной Маріей. Въ настоящее время въ Варшавѣ 400,000 жителей (четвертая часть изъ нихъ евреи) и всѣ принадлежности огромнаго промышленнаго и торговаго города: безчисленные фабрики и магазины, больницы (11), гимназіи (9), иностранные консульства (даже перувіанское и персидское), богатое общество благотворительности, содержащее больницы и богадѣльни, кухни, библіотеки и кассы ссудъ; клубы, ученія и экономическія общества, редакціи 66 періодическихъ изданій, банки, акціонерныя общества, музеи, кабинеты,—словомъ, вся та каша сгущенной городской жизни, изъ которой вырабатываются деньги, науки, искусства, съ одной

стороны,—и нищета, невѣжество и грубость съ другой.

Отъ «эпохи князей Мазовецкихъ» до времени генераль-губернаторства генерала Гурко дошли, повидимому, только мѣста, на которыхъ теперъ стоятъ старыя *палацы, имахи* и костелы. Все это основано, можетъ быть, и очень давно, но носить совсѣмъ свѣженькій характеръ. Все мило, прилично, но носить печать не вѣковъ, а толковаго губернскаго варшавскаго архитектора, пана Идзиковскаго, или пана Маркони, пана Корацци, или другого кого-либо изъ штатныхъ городскихъ архитекторовъ второй половины XIX столѣтія. Все реставрировано очень усердно и очень недавно.

Впрочемъ, путеводители по Варшавѣ называютъ пановъ Идзиковскаго, Маркони, Корацци etc. съ такимъ видомъ, какъ будто эти имена говорятъ читателю очень много. Такихъ много-говорящихъ именъ читатель услышитъ въ Варшавѣ первый разъ въ жизни пропасть. Таковы живописцы, украсившіе своими твореніями стѣны костеловъ: Смуглевичъ, Чеховичъ, Гадзевичъ, Каневскій, Семигиновскій и наконецъ, Войняковскій, ученикъ Баччіарелли (?!). Скульпторовъ меньше: Чайковскій, Соновскій, Олещиньскій да Малиньскій,—вотъ и всѣ. Ни статуи, ни картины этихъ учениковъ Баччіарелли и ему подобныхъ не пред-



ставляютъ собою рѣшительно ничего особеннаго и отзываются тою-же толковою ремесленностью, какъ и внѣшность костеловъ, гдѣ онѣ находятся.

Современную живопись и скульптуру можно видѣть на постоянной выставкѣ варшавскаго общества поощренія изящныхъ искусствъ,—названіе, звучащее по-польски для русскаго уха далеко не изящно: «варшавске товажство захенты штукъ пенкныхъ». На современной выставкѣ тоже имена мало говорящія не-польскому сердцу: Мархинковскій, Гажичъ, Клещинскій, Панталеонъ Шиндлеръ, Эдмундъ Перле. О всѣхъ этихъ господахъ я узналъ только въ Варшавѣ. Но и Варшава была удивлена, когда въ ея стѣнахъ появилась наша передвижная выставка, съ нашими Максимовыми, Харламовыми, Рѣпиными и прочими —*овыми* и —*иными*. Не берусь судить, что выше, польская-ли живопись или наша. Кажется, обѣ далеки отъ совершенства, но мы во всякомъ случаѣ болѣе оригинальны и болѣе правдивы.

Ваятели Малиньскій и Олещиньскій и живописцы Семигинавскій и Войняковскій — всѣ знамениты. Точно такъ-же всѣ варшавскіе дома попросторнѣй — палацы, а поскромнѣй — палацики. Всѣхъ палацовъ, древнихъ, насчитываютъ до двадцати-четырехъ; новыхъ мень-

ше,—между ними дома Европейской гостиницы и еврейскихъ банкировъ Кронеберга и Левенсона.

Старые палацы очень мило возобновлены губернскими архитекторами второй половины XIX столѣтія и большею частью заняты казенными учрежденіями. Такъ, въ палацѣ Паца находится окружной судъ, въ палацѣ примаса польскаго помѣщалось юнкерское училище, въ палацѣ Сташица учатся гимназисты, королевскій палацъ Яна Казимира пріютилъ университетъ. Палацъ Паца! Палацъ Сташица! Конечно, для поляка это звучитъ равносильно разнымъ Ка-Доро, палаццо Питти, палаццо Веккіо. Но человѣкъ посторонній, увы! равнодушно смотритъ на эти небольшіе дома, выкрашенные по большей части темненькой клеевой краской, и не только палацами, а и палацками признаетъ ихъ съ трудомъ.

Центромъ города служитъ, такой-же скромной внѣшности, но бѣльшихъ размѣровъ, королевскій замокъ, получившій свой теперешній видъ въ 1821 году. Въ немъ помѣщается генераль-губернаторъ, и великолѣпно помѣщается. Изъ оконъ замка далеко внизу видна зеленая, по цвѣту тоже заграничная, европейская, Висла и ея противоположный берегъ. Между замкомъ и Вислой—сады на каменныхъ аркадахъ. Противоположнымъ фасадомъ

замокъ выходитъ на площадь, которая подымается отъ зданія нѣсколько вверхъ и сильно скрадываетъ его размѣры. На сѣверъ отъ зámка идетъ старый городъ, на югъ—новый.

Ужасны ломовыя клячи, ужасны папертныя пани Варшавы, но ея Старый городъ, Старэ Място, еще ужаснѣй. Это тоже *Эуропа*, XVI и XVII столѣтій. Но настоящая Европа частью уничтожила, частью почистила свои старые кварталы, эти гнѣзда болѣзней и заразы. Польская Европа бережетъ свою старину ужь слишкомъ ревниво, со всѣмъ ея столѣтнимъ смрадомъ и вѣковыми поколѣнїями бактерій, микробовъ и микрококовъ. Еслибъ не смрадъ и не страхъ заразы, можно было-бы не безъ удовольствїя побродить по старымъ кварталамъ Варшавы, представляющимъ сильно уменьшенную копїю съ стараго Берлина, старой Вѣны, Парижа, Неаполя. Тѣ-же узенькія и извилистыя, тропинкообразныя улички, тѣ-же дома, въ два-три окна, съ острымъ и высокимъ колпакомъ черепичатой крыши, съ эмблемами и латинскими изреченїями надъ входомъ, защищеннымъ толстой желѣзной дверью. Дома стоятъ плечо къ плечу, сплошной массой, съ однообразными фасадами, и производятъ впечатлѣнїе одной сплошной стѣны. Улички приобрѣтаютъ видъ корридоровъ, площадки и площади—комнатъ, и передъ вами оживаетъ

идея европейскаго стараго города, города еди-наго, города — юридическаго лица, города — собирательнаго буржуа. Старый европейскій городъ былъ воинскимъ строемъ, какъ фаланга, карре; его изобрѣло третье сословіе и вышло изъ тяжкой общественной борьбы полнымъ побѣдителемъ. Въ настоящее время міръ принадлежитъ городу, но около города уже растутъ загадочныя рабочіе пригороды. Старэ Място Варшавы — удачное воплощеніе этой идеи. Но зачѣмъ оно было нужно въ Варшавѣ, въ Польшѣ, неизвѣстно, такъ-какъ горожанъ въ странѣ не было, а были только евреи. Эти евреи и теперь наполняютъ Старэ Място, пугая туриста своими неимовѣрно изуренными и болѣзненными лицами.

Какъ Старэ Място подражаніе старой Европѣ, такъ новые кварталы — копіи новой. На югъ отъ королевскаго зámка тянется сначала улица Краковское предмѣстье, потомъ Новэ Място и, наконецъ, все новѣе и новѣе, Уяздовская аллея, въ концѣ которой находится на мѣстѣ лазень (бань) князей Мазовецкихъ паркъ и скромный загородный дворецъ короля Понятовскаго, Лазенки. Краковское предмѣстье и Новэ Място представляютъ изъ себя нѣчто среднее между московскими и одесскими улицами, — больше, красивѣй домами и чище московскихъ, и грязнѣе и извилистѣй одесскихъ.

Аллея—миніатюрная копія новаго Парижа или новой Вѣны.

Тутъ, читатель, покинемъ прекрасную Варшаву, этотъ городъ-копію, и изъ польской столицы отправимся въ польскую провинцію.

Опять вагонъ, на этотъ разъ тоже европейскій и къ Польшѣ совсѣмъ не подходящій, плохо отапливаемый и съ дверьми съ боковъ. Опять замерзшее окно, опять бѣлая равнина, опять сугробы съ широкополыми шапками.

На одной изъ станцій смѣняемъ вагонъ на наемную карету, запряженную четверкой цугомъ. Шоссе мѣстами обнажено, мѣстами перебито глубокимъ снѣгомъ. По камню мы ѣдемъ рысью, въ сугробахъ, несмотря на громкое хлопанье и жестокое подстегиванье бичемъ, иногда застреваемъ. Дымящіяся, мокрая лошади отдыхаютъ, я выглядываю изъ окна и сейчасъ-же прячусь. На дворѣ 15° мороза и метель, со свистомъ и сипѣньемъ пересыпающая сухой снѣгъ между спицами нашихъ колесъ. Хорошо еще, что полнолуніе, и задернутый облаками и снѣгомъ мѣсяць залилъ воздухъ жиденькимъ и достаточнымъ, чтобы не сойти съ свѣтомъ.

Двадцать верстъ мы ѣхали три часа.

II.

Въ провинціи.

Польскихъ городовъ, строго говоря, нѣтъ, а есть или еврейскіе, или нѣмецкіе. Польскихъ городовъ, пожалуй, даже и не было никогда, потому что поляки ударились въ крайности и, по пословицѣ: «либо панъ, либо пропаль», образовали только два сословія: шляхетское, которое несомнѣнно пановало, и хлопское, столь-же несомнѣнно пропадавшее. На срединѣ полякъ не мирился и «среднее состояніе» представилъ иноплеменникамъ. Въ старой Польшѣ городовъ въ европейскомъ смыслѣ не было, и появляются они только въ XIII вѣкѣ вмѣстѣ съ европейцами, именно нѣмцами, которыхъ призывали короли польскіе для заселенія страны, опустошенной татарами. Нѣмцы были освобождены отъ всякихъ налоговъ, имъ было даровано полное самоуправленіе, и ихъ города процвѣтали до конца XV вѣка, не будучи польскими городами, ничего о Польшѣ не желая знать, ничего отъ нея не требуя и ничего ей не давая, совсѣмъ какъ наши колонисты. Съ XVI вѣка нѣмецкіе города изъ германскихъ колоній начинаютъ превращаться въ польскіе и тотчасъ-же перестаютъ быть городами, а населявшіе ихъ нѣмцы, полячась, перестаютъ быть горожанами. Въ XVI вѣкѣ въ

Польшѣ уже полновластно царитъ шляхта и систематически подрываетъ благосостояніе городовъ и унижаетъ сословіе мѣщанъ. Нѣмецкій богатый, гордый и культурный городъ смѣняется дряннымъ владѣльческимъ мѣстечкомъ, и мѣсто независимаго нѣмецкаго бюргера заступаетъ покладистый еврейчикъ. Покладистый еврейчикъ, само-собою разумѣется, тоже не создавшій польскаго города, исправлялъ должность третьяго сословія безъ конкурентовъ до конца прошлаго столѣтія, когда на Польшу снова нажали нѣмцы, появляясь въ ней на этотъ разъ уже безъ приглашеній. Въ эпоху раздѣловъ Польши, ея пограничныя съ нѣмцами области снова сильно онѣмечились.— Въ нѣкоторыхъ изъ городовъ, говоритъ нѣмецкій историкъ Зибель,—не было почти ни одного поляка, и мили на двѣ въ окружности безраздѣльно господствовалъ нѣмецкій языкъ. Замѣчаю это въ виду обвиненій, будто нѣмцевъ въ царство Польское навели русскіе. Тотъ-же Зибель указываетъ и на фактъ еще болѣе любопытный. Мало того, что въ концѣ XVIII столѣтія въ Польшу наплывали нѣмцы; стали нѣмечиться сами поляки и уже давно ополяченные нѣмцы, стала нѣмечиться даже польская шляхта, принявшая протестантство.— Несмотря на религіозныя преслѣдованія, говоритъ названный авторъ,—по близости нѣ-

мецкой границы образовалось многочисленное протестантское дворянство, которое (какъ диссидентское) не имѣло ни малѣйшаго участія въ правленіи и видѣло со стороны государства только одни знаки пренебреженія, но которое, завѣдуя лично имѣніями, достигло, при посредствѣ хорошей распорядительности и бережливости, рѣдкаго въ Польшѣ благосостоянія. Эти дворянскія семейства состояли обыкновенно въ родствѣ съ бранденбургскимъ и силезскимъ дворянствомъ и питали самое сильное желаніе вступить въ благоустроенное прусское государство.—Такъ было въ концѣ XVIII столѣтія. Съ тѣхъ поръ національное чувство сильно оживилось народными несчастіями Польши, съ одной стороны, и общеевропейскимъ національнымъ движеніемъ—съ другой, но все-таки и теперь въ Познани не рѣдкость встрѣтить поляка, который вамъ сознается, что онъ чувствуетъ себя на половину пруссакомъ: «естэм пул-пруссъ». О наплывѣ нѣмцевъ, о *Drang nach Osten* ужь и говорить нечего.

Уѣздный городъ.

Большинство польскихъ городовъ,—хоть и не настоящіе города, но происхожденія древняго. Начало имъ положено, вѣроятно, за много вѣковъ до монголовъ, раззорившихъ

Польшу, и до германцевъ, призванныхъ ее возстановлять. Германцы, когда ихъ призвали, были уже настолькоъ культурны, что не выбрали-бы такихъ дрянныхъ мѣстностей, какъ тѣ, гдѣ стоятъ польскіе города. Прежде всего, городъ стоитъ на болотѣ или болотами окруженъ. Болота эти не шуточные. Ихъ усердно и давно осушаютъ (барбаженскіе москали-чиновники и пшеклентые нѣмцы; нѣмцы добываютъ торфъ или превращаютъ болота въ луга и пахоту, а москали преслѣдуютъ санитарныя или стратегически-путейскія цѣли); болота осушаютъ, но еще далеко не осушили, и глазъ туриста окидываетъ довольно трудно обозримыя пространства плоскихъ и мокрыхъ тундръ, окружающихъ древній польскій городокъ, куда туристъ забрался. Не думайте, однако, что это болото—русское болото. Нѣтъ, оно во многомъ европейское (не даромъ-же надъ нимъ поработалъ нѣмецъ), оно во всѣхъ направленіяхъ канализировано, кочекъ на немъ нѣтъ, ржавыхъ лужъ нѣтъ, дрянныхъ ольховыхъ и лозовыхъ кустиковъ, изуродованныхъ полуголоднымъ скотомъ, тоже нѣтъ. Все оно превращено или въ выгонъ, или въ сѣнокосъ, или, наконецъ, служить вмѣстительствомъ торфа, откуда его выбираютъ на топливо или для удобренія полей. Тѣмъ не менѣе, болото все-таки болото. Къ городку

нельзя подѣхать иначе какъ по дамбамъ, въ нѣсколько верстъ длиной. Дамбы принадлежатъ прекраснымъ шоссейнымъ дорогамъ, которыми вдоль и поперекъ испещрена вся Польша, благодаря все тѣмъ-же москалямъ и нѣмцамъ. Весною, во время разлива водъ или въ затяжные дожди, которые въ Польшѣ не рѣдкость, дамбы погружены въ воду, которая стремится подъ многочисленные мосты, но иногда все-таки размываетъ дорогу и на нѣсколько дней прекращаетъ движеніе. Болота затѣмъ порождаютъ тучи комаровъ, неисчислимыя полчища лягушекъ и лихорадки. Болота дѣлаютъ лѣтнія ночи холодными и туманными, а лѣтніе дни менѣе жаркими. Въ домахъ отъ близости болота заводится сырость, которую поляки еще не додумались какъ выводить, и на которую москаль и нѣмецъ пока смотрятъ сквозь пальцы. Въ садахъ такого приболотнаго древняго польскаго города сыро и грязно, а стволы деревьевъ красиво зеленѣютъ подъ покровомъ мховъ и плесени.

Переѣхавъ чрезъ цивилизованное, когда-то населенное нечистой силой, болото по двухверстной дамбѣ, заплативъ у шлагбаума откупщику еврею шоссейный сборъ, вы въѣзжаете въ польскій уѣздный городокъ и пріятно разочаровываетесь.

Вы знаете уѣздные городки Западнаго края,

всѣ эти Рѣжицы и Рѣчицы, Рогачовы и Чигирины, всѣ эти карточные поселенія, отъ Динабурга до Владиміра-Волынскаго, и ожидали, что и польскіе Туреки и Згержи представляютъ изъ себя то-же. Вы ожидали увидѣть широкія улицы, полныя грязи, перемѣшанной съ помоями, навозомъ и соромъ; покривившіеся заборы, одноэтажные домишки, крытые шершавымъ гонтомъ, а то такъ и просто соломой и камышемъ; вы ожидали найти рядъ деревянныхъ лавченокъ, гдѣ торгуютъ по мелочамъ залежалымъ товаромъ; на обширной немощеной базарной площади вы думали увидѣть скрипучія и пахнуція дегтемъ телѣги и телѣжонки и толпы подвыпившаго развеселаго мужичья, входящаго и выходящаго изъ дверей разваливающихся шинковъ; по площади долженъ бродить запыленный и полинялый городской; на покривившейся каланчѣ долженъ спать пожарный, — а главное, въ такихъ городкахъ, которые принято называть польскими, должны валомъ-валить, должны запружать улицы и дерзко дурачить и обманывать сѣраго мужика, тоже называемые польскими, жидаы.

И представьте себѣ, въ настоящемъ польскомъ городкѣ евреи такъ чтобы ужъ слишкомъ не выдаются. Правда, лавки принадлежатъ имъ, но не всѣ безъ исключенія, какъ

въ Западномъ краѣ. Вотъ колбасникъ Миллеръ, вотъ Hötél Polski пана Куэваса, вотъ магазинъ бакалеи пана Скшинскаго. Нѣмцы содержатъ всѣ колбасныя (оно и понятно при тѣхъ натянутыхъ отношеніяхъ, которыя существуютъ между евреями и свиньями), поляки полюбили гостиницы и винные погреба. Лавки, принадлежащія евреямъ, съ виду очень приличны, скорѣе магазины, чѣмъ лавки, а сами евреи не имѣютъ такого изголодавшагося вида и такихъ цыгански-мошенническихъ ухватокъ, какими отличаются ихъ соплеменники въ Бѣлоруссіи или Малороссіи. Знаменитаго «польскаго жида» надо искать тамъ, — въ Польшѣ онъ мало-по-малу превращается въ «поляка моисеева закона».

Конечно, одно изъ лучшихъ и старѣйшихъ зданій города — еврейская синагога. Одинъ изъ польскихъ королей, Казиміръ Великій, былъ смертельно влюбленъ въ еврейку Эсѳирь, и очень много синагогъ относятся своимъ строеніемъ къ счастливымъ годамъ любви этой счастливой парочки. Синагога — обширное зданіе неопредѣленнаго стиля, не то романскаго, не то готическаго, напоминающее христіанскій храмъ этихъ стилей, но безъ колокольни. Ремонтируется синагога плохо, по случаю ухудшенія еврейскихъ гешефтовъ при могучей конкуренціи нѣмецкихъ капиталовъ; но видно,

что строена она на широкую ногу, что нѣ-когда нетолько польскія деньги, но и польскія сердца были въ еврейскихъ карманахъ.

Отъ оптовой торговли и фабрикъ евреевъ оттираютъ нѣмецкіе капиталисты, отъ ремесль— нѣмецкіе ремесленники. Столяръ, слесарь, обойщикъ, шорникъ, кузнецъ,— всѣ эти занятія въ городкѣ ведутся геррами Шмидтомъ, Гейномъ, Германномъ, Шульцемъ. Каменный уголь доставляетъ въ городокъ тоже нѣмецъ. Выстроилъ огромную паровую мельницу опять нѣмецъ. Пиво варить, конечно, нѣмецъ. Нѣмцы, само собой разумѣется, составили Gemeinde, построили кирку и завели свою «петерь-шулку». Нѣмцы все свѣжаго привоза. Рѣдко у кого дѣдъ основался въ Польшѣ; больше все отцы пришли сюда, а то такъ и сами. Держать они себя осторожно и встревоженно въ виду мѣръ, предпринимаемыхъ и проектируемыхъ противъ нихъ въ послѣднее время. Заговорите съ Herr Müller'омъ по-нѣмецки. Вы еще не знакомы ему,—онъ встревожится, встревожится и его Frau Müller, насторожатся даже малые Миллерята.

— Извините, скажетъ вамъ Миллеръ по-польски,—я по-нѣмецки съ трудомъ говорю, все по-польски; порусски тоже начинаю привыкать.

А какое—съ трудомъ! Нѣмецъ самый настоящій, архи-нѣмецъ.

Нѣмцы всѣ очень хорошіе ремесленники. И тутъ полная противоположность польскому городишкѣ» Западнаго края. Въ Западномъ краѣ всѣ ремесленники—евреи и всѣ никуда не годятся, чуть кто изъ нихъ получше, онъ нарахватъ впередъ на полгода, на годъ. Домá тамъ строятся годами, а мебель возятъ за сотни верстъ изъ большихъ городовъ. Въ настоящемъ польскомъ городкѣ уже похоже на Европу, и нѣмецъ Шмидтъ—дайте ему только рисунокъ—сдѣлаетъ вамъ какую угодно мебель, а нѣмецъ Гейнъ какъ угодно вамъ ее обобьетъ.

Однако, и Шмидтъ и Гейнъ въ послѣднее время сильно жалуются на заработки. Негг Шмидтъ говорилъ мнѣ объ этомъ по-нѣмецки, хотя и онъ сначала поломался, увѣрялъ меня, что онъ—полякъ, желающій сдѣлаться русскимъ. «Нѣтъ заказовъ, говорилъ Негг Шмидтъ, — фабрикантовъ въ нашемъ городѣ нѣтъ, а помѣщики совсѣмъ обѣднѣли по причинѣ сельско-хозяйственнаго кризиса и заказываютъ только самые пустяки: сосновый столъ, сосновые табуреты, доски для глаженья, валики для катанья бѣлья... Даже lächerlich! Три года тому назадъ и другая моя специальность шла прекрасно: похороны. У меня былъ складъ роскошныхъ гробовъ, отличная погребальная колесница, аглицкая сбруя на чет-

верню, попоны, гербы, костюмы для факельщиковъ. Это было prachtvoll, стоило мнѣ больше тысячи. И вотъ, теперь полякамъ, не только дорого жить, но и умирать, должно быть, стало не по средствамъ: по крайней мѣрѣ заказовъ ни на гробы, ни на колесницу у меня нѣтъ». Herr Шмидтъ остановился, хихикнулъ (Шмидтъ не хохочетъ, а хихикаетъ; Шмидтъ не толстъ, какъ классическіе нѣмцы, а худъ, вертлявъ и нервный вѣкъ измѣнилъ и нѣмца), и, сообщилъ мнѣ, что, конечно, это только одинъ «вицъ», будто люди изъ экономіи перестали умирать, и продолжалъ:— «Умираютъ-то попрежнему, но хоронятъ въ простыхъ гробахъ и безъ колесницы... И знаете-ли, почему нѣтъ средствъ? Потому что нѣтъ запасовъ. Польскій господинъ не можетъ дѣлать запасовъ. Онъ все тянется въ большіе люди, дѣтей онъ отдаетъ непременно въ высшія учебныя заведенія, самъ онъ непременно ѣздитъ въ Варшаву и за границу, покупаетъ себѣ дорогихъ лошадей и шикарныя экипажи... Ну, приходитъ кризисъ, — и онъ не можетъ схоронить себя иначе, какъ въ плохенькомъ сосновомъ гробу, кое-какъ обитомъ плохенькимъ манчестеромъ. А мои металлическіе гробы, съ урнами по угламъ, съ акаanfами и эмблемами, должны стоять, пылиться и приносить мнѣ убытокъ».

Читатель видитъ, что въ польскомъ городкѣ даже умирать можно съ комфортомъ и роскошью. Казалось-бы, жить такъ можно и по-давно. До Варшавы—шесть часовъ ѣзды, до Лодзи или Сосновиць—три часа; если Варшава далеко, до Кракова рукой подать, а оттуда и въ Вѣну доѣхать ничего не стоитъ. Словомъ, поставщики комфорта и роскоши подъ рукою, и лавки и магазинчики городка полны всѣмъ нужнымъ. И все-таки нѣтъ, кажется, другихъ народовъ, которые имѣли-бы меньшее понятіе о комфортѣ, чѣмъ евреи и поляки. Разница между ними только та, что поляки любятъ роскошь, а евреи и роскоши изъ скупости не предаются. Вотъ, на примѣръ, планъ городского дома, свидѣтельствующій, что польскаго комфорта на свѣтѣ нѣтъ.

Прежде всего, домъ долженъ быть какъ можно холоднѣе и имѣть приспособленіе для злѣйшаго сквозного вѣтра. Достигается это тѣмъ, что домъ дѣлится на части сквозными корридорами, или, если домъ побольше, сквозными воротами. Изъ корридора, или изъ-подъ воротъ, одиночныя двери ведутъ не въ какія-нибудь сѣни, а прямо въ комнаты. Если домъ занятъ скромными людьми, то въ такой первой со двора комнатѣ живутъ, ѣдятъ, принимаютъ гостей, а то такъ и спятъ, — и, конечно, невыносимо мерзнутъ. Люди побогаче

и поприхотливѣй отводятъ первую комнату подъ переднюю, вслѣдствіе чего зимній морозъ забирается къ нимъ въ спальню не непосредственно съ улицы, а предварительно проморозивъ переднюю, гдѣ двери покрыты инеемъ и сосульками и стынетъ вода. До двойныхъ входныхъ дверей еще не додумались, и лишь въ самые сильные холода обиваютъ двери какими-то соломенными плетенками. Стѣны домовъ дѣлаются очень тонкими. Оконныя рамы и косяки прилажены плохо и между ними и стѣной дуетъ.

Сквозныя сѣни, источникъ сквозныхъ вѣтровъ и холода, примѣняются рѣшительно всегда. Если домъ слишкомъ длиненъ и однихъ сѣней мало, этихъ послѣднихъ дѣлается двое, трое, четверо. Если домъ двухъ-этажный—сѣни дѣлаются высотой въ два этажа, съ холодной лѣстницей на верхъ. Въ такихъ домахъ вы можете топить сколько угодно, а къ утру, когда вамъ вылѣзть изъ постели, въ вашей комнатѣ больше пяти-шести градусовъ тепла все-таки не будетъ. И это еще хорошо. Есть несчастные, по большей части евреи, которые круглый годъ живутъ на чердачныхъ мансардахъ.

Мансарды, чердаки, крутыя, очень высокія черепичатыя крыши, составляютъ самую рѣзкую особенность польскаго городка. Такую

огромную и тяжелую крышу, высотой съ цѣлый этажъ, можно поставить только на каменные стѣны, — и польскій городокъ каменный. Кромѣ того, польскій городокъ не по народонаселенію малъ. Правда, въ немъ всего какихъ-нибудь пять-семь тысячъ жителей, но и для этого онъ занимаетъ слишкомъ мало мѣста, — полторы, двѣ версты въ окружности. Въ этомъ отношеніи польскій городокъ опять городокъ европейскій, а не русскій, — каменный, а не деревянный, черепичатый, а не гонтовый, съ узенькими, а не широкими улицами, довольно высокій, двухъ и даже трехъ-этажный, а не приземистый, не погорающій въ десять лѣтъ разъ до половины, а въ двадцать лѣтъ цѣликомъ, и потому имѣющій «старый кварталъ», подобно Варшавѣ и европейскимъ городамъ. Если Варшава — маленькая копія Европы, то уѣздный польскій городокъ — копія Варшавы до смѣшного крохотная. Какъ въ Варшавѣ и Европѣ, въ городкѣ есть и «Новый кварталъ»: поль-переулочка пошире и почище; есть и своя «аллея», свои «елисейскія поля»: поль-переулочка, засаженнаго орѣхами, каштанами, бѣлой акаціей; есть свой паркъ, мѣстный «огрудъ сасски», мѣстныя «тюльери». Въ старомъ кварталѣ улочки узки, не разминутся двумъ телѣгамъ, и порядочно попахиваетъ изъ сквозныхъ стѣней. Въ новомъ квар-

талѣ вездѣ бетонные троттуары, гордость городка, стоящая ему тысячъ двѣнадцать. «Аллея» раздѣлена на три части, причемъ у начала каждой стоитъ доска съ соотвѣтствующей надписью на двухъ языкахъ, польскомъ и русскомъ, указывающею—какая дорожка предназначена для пѣшеходовъ, какая для экипажей. Въ «Аллеѣ» стоятъ лучшіе дома города, новомодные, безъ черепичатыхъ колпаковъ, съ балкончиками, съ лѣпной орнаментикой, но все-таки—чортъ возьми! — съ холодными лѣстницами, сквозными сѣнями и дверями, обмерзающими зимою какъ не надо хуже.

Но главная гордость городка, это — площадь. Довольно большая, очень чисто содержимая, хорошо мощеная, она обставлена или старѣйшими, или лучшими зданіями городка: «Отелемъ Польскимъ», трехъ-этажными казармами расположеннаго въ городѣ пѣхотнаго полка, очень большимъ, оконъ въ сорокъ, каменнымъ зданіемъ упраздненнаго монастыря, гдѣ помѣстились присутственныя мѣста, камеры должностныхъ лицъ и квартиры чиновниковъ, и домами, хотя и небольшими, но XVIII, иногда XVII вѣка, принадлежащими исконнымъ польскимъ горожанамъ, т. е. нѣмцамъ и евреямъ. Въ этихъ домахъ—гостинницы, лавки и магазины. Стѣны

упраздненного монастыря поражаютъ обилиемъ навѣшанныхъ на нихъ государственныхъ гербовъ. Сначала кажется, что это все аптеки. Оказывается, что въ Польшѣ вывѣска каждаго казеннаго учрежденія, отъ канцеляріи генераль-губернатора до сельской школы, обязательно украшена русскимъ гербомъ. Имѣютъ его вывѣски слѣдователей, нотаріусовъ, акцизныхъ надзирателей, даже волостныхъ правленій (гминь) и волостныхъ старшинъ.

Посреди площади стоитъ красивый небольшой каменный павильонъ, тоже съ орломъ. Это магистратъ. Здѣсь засѣдаетъ управленіе городка, бургомистръ и совѣтники. И бургомистръ, и совѣтники не выбираются жителями, а назначаются администраціей, и не только слушаются, но и побаиваются «начальника уѣзда» (по нашей терминологіи: исправникъ), который, какъ встарь Репнинъ съ Понятовскимъ, обращается съ ними строго, но справедливо, и пріучаетъ ихъ къ благоустройству и порядку. Заботы о внѣшнемъ благоустройствѣ съ начальникомъ уѣзда раздѣляютъ помощникъ начальника уѣзда (нашъ помощникъ исправника) и начальникъ земской стражи, въ распоряженіи котораго находятся щеголеватые стражники, одѣтые нашими городскими и разсыпанные по городамъ, посадамъ и селамъ уѣзда. Болѣе внутреннимъ бла-

гоустройствомъ завѣдуетъ начальникъ жандармовъ, солдаты котораго тоже разсыпаны по уѣзду. Разсыпана и еще полиція — акцизная, и еще полиція — сыскная. Съ виду все это какъ будто и очень строго, но на самомъ дѣлѣ случаи вмѣшательства въ частную жизнь, въ дѣла совѣсти и убѣжденія, случаи административнаго произвола и стѣсненій, о которыхъ трубятъ заграничныя недружелюбныя намъ газеты, являются въ видѣ исключеній. Мнѣ называли уѣзды, гдѣ начальникъ хоть и не полякъ, но уже тридцать лѣтъ живетъ въ Польшѣ и женатъ на полькѣ, гдѣ его помощникъ не только женатъ на полькѣ, но и самъ полякъ, слѣдователь полякъ, жандармскій капитанъ и начальникъ стражи женаты на полькахъ, а еще одинъ чинъ, будучи кореннымъ русакомъ, ни съ того ни съ сего ударился въ полякофильство и даже лежитъ въ костелѣ во время обѣдни на полу распластавшись «кшыжемъ», т. е. крестомъ. Примите и то въ соображеніе, что низшее чиновничество губернскихъ и уѣздныхъ канцелярій сплошь польское.

Что-же еще есть въ городкѣ? Тюрьма, пара костеловъ, непременно лютеранская кирка съ портретомъ Мартина Лютера и подписью подъ нимъ: «Docter Martin Luter, geboren... gestorben...», развалины стариннаго замка и красивая

каланча, построенная вольнымъ пожарнымъ обществомъ.

На самомъ краю города, за грудой кирпичей—все, что осталось отъ стараго замка,—тамъ, гдѣ песчаный бугоръ, на которомъ построили городокъ, кончается, и гдѣ начинается торфяное болото, стоитъ старѣйшій костель городка. На вопросъ, сколько ему лѣтъ, вамъ отвѣчаютъ, что это въ точности неизвѣстно, но что, должно быть, лѣтъ восемьсотъ. Вы идете къ костелу съ недоувѣріемъ, но недоувѣріе немедленно исчезаетъ, лишь только вы приблизились. Если вы на своемъ вѣку видали архитектурныя сокровища старой Европы, для васъ не можетъ быть сомнѣній: передъ вами одинъ изъ такихъ святыхъ памятниковъ, говорящій о великомъ средневѣковомъ зодчествѣ, о томъ таинственномъ, чудномъ времени, когда человѣкъ, самъ еще не умѣя хорошо говорить на своемъ не выработанномъ языкѣ, заставлялъ говорить камни. Архитектура среднихъ вѣковъ заставляетъ предполагать, что съ тѣхъ поръ душа человѣческая утратила часть себя, разучившись мечтать не словами, не красками, не статуями, а архитектурными великанами. Одинъ изъ такихъ великановъ—предъ вами. Онъ весь сложенъ изъ дикаго камня и имѣетъ видъ дряхлый, мрачный, обомшѣлый; двѣ его колокольни и стѣны

въ нѣсколькихъ мѣстахъ треснули; въ нѣсколькихъ мѣстахъ стѣны переложены наново, причемъ камень замѣненъ кирпичемъ. Но несмотря на эти заплаты, мохъ, трещины и безобразіе старости, церковь сразу-же производитъ на васъ освѣжающее впечатлѣніе своей художественностью, своимъ строгимъ стилемъ. Церковь, которую видѣлъ я, была въ романоготическомъ стилѣ XI или XII вѣковъ. Кто строилъ ее? Кто задалъ себѣ трудъ собрать и свезти на мѣсто огромныя булыги, изъ которыхъ сложена церковь? Кто тесалъ эти камни и поднималъ ихъ на огромную высоту стѣнъ и колоколенъ? Чье свѣтлое воображеніе создало этотъ великолѣпный средній корабль храма, залитый свѣтомъ изъ громаднхъ оконъ, эти двѣ колокольни западной стороны съ граціозными двойными окнами, раздѣленными изящной колонной, эти легкіе крестовые своды боковыхъ кораблей, великолѣпную алтарную нишу въ высоту всего храма, скульптурные порталы? Откуда эта строгая красота и чистота стиля въ странѣ легкомысленныхъ и безхарактерныхъ подражаній?—Этого не знаютъ. Въ настоящее время костель считается мужицкимъ; паны излюбили іезуитскую церковь въ стилѣ рококо, столь-же стильную, какъ петербургскіе живорыбные садки, строенные «ренесанцемъ съ букетцемъ».— И слава Богу:

мужики скупы и не тщеславны, они ограничились только тѣмъ, что выбѣлили своего красиваго романца внутри известкой и затѣмъ оставили его въ покоѣ, не «поправляя» орнаментовъ и не портя стѣнъ плохой польской живописью и ужасной польской скульптурой. Паны не посѣщаютъ романца; во время обѣдни онъ полонъ исключительно мужиками, бабами и дѣвками. Мужики наполняютъ заднюю половину храма, гдѣ для нихъ стоятъ скамьи; женщины собираются впереди, ближе къ алтарю, скамей не имѣютъ, и все время, чтобы не закрывать алтаря отъ сидящихъ мужчинъ, стоятъ на колѣняхъ. И тѣ, и другія молятся и поютъ, поютъ, поютъ... Ахъ, какъ они поютъ, оправдывая свою національную репутацию антимузыкальныхъ людей!

Мнѣ показали въ костелѣ старинную деревянную рѣзную исповѣдальню.

— Варшавскіе жидаы четыреста рублей давали! сказалъ провожатый.

— Ну, и не продали?

— Н-нѣ-ѣтъ! Боже сохрани! Ксендзь сказалъ, что если дають четыреста, такъ штука по крайней мѣрѣ тысячу стоитъ!

Сто версть лошадыми.

И въ сильно европеизированной Польшѣ еще есть растоянія во сто версть, которыя

иначе какъ лошадьми не проѣдешь. Но эта ѣзда опять-таки не русская перекладная. Правда, если вы очень захотите, вы можете ѣхать и въ телѣгѣ, но нѣтъ ничего проще, какъ достать себѣ карету, запряженную парой лошадей, которая въ десять цѣлковыхъ повезетъ васъ за сто верстъ. Карета, конечно, неважная, — больше крытый кузовъ, чѣмъ карета, но прочная, на дорогѣ не развалится, не очень трясетъ и не течетъ. Наверху помѣстятъ вашъ багажъ, хорошо его привяжутъ и укроютъ. Такія кареты есть и въ нашемъ уѣздномъ городкѣ, а если нѣтъ, напишите въ губернской, и карета явится къ вашимъ услугамъ оттуда. Кучеръ дорогою пьянъ не напьется, не заснетъ, васъ нигдѣ не вывалитъ и вамъ не нагрубитъ; даже на чай не попроситъ, если вы сами не дадите.

Польскіе пейзажи, польская природа... Въ Польшѣ природы осталось уже очень мало, тоже по заграничному. Природу замѣнило сельское хозяйство. Да и та природа, которая была, не изъ важныхъ. Польша — равнина, мѣстами плоская какъ столъ, мѣстами еле-еле взволнованная возвышеніями и ложбинами, совершенно нечувствительными ни для лошадей, ни для экипажа; только въ видѣ исключеній равнина переходитъ въ невысокіе холмы. Почва не плодородная. Растительность скуд-

ная. Прелести въ такой природѣ немного. Въ старыя времена тутъ, должно быть, тоже были Гоголевскія «чушь и дичь» и Некрасовскія «небо, ельникъ, да песокъ». Въ настоящее время чушь и дичь смѣнились довольно высокимъ хозяйствомъ, тоже не оригинальнымъ, а скопированнымъ съ сосѣдней Пруссіи.

Мы выѣхали изъ своего уѣзднаго городка въ губернской городъ въ самыхъ послѣднихъ числахъ марта. Снѣгъ согнало въ половинѣ марта и разлились рѣки и рѣченки. Въ двадцатыхъ числахъ опять шелъ и лежалъ снѣгъ. 27-го снова потеплѣло; пошли дожди, продолжавшіеся до 5-го апрѣля, то теплые, то холодные, — чаще холодные. Озимы позеленѣли, но трава шла въ ростъ туго, а деревья и кусты и не думали распускаться. Отличія отъ Россіи мало. Поляки увѣряли, что это голько въ нынѣшнемъ году въ первый разъ такой скверный климатъ случился.

Первую половину дороги мы ѣхали плодородными мѣстами. Плодородной землей зовется здѣсь не какой-нибудь черноземъ, а самая простенькая супесь и даже песокъ, на лежащей неглубоко глинѣ. Глина не даетъ песку высыхать, а черезчуръ мокнуть песокъ самъ не расположенъ; дождей въ Польшѣ — хоть отбавляй; обработка песка легкая; удобряется онъ и навозомъ, и торфомъ, и мусо-

ромъ, и грязью съ шоссейной дороги усердно. Въ результатѣ получаютъ отличные урожаи хлѣбовъ для людей и травъ для скота. Мужичкія деревни тутъ часты и мужики богаты; паны, наоборотъ, рѣдки и бѣдны. Мѣстность ровная, кое-гдѣ прерываемая болотами, превращенными вешней водой въ озера. Рѣченки тутъ маленькія, но многочисленныя. Шоссе—изъ второстепенныхъ линій, узенькое и обсаженное вербой и ольхой. Лѣсовъ и помину нѣтъ: все до послѣдняго клочка воздѣлано, и единственныя деревья—тополи усадебъ, деревень и дорогъ, прозрачными рядами и группами стоящіе и перекрещивающіеся другъ съ другомъ.

На половинѣ пути мы переѣзжаемъ чрезъ небольшую, но буйную Варту, съ большимъ трудомъ проѣзжаемъ по трехверстной дамбѣ, сильно попорченной разливомъ и въѣзжаемъ въ мѣстность хутородную и холмистую. Деревни сразу-же рѣдѣютъ, мужики, бабы, ихъ хаты, ихъ скоты и телѣги сразу-же дѣлаются меньше и мельче. Обработанная земля все чаще перемежается съ сосновымъ и березовымъ лѣсомъ. Лѣсъ принадлежитъ помѣщикамъ, лѣсныя и неплодородныя имѣнія, какъ извѣстно, дробятся менѣе, помѣстья здѣсь крупны, а такъ какъ лѣсъ средней руки здѣсь стоитъ все-же 500 руб. десятина, а пахста 200 руб., то помѣщики хутородныхъ лѣсныхъ

холмовъ богаче своихъ мелкопомѣстныхъ собратій плодородной равнины. Помѣщичьи усадьбы тутъ обширныя, каменные, отлично поддерживаемыя. Шоссе обсажено уже не вербой и ольхой, которыя на песокъ не растутъ, а осокоремъ. Шоссе тутъ большое, ведущее изъ Варшавы за границу, старое; осокори тоже старые, огромные, и какъ по командѣ, какъ шеренга солдатъ дѣлающая гимнастику, наклонившіеся въ сторону, противную господствующимъ сѣверо - западнымъ вѣтрамъ. Наклонъ невеликъ, но рѣзко бросается въ глаза и представляется точно ошибкой, чѣмъ - то вродѣ пизанской падающей башни. Еслибы не въ первый разъ, было-бы очень скучно ѣхать этими сырыми равнинами, сухими холмами и однообразными, чистыми, аккуратно рубимыми и тщательно вновь засѣваемыми и засаживаемыми лѣсами.

Конечно, на протяженіи ста верстъ попалось штукъ пять посадовъ, мѣстечекъ и городковъ, но изображеніе ихъ я только-что читателю далъ, и потому перехожу къ губернскому польскому городу, куда мы въ своей каретѣ прибываемъ къ ночи.

Губернскій городъ.

Губернскій городъ, куда мы пріѣхали—Калишъ, самый западный изъ городовъ Русской

имперіи, ушедшій дальше всѣхъ прочихъ городовъ вглубь Европы. Онъ стоитъ на рѣкѣ Проснѣ, маленькой и бойкой польской рѣкѣ, которая шибко бѣжитъ въ Европу, впадая сначала въ Варту, а потомъ, вмѣстѣ съ водами послѣдней, въ Одеръ. И Варта, и Одеръ протекаютъ не очень далеко отъ новѣйшаго пупа земли—Берлина, а въ море вливаются у Штетина. Вотъ, значитъ, какая тѣсная связь между «губерніей», гдѣ мы находимся, и Европой. Въ началѣ одиннадцатаго вѣка, при Болеславѣ Великомъ, всѣ эти рѣки Просна, Варта, Одеръ, были польскими, славянскими, — и все это утрачено. Вообще, Польша такая-же мастерица утрачивать, какъ Россія пріобрѣтаетъ. Это историческіе стрекоза и муравей.

Просна служитъ границей между Россіей и Германіей на всемъ своемъ теченіи, кромѣ мѣстности подъ Калишемъ, гдѣ граница ни съ того ни съ сего переходитъ на прусскую сторону и дѣлаетъ дугу, описанную примѣрно семи-верстнымъ радіусомъ изъ центра Калиша. Мы часто жалуемся, что пруссаки насъ обижали и обижаютъ. Надо сознаться, что и мы ихъ обижали, когда было можно. Такая дуга за рѣку, очевидно, сдѣлана въ нашу пользу; да и другая дуга, гораздо бѣльшая, ограничивающая наши польскія владѣнія, клиномъ вдавшіяся между Пруссіей и Австріей, тоже

немного удовольствія доставляетъ нашимъ сосѣдямъ; эту полосу мы взяли себѣ отъ той-же Пруссіи, на вѣнскомъ конгрессѣ.

Калишъ построенъ въ долинкѣ Просны, на ея берегахъ и островкахъ, и стоитъ какъ въ котелкѣ, окруженный холмами. Польскіе города любятъ располагаться непременно или у болота, или на рѣчныхъ берегахъ, которые въ половодье заливаютъ. Самъ Калишъ, правда, не подверженъ наводненіямъ, но его великолѣпный паркъ, разведенный русскими губернаторами, обнесенъ высокими дамбами, и все-таки кое-гдѣ вода вздувшейся Просны просачивается сквозь почву и образуетъ изрядныя лужи. Несмотря на это, паркъ дѣйствительно прекрасный и не осрамилъ-бы себя не только въ Варшавѣ, но и въ Петербургѣ, гдѣ-нибудь на мѣстѣ Александровскаго сада, что у адмиралтейства.

Наши губернаторы не только поддерживаютъ и украшаютъ калишскій паркъ, но еще и засадили всѣ набережныя и всѣ болѣе широкія улицы каштанами, орѣхами, бѣлой акаціей и липой. Деревья крупныя, здоровыя, красивыя. Когда все это зеленѣетъ и цвѣтетъ, въ маѣ, — Калишъ, говорятъ, представляетъ изъ себя маленькій Дамаскъ: благоуханье цвѣтовъ, журчанье рѣчекъ-ручьевъ, пѣніе соловьевъ.

Мы пріѣхали въ Калишъ вечеромъ. Гостин-

ница, конечно, съ сквозными воротами, холодными лѣстницами и нетопленными комнатами. Все—по-европейски. Велѣли затопить печи, а сами, пока комнаты согрѣются, вышли на улицу.

Мы вышли на небольшую городскую площадку. Она окружена со всѣхъ сторонъ старинными домами, узкими, съ высокими кровлями, крытыми черепицей. Въ нижнихъ этажахъ скромные, но хорошіе магазины всѣхъ потребляемыхъ культурнымъ челоѣкомъ товаровъ. Тамъ-же — два-три лучшихъ ресторана города, съ виду смахивающихъ на петербургскую греческую кухмистерскую, безлюдныхъ, но съ хорошей, свѣжей кухней и отличными винами. На площадкѣ и прилегающихъ улочкахъ, хорошо освѣщенныхъ газовыми фонарями, тихо. Экипажнаго движенія нѣтъ, и слышно, какъ городской бесѣдуетъ съ извощикомъ, сидящимъ на козлахъ своей коляски, да какъ, не то недовольно, не то блаженно воркуютъ, ходящія взадъ и впередъ по единственному въ городѣ широкому тротуару площади, парочки. О, мать природа, о добрая молоденькая тетка весна! Предъ вами всѣ равны, вы со всѣми одинаковы. По дорогѣ всюду, проѣзжая мимо болотъ, мы слышали тотъ-же странный ропотъ, тоже довольное ворчанье и ворчливое блаженство. Это

были безчисленныя лягушки, потихоньку привѣтствовавшія лукавую весну, тихо приближавшуюся и тихо снимавшую съ себя одежды. И вотъ, теперь такіе-же полу-голоса, такое-же довольное безпокойство,—но уже людей,—и таже весна, дышащая въ тепломъ воздухѣ, отряхающая съ себя теплыя дождевыя капли вносящая въ темноту облачной ночи теплый фосфорическій весенній полу-сумракъ. О, весна, весна, нехорошо это съ твоей стороны! Ну, лягушки—онѣ лягушки, а зачѣмъ-же смущать паненокъ? Зачѣмъ смущаешь ты ихъ не только въ образѣ польскаго панича, но—о ужась!—и молодого заѣзжаго русскаго чиновника, или браваго драгунскаго офицера, или молодца нѣмца-фабриканта? Нехорошо, весна, смущать паненокъ въ образѣ москалей и нѣмцевъ...

Чистенькій и уютный городокъ и весенній вечеръ манятъ насъ дальше. И дальше все тѣ-же опрятныя старомодныя улицы, маленькія площадки, тишина и парочки. На одной изъ площадокъ—губернаторскій домъ, бывшій дворецъ, свидѣтель частыхъ свиданій русскихъ императоровъ и прусскихъ королей,—большой, изящный домъ съ золотой латинской надписью, гласящей, что онъ построенъ въ царствованіе Александра I. Тутъ-же жмутся ко дворцу долговязые, со шпиками и часами, костель и

кирка. Тутъ-же и русская довольно неудачная церковь.

Куда-бы вы съ этой площади ни пошли, вы черезъ двѣ-три минуты придете къ рѣчкѣ, которая весело шумитъ, падая съ плотинъ, которыми умѣряется стремительность ея бѣга.

Этотъ бойкій шумъ воды, не похожій на молчаливое движеніе русскихъ рѣкъ, эти старые дома и крутыя крыши, платаны и орѣхи, чистыя улицы и уютныя площадки, наконецъ, мягкій воздухъ невольно переносили мое воображеніе въ знакомую мнѣ сѣверную Италію, въ какой-нибудь изъ ея небольшихъ городковъ, съ такою-же шумящей рѣкой, такими-же улицами и площадями, но, конечно, не въ мартѣ и апрѣлѣ, а въ декабрѣ, январѣ, когда дуетъ теплый сирокко и накрапываетъ теплый, дождь. Мнѣ вспомнилась Италія, и я невольно искалъ: гдѣ-же чудо искусства, палаццо городка, гдѣ статуи его знаменитыхъ гражданъ, міровыхъ геніевъ, гдѣ храмы, поклоняться красотѣ которыхъ стекаются люди со всего свѣта, гдѣ безсмертныя картины храмовъ?.. А, вотъ, открыта церковь. Пойдемте туда.

Церковь велика и просторна, но ни великихъ мужей, ни прекрасныхъ статуй, ни знаменитыхъ картинъ нѣтъ. Вотъ могила Яна Богданскаго, «перваго ученика пятого клас-

са гимназіи». Вотъ плита Маріанны Кечковской, умершей въ 1814 году. Вотъ Схоластика Василевская, урожденная Турская. Вотъ художественная и стальная плита 1670 года, съ латинской надписью, гласящей, что тутъ покоится Stanislaus de Kobierzysko Kobierzyski, міру неизвѣстный «Wladislai Quarti historiae scriptor».

На стѣнахъ нѣсколько портретовъ. Сначала портретъ основательницы костела (средины XVII вѣка). Имени этой дамы разобрать нельзя, но видно, что живописецъ плохо владѣлъ кистью: лицо дамы сдѣлано en face, а носъ—въ профиль. Нѣсколько далѣе портретъ изнѣженнаго мужчины, въ пудреномъ парикѣ, красномъ французскомъ камзолѣ и кружевномъ жабо. Мужчина улыбается, а длинная надпись говоритъ, что онъ—камергеръ Станислава-Августа Понятовскаго, что онъ воевода такой-то и староста такой-то, что онъ жилъ добродѣтельно, состояніе свое приумножилъ, дѣтямъ хорошее наслѣдство, а друзьямъ большіе подарки послѣ смерти оставилъ, невольниковъ изъ плѣна выкупалъ и на украшеніе этого костела много жертвовалъ. Между прочимъ, изъ надписи мы узнаемъ, что онъ былъ кавалеромъ русскаго ордена Александра Невскаго. Какія услуги оказалъ ты намъ, почтенный староста и воевода? Срывалъ-ли ты не-

угодные намъ сеймы, или вотировалъ за призваніе въ Польшу нашихъ войскъ, или опредѣлялъ границы раздѣловъ твоего отечества?

Посреди церкви на коврикѣ лежитъ, по случаю Великаго поста, большое деревянное Распятіе, грубо и безобразно сдѣланное и грубо раскрашенное. Выпадающія изъ пронзеннаго бока Спасителя внутренности свѣжевыкрашены въ кровяной цвѣтъ. Близъ Распятія стоитъ деревянный столбъ, увѣшанный предметами мученія Христа: плетями, прутьями шиповника, кандалами. На столбѣ виситъ грубое изображеніе Нерукотворнаго Спаса, все въ пятнахъ крови, а наверху столба поставлено запыленное и обдерганное чучело бѣлагопѣтуха.

Стѣны сверху донизу уставлены и увѣшаны иконами самой плохой, малярной работы и еще болѣе дурными деревянными и гипсовыми статуями. Все это пестро, ново, блеститъ, и всѣмъ этимъ, очевидно, любятъ и гордятся. Вотъ во что выродилось въ Польшѣ великое европейское искусство! А между тѣмъ Калишъ старъ, какъ сама Польша, пожалуй старъ, какъ славянство. Его, городъ Калисію, зналъ еще Птоломей.

На полчаса за-границу.

Самое интересное, что можетъ дать Калишъ, это его близость къ прусской границѣ.

У одного изъ административныхъ начальствъ города или уѣзда вы просите «легитимационный осьмидневный билетъ», и любезное начальство, если вы ему извѣстны, немедленно вашу просьбу удовлетворяетъ. Въ билетѣ сказано то, что всегда въ «билетахъ» говорится: предъявитель, молъ, сего, — ростъ, глаза, волосы, лицо, ротъ, лѣта и особыя примѣты имѣющій средніе и обыкновенные, — можетъ отправиться за границу на восемь дней. Вы нанимаете извозчика и ѣдете.

За заставой Калиша извозчикъ, стегая тощихъ клячъ, взѣхалъ на горку. Выѣхавъ, положилъ кнутъ подъ себя, распустилъ возжи, и привычныя клячи сами побѣжали разбитой рысью въ Германію. Шоссе тоже, по которому мы ѣхали въ Калишъ. Ново на немъ только то, что и изъ-за границы тащутся колоссальныя фуры, запряженныя тройками и четвернями такихъ-же страшныхъ клячъ, какъ и наши. Къ нѣмцамъ, на ближайшую желѣзнодорожную ихъ станцію, Острово, въ 20-ти верстахъ отъ Калиша, фуры везутъ хлѣбъ, а оттуда въ Калишъ—каменный уголь. Эти тяжелые экипажи сильно попортили шоссе, и насъ кое-гдѣ на рытвинахъ встряхиваетъ. Денекъ пасмурный, но теплый. Вокругъ зелѣнѣютъ озими, рядами стоятъ тополи деревень и дорогъ, да вертятся вѣтряныя мельницы.

Далеко синѣть лѣсъ. Чей онъ, нашъ или уже прусскій? Спрашиваемъ извощика—не знаетъ.

Бдемъ такъ версту, другую, третью, четвертую. Вотъ помѣщичья усадьба, каменная, большая, въ порядкѣ. Тото раздолье было тутъ хозяйничать лѣтъ десять тому назадъ. И за хлѣбомъ, и за масломъ, и за птицей и скотомъ нѣмцы сами прѣзжали и платили не жалѣя. Боевыя пошлины все испортили. Попадающіяся деревни и отдѣльные мужицкіе дома неважные: говорятъ, занятіе контрабандой отбило ихъ отъ хозяйства. Но теперь и контрабанда не очень-то возможна, такъ-какъ въ прошломъ году удвоили число пограничной стражи. Парочку солдатъ видѣли и мы, притаившихся съ безпечнымъ видомъ, одного въ полевой канавѣ, другого за кочкой,—съ безпечнымъ видомъ, но съ ружьемъ.

Проѣхали и шестую версту. Направо въ полу-верстѣ отъ насъ, мы увидѣли какіе-то громадныя навѣсы, длинныя, очерченныя ровно, какъ по линейкѣ, выкрашенныя въ коричневую краску, съ черными воротами. Точь-въ-точь желѣзнодорожныя «депá» или казенныя «магáзины». Оказалось, это риги и гумна помѣщичьей усадьбы.

— Никогда такихъ колоссальныхъ усадебъ не видали! говоримъ мы.

— Это прусская усадьба, говоритъ извощикъ.

— Какъ прусская? До Пруссіи еще верста впередъ, а усадьба уже значительно позади насъ. Оказалось, что здѣсь граница вдается къ нѣмцамъ узкимъ клиномъ. Впереди граница дѣйствительно за версту, а направо и налево она рукой подать. Вонъ сидитъ ворона, въ Пруссіи. Мы, изъ Россіи, свиснули на нее, махнули шапкой,—она испугалась и отлетѣла дальше.

— Да чѣмъ-же тамъ граница обозначена? спрашиваемъ мы, и узнаемъ, что тамъ на колѣнѣ столбы стоятъ, русскій и прусскій, и по канавкѣ ручеекъ бѣжитъ. Приподнимаемся, посмотримъ, но никакъ не можемъ увидеть ни столбовъ, ни канавки.

Въ полуверстѣ отъ границы таможня. Двухъ-этажный каменный домъ, грязное крыльцо, а на крыльцѣ—никого. Вошли въ грязныя сѣни, потомъ въ неопрятную комнату и отдали наши билеты таможенному солдатику съ пронзительными, какъ у ястреба, желтыми глазами. Черезъ минуту онъ ихъ намъ вернулъ, и мы поѣхали дальше. Впереди виднѣлся шлагбаумъ; передъ шлагбаумомъ будка часового и маленькій домикъ; за шлагбаумомъ домикъ побольше съ вывѣской, которая гласила коротко: «Post Amt». Post Amt былъ уже въ Пруссіи, часовой, въ папахѣ и съ ружьемъ со штыкомъ—нашъ. Доѣхавъ до него, мы стали.

Солдатъ сердито смотрѣлъ на насъ, его штыкъ блестя на проглянувшемъ солнышкѣ, чирикали воробьи, въ пограничной канавкѣ журчала вода. Кучеръ бросилъ окурокъ своей папирасы—въ Пруссію. Къ намъ подошелъ таможенный ундеръ, небрежно сдѣлалъ намъ подъ козырекъ, пытливо заглянулъ въ глаза, менѣе пытливо въ билеты—и махнулъ рукой, чтобы мы ѣхали. Сердце не то жутко, не то вольно дрогнуло,—и только захоти мы, Россіи, отсюда и до Великаго Океана, для насъ, съ этого мгновенія, не существуетъ. Такъ-же непонятно сжимается сердце, когда смотришь въ бездонную пропасть, въ которую тебя тянетъ, тянетъ твоя воля, у которой закружилась голова.

Нѣмцы не встрѣтили насъ ни шлагбаумами, ни часовыми со штыками, ни требованіемъ паспортовъ. Въ полу-верстѣ отъ границы изъ таможни вышелъ солдатъ, въ высокой фуражкѣ и съ круглой кокардой на ней, взглянулъ и, не говоря ни слова, пропустилъ. На крыльцѣ стояло человекъ пять другихъ солдатишекъ, въ сюртукахъ тонкаго сукна, удивительно бѣлыхъ, розовыхъ и пухлыхъ. Эти херувимы, думая насъ сконфузить, всѣ вытаскивали по *rinse-nez*, демонстративно, обѣими руками, высоко поднявъ локти, надѣли ихъ на носъ и стали насъ осматривать и громко

дѣлать замѣчанія. Мы отвѣтили такимъ-же вызывающимъ взглядомъ и замѣчаніями еще болѣе громкими на нѣмецкомъ языкѣ. Нѣмчики смутились, половина ихъ рinсе-pez сняли, и всѣ сдѣлали видъ, будто они разсматриваютъ не насъ, а нашихъ лошадей. Мы поѣхали дальше, спрашивая себя, чѣмъ Германія кормитъ своихъ солдатъ, что они выглядятъ такими баранчиками и графчиками, тогда какъ наши точно поголовно одержимы соли-теромъ?

Мы ѣдемъ. Все и здѣсь то-же, что и у насъ. То-же шоссе, тѣ-же деревеньки, тѣ-же поляки мужики, тѣ-же песчанная поля и тѣ-же аккуратные, причесанные лѣсочки сосенъ и березъ. Но есть разница. Шоссе обсажено не тополями и вербами, а яблоней и грушей. Проѣзжая дорога всегда сильно удобрена, и нѣмецъ не хочетъ терять даромъ этой жирной полоски земли. Не крадутъ-ли плодовъ, когда они созрѣютъ? — Крадутъ, но воровъ почти всегда ловятъ полевые сторожа и сажаютъ въ кутузку мѣсяца на три, на четыре. Сторожей много, наказаніе сердито, и крадутъ мало. Вторая разница—нѣмецкія надписи: «Schulzen Amt», «Kreis Ostrowo Prowinz Posen», «Weg nach Kalisch», нѣмецкія надписи и прусскіе орлы. Есть, впрочемъ, и польская надпись. Близъ границы стоитъ большой и красивый

бѣлый костель, на которомъ крупными буквами начертано: «Рокóј zmarlým». Трагическое впечатлѣніе производятъ эти два черныхъ слова на языкѣ усопшаго царства: «успокоеніе усопшихъ». Конечно, костель кладбищенскій. Третья разница — памятники нѣмецкимъ побѣдамъ 1870 года, поставленные тамъ и тутъ гминами островского крейза Познанской провинціи. Гмины Сѣрадзьскаго уѣзда Калишской губерніи ставили памятники побѣдамъ 1878 года. Чьи-же памятники угоднѣй генію побѣды? — На это отвѣтъ заключается въ четвертой разницѣ. Въ *уѣздѣ* и *губерніи* земля, и направо, и налѣво отъ шоссе, вся въ длинныхъ и узкихъ полоскахъ; въ *крейзѣ* и *провинціи* полосокъ не видно и вмѣсто нихъ разлеглись сплошныя «поля». Полоска *уѣзда* — мужикъ землевладѣлецъ; поля *крейза* — дѣло рукъ, но не собственность мужика-бобыля и батрака. Въ *уѣздѣ* — и хорошія деревни, и хорошія усадьбы. Въ *крейзѣ* усадьбы — крѣпости, города, а деревеньки и хуже, и рѣже. Въ *уѣздѣ* мужикъ сидитъ дома, изъ *крейза* онъ бѣжитъ, гонимый голодомъ и холодомъ, на фабрики, за границу, въ Америку... Мнѣ кажется, памятники 78 года угоднѣй генію побѣды.

Что-бы взять на память о заграницѣ? Взяли бутылочку хорошаго и дешеваго... Тс... я чуть

не проговорился, а мы еще не миновали таможи. Я сорвалъ себѣ въ воспоминаніе вѣточку прусскаго можжевельника: лучше тамъ ничего не было, потому-что сосна и ель еще обыкновеннѣй, а береза не распустилась и походила на розгу.

— Въ кармашкахъ ничего не имѣете? спрашивалъ насъ таможенный ундеръ съ ястребинымъ взглядомъ.

— Станемъ мы срамиться!

Ястребиный взглядъ буравилъ насъ насквозь, рука уже тянулась къ бокамъ и груди нашихъ пальто, но въ это время другой ундеръ, бравшій наши билеты, пожалъ плечами и сказалъ первому:

— Не видишь, губернскіе господа!

Ястребъ отвернулся, заключилъ въ объятія какого-то жида и что-то отъ него вытаскивалъ таки.

Мы снова были дома.

III.

«Панъ» и «хлопъ».

Я видѣлъ города, я видѣлъ горожанъ, и мнѣ осталось увидѣть, наконецъ, собственными глазами представителей двухъ сословій

въ которыхъ кроется разрѣшеніе загадки горькой судьбы Польши. Паномъ и хлопомъ Польша держалась, — у хлопа и пана нужно было спрашивать, какъ это они дали погибнуть великому государству, нѣкогда второму въ Европѣ по военной силѣ и третьему по богатству денежныхъ средствъ, какъ не отвратили они этого несчастія, которому подобнаго не скоро отыщешь въ исторіи. А несчастье было колоссальное, гибель окончательная. Польша уносила съ собою въ гробъ великолѣпную исторію, которая была полна грандіозныхъ мечтаній и великихъ плановъ, вдобавокъ наполовину достигнутыхъ и сбывшихся. Не мудрено, что лучшіе поляки почти на цѣлое столѣтіе какъ-бы обезумѣли послѣ гибели ихъ отчины. Отпечатокъ безумія лежитъ и на ихъ дѣйствіяхъ, и на ихъ литературѣ этой эпохи. Безумныя возстанія основаны на политическомъ бредѣ объ иностранной помощи. Поэзія эмигрантовъ, да извинить меня ея панегиристъ, г. Спасовичъ, прямо изъ сумасшедшаго дома. Историки совершенно серьезно проповѣдывали мессіанизмъ Польши: какъ Мессія умеръ за грѣхи людей, такъ Польша умерла за грѣхи государствъ; Мессія воскреснетъ и Польша, ея-же царствію не будетъ конца. Даже не поляки, и тѣ ужасаются судьбѣ Польши. Вотъ какими словами

заключаетъ свой разсказъ о возстаніи Косцюшки нѣмецъ Зибель: «Такъ кончилось полнымъ паденіемъ всеобщее возстаніе польской націи. Случилось то, что и должно было случиться, когда великій и даровитый народъ въ продолженіе цѣлыхъ двухъ столѣтій, подвергаетъ себя политическому и нравственному самоубійству. Судьба прошла надъ виновными и невинными съ потрясающею силой и выразилась въ катастрофѣ, ужаснѣе которой свѣтъ не припомнитъ со времени разрушенія Іерусалима. При такой картинѣ невольно закрываешь глаза и сомнѣваешься въ справедливости, но не видно-ли также въ этомъ, что націи только тогда старѣются и умираютъ, когда передъ тѣмъ сами себя губятъ?.. Такъ говоритъ нѣмецъ, — человекъ, по польскимъ увѣреніямъ, немного добрѣе чорта. Вотъ другая характеристика поляка, сдѣланная другимъ ученымъ нѣмцомъ, Смиттомъ. Упомянувъ о положительныхъ качествахъ поляка, — мужествѣ, личной храбрости и пламеннѣйшей любви къ отечеству, — Смиттъ перечисляетъ качества отрицательныя, которыя я, признавая ихъ скверными, не рѣшусь вмѣнить полякамъ въ вину, а назову чертами ненормальными, послѣдствіемъ національной душевной болѣзни, явившейся результатомъ неслыханныхъ по размѣрамъ, позору и безвыходности

національнихъ несчастій. По мнѣнію Смитта, пороки поляка—тщеславіе, хвастливость, лживость. «Ни одинъ полякъ,—говоритъ онъ, — не можетъ написать безпристрастно отечественной исторіи: самыя вопіющія неправды, если онѣ только служатъ къ прославленію его соотечественниковъ, слѣдовательно косвенно и его самого, или къ удовлетворенію страстей какой-либо партіи, выставляются съ наглою смѣлостью, подкрашиваются, обрабатываются и ради вящаго правдоподобія приумножаются собственными выдумками историка. Кто имѣлъ дѣло съ поляками и не поступалъ въ ихъ духѣ, кто затронулъ ихъ тщеславіе или какимъ-бы то ни было образомъ показалъ себя ихъ противникомъ, тотъ долженъ приготовиться быть гонимымъ ими до могилы съ неумолимою ненавистью, и никогда не уступающею злобою. И ненависть эта пользуется тогда всякимъ оружіемъ: самую безстыдную ложью и клеветою, искаженіемъ фактовъ, злобною выдумкою небывалыхъ обстоятельствъ и чертъ, умаляющихъ и чернящихъ описываемое лицо. Это испытали на себѣ Станиславъ-Августъ, Суворовъ, императрица Екатерина, императоръ Александръ I. Отличительную черту своего характера — неразсудительность, поляки проявляютъ въ томъ дѣтскомъ легкомысліи, съ которымъ принимаютъ за истину нелѣпѣйшіе

разказы, самыя смѣшныя выдумки, и хотятъ навязать ихъ другимъ. Кромѣ того, въ характерѣ ихъ преобладаетъ такое безпокойство, которое по самымъ ничтожнымъ причинамъ поддерживааетъ ихъ постоянно въ лихорадочномъ состояніи. То, чего сегодня желали, завтра отвергають; гоняются за пустяками, и достигнувъ желаемого, бросаютъ съ пренебреженіемъ; воспаляются бездѣлицею и столь же быстро остываютъ. Вѣчно въ трѣвогѣ, въ дѣятельности; берутся то за то, то за другое; интригуютъ, строятъ козни, затѣваютъ заговоры, видятъ все въ свѣтѣ преувеличенной фантазіи и поступаютъ подѣ вліяніемъ разгоряченнаго воображенія. Послѣдняя черта, это — вѣчная подозрительность къ правительству, къ властямъ, даже къ тѣмъ, которыя дѣлаютъ имъ добро, расположены къ нимъ, и ко всѣмъ иноземцамъ. Полякамъ все мерещится, будто они окружены соглядатаями, измѣнниками».

Впрочемъ, въ новѣйшее время поляки начинаютъ приходить въ себя. Начало такому образумленію націи положили, какъ то и слѣдуетъ, ученые, къ сожалѣнію, не въ русской, а въ австрійской, безцензурной съ 1869 года, Польшѣ. Вмѣсто прежнихъ историческихъ бредней большихъ, но больныхъ польскихъ умовъ, появляется исторія безпристрастная,

исторія правдивая, говорящая непріятныя, горькія, но полезныя истины. Новая трезвая историческая школа возникла въ Краковѣ въ эпоху образованія могущества Пруссіи и крушенія польскихъ надеждъ на помощь Франціи. Поляки были предоставлены окончательно самимъ себѣ, возстанія были признаны невозможными, должно было найти иные, мирные и легальные пути возрожденія Польши, если не какъ государства, то какъ націи. И вотъ, краковскіе ученые, съ профессоромъ Шуйскимъ во главѣ, образуютъ въ практической политикѣ въ сеймѣ и рейхстагѣ, нереволуціонную польскую партію, а въ наукѣ—школу, изучающую Польшу не какъ государство только, а и какъ общество, какъ націю. Изученіе націи привело къ мало льстящему, но чрезвычайно полезному, какъ залогъ исправленія и возрожденія, сознанію, что Польша пала по винѣ націи, вслѣдствіе ея безобразной общественной организаціи и столь-же безобразныхъ нравовъ, политическихъ и въ частномъ быту. Появляется цѣлый рядъ талантливыхъ ученыхъ этого направленія: Калинка, Шуйскій, Бобржинскій («Исторія Польши» котораго выходитъ въ настоящее время въ русскомъ переводѣ), Корзонъ и другіе. Они жестоко осмѣяли послѣднее возстаніе 1863 года и неустанно бичевали польское общество за по-

роки, сгубившіе столь сильное и молодое государство. И конечно, на нихъ посыпались письма поляковъ (а можетъ быть, даже и россіяны!), укорявшія ихъ въ томъ, что они «бьютъ лежачаго». Когда Калининъ сталъ рыться въ архивахъ и вытаскивать документы весьма оскорбительныхъ для національнаго чувства свойствъ, со всѣхъ сторонъ къ нему обращали протесты и желанія, чтобы онъ ихъ не печаталъ, «чтобы не маралъ собственнаго гнѣзда», какъ выражались протестовавшіе. Калининъ не послушался, но ему совершенно серьезно приходилось доказывать, что опубликованіе новыхъ историческихъ документовъ, важное въ научномъ отношеніи, не можетъ быть для поляковъ вреднымъ въ отношеніяхъ моральномъ и политическомъ; ему приходилось столь-же серьезно указывать на вредъ, происходящій отъ стремленія поляковъ замалчивать свои ошибки и чрезмѣрно выставлять свои добродѣтели и заслуги; приходилось возражать противъ мысли, что польскіе историки должны доказывать иностранцамъ, что будто народъ польскій всегда былъ достоинъ независимости и имѣлъ силы ее поддерживать, и будто Польша пала только отъ внѣшнихъ причинъ; приходилось увѣрять своихъ соотечественниковъ, что странно было бы скрывать прежніе свои недостатки, «чтобы

не доставить радости москалямъ»^{*)}). Вотъ какія азбучныя истины приходилось доказывать полякамъ.

Панъ.

Долгое время былъ для меня загадкою польскій панъ. Я зналъ его дурныя и хорошія стороны. Я зналъ много удачныхъ характеристикъ польскаго шляхтича, отъ приведенной характеристики Смитта до Костомарова и Соловьева. Но все-таки весь панъ не былъ мнѣ ясенъ, пока я не справился съ его исторіей. Исторія объяснила мнѣ, что такое польскій панъ. Польскій панъ,—это солдатъ безначальный и распущенный въ высшей мѣрѣ. Позвольте доказать это исторіей.

Вначалѣ шляхтичъ не отличался отъ хлопаничѣмъ, кромѣ ремесла. Хлопъ пахалъ землю и платилъ князю дань, а шляхтичъ подъ начальствомъ князя воевалъ. Хлопъ взамѣнъ пользовался отъ князя судомъ и защитой, а шляхтичъ получалъ кусокъ земли и назывался попросту «земляниномъ».

Въ XIV вѣкѣ произошло «собираніе польской земли». Собиратель, король Владиславъ Локетекъ, объединилъ Польшу при нравственномъ содѣйствіи вельможъ и физическомъ —

^{*)} См. «Паденіе Польши», Н. Карѣва (стр. 316), по которому выше цитированы Зибель и Смиттъ.

землянъ. Тутъ земляне впервые выдѣляются въ особое сословіе, благопріятствуемое королемъ, организуются въ роды съ гербами и получаютъ привилегированный судъ. Солдатъ-землянинъ превращается въ солдата-пана.

Но панъ не перестаетъ быть солдатомъ. Начинается борьба королевской власти съ аристократіей, прелатами и баронами. Прелаты и бароны уступаютъ шляхтѣ, стоявшей за короля, но король попадаетъ изъ огня въ полымя: онъ видитъ себя въ рукахъ солдатъ, которыхъ представители образуютъ «посольскую избу», наряду съ сенатомъ аристократіи.

Чѣмъ нужнѣе былъ своей отчизнѣ польскій солдатъ, тѣмъ больше онъ съ нея тянулъ въ свою пользу и въ ущербъ страны.

Вотъ при какихъ характерныхъ обстоятельствахъ «сорвали» солдаты важныя нешавскія привилегіи 1454 года. Шляхта настаивала на прусскомъ походѣ. Король согласился и созвалъ войско. Но едва солдаты-паны собрались подъ деревней Цареквицей, какъ съ шумомъ, крикомъ и угрозами объявили королю, что не пойдутъ въ ими-же затѣянный походъ, если онъ не утвердитъ ихъ привилегій. Конечно, привилегіи были даны, солдаты-паны выступили—и были разбиты. Неудача только воспламенила солдатъ, они потребовали созыва еще бѣльшаго войска и новаго похода,

чтобы съ честью отомстить врагу. Король созвалъ еще бѣльшее войско, а оно, собравшись въ Опокахъ, подняло еще бѣльшій шумъ и потребовало еще бѣльшихъ привилегій. Королю оставалось только уступить и оформить привилегіи въ нешавскомъ статутѣ.

Нешавскій статутъ сдѣлалъ солдата хозяиномъ страны, которой онъ долженъ былъ служить: ни одинъ законъ не могъ быть установленъ помимо его согласія и нельзя было безъ его одобренія и желанія объявить войны и собирать войска. Съ этихъ поръ, оставшись безъ начальниковъ, солдатъ-панъ начинаетъ баловаться все бѣльше и бѣльше, теряя всѣ хорошія солдатскія качества и пріобрѣтая всѣ дурныя. Прежде всего разбаловавшійся солдатъ, сбросилъ съ себя всякую дисциплину. Аристократовъ онъ забылъ уже давно, оставалось подчинить себѣ короля и духовенство. Прекращеніе династіи ягеллоновъ и «вольная элекція» королей всею шляхтой поголовно съ 1573 года отдали короля въ руки солдатъ. Съ духовенствомъ солдаты думали справиться, перешедши въ реформатство, но ксендзы были слишкомъ ловки, а солдаты были слишкомъ солдаты, чтобы сухое, добросовѣстное и строгое протестанство взяло верхъ надъ пышнымъ, веселымъ и лукавымъ католичествомъ. Ксендзы побѣдили и впоследствии дѣлали съ распу-

щеннымъ, нравственно ослабѣвшимъ солдатомъ все, что имъ было угодно. Кромѣ этого нравственнаго (и безнравственнаго) авторитета, надъ солдатами не было никого, кто-бы его сдерживалъ и образумливалъ, — и солдатъ ведетъ себя безумно, предаваясь «изнѣженности нравовъ», какъ аннибалово войско въ Капуѣ, грабя родную страну какъ занятый непріятельскій городъ, и въ опьяненіи разбившаго непріятельскій винный обозъ фуражира, не заботясь ни о чемъ, ни даже о собственной безопасности. Крѣпостного хлопа онъ уже въ XVI столѣтіи довелъ до состоянія скота. Города въ томъ-же вѣкѣ были унижены и городское сословіе повержено въ политическое ничтожество лишеніемъ правъ и въ нищету налогами, которые солдатъ свалилъ съ себя на горожанъ. Самихъ себя солдаты зовутъ уже не землянами, какъ встарь, а благородными (*nobiles*), а то такъ и рыцарями. Солдатъ зазнается и объявляетъ себя «благородной» породой, сравниваетъ себя по величію съ кедромъ ливанскимъ, сравниваетъ свое сословіе съ персью и раменами государства, тогда какъ остальные всего лишь ноги его. Солдатъ для пущей важности начинаетъ говорить о себѣ по-латыни, себя называетъ «всадникомъ» (*eques*), а въ своемъ государствѣ видитъ воскресшую римскую республику.

Но солдату и этого мало,—мало, что свободно его сословіе: онъ желаетъ полной свободы для каждаго члена сословія въ отдѣльности, и въ 1652 г. панъ-солдаты Сицинскій впервые срываетъ сеймъ своимъ единоличнымъ veto. Тутъ Польша изъ государства превратилась въ свободную федерацію нѣсколькихъ сотенъ тысячъ самоуправствующихъ солдатъ. Перечитайте костомаровскія монографіи о смутномъ времени, о Богданѣ Хмельницкомъ, о паденіи Польши, и вы получите ясное понятіе о томъ, какой лагерь распущенныхъ солдатъ представляла собою Польша XVII и XVIII вв. Все было пьяно, все ругалось. То тамъ, то тутъ начинались безтолковыя кровавыя драки: драки междуособныя; драки съ врагами, которые, пользуясь беспорядками, нападали на лагерь; наконецъ, съ угнетеннымъ населеніемъ занятой страны. Все было подкупно, всѣ были готовы на измѣну и до такой степени извратили свое нравственное чутье, что измѣна не считалась преступленіемъ. Каждый солдатъ былъ самъ себѣ генералъ, и король, и богъ. Каждый шляхтичъ былъ сувереннымъ господиномъ, и если онъ получалъ деньги отъ Фридриха или Екатерины и за эту получку срываетъ сеймъ,—это не было ни измѣной, ни подкупомъ: это значило только, что онъ, самодержавный шлях-

тичь Кшепицюльскій, счель за благо заключить союзъ съ другимъ сосѣднимъ, самодержцемъ, Фридрихомъ прусскимъ или Екатериною всероссійской, причемъ Кшепицюльскій соизволилъ обязаться сорвать сеймъ, а ему за это обязались доставить тысячу злотыхъ. Читая польскую исторію XVII и XVIII столѣтій, чувствуешь себя какъ-бы въ домѣ умалишенныхъ. На самомъ дѣлѣ это не жолтый домъ, а казарма безначальныхъ солдатъ. Польша держалась только инерціей. Достаточно было нѣсколькихъ введенныхъ въ страну иностранныхъ полковъ, чтобы великое по внѣшности государство рухнуло. Когда оно упало и рассыпалось, шляхта обезумѣла отъ горя и ужаса, отъ тоски по потерянному приволью и отъ угрызений совѣсти, которая никогда вполне не замираетъ въ человѣкѣ. Пьяный, безпутный, самоуправный солдатъ очутился въ положеніи мученика. Вотъ изъ какихъ историческихъ элементовъ сложился современный польскій панъ, котораго увидѣть на его родинѣ я ждалъ съ понятнымъ любопытствомъ, — и я увидѣлъ только жалкіе обломки пана.

Я опоздалъ. Нужно было ѣхать въ Царство Польское тридцать лѣтъ тому назадъ, когда польскій хлопъ еще не былъ надѣленъ землей. Тогда еще былъ живъ старый польскій панъ. Тогда еще гремѣли по усадьбамъ мазурки,

лилось венгерское, были живы своевольныя солдатскія преданія и мученическое вдохновеніе еще мечтало о воскресеніи мессіи народовъ, Польши, изъ мертвыхъ и о пришествіи ея царствія «отъ моря и до моря» и отъ Одера до Днѣпра. Теперь-же мнѣ представилась совсѣмъ иная картина.

Вотъ помѣщичья усадьба. Она видна издалека. Польша плоска, какъ столъ, и безлѣсна, такъ что ничто не заслоняетъ окрестностей. Единственныя деревья—осоко́ри, которыми обсажены шоссе и грунтовыя дороги. Издали усадьба обыкновеннаго польскаго помѣщика средней руки представляется въ видѣ нѣсколькихъ очень длинныхъ, низкихъ, деревянныхъ, изрѣдка каменныхъ сараевъ, крытыхъ почернѣвшей и заросшей темно-изумруднымъ мхомъ соломой, деревомъ, иногда черепицей, рѣдко желѣзомъ. Эти сараи, приблизительно однихъ размѣровъ, стоящіе параллельно,—хлѣва для скота и риги для хлѣба. Скота много, хлѣба, судя по сараямъ, тоже много, несмотря на то, что земли у помѣщика средней руки всего двѣсти, триста десятинъ. Помѣщики средней руки хозяйничаютъ, выучившись у нѣмцевъ, хорошо и, подъ давленіемъ необходимости, усердно. Лѣниться можно было тридцать лѣтъ тому назадъ, когда хлопы были безземельны и отбывали барщины. Послѣ

шестидесять-четвертаго года пришлось оставить барство, мазурки и венгерское, надѣть высокіе сапоги и короткую куртку изъ славутскаго сукна и самому бѣгать съ поля въ хлѣвъ, изъ хлѣва въ огородъ, оттуда на лугъ, съ луга на шоссе, гдѣ подчищаютъ грязь, чтобы потомъ вывезти ее въ качествѣ удобрения на поля. Нельзя сказать, чтобы панъ не любилъ хозяйства, земли: вѣдь онъ съ того и началъ, что былъ земляниномъ. Способствовало этой любви и то, что польскія хозяйства до послѣднихъ лѣтъ, до хлѣбнаго кризиса и прусскихъ репрессалій, были очень доходны. Хозяйничать было и пріятно, и выгодно: все шло за-границу: и птица, и скотъ, и зерно, и шерсть, и за все платили дорого. Но и тогда панъ не смотрѣлъ на свой майонтекъ, какъ на постоянное и интимное пристанище. Старый бродяга, шляхтичъ-солдатъ, былъ живъ въ его крови. Солдату и скучно, и стыдно было долго сидѣть въ своей хатѣ. Хата была мѣстомъ отдыха, да гнѣздомъ, гдѣ выводились и выкармливались на попеченіи солдатокъ-паней дѣти. Отдохнулъ, выспался,—и опять или война, или междоусобная драка, или наѣздъ на сосѣда, или шумный и крикливый, величающійся и легкомысленный солдатскій сеймъ. Солдатскій домъ поэтому былъ невзраченъ и неопрятенъ: панъ бывалъ въ немъ

не часто, а деньги, вмѣсто того чтобы идти на украшеніе и расширеніе усадьбы, шли на оружіе, мундиръ, кутежи и игры. Солдаты любятъ франтить и показать себя, а ужъ кому-же и показывать себя было, какъ не пану-самодержцу, на котораго смотрѣла вся Польша, когда онъ воевалъ, когда выбиралъ короля себѣ по вкусу или когда рѣшалъ внутреннія и внѣшнія дѣла на сеймѣ. Всѣ эти солдатскія склонности и привычки: страстишку блеснуть и поразить, хвастнуть, кутнуть, заложить банчишку, бродяжничать, важничать и не заботиться о скромномъ родномъ гнѣздѣ, унаслѣдовалъ и современный панъ. Поэтому его судьба не носитъ и малѣйшихъ признаковъ уюта и комфорта. Только очень богатые люди разводятъ около дома сады, сажаютъ цвѣты и заботятся объ убранствѣ дома. Домишко стоитъ одиноко и нескладно съ краю двора, болѣе похожій на сторожку, при обширныхъ хозяйственныхъ постройкахъ, чѣмъ на жилище пана. Съ одной стороны онъ выходитъ на обширный дворъ, съ глубокой грязью, размѣшанной ногами скота: съ другой къ нему примыкаетъ плохо огороженный садишко съ нѣсколькими фруктовыми деревьями и какимъ-нибудь цвѣтущимъ кустарникомъ, вродѣ сирени или жасмина, заведеннаго паней, когда она была еще молода

и сентиментальна, и теперь заброшеннаго. Внутри домишко еще печальнѣй. Плохіе полы, плохіе потолки, неопрятная и шаткая мебель. Какъ въ этихъ домишкахъ ѣдятъ въ семьѣ, не знаю, но гостей угощаютъ съ видимымъ желаніемъ поразить и блеснуть: подаются «кокили», подаются «бомбы Сарданапала», угощаютъ супомъ «прентаньеръ», поятъ винами съ иностранными яркими этикетками. Разговоръ за обѣдомъ тоже блестящій: о лучшей балеринѣ въ Варшавѣ, о лучшей лошади на скачкахъ, о впечатлѣніи, которое производятъ на изысканный вкусъ картины Макарта въ Вѣнѣ, о поѣздкѣ на парижскую выставку, которую необходимо видѣть, какъ послѣднее слово западно-европейскаго прогресса. Для возвращенія домой вамъ предлагаютъ прекрасную коляску. Лошади въ англійской упряжи—игрушки. Возница въ отличной ливрейной шинели съ пелериной и въ фуражкѣ съ галунами,—хоть-бы генераль-губернатору въ кучера. Экипажъ, лошади и кучеръ всегда безукоризненны, какъ принадлежность обстановки, наиболѣе бросающаяся въ глаза. Ёдетъ панъ въ такомъ экипажѣ, на такихъ лошадяхъ—и неотразимо заставляеть предполагать, что у него не десять, а сто уволокъ земли, и что онъ графъ. Точно такъ-же безукоризненъ и костюмъ пана и пани, когда они не дома. Идутъ

они въ Варшавѣ по Краковскому предмѣстью или по Сасскому саду, и никто, кромѣ знакомыхъ, не можетъ поручиться, что они не князья и не владѣльцы десяти тысячъ морговъ; да и знакомые, и тѣ могутъ быть введены въ заблужденіе и предположить, что они получили огромное наслѣдство и наряжаются и важничаютъ, имѣя на то уважительныя причины.

Панъ и пани не сидятъ долго въ усадьбѣ. Лишь только смолочень и проданъ хлѣбъ, панъ и пани начинаютъ «нудиться»; старый солдатъ оживаетъ въ панѣ, и онъ, какъ индѣйки осенью томятся жаждой перелета, начинаетъ томиться желаніемъ побродить, пошумѣть, поблистать, покутить. Неуютный домишко становится противнымъ. Грязный дворъ тянетъ душу. Заботы о свиньяхъ, уткахъ, коровахъ, о кормленіи батраковъ и провѣркѣ лѣсниковъ, о кашляющей лошади и посудѣ для масла, дѣлаются невинносимыми. Остается или запить, или бѣжать. Пить польскій панъ въ нынѣшнемъ своемъ поколѣніи бросилъ, и ему остается только бѣжать. И онъ бѣжитъ: кто побогаче —заграницу, въ Варшаву, иной разъ въ Петербургъ. Въ Петербургъ поляки ѣздятъ неохотно, больше по дѣламъ въ сенатѣ (а вести дѣла, судиться—одна изъ болѣзненныхъ особенностей поляка): чудаки думаютъ, будто къ нимъ въ Петербургѣ станутъ относиться съ

такою-же враждой и такимъ-же недоброжелательствомъ, какъ къ русскимъ въ Варшавѣ. Менѣе состоятельные, владѣльцы 50—100 десятинъ, забираются въ губернскіе городки, гдѣ тоже можно и себя показать, и другихъ посмотреть. Самые скромные, имѣющіе не больше тридцати десятинъ, запрягаютъ въ свою легонькую желтую бричку, безъ рессоръ, пару нестолько породистыхъ, сколько сытыхъ и надиво отчищенныхъ вороныхъ коньковъ, и ѣдутъ въ уѣздный городишко, въ гостинницу, гдѣ уже собралось дюжины двѣ имъ подобныхъ, гдѣ можно почитать газеты, похвастаться чѣмъ Богъ послалъ и сразиться въ задней комнатѣ въ банчишку.

Банчишко, экипажи, лошади, костюмы и бродяжничество и прежде разоряли пана, разоряли и тогда, когда пшеница доходила до двухъ рублей, а свиней свободно впускали въ Пруссію; теперь-же всѣ эти солдатскія слабости ведутъ пана прямо къ гибели. Еще нѣсколько лѣтъ сельско-хозяйственнаго кризиса, — и банчишко, да крестьянскій банкъ проглотятъ пана. Жалѣть-ли объ этомъ?—Едва-ли. Панъ, прямой потомокъ шляхтича-солдата, съ праѣдовскими склонностями и инстинктами, и не пригоденъ, и не выживетъ при новомъ порядкѣ вещей. Насколько онъ прилеженъ лѣтомъ, когда собираетъ съ полей, настолько-

же лѣнивъ зимой, когда главная работа кончена. Онъ разсчетливъ и даже скупъ въ хозяйствѣ, но столь-же расточителенъ въ зимнихъ городскихъ удовольствіяхъ, да вдобавокъ азартный карточный игрокъ. Онъ блестящъ, милъ и увлекателенъ на людяхъ, и тяжелъ, ворчливъ и несносенъ въ домашнемъ кругу. Серьезной задачи у прямого потомка стараго шляхтича въ жизни нѣтъ; съ тѣхъ поръ, какъ невозможность возстановленія Польши стала очевидной, у него не стало и этой призрачной цѣли. Онъ живетъ впечатлѣніями минуты и для минуты. У него нѣтъ даже нравственной связи съ массой народа, съ крестьянами, несмотря на то, что и панъ, и хлопь—члены одной и той-же всесословной волости. Хлопь и панъ терпѣть одинъ другого не могутъ. Враги пана—друзья хлопа. Стоитъ хоть разъ взглянуть на то, какъ комиссаръ по крестьянскимъ дѣламъ «соглашаетъ» пана и хлопа по какимъ-нибудь ихъ сосѣдскимъ земельнымъ дѣламъ, чтобы понять, какая бездна раздѣляетъ эти два сословія, какой это снизу доверху расколотый пополамъ народъ, поляки, и какая несогласимая ссора дѣлитъ эти половины. Панъ, окруженный крестьянами—точно зубръ, обступленный волками, и только присутствіе чиновника «наияснѣйшаго пана» сдерживаетъ обѣ стороны.

Панъ сгубилъ свою отчизну активно, хлопъ способствовалъ ея гибели полнымъ равнодушіемъ къ ея судьбѣ. «Народъ не былъ такимъ пьяницей, какъ Радзивиллъ, такимъ сумасшедшимъ, какъ Солтыкъ, такимъ злодѣемъ, какъ Понинскій, такою ничтожностью, какъ Браницкій, такимъ гордецомъ, какъ Феликсъ Потоцкій, такимъ интриганомъ, какъ Подоскій — не былъ такимъ, а только былъ глупъ», — такъ характеризуетъ роли съ одной стороны пановъ, съ другой хлоповъ въ дѣлѣ паденія Польши польскій ученый и публицистъ Смоленскій. «Въ паденіи отечества, говоритъ упомянутый выше краковскій ученый, Калинка, — виноватъ былъ весь народъ, преимущественно правящій классъ, который завладелъ для себя всѣми благами и выгодами, принадлежавшими всему народу, отвыкъ отъ труда, не могъ отдѣлаться отъ своей надменности, а съ нею и отъ легкомыслія, и для котораго сдѣлалось какъ-бы политическимъ кодексомъ — подозрѣвать своихъ королей, предпочитать власть чужихъ, продаваться высшимъ, презирать низшихъ... Были виновны и вельможные дома Радзивилловъ, Потоцкихъ, Красинскихъ, Пацовъ, Сулковскихъ, Яблоновскихъ, Браницкихъ, которые втискивали общественное дѣло въ свои семейные кружки,

не признавая въ обыденной жизни ни закона, ни нравственныхъ правилъ, — разнузданныя личности съ неугасимою другъ къ другу завистью, неспособныя что-либо создать, способныя обыкновенно только разрушать». Другой извѣстный польскій историкъ, Корзонь, говоритъ, что въ эпоху паденія Польши и пань, и хлопь въ умственномъ и нравственномъ отношеніи были погружены въ варварство. «Было въ этомъ, — прибавляетъ онъ, — еще нѣчто и похуже варварства. Варварскіе народы обыкновенно обладаютъ свѣжестью мысли и неиспорченною, грубою естественною силою воли, тогда-какъ господствовавшая надъ Польшей шляхта была блуднымъ сыномъ нѣкогда богатырскаго рыцарства (?)» «Отсутствіе всякаго отпора, даже физическаго, въ отрывавшихся подъ чужую власть воеводствахъ и повѣтахъ, — говоритъ Корзонь въ другомъ мѣстѣ, — передвиженіе впередъ не пріятельскихъ войскъ безъ выстрѣла, пребываніе русскихъ, австрійскихъ и прусскихъ солдатъ въ столицѣ безъ всякой драки, безъ уличныхъ приключеній, — все это было возможно только у народа, погруженнаго въ политическую мертвенность... Мѣщане, хлопы и плебеи разныхъ названій бездѣятельно и въ безсмысленномъ молчаніи смотрѣли, какъ валилась Рѣчь Посполитая». Такъ отзываются о себѣ сами поляки.

«Народъ былъ просто глупъ», говоритъ Смоленскій. Немудрено было оглупѣть подъ игомъ разнузданнаго пана-солдата. Уже въ XVI вѣкѣ иностранцы, посѣщавшіе Польшу, ужасались скотскаго состоянія, въ которое былъ повергнутъ польскій хлопъ. «Нѣтъ государства, обличалъ въ своихъ смѣлыхъ проповѣдяхъ іезуитъ Скарга, — гдѣ-бы подданные и земледѣльцы были такъ угнетены, какъ у насъ подъ безпредѣльною властью шляхты. Разгнѣванный землянинъ (панъ) не только отнимаетъ у бѣднаго хлопа все, что у него есть, но и самого убьетъ, когда захочетъ, и за то ни отъ кого слова дурного не потерпитъ». Таково-же было положеніе и коронныхъ (государственныхъ) хлоповъ. «Старосты и арендаторы, говоритъ полякъ XVII вѣка Старовольскій, цитируемый Костомаровымъ въ «Богданѣ Хмельницкомъ», — не обращаютъ вниманія ни на королевскіе декреты, ни на комиссіи; пусть на нихъ хлопы жалуются: у нихъ всегда найдутся пособники выше; обвиняемый будетъ всегда правъ, а хлоповъ бранять, пугаютъ и запугаютъ до того, что они оставятъ дѣло и молчатъ. Если-же найдется такой смѣльчакъ, что не покорится и не оставитъ иска, такъ его убьютъ или утопятъ». «Много намъ рассказываютъ о турецкомъ рабствѣ, говоритъ Старовольскій, но это касается воен-

ноплѣнныхъ, а не тѣхъ, что у турокъ подъ властью живутъ, обрабатываютъ землю или занимаются торговлей. Послѣдніе, заплативъ годовую дань, или окончивши положенную на нихъ работу, свободны такъ, какъ у насъ не свободенъ ни одинъ шляхтичъ. У насъ въ томъ свобода, что всякому можно дѣлать то, что захочется: отъ этого и выходитъ, что бѣднѣйшій и слабѣйшій дѣлается невольникомъ богатаго и сильнаго, а сильный наноситъ слабому безнаказанно всякія несправедливости, какія ему вздумается. Въ Турціи никакой паша не можетъ того дѣлать послѣднему мужику, иначе поплатится за то головой; и у москвитянъ думный господинъ и первѣйшій бояринъ, и у татаръ мурза и высокій уланъ не смѣютъ такъ обижать простого хлопа, хотябы и иновѣрца; никто и не подумаетъ объ этомъ: всякъ знаетъ, что его самого могутъ повѣсить передъ домомъ обиженнаго. Только у насъ въ Польшѣ вольно все дѣлать и въ мѣстечкахъ, и въ селеніяхъ. Азіатскіе деспоты во всю жизнь не замучатъ столько людей, сколько ихъ замучиваютъ каждый годъ въ свободной Рѣчи Посполитой».

Вотъ какой обработкѣ подвергался хлопь, притомъ уже начиная съ XI вѣка. Либеральная конституція 3-го мая 1791 года ничего не сдѣлала для хлопа. Либеральное возстаніе

Косцюшки въ 1794 году ничего сдѣлать не смогло, въ виду противодѣйствія рабовладѣльцевъ. По наполеоновской конституціи герцогства Варшавскаго хлопь получилъ личную свободу, но положеніе его ухудшилось, такъ какъ, сдѣлавшись свободнымъ, онъ лишился земли, къ которой былъ прикрѣпленъ. Насколько свобода хлопа была призрачна, видно изъ того, что передъ 64 годомъ крестьянъ, пріобрѣвшихъ за пятьдесятъ слишкомъ лѣтъ своей свободы землю, считалось 22,000 человекъ изъ числа $3\frac{1}{2}$ милліоновъ душъ крестьянскаго населенія. Два милліона жили на чужой землѣ, давимые оброками и барщинами, полтора милліона составляли панскую дворню и батраковъ. На помощь погибавшему польскому народу пришла Россія, два милліона крестьянъ были освобождены отъ оброковъ и барщинъ и щедро надѣлены землей и сервитутами. Послѣдствія этого благого дѣла не замедлили обнаружиться. Вотъ что говоритъ Реклю (N. Géog Univ., т. V), далеко не расположенный выставлять на видъ достоинства Россіи. «Съ тѣхъ поръ какъ мужикъ сталъ работать исключительно на себя, запашка въ восемь лѣтъ увеличилась на милліонъ десятинъ... Производство хлѣбовъ увеличилось болѣе чѣмъ на одну треть, а картофеля удвоилось. Количество скота увеличилось

тоже очень значительно, и мѣстная статистика, показываетъ, что это увеличеніе произошло въ мелкихъ, мужицкихъ хозяйствахъ, а не у крупныхъ землевладѣльцевъ. Благодаря росту земледѣльческихъ силъ, и мануфактурная промышленность болѣе чѣмъ утроила свое производство, съ 42 милліоновъ рублей съ 1857 г. до 140 милліоновъ рублей въ 1878 г. Затѣмъ, ростъ благосостоянія отразился и на движеніи народонаселенія, смертность уменьшилась и средняя жизнь увеличилась, и—явленіе неожиданное—поляки въ настоящее время одерживаютъ верхъ надъ нѣмцами: съ 63 по 70 годъ поляки увеличились въ пропорціи 21 на 100, а нѣмцы только 12 на 100. Прежде происходило какъ разъ обратное. Основаніе новыхъ школъ по почину и на средства самихъ крестьянъ—тоже доказательство сдѣланныхъ успѣховъ... Наконецъ, преступленія, всѣ вообще, въ особенности - же противъ собственности, уменьшились въ поразительной пропорціи, на треть, на половину, даже на двѣ трети, а между тѣмъ населеніе увеличилось за тотъ-же промежутокъ времени на милліонъ съ половиною душъ». Нѣсколько ниже Реклю сравниваетъ положеніе польскаго народа въ Пруссіи и въ Австріи. Его процвѣтаніе у насъ онъ приписываетъ также исамоуправленію, дарованному гимнамъ, и неотчуждаемости крестьянскихъ земель

въ руки другихъ сословій. «Въ Познани, говоритъ Реклю,—гдѣ крестьяне оставлены подѣ полицейской властью изъ прежнихъ пановъ, въ нѣкоторыхъ округахъ половина земель уже продана за безцѣнокъ обратно тѣмъ, кому она принадлежала до 1848 года, пролетаріатъ изъ года въ годъ растетъ, преступность—тоже, эмиграція—тоже. Въ Галиціи положеніе крестьянъ еще хуже, и земля, которой они было наконецъ дождались, быстро переходитъ въ руки ростовщиковъ».

Вотъ что сдѣлала Россія для Польши. Обыкновенно поляки говорятъ, что это сдѣлано изъ своекоростныхъ видовъ. Дай Богъ, чтобы корысть Россіи и въ будущемъ всегда такъ совпадала съ гуманностью и высшей справедливостью. Говорятъ, что Россія опирается на низкіе инстинкты массъ. Я не назову голода и жажды низкими инстинктами, и было бы нелѣпостью доказывать торжество низкихъ инстинктовъ поразительнымъ уменьшеніемъ количества преступленій, на которое указываетъ Реклю. Говорятъ, наконецъ, что отрезвленіе польской мысли возникло не у насъ, послѣ манифеста 19 Февраля 1864 г., а въ Галиціи, послѣ патента 10-го іюня 1869 г. Что правда, то правда; но это обстоятельство вовсе не уничтожаетъ того, что сдѣлано нами, и не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, какая рука

лучше: та, которая деликатно, конституціонно, парламентарно душитъ, или та, которая грубо спасаетъ. Есть анекдотъ о старо-польскомъ панѣ, котораго хлопъ вытащилъ изъ воды за волосы. Восемь вѣковъ рабства не могли отразиться на хлопѣ выгодно. Хлопъ забылъ все человѣческое и превратился въ рабочее животное, въ лучшемъ случаѣ—въ панскаго двороваго. Въ Польшѣ крѣпостное право было ужасно,—и того «народа», которымъ такъ счастлива Россія, простонародья, составляющаго живой и дѣятельный членъ государственнаго организма, «народа», не разъ проявлявшаго свой политическій патріотизмъ и безостановочно вырабатывающаго самостоятельную культуру: великолѣпный языкъ, прекрасную музыку, оригинальную архитектуру, давшаго Ломоносова, Сперанскаго (къ простонародью же причисляю я и наше духовенство), Скобелева, няню Пушкина, пріятеля гр. Л. Толстого, Сютаева, цѣлый рядъ сильныхъ беллетристическихъ талантовъ шестидесятихъ годовъ, цѣлый рядъ такихъ-же талантовъ въ живописи въ семидесятыя годы, наконецъ, наше купечество и нашихъ фабрикантовъ,—такого народа въ Польшѣ нѣтъ. Душа народа заморена до такой степени, что нѣтъ даже народнаго веселья: музыки, преданій, поэзіи. Ссылаюсь опять на Реклю. «Просматривая сборники произведеній

народной поэзіи, — говоритъ онъ, — поражаешься ея несамобытностью, пошлостью и даже цинизмомъ пѣсенъ любовныхъ. Поэтому новѣйшіе польскіе поэты были принуждены вдохновляться не польскими народными произведениями, а думами и былинами литовцевъ-малоросовъ и даже бѣлорусовъ». Польскій хлопъ—это такая-же живая машина, какъ южно-итальянскій, въ особенности сицилійскій крестьянинъ. У того тоже нѣтъ ни своей народной поэзіи, ни простонародной науки, ни философіи; у того религія тоже католическая, религія пышныхъ формъ безъ содержанія; тотъ такъ-же циниченъ, жаденъ и съ виду приличенъ, какъ и польскій хлопъ. Но полякъ можетъ возродиться: точка опоры для этого—свой очагъ, свой кусокъ земли, необходимый кусокъ хлѣба ему даны, даны Россіей. И это не должны забывать ни мы русскіе ни поляки.

Не безъ сожалѣнія оставилъ я Польшу. Поляки въ Польшѣ оказываются и добродушнѣй, и сговорчивѣй, и благоразумнѣй, и даже «мирнѣе», чѣмъ поляки въ Западномъ краѣ или въ Россіи, не знающіе Польши и идеализирующіе ее. Лично поляки тоже очень милы и о нихъ уносишь воспоминанія, говорящія въ ихъ пользу. Жить съ ними въ интимномъ быту я бы не посовѣтовалъ: въ интимномъ

быту полякъ или полька замучать васъ причудами, капризами и прочими «нервами». Но быть у нихъ въ гостяхъ или принимать ихъ въ качествѣ гостей пріятно. За нѣсколько часовъ вы наболтаетесь, наострословите, остроумно насплетничаете, нахохочетесь, а если вы дама, то и наплачетесь такъ, какъ это, среди тяжкодумныхъ отъ добросовѣстности и отъ инертности россіянь, вамъ и за мѣсяць не удастся. Оставить пріятное по себѣ впечатлѣніе и польская женщина, высокая, стройная и кокетливая широколицая блондинка, или брюнетка съ овальнымъ лицомъ. Не непріятна и небогатая природа Польши. Ея плоская песчанная равнина, небольшія шумныя рѣки, сосновые и еловые лѣса, торфяныя болота,—все это смягчено сельско-хозяйственной культурой. Удобны и ея городки, снабженные всѣмъ что нужно для комфорта и потребностей культурнаго человѣка. Пріятна и близость этой «полу-заграницы» къ настоящей заграницѣ... Уѣзжаешь, и невольно является мысль: а надо будетъ еще разъ заглянуть въ эту капризную, странную, граціозную Польшу, счастливую тѣмъ что она не знаетъ, какъ она несчастна и въ чемъ ея несчастье. Ей все сняты внѣшніе враги, а бѣда—внутри ея самой. Не могу не окончить искреннимъ пожеланіемъ, чтобы она исцѣлилась наконецъ отъ своего внутренняго

недуга, и помнила, кто искреннѣй другихъ ей этого желаетъ и лучше другихъ можетъ ей помочь.

Бессарабія

I

Сѣверный человѣкъ на югѣ.

Я и мой спутникъ, сангвиническій сѣверный человѣкъ, въ Елизаветградѣ. Отсюда я ѣду въ Бессарабію, а спутникъ въ Херсонъ. Сѣверный человѣкъ впервые на югѣ наблюдаетъ, любопытствуетъ, удивляется, изучаетъ. На прощанье мы завтракаемъ.

— Нѣтъ-ли тутъ какогонибудь мѣстнаго кушанья? спрашиваетъ сѣверный человѣкъ.

— Должно быть, есть. Спросимъ.

Великолѣпное дѣло! Да потуземистѣй спросите. Этакіхъ какихъ-нибудь пельменей, или воблы, или нельмы, что-ли. Надо, знаете, путешествовать по всей формѣ. Какіе тутъ тропическіе пельмени имѣются то?..

Лакей не имѣлъ ни малѣйшаго понятія ни о нельмѣ, ни о пельменяхъ. Туземистыми кушаньями оказались: бычки, плакѣ, муссака, бами и баклажаны. Баклажаны—дивное кушанье!

— О?! восклицаетъ сангвиническій спутникъ.

— Упоительное и восхитительное!

— Ну?!—Спутникъ начинаетъ отъ волненія вертѣться на стулѣ.

— Итальянцы сочиняютъ въ честь баклажановъ стихи. Новогреки посвящаютъ имъ новогреческія пѣсни.

— Что-жь онъ—птица, баклажанъ этотъ?

— Овощъ!!

— Ну?! Огурецъ?

— Совсѣмъ особенный овощъ. Овощъ, а между тѣмъ точно самое нѣжнѣйшее мясо ѣдите. Лучше мирра и вина. Соусъ чуть кисленькій, съ лучкомъ...

Спутникъ крякнулъ.

— И жирный. Да какъ вамъ сказать. Ыдали вы мозгъ изъ костей? Вотъ, и баклажаны, приготовленные по-гречески, въ этомъ родѣ. И потомъ—ни пресыщенія, ни изжоги...

— Давай, давай малый! прерываетъ меня спутникъ, обращаясь къ лакею.—Давай, другъ милый, поживѣй...

— Теперь здѣсь свои баклажаны, разумѣется, еще не успѣли, продолжаю я дразнить воображеніе нашего полярнаго гастронома,—но они тутъ въ такомъ почетѣ, что ихъ привозятъ изъ Египта, изъ александрійскихъ и каирскихъ огородовъ. Въ Смирнѣ, и то еще спѣлыхъ теперь нѣтъ.

— Да это, можетъ, бананы?!

— Не бананы, но стоятъ банановъ.

Спутникъ потиралъ руки и готовился измѣнить пельменямъ и нельмѣ.

Когда баклажаны были наконецъ принесены, онъ какъ-будто усомнился.

— Ну-ну, бодрясь говорилъ онъ, — ну-ну! Съ виду-то... Ну, ничего, ничего! Баклажаны! Б-бак-кла-жа-ны!! Съ виду-то, говорю я... Ничего, ладно! Ужъ если новогреческія пѣсни...

— Что вы говорите: съ виду?

— Говорю, равно-бы они слива огромная, синіе. Ну, да ладно... И кромѣ того видъ-то будто кожанный, на манеръ... портсигара, что-ли, или-бы кишка какая... Ничего, ничего!

— Южный фруктъ.

— Вѣрно! Южный фруктъ! Б-бак-клажаны, очень звучно!

Спутникъ взялъ кусокъ и поднесъ ко рту, но остановился.

— А это вы не шутя, что итальянцы ихъ воспѣваютъ?

— Не шутя. Самъ слышалъ въ Неаполѣ. И на мандолинѣ при этомъ играютъ.

Спутникъ, съ видомъ человѣка, готовящагося броситься въ воду, положилъ кусокъ въ ротъ. Лишь только онъ это совершилъ, какъ сдѣлался поразительно похожъ на человѣка, вскочившаго или въ воду холодную,

какъ ледъ, или въ кипятокъ. Въ такихъ случаяхъ на лицѣ изображается ужасъ, который въ первое мгновеніе смѣшанъ съ глубочайшимъ недоумѣніемъ. И тотъ и другое въ полномъ смыслѣ слова нѣмые: человѣкъ каменѣетъ. Но это только на одно мгновеніе, и уже въ слѣдующее столбнякъ смѣняется сверхъестественной подвижностью. Ноги прыгаютъ, руки машутъ, лицо искажается на тысячу ладовъ, самъ человѣкъ мечется такъ, какъ будто возможно быть сразу въ ста мѣстахъ. Это очень любопытное зрѣлище. Со спутникомъ мы однако чуть но поссорились.

— Спасибо! Очень хорошая шутка! сверкая очами, говоритъ онъ намъ.

Онъ только что вернулся изъ уборной. и отъ него сильно пахнетъ одеколономъ.

— Спасибо, продолжаетъ онъ и содрогается.—О, Господи! Чуть одеколономъ ротъ отполоскалъ. Я думалъ: баклажанъ,—а это на про... О, Господи!—на прованскомъ маслѣ!

— Ну да!..

— Вотъ мерзость-то! Лампадное масло въ горло льютъ...

— Да вы знаете-ли, что новогреки прованское масло пьютъ стаканами...

Спутникъ при этихъ словахъ снова исчезъ въ уборной. На этотъ разъ онъ не ограничился полосканіемъ, а еще положилъ на го-

лову компресъ. Когда онъ оправился, онъ списалъ въ памятную книжку всѣ туземныя блюда, — и баклажаны, и муссаку, и плаки, съ тѣмъ чтобы въ свое пребываніе на югѣ какъ-нибудь не ошибиться и не спросить ихъ себѣ въ трактирѣ. Даже невинныя рыбки, бычки, и тѣ попали въ index.

— Знаю я, батенька, говорилъ онъ, — бычки, бычки, — а потомъ не отплюешься. По новогречески это бычки, а по русски — хуже лягушки. Оттого-то греки и на араповъ похожи, что всякую падалъ трескаютъ.

Разстались мы, однако, мирно.

Кишиневъ.

Въ Елисаветградѣ мы были среди колоссальныхъ холмовъ. Это не горы, — тѣ особъ статья, — а волны земли. Какъ и морскія волны, они идутъ грядами съ зубчатой вершиной, какъ волны, они раздѣлены впадинами, равными выброшеннымъ изъ нихъ валамъ. И все это безмолвно и неподвижно застыло. Съ одного гребня на другой чуть видны люди и пасущійся скотъ. Деревни, въ глубокихъ балкахъ, кажутся разсыпанными бѣлыми камешками. Голосъ человѣческій не долетаетъ до противоположной гряды холмовъ. Самый свистъ паровозовъ, на протяженіи десяти-

пятнадцати верстѣ, влекущихъ поѣздъ все на одну и ту-же гору, раздается окрестъ не громче писка сусликовъ. И все это застывшее земляное море пустынно и голо: нигдѣ ни роши, ни кустика,—что-то лысое, или, вѣрнѣе стриженное подъ гребенку, потому-что все пространство занято травами и посѣвами. Колосально и монотонно.

Около Раздѣльной мы пробуемъ немножко ровной, какъ столъ, херсонской степи и затѣмъ снова ѣдемъ великанами-холмами. Рано утромъ мы переѣзжаемъ въ Бендерахъ Днѣстръ, не очень широкую, быструю рѣку. Ея лѣвый низкій берегъ, орошаемый двойнымъ,—весеннимъ и лѣтнимъ, во время таянія снѣговъ на Карпатахъ,—половодьемъ, весь въ садахъ болгарской колоніи Парканы. Виноградъ, груши, яблоки, сливы-венгерки, черешни, абрикосы, персики и даже айва, напоминающая камелію, только съ тусклымъ листомъ и сѣроватымъ стволомъ. Сады по границамъ обсажены вербой. Тамъ и самъ, точно зеленые фонтаны, высятся пирамидальные тополи, и могучими куполами подымаются старые орѣхи.

За Бендерами поѣздъ идетъ долинами ничтожныхъ бессарабскихъ рѣчекъ, и мы не видимъ ничего, кромѣ склона невысокой гряды холмовъ, да лужъ и камышей ручья. Не доѣзжая Кишинева, начинаются опять сады,

снова виноградъ и абрикосы, и наконецъ мы останавливаемся у небольшого кишиневскаго вокзала.

Кишиневъ удивительный городъ. Въ немъ жителей столько-же, сколько въ Кіевѣ, а между тѣмъ это огромное захолустье, глухой въ полномъ смыслѣ этого слова городъ, — глухой и нѣмой. Прямая, проложенная какъ по линейкѣ улицы, перекрещивающіяся между собою подъ прямыми углами, обставлены одноэтажными, много въ два этажа, домами. Однѣ улицы безъ мостовыхъ, другія мостятся. Всѣ — пустынны и тихи. Только изрѣдка промчится по нимъ легкій вихрь, подымая пыль, или провинціальный извозчикъ, мчащійся тоже вихремъ. Троттуары, конечно, въ первобытномъ состояніи. Магазины изображаютъ изъ себя ничтожныя лавчонки. Въ двухъ-трехъ книжныхъ магазинахъ кромѣ залежалаго ничего нѣтъ. Газетчикъ на весь городъ одинъ и не стоитъ на улицѣ, а разноситъ газеты только «знакомымъ». Водопровода нѣтъ, а есть только естественный «фонтанъ», бьющій изъ-подъ горы, на которой стоитъ «Мазаракіевская церковь». Бань нѣтъ, театра нѣтъ, садовъ съ развлеченіями нѣтъ, — и людей нѣтъ. Въ этомъ городѣ съ сотней тысячъ населенія всякое новое лицо заставляетъ оборачиваться и провожать себя глазами. Мѣстные жители знаютъ

рѣшительно всѣхъ и про всѣхъ наиподробнѣйшимъ образомъ сплетничаютъ. Словомъ, на большущемъ городѣ лежитъ печать косности и вялости молдавской, которая далеко оставляетъ за собою лѣнь не только россійскую, но и малороссійскую. Эта баснословная косность распространяется и на земское самоуправленіе. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ тутъ, говорятъ, была борьба земскихъ партій. Одна называлась русской и состояла изъ кучки русскихъ и многочисленныхъ тутъ помѣщиковъ изъ армянъ и грековъ. Другая — такъ называемая молдаво-жидовская. Пока у дѣла стояла первая партія, земство еще кое-какъ шевелилось. Но взяли верхъ молдаво-евреи, — и все «стало благополучно»: ни статистики, ни народнаго образованія, ни дорогъ, а одно только кормленіе у земскаго пирога. Конечно, къ этой партіи, сообразивъ ея косность, примкнуло нѣмецкое земство Аккерманскаго уѣзда и чувствуетъ себя прекрасно.

Возвратимся, однако, къ описанію Кишинева. «Проклятый городъ Кишеневъ, бранить тебя языкъ устанетъ», — писалъ Пушкинъ. И Пушкинъ былъ совершенно правъ. Во времена Пушкина Кишинева былъ ничтожнѣйшимъ селеніемъ. Тогда онъ вполне оправдывалъ свое имя, — Кишла-ноу, т. е. новый загонъ для скота. Этотъ за-

гонъ былъ устроенъ во времена оны среди дремучаго лѣса монастыремъ, стоявшимъ на мѣстѣ теперешней Мазаракиевской церкви, изъ-подъ которой бьетъ фонтанъ чистой воды. Старый загонъ былъ въ самомъ монастырѣ. Новый былъ выстроенъ неподалеку. Послѣ присоединенія въ 1812 году Бессарабіи къ Россіи, русскій полномочный намѣстникъ и областной верховный совѣтъ Бессарабіи, состоявшій изъ молдавскихъ боеровъ и управлявшій, подъ предсѣдательствомъ намѣстника, областью, избрали своей резиденціей Кишиневъ—Кишла-ноу. Въ это время городъ состоялъ только изъ нѣсколькихъ кривыхъ улицъ, съ старыми турецкими постройками, поразительно грязныхъ. Болотистая долина рѣчки Быка, узкія и грязныя улицы и тѣсныя дворы смердѣли, аки Лазарь трехдневенъ. Столь-же грязны и смрадны были и молдавскіе боеры, нынѣ оплакивающіе паденіе верховнаго совѣта, учрежденія вполнѣ опереточнаго. И сюда-то былъ сосланъ Пушкинъ. Не мудрено, что онъ, то собирался бѣжать за границу, то принимался играть въ карты, то кутилъ, то, о счастье, садился за стихи. Въ Кишиневѣ есть еще старики, которые помнятъ поэта. Они немного расскажутъ вамъ о немъ. Они помнятъ только, что онъ былъ оглашенная и безпутная голова. Въ мѣстныхъ архивахъ хра-

нятся «дѣла» о взысканіи съ дворянина Пушкина столькихъ-то и столькихъ рублей по векселямъ. На одномъ изъ прошеній о взысканіи есть собственноручный отзывъ дворянина Пушкина, смыслъ котораго заключается въ слѣдующемъ: «Долгъ образовался изъ карточного проигрыша; карточный долгъ есть долгъ чести; взыскиваетъ съ меня долгъ крѣпостной камердинеръ князя N., которому князь передалъ мой вексель, а потому полагаю, что у самого князя N. чести нѣтъ». Слѣдуетъ подпись. Это быдо въ 1821 году.

Кишеневъ круто измѣнился къ лучшему по инициативѣ, конечно, не верховнаго совѣта, а начальника области Федорова въ 1835 году. При немъ были проведены прямыя и ровныя улицы, составляющія теперешній Кишиневъ.

Въ Кишиневѣ есть два общественныхъ сада, одинъ у собора, другой—городской. Прямыя аллеи и сплошная роща бѣлыхъ акацій. Сады поддерживаются, но растутъ плохо. Акація, требующая глубокой почвы, обижается тѣмъ, что близко находитъ камень, и лѣтъ въ двадцать-тридцать начинаетъ усыхать верхушка. Липа и южный кленъ, съ маленькими, блестящими и очень изящными листьями, растутъ хорошо, но приживаются ту же, и ихъ садить лѣнятся. Кустовъ и цвѣтовъ мало, и только въ полномъ блескѣ бѣлая акація, совсѣмъ

сѣдая отъ цвѣтовъ. Въ теплый южный вечеръ, когда въ черно-синемъ небѣ спокойно и серьезно горятъ крупныя золотыя звѣзды, благоуханіе этихъ цвѣтовъ невыносимо сладко... Но—дадимъ слово нашему полярному спутнику, который пишетъ намъ изъ Херсона слѣдующее:

«Наконецъ я понялъ этотъ югъ. Теперь полночь, и варварскій Херсонъ спитъ какъ убитый. Я не могу спать. Я вышелъ на балконъ. Прямо передо мною городской садъ. У балкона тоже деревья, сквозь зелень которыхъ пробивается свѣтъ фонаря. Деревья — не знаю, какъ ихъ назвать: листья вродѣ акаціи, и цвѣтокъ какъ акація, но въ гроздьяхъ, какъ у черемухи, — благоухаютъ такъ сладко, такъ настойчиво, такъ неопреодолимо, что съ головой Богъ знаетъ что дѣлается. Все кажется удивительно хорошимъ, все, что видишь въ дѣйствительности. А то, что рисуетъ воображеніе, — то прямо упоительно. Покоряетъ меня этотъ благовонный, темный, лѣнивый и въ лѣни опасный и соблазнительный югъ. Эти слишкомъ прямые профили южныхъ женщинъ кажутся мнѣ прекрасными; эти слишкомъ черныя, блестящіе своей поверхностью глаза -- выразительными. Южная жара, — кажется я родился въ ней; я буду тосковать, когда съ ней разстанусь... Что за небо, что

за звѣзды! Не знаю, какъ благодарить судьбу, забросившую меня въ эту очарованную страну. Югъ, я отдаюсь тебѣ! Югъ, возьми меня! Я твой, я—весь твой!..

Иду внизъ, въ столовую и спрашиваю себѣ порцію баклажановъ по-гречески, — и велю положить больше, какъ можно больше прованскаго масла»...

Requiescat in baklajanibus..

II.

Молдо-Жидовія.

Молдаваны.

Молдо-Жидовія, или Бессарабія, лежащая отъ Кишинева къ сѣверу, по племени ея населяющему — только часть обширной страны, гдѣ живутъ молдаване, валахи и «жиды». Молдаване и валахи именуютъ себя румынами, а «жиды» состоятъ изъ евреевъ, грековъ, армянъ, арнаутовъ, цыганъ etc., etc. Молдаване и валахи страдаютъ «романоманіей», то-есть болѣзнено убѣждены, будто они происходятъ «отъ древнихъ римлянъ»; а «жиды», мало заботящіеся о томъ, отъ кого они происходятъ, романомановъ обираютъ на тысячу ладовъ, изъ которыхъ каждый весьма удаченъ.

Но въ самомъ дѣлѣ, кто такіе румыны теперь и кто ихъ родоначальники? Румыны, то-

есть молдаване, живущіе между прочимъ и въ Бессарабіи, и валахи — племя далеко не маленькое: ихъ больше десяти милліоновъ. Территорія, ими занятая, составляетъ правильный кругъ, описанный изъ середины Трансильванскихъ Альпъ радіусомъ до Дуная. Этотъ кругъ захватываетъ румынское королевство, хорошій кусокъ Венгрии и Бессарабію. Земля въ этомъ кругѣ благодатная, глубокой черноземъ. Климатъ, по европейскимъ понятіямъ, тоже благодатный. Во-первыхъ, у румыновъ растутъ знакомые читателю баклажаны. Во-вторыхъ, пшеница, питательная, азотистая пшеница, и кукуруза. Въ-третьихъ, виноградъ, абрикосы и персики. Это не мѣшаетъ термометру не только въ Кишиневѣ, но и въ Бухарештѣ, лѣтомъ подыматься до $+45^{\circ}$, а зимою иной разъ вдругъ очутиться на -30° . Романоманы, однако, мало извлекаютъ изъ этой благодати пользы. Занятые горделивыми мыслями о своемъ родствѣ съ «древними римлянами», они изъ превосходнаго винограда дѣлаютъ скверное вино, которымъ напиваются еще сквернѣе, а пшеницу продаютъ многочисленнымъ и разнообразнымъ «жидамъ», послѣ чего сами питаются исключительно кукурузой и получаютъ отъ того пеллагру.

Если у молдаванъ и есть что-либо общее съ итальянцами, такъ это пеллагра. Говорятъ, что

ихъ языкъ латинскаго корня. Говорятъ, что это такъ и есть. Надо вѣрить, но вѣрится съ трудомъ. «Бабака, гайда ла Кишинеу» — значить: папаша, поѣдемъ въ Кишиневъ. Это говоритъ молдаванская барышня своему молдаванскому папашѣ, — «бабакѣ». Любить помолдовански — «юбескъ». Погибнуть — «пропадескъ». Господинъ начальникъ — «дѳмну начальникъ». Если господинъ начальникъ хватить по физиономіи такъ, что разобьетъ ее, то молдаванъ скажетъ, что у него «образуль треснить», — лопнуло лицо. Молитвы молдаванъ состоятъ на-половину изъ славянскихъ словъ. Но зато есть, конечно, много словъ и латинскаго корня. «Ромунъ но пере» — румыны не переведутся, «синже» — кровь, «лапти дульчи» — сладкое молоко, «оки негри» — черные глаза, «касса ди обществъ» — общественная квартира, причемъ слово *обществъ* корня не столько латинскаго, сколько полицейскаго. Этотъ полицейскій элементъ весьма силенъ въ румынскомъ языкѣ. Черезъ территорію, населенную румынами, прошло великое переселеніе народовъ. Надо думать, что каждый народъ въ той или иной формѣ имѣлъ свою полицію. И вотъ, становой болгарскій принесъ слова родственнаго болгарамъ народа, самоѳдовъ; урядникъ изъ гунновъ оставилъ слова венгерскія; турки обогатили румынскій

словарь турецкими выраженіями, а сборщики податей изъ «жидовъ» — еврейскими, греческими и армянскими. Въ настоящее время высокопоставленная писательница Карменъ Сильва употребляетъ всѣ усилія, дабы вернуть румынскому языку чистоту, въ которой насадилъ его въ Румыніи римскій императоръ Траянъ.

Да это былъ императоръ Траянъ, который создалъ румыновъ. Косвенно на созданіе этой націи повліяли и евреи. Послѣ того, какъ императоръ Титъ раззорилъ Іерусалимъ, евреи разсыпались по всему свѣту, пылая жаждой наживы и мщенія. Часть ихъ зашла къ дакамъ, населявшимъ теперешнюю Румынію, и стала возбуждать ихъ противъ римлянъ. Даки поддались еврейскимъ внушеніямъ, начали войну съ Траянѣмъ, были побѣждены, истреблены въ корень, а на ихъ мѣстѣ Траянъ поселилъ колонистовъ, выведенныхъ изъ всѣхъ странъ всемірной римской имперіи. Евреи, конечно, уцѣлѣли, и первымъ европейскимъ народомъ, получившимъ себѣ въ подарокъ евреевъ, были румыны. Съ тѣхъ поръ они не расстаются съ ними.

Кто были колонисты, поселенные Траянѣмъ въ прежней Дакии, неизвѣстно. Извѣстно лишь, что они были набраны «изъ всѣхъ странъ» имперіи, а стало быть, если среди

нихъ и были итальянцы, то въ самомъ ограниченномъ числѣ. Зато порядки, власти и оффиціальныя языкъ новой области были строго римскіе. Строгость эта должна была быть очень велика, потому-что прошло вотъ уже полторы тысячи лѣтъ послѣ того, какъ порвана связь Румыніи съ Римомъ, а романы все-таки существуютъ и продолжаютъ утверждать, что графы Криспи и Когольничано—родственники, а папа Левъ XIII и приходскій батюшка села Формушика-Векки—хотя и разной вѣры, но одной крови.

Молдаване гораздо лучше, чѣмъ ихъ языкъ, въ которомъ прелесть и звучность уцѣлѣвшихъ латинскихъ корней уничтожаются совсѣмъ неэлегантнымъ произношеніемъ. Твердое *л*, обильныя неуклюжія двугласныя *оу*, *эу*, неопрятное іотированное *е*, твердое *ы*, шипящія буквы, слышныя иногда горловые звуки, занесенныя безчисленными восточными народами, по-долгу гостившими въ Бессарабіи и Румыніи,—все это дѣлаетъ языкъ бессарабскихъ молдаванъ мало привлекательнымъ. Не таковы сами молдаване.

Прежде всего молдаванинъ, и въ особенности молдаванка, добродушны. Жолчи въ ихъ организмѣ, повидимому, нѣтъ. Это не значитъ, однако, чтобы между молдаванами не было злодѣевъ. Напротивъ, они попада-

ются очень часто, — конокрады, грабители, убійцы, притомъ отчаянные; но злодѣйство это какое-то неорганическое, мало сознаваемое, внѣшнее и театральное. Такъ и хочется сказать этому злодѣю: «Дуракъ ты дуракъ; вообразиль, что это очень хорошо и кривляешься!». И я увѣренъ, что если хорошенько постараться говорить въ этомъ смыслѣ, подушевней и покраснорѣчивѣй, то добродушный молдаванинъ расчувствуется, перестанетъ разбойничать и взамѣнъ начнетъ ходить въ кабакъ и тамъ пѣть свои, хотя и нѣжныя по содержанию, но малозвучныя по музыкѣ пѣсни, изъ которыхъ каждая начинается «запѣвкой»: *Фрумзи верди*, т. е., зеленые листья. Молдаване и по внѣшности очень добродушны. По наружности молдаванинъ сильно напоминаетъ русскаго малоросса. Тотъ-же хорошій ростъ, тѣ-же длинныя ноги, небольшая голова, жилистое тѣло и плоская грудь. Цвѣтъ глазъ и волосъ разнообразенъ, какъ и у малороссовъ, напоминая, что, и то племя, и это составились изъ разнообразныхъ и родственныхъ элементовъ. Въ обоихъ сидитъ и славянинъ, и печенѣгъ, черный клобукъ и половчанинъ, немного скифа, частица гунна; татаринъ тоже не прочь былъ посодѣйствовать образованію новой расы. И молдаванинъ, и малороссъ похожи другъ на друга какъ родные братья, но

не какъ близнецы. Малороссъ энергичнѣй, жилистѣй и злѣе. Молдаванинъ-же какъ-будто тотъ-же малороссъ, но слегка обваренный или подмоченный. Нѣтъ той острой зоркости глаза у мужчинъ и быстроты и ловкости движеній у женщинъ. Молдаванинъ какъ-будто съ открытыми глазами дремлетъ. Молдаванка движется медленнѣй и вялѣе, чѣмъ хохлушка. На поляхъ мало пѣсенъ, въ деревняхъ почти не слышно бабьяго стрекотанья и дѣтскихъ криковъ.

Молдаванинъ не такъ силенъ, какъ малороссъ, но зато въ массѣ онъ благообразнѣй. Среди хохловъ попадаются иной разъ прямо орлы и красавцы, а среди хохлушекъ прямо королевы, но на ряду съ такими молодцами вдругъ очутится не человекъ, а, что называется, езопъ или морда: осмигранная голова, носъ или пуговкой, или рулемъ, свиные глазки, вмѣсто волосъ пакля, ноги колесомъ. Смышленность и веселость такихъ езоповъ доказываютъ, что они люди вполне нормальные, и лишь отродились въ прапрадѣдушку, служившаго въ войскахъ его величества короля всѣхъ гунновъ, Атиллы. Среди молдаванъ такой скандалъ невозможенъ; и они и онѣ красивы довольно ровно, уродовъ не встрѣчается, но все-таки можно подмѣтить, во первыхъ, брюнетовъ и блондиновъ и во вторыхъ, лица

культурныя и варварскія. Молдаванинъ-брюнетъ, какъ я уже сказала, похожъ на брюнета-хохла, и ни капли не похожъ на итальянца. Въ самомъ дѣлѣ, итальянецъ маленькій, а молдаванинъ высокъ; итальянецъ пухлый, а молдаванинъ сухощавъ; красивый итальянецъ — точеная игрушка, а молдаванинъ костистъ. Самыя величественныя и наиболѣе варварскія лица попадаютъ между блондинами. Это — точно ожившія статуи дакійскихъ царей, которыя имѣются въ каждомъ музеѣ античныхъ статуй. Гордо откинута назадъ небольшая голова, орлиный носъ, пушистые усики и бородка, небольшіе, но живые голубые глаза. Издали подумаешь, — въ самомъ дѣлѣ герой; но стоитъ только взглянуть въ этого «варварскаго принца» поближе, чтобы убѣдиться, что энергичныя линіи и рѣзкія формы — только внѣшность. Внутри, — это тотъ-же подмоченный, вялый и добродушный молдаванинъ.

Женщины еще добродушнѣе мужчинъ, и также однѣ имѣютъ очертанія лица: нѣжныя добрыя, большіе черные глаза, прямой профиль, замѣчательно маленькіе лобъ, ротъ и зубы, — а другія, съ ихъ покатымъ лбомъ и выдающеюся нижней частью лица, смахиваютъ какъ будто на цыганокъ. Заговорите съ молдаванкой повеселѣй и поласковѣй, и вы уви-

дите, что даже самая съ виду сердитая изъ нихъ немедленно улыбнется наивнѣйшей, почти дѣтскою улыбкой и накормитъ и напоитъ васъ какъ самая родная тетка. Правда, говорить надо по молдавански, иначе ничего кромѣ кроткаго но упornaго «нушти русешти» (не понимаю по-русски) вы не добьетесь.

Вообще, смѣло можно сказать, что молдаване — хорошія созданія: добрыя, тихія, красивыя, опрятныя, наивныя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эти созданія, и именно мужчины, великіе лѣнтяи; мужчины и женщины вмѣстѣ — образецъ безопасности, а женщины въ отдѣльности черезчуръ легкомысленны, хотя это легкомысліе отзывается не то наивностью, не то добросердечностью. Для полноты характеристики молдаванина слѣдовало-бы прибавить, что они, какъ мужчины, такъ и прекрасный полъ — мелкій воръ; и я не прибавляю этого лишь потому, что въ нашемъ отечествѣ всѣ народы, за исключеніемъ нѣмцевъ, да чухонцевъ, — отъ алеутовъ до польскаго мужика и отъ самоѣдовъ до черноморскаго хохла, непременно мелкіе воры. Заграницей за это судятъ, а у насъ считаютъ столь-же естественнымъ, какъ давленіе атмосферы и притяженіе земли. И такъ молдаване хорошіи народъ. Каковы «жиды», мы увидимъ дальше.

— Непременно, непременно взгляните на

сѣверную Бессарабію, говорили мнѣ бессарабцы, послѣ того, какъ я вернулся изъ южныхъ, Акерманскаго и Бендерскаго, уѣздовъ, нынѣ переименованныхъ нѣмцами въ Акерманландію и Бендерландію.—Поѣзжайте на сѣверъ. Тамъ рай: воды, лѣса, дожди изобильны, урожаи неслыханные, народъ прекрасный...

— Ахъ, молдаванскія хаты! говорили дамы.—Вы не можете себѣ представить, съ какимъ вкусомъ раскрашены ставни, и какіе тамъ прелестные ковры...

Я начиналъ увлекаться. Кишиневъ, въ которомъ я сидѣлъ, становился ужаснымъ. Былъ июль, и термометръ на солнцѣ показывалъ 45, 46, 47°. Въ номерѣ моей каменной гостиницы, притомъ обращенной на сѣверъ, жары доходили до 23°. Дождей не было, и это еще спасало, потому что влажность при такой температурѣ была-бы равносильна согрѣвающему компрессу. Зато мучила атмосфера, заряженная электричествомъ. Изъ Кишинева слѣдовало бѣжать. Я сѣлъ.

Сначала сѣверная Бессарабія сдерживаетъ обѣщанія своихъ почитателей. Черезъ двѣ, три станціи отъ Кишинева начинаются лѣса. Нельзя сказать, чтобы были они очень тѣнисты и живописны, но все-же это большія деревья, дубъ, берестъ, вязъ; все-же холмы, покрытые ими, не имѣютъ вида балетомановъ первыхъ рядовъ

кресель. А ручьи, вдоль теченія которыхъ бѣжитъ желѣзная дорога, подымаясь куда-то въ гору и въ гору, и совсѣмъ живописны, потому что ихъ берега заросли громадными ивами, тополями, ясенями и такою-же громадной густою травой. Безлѣсныя степи надоѣли; все одна и та-же бѣлая акація въ садахъ и на «плантаціяхъ» южныхъ «колоній» пріѣлась, и здѣсь отдыхаешь; а лѣсное эхо, повторяющее свистки нашего паровоза, давно не слышанное эхо, прямо восхищаетъ, такъ что забываешь, что дубы и вязы хоть и велики, но кривы и съ засохшими верхушками.

Послѣдняя лѣсная станція — Корнешты. Слѣдующій полустанокъ, Корнешты-Переваль, находится на одной изъ высшихъ точекъ Бессарабіи. И дѣйствительно высоко! Лѣсъ кончился, и предъ вами открываются крутой склонъ горы, а внизу—взволнованная необъятная равнина, полная итальянской синевато-фіолетовой мглы, идущая къ недалекому Пруту и за Прутъ, въ Румынію. Съ горы въ равнину поѣздъ скатывается съ захватывающей духъ быстротой,—и чрезъ нѣсколько минутъ мы уже въ Пырлицѣ.

«Жиды»

Я изѣздилъ сѣверную Бессарабію,—и какое разочарованіе! Прежде всего, цѣлый уѣздъ,

а именно Хотинскій, самый сѣверный, самый живописный, гдѣ дѣйствительно есть лѣса, рѣки горы и даже дѣльноземство, ведущее дѣльную статистику,—не принадлежитъ къ Молдожидовіи. Когда Россія въ 1806 году заняла Бессарабію, которую она шесть лѣтъ спустя получила, кстати сказать, вмѣсто всѣхъ придунайскихъ княжествъ, какъ хотѣла,—въ то время мы нашли молдо-жидовъ только въ средней Бессарабіи. Эта часть подчинялась молдавскому господарю, который въ сущности былъ турецкимъ откупщикомъ податей, а происходилъ непременно изъ «жидовъ», или константинопольскихъ грековъ. Югъ (Измаильскій, Бендерскій и Акерманскій уѣзды) назывался Буджакомъ, и тамъ кочевали татары. Татары мы перевели въ 1808 году въ Крымъ, а оставшуюся послѣ нихъ дыру заткнули нѣмцами, болгарами, цыганами и даже албанцами. Русское населеніе появилось здѣсь въ качествѣ не колонистовъ, а бѣглыхъ. Что касается сѣвера, Хотинскаго уѣзда, то онъ былъ населенъ турками и управлялся непосредственно турецкими пащами.—Все это справка, не лишенная практическаго значенія. Когда панрумыны соберутся отбирать отъ насъ Бессарабію, мы не отдадимъ имъ трехъ южныхъ и Хотинскаго уѣздовъ: на первые имѣютъ права пантатары, на послѣдній—пантурки, и притя-

занія на нихъ пусть предъявляютъ Касимовъ и Стамбуль, а не Букурешть.

Въ 1806 году опустѣль и турецкій Хотинскій уѣздъ. Но тутъ дыра была заткнута буковинскими и галиційскими малороссами. Эти малороссы носятъ волосы до плечъ, подстриженные только надъ лбомъ, уже жалуются на то, что у нихъ мало земли и бродятъ по всей Бессарабіи, ища заработковъ. Хорошаго въ этомъ мало, но зато они не заводятъ ни Германій, ни Болгарій, подобно нѣмцамъ и братушкамъ южныхъ уѣздовъ. Зовутъ ихъ въ Бессарабіи райкàми, воображая, что это особенный народъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ райей турки называли области, не имѣвшія автономіи и управлявшіяся Константинополемъ непосредственно. Хотинскій уѣздъ былъ — Хотинской райей.

Итакъ, Молдо-жидовія состоитъ изъ четырехъ уѣздовъ: Кишиневскаго, Оргѣвскаго, Бѣлецкаго и Сорокскаго, — территории все-таки достаточно обширной для того, чтобы не видѣть въ моихъ характеристикахъ «жидовъ» ничего личнаго. Говорю это потому, что наша провинція вообще, а такая глухая какъ Бессарабія въ особенности, никакъ не можетъ понять, что книжки сочиняются не съ спеціальной цѣлью кого-нибудь «раскритиковать». По ея мнѣнію, «Отелло» написанъ для того, чтобы напакостить Дездемонѣ.

Бессарабія—по преимуществу страна бѣглыхъ, не только въ прошломъ, но и въ настоящемъ. Туда бѣгутъ великорусскіе раскольники и малороссы; бѣгутъ румынскіе солдаты и провинившіеся на родинѣ нѣмцы; бѣгутъ уклоняющіеся отъ воинской повинности евреи всѣхъ странъ и турецкіе подданные всѣхъ національностей, которымъ не хочется потерять голову; бѣгутъ болгары, дѣлающіе оппозицію Стамбулову, и руссины, имѣющіе крупныя недоразумѣнія съ галицкими ясновельможными панами. Бессарабія излюблена бѣглыми, во-первыхъ, потому, что ея дунайскую границу, состоящую изъ безконечныхъ камышевыхъ болотъ, не убережетъ никакая стража въ мирѣ, а во-вторыхъ, по той причинѣ, что вблизи находятся четыре государства: Россія, Австрія, Румынія и Болгарія, изъ числа которыхъ хоть одно да окажетъ снисхожденіе бѣглецу.

Такъ оно теперь, такъ оно было и встарь, и конечно, въ размѣрахъ болѣе широкихъ. Поэтому не ищите въ Молдо-жидовіи настоящаго стараго дворянства, старыхъ помѣщичьихъ родовъ. Они замѣнены здѣсь «жидами». Большинство—греческіе люди фанаріотскаго происхожденія, зашедшіе сюда вмѣстѣ съ греческими господарями, бравшими страну у султана на откупъ. Они омолодавались по языку и по фамиліи, но по грубости и жад-

ности остались настоящими фанариотами. За греками слѣдуютъ «жиды» еврейскаго происхожденія, которые впервые поселились въ Бессарабіи, какъ мы знаемъ, вскорѣ послѣ разрушенія Іерусалима. Затѣмъ идутъ такія націи, какихъ и придумать себѣ въ другомъ мѣстѣ невозможно. Нѣмецъ, — но французскій подданный. Французъ, — но поданный прусскій, Армянинъ, — но родомъ изъ Галиціи, пятое поколѣніе говоритъ по-польски и исповѣдуетъ католическую вѣру. Сидоръ Хомутовъ, — а иностранецъ, румынъ, бывшій депутатъ букарештскаго парламента и едва-ли не скопецъ. Аугустъ Мильхъ, — а поданный турецкій. Какая-нибудь Авдотья Карпова вдругъ оказывается въ замужествѣ за великобританскимъ подданнымъ; но ея великобританецъ носить фамилію польскую. Потомъ идетъ какой-нибудь Кшепшицюльскій, увѣряющій, что по настоящему онъ не Кшепшицюльскій, а Кшепшицюлешты, то-есть природный румынъ, и происходитъ по прямой линіи отъ императора Траяна. Есть даже разбогатѣвшіе цыгане, дѣды которыхъ еще на памяти сторожиловъ занимались конокрадствомъ, а внуки уже именуютъ себя боерами. Нѣтъ ничего легче, какъ превратиться въ румынскаго боера. Встарь въ Россіи, а нынѣ въ Румыніи можно поддѣлать дворянскіе документы за довольно сходную цѣну.

Само-собой разумѣется, что молдо-жидовскія помѣстья очень крупны, ибо только отъ трудовъ праведныхъ не наживаютъ палатъ каменныхъ. Тутъ-же едва-ли много найдется состояній, нажитыхъ чистыми путями. Предокъ одного нажился въ качествѣ откупщика податей, а то такъ и прямо разбоями. Дѣдушка другого былъ турецкимъ пашею и передалъ непріятелю за приличное вознагражденіе защищаемую имъ крѣпость. Третій укралъ у мароккского султана многомилліонную жемчужину и, проглатывая ее каждое утро, благополучно утаилъ и прибылъ въ Бессарабію. Четвертый нажился благодаря безукоризненной работы фальшивымъ бумажкамъ. Впрочемъ, всѣхъ бессарабскихъ способовъ пріобрѣтенія крупныхъ состояній не перечесть, но всѣ они пахнутъ варварскимъ востокомъ, — Фанарой, Левантомъ, арнаутскими горными ущеліями, румынскими плавнями, глухими турецкими порядками и, увы, дореформенной русской полиціей, сквозь пальцы смотрѣвшей на бумажки, жемчужины, дворянскіе документы, скопчество и даже на не выходящіе изъ ряда разбои.

Изъ всего этого сомнительнаго сброда не могло образоваться хорошаго общества. Оно богато, — но жадно и только. Бессарабское земство, единственное не русское земство въ

Россіи, зарекомендовало себя не выгодно. Бессарабцы, за исключеніемъ аккерманскихъ нѣмцевъ да хотинцевъ, внесли въ новое самоуправленіе (въ предѣлахъ возможности, конечно) многія непривлекательныя черты старой при-турецкой автономіи дунайскихъ княжествъ. Старыя доходныя должности, разные камараша и грамматики, портарь-баши и ватаги, мухудары и чубукджи еще живы въ памяти боеровъ и имъ хочется хоть по внѣшности разыгрывать старыя роли. Нажива сводится къ раздаванію земскихъ «мѣсть» родственникамъ и людямъ своей партіи, да къ сведенію до минимума земскихъ налоговъ, да къ мелкимъ подрядцамъ и поставкамъ. Серьезнѣе и вреднѣе личная вліятельность богачей-боеровъ. Богачи имѣютъ связи. У этого племянница вышла замужъ за кроатскаго принца, тотъ ссудилъ милліончикъ родосскому герцогу, третій имѣетъ значеніе при дворѣ Бисхенъ-эссенскаго курфюрста. Все это, конечно, связи не важныя въ политическомъ отношеніи, но въ уѣздахъ и даже въ губерніи, если послѣдняя сама не имѣетъ связей, съ ними приходится считаться. Богъ его знаетъ, этого Кукурузула! Деньги есть, ѣздитъ въ первомъ классѣ, стоитъ въ лучшихъ гостинницахъ, на симфоническихъ вечерахъ у Бисхенъ-эссенскаго владѣтельнаго маркграфа бываетъ, даже бессараб-

ское вино ему въ подарокъ даетъ, а вдругъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтится и что-нибудь насплетничаетъ и наскажетъ! Ну, и подавай въ отставку. Лучше поэтому жить съ Кукурузуломъ въ мирѣ. А Кукурузуль и радъ: хотъ немножечко, да похожъ на великаго чубукджи добраго стараго времени.

Наше бѣдное отечество принято бранить. Бранить за дѣло, бранить любя, велить пословица: съ грѣхомъ бранись, съ грѣшникомъ мирись. Мнѣ до смерти обидно, что акерманскій мѣщанинъ — первый воръ, тогда какъ акерманскій-же нѣмецъ — честиѣйшій человекъ подь луною; но браня мѣщанина, я не желаю искоренить его. Иначе бранятся наши внѣшніе европейскіе друзья и родственники этихъ друзей, проживающіе въ Россіи. Въ ихъ глазахъ Россія — бичъ Божій, источникъ варварства, истребитель культуры. Величайшимъ благодѣяніемъ для цивилизациі человека было-бы, если-бъ океаны залили Россію и надъ нею пошли ходить пароходы. А между тѣмъ сколько народу извлечено Россіей изъ самой, что-называется, помойной ямы варварства! Взять хотя-бы ту-же Бессарабію. Я не могу удержаться, чтобы не сдѣлать довольно обширной выписки изъ статьи г. Накко «Гражданское управленіе въ Бессарабіи, Молдавіи и Валахіи во время русско-турецкой войны

1806—1812» *). Вотъ въ какомъ видѣ застали русскіе изверги автономныя дунайскія княжества:

«До введенія русскаго гражданскаго управленія въ Бессарабіи, Молдавіи и Валахіи, области эти находились подъ властью господаря. Власть господаря имѣла характеръ деспотическій, и воля его должна была исполняться безпрекословно. Господарь управлялъ страной посредствомъ центрального правительства или дивана, для каждаго княжества отдѣльно, составленнаго изъ первыхъ сановниковъ государства, духовныхъ и свѣтскихъ. Каждый диванъ дѣлился на департаменты. Главнѣе прочихъ былъ департаментъ финансовъ (вистерія), и начальникъ его, великій вистіаръ, считался самымъ вліятельнымъ лицомъ въ диванѣ. Сила вистіара заключалась въ безконтрольномъ завѣдываніи государственной казной и въ произвольномъ распоряженіи доходами страны: Податями, налогами, откупами, натуральными повинностями и проч...

«Диванъ былъ собраніемъ олигарховъ, а не

*) XI томъ «Записокъ Имп. одесскаго общ. ист. и древн.» Тотъ-же г. Накко издалъ четыре тома «Исторіи Бессарабіи» съ древнѣйшихъ временъ до 1812 г. Одесса. 1873—1876 г. Кажется, это единственная исторія румыновъ на русскомъ языкѣ. Трудъ г. Накко излишне растянутъ, но интересенъ.

правильно организованнымъ правительственнымъ учрежденіемъ. Диванъ, или центральное правительство, завѣдывалъ провинціями или «цылутами» посредствомъ исправниковъ, въ рукахъ которыхъ были сосредоточены всѣ отрасли внутренняго управленія края. Въ каждомъ цылутѣ полагалось по два исправника, срокомъ на одинъ годъ. Власть исправниковъ была такая-же деспотическая и безконтрольная, какъ и власть самого дивана. Совмѣщая въ себѣ всѣ функціи цылутнаго управленія, они являлись одновременно въ роли администраторовъ и судей, полиціймейстеровъ и откупщиковъ, сборщиковъ податей и казначеевъ, слѣдователей и тюремщиковъ—не руководствуясь при отправленіи этихъ обязанностей никакими правилами, или уставами. Въ должности исправниковъ поступали лица только самыхъ первыхъ фамилій, не исключая и сыновей бывшихъ господарей»...

Подъ начальствомъ исправниковъ находились многочисленные чиновники, занятые исключительно выбиваніемъ податей. «Дѣятельность ихъ поглащалась однимъ этимъ дѣломъ въ такой степени, что за тѣмъ ни они, ни само государство не заботились болѣе ни о чемъ: земскіе порядки, пути сообщенія, устройство городовъ, торговля, промышленность, образованіе, правосудіе,—словомъ все, что не вхо-

дило въ программу денежной эксплуатаціи, не имѣло никакой организаціи. Занимая всѣ мѣста въ диванѣ и въ земствѣ, чиновники-боѣры держали всю страну въ своихъ рукахъ и поступали съ народомъ какъ съ крѣпостными людьми. Не руководствуясь никакими правилами, не говоря уже о законахъ, они налагали на народъ произвольныя подати, собирали эти подати въ двойномъ, а нерѣдко и въ тройномъ противъ первоначальнаго предположенія количествѣ, употребляли откупа и натуральныя повинности въ свою пользу, заставляли людей работать на своихъ вотчинахъ безвозмездно, и во всемъ имѣли только одну цѣль—личное обогащеніе. Насколько такая система (?) была разорительна для народа, видно изъ того, что въ короткое время бѣольшая половина его искала спасенія въ эмиграціяхъ; боѣрамъ-же она была очень выгодна, давая имъ возможность быстро обогащаться безъ всякаго труда, единственно въ ущербъ благосостоянію страны. Причина такого печальнаго направленія времени объясняется совершеннымъ отсутствіемъ въ тогдашнемъ обществѣ умственныхъ и нравственныхъ идеаловъ, національныхъ стремленій, патріотизма, наконецъ челоуѣчности. Вмѣсто всѣхъ этихъ стремленій вездѣ господствовали грубыя нравы, животныя инстинкты и безчелоуѣчная жесто-

кость; единственнымъ благомъ считались деньги и богатство. Отсюда, какъ ближайшія слѣдствія такого состоянія общества, были соперничества и интриги, казни и междоусобія. Продажа должностей была въ полномъ ходу и какъ-бы узаконена нравами и обычаями. Мелкіе земскіе чиновники покупали свои мѣста отъ исправниковъ, исправники, въ свою очередь, отъ членовъ дивана, а эти послѣдніе отъ господаря; самъ-же господарь покупалъ свое мѣсто въ Константинополѣ. Положеніе народа, управлявшагося такими порядками, было ужасное. Правда, онъ не состоялъ въ рабствѣ, но не менѣе того система правленія, основанная на откупѣ, пагубно отражалась на его матеріальномъ бытѣ. Умственное, нравственное и юридическое состояніе народа вполне соответствовало матеріальной его обстановкѣ: нигдѣ не было ни одной школы, ни одного наставника, ни одной книги; однѣ только церкви, встрѣчавшіяся въ рѣдкихъ мѣстахъ, свидѣтельствовали еще о томъ, что населеніе этой страны вышло уже изъ состоянія варварства...»

И вотъ въ эту страну попадаютъ русскіе, эти «варвары и рабы», «кнутобойцы и холопы». Они ужасаются той пучинѣ невѣжества и несчастія, въ которую погружена страна. Кроважадные солдаты: князь Прозоровскій, графъ

Каменскій, Багратионъ, Кутузовъ; злоехидное крапивное сѣмя: сенаторы Кушниковъ и Красно-Милошевичъ, со своими чиновниками, Сорокумскимъ, Сомовымъ, Букинымъ, Лейбинымъ—просто надрываются на работѣ, чтобы привести въ порядокъ управленіе и хоть немного очеловѣчить населеніе. Что-же оно встрѣтило со стороны румынскихъ «жидовъ»? вмѣсто помощи—помѣху во всевозможныхъ формахъ. Сыплются доносы въ Петербургъ, предлагаются взятки, волнуется населеніе, для чего боеры входятъ въ дружбу съ разбойниками; и, наконецъ, въ иностранныхъ газетахъ появляются статьи, въ которыхъ изображается тираннія русскихъ въ счастливыхъ княжествахъ. Казнь боеровъ, Катарджи и Канта, сообщниковъ разбойника Бужора, въ этихъ статьяхъ изображается въ видѣ умерщвленія патріотовъ-революціонеровъ причемъ, конечно, умалчивается о найденномъ складѣ награбленнаго добра; а выписка изъ Петербурга «танцора Прокофія Иванова для обученія молдаванъ приличнымъ танцамъ» получаетъ характеръ убійственной руссификаціи.

На мѣстѣ этой-то мерзости запустѣнія теперь мы видимъ и кишиневскій окружной судъ, и кое-какія земскія школы, и кое-какихъ земскихъ мировыхъ судей, и порядочныя церкви, и грамотныхъ священниковъ, и наконецъ, рядомъ съ Бессарабіей, кое-какое румынское ко-

ролевство. И создали все это не турки, не фанариоты, не боэры, ни даже ближайшая и давняя сосѣдка румыновъ Австрія, а мы, холопы, кнутабойцы и варвары. Конечно, по субъективнымъ и объективнымъ причинамъ мы не могли сдѣлать изъ Молдо-Валахіи—Бельгію, но мы не сдѣлали и Ирландіи. Стало-быть, есть-же нѣчто доброе и честное въ этихъ солдатахъ, Прозоровскихъ и Каменскихъ, и въ этихъ чиновникахъ, Кушниковыхъ и Сорокунскихъ. И надо удивляться, какъ можетъ Россія съ тѣмъ малымъ запасомъ культуры, которымъ надѣлила ее трудная ея исторія, дѣлать то добро, которое она дѣлаетъ, и творить его такъ прочно и надежно. Сербія, Болгарія, Румынія, польскіе и бѣлорусскіе мужики, Средняя Азія тому свидѣтели, хотя часто невольные и не всѣ одинаково благодарные.

Сельскіе и городскіе пейзажи.

Я началъ съ того, что сѣверная Бессарабія меня разочаровала,—и сбился на исторію. Возвращаясь къ моему разочарованію.

Въ Корнештахъ были послѣднія лѣса благословенной Бессарабіи. Въ Пырлицѣ, гдѣ мы мѣняемъ желѣзную дорогу на лошадей, ихъ уже нѣтъ. Мѣстность обнажена, но что за удивительная мѣстность! Земля тутъ точно въ

котлѣ кипѣла и внезапно застыла. Кажется, полуверсты вы не пройдете ровнымъ мѣстомъ. Вездѣ какіе-то уродливые, измятые конусы, вездѣ многогранныя неправильныя пирамиды. Взберетесь вы на такую стереометрическую фигуру, а кругомъ—яма, глубиной сажень во сто, въ полтора ста. За ямой—новые конусы, новыя пирамиды, окруженныя новыми ямами. Направо, вдали, синѣетъ самая высокая гора Бессарабіи, Мегура. Она кое-гдѣ покрыта лѣсами. Тамъ и сямъ по ея склону разбросаны деревни. И вотъ, мы ѣдемъ по этой невозможной мѣстности, «то ныряя, то взлетая». И бугры, и ямы всѣ запаханы. Хлѣба уже убраны, сѣно скошено. Въ полѣ осталась только кукуруза. Водъ, которыя мнѣ были обѣщаны въ изобиліи, не видать.

Мы подвигаемся къ Бѣльцамъ. Сначала идутъ нѣмецкія колоніи: Шолтой, Новый Шолтой и Кадоязны. Впрочемъ, сдѣшніе нѣмцы не самыя настоящіе. Во-первыхъ, они пришли сюда изъ Галиціи, убѣгая отъ разразившагося тамъ въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ голода. Во-вторыхъ, они арендаторы, а не собственники, и по этому, въ третьихъ, бѣдны и мечтаютъ не столько о фатерландѣ, сколько о томъ, чтобы быть сытыми. За всѣмъ тѣмъ, это хорошій народъ. Во всякой деревнѣ, хоть въ мазанкѣ, а есть школа. Передъ школой,

на перекладинѣ, виситъ колоколь, по звуку котораго немедленно собирается вся деревня. Когда нѣмецъ съ вами разговариваетъ, то смотритъ прямо въ глаза, по-человѣчьи; когда онъ при этомъ по какимъ-либо обстоятельствамъ вретъ, то сильно краснѣетъ, а стало быть чувствуетъ угрызенія совѣсти. Безпаспортныхъ, которыхъ въ Бессарабіи тьма, задерживаетъ, приводитъ къ становому и говоритъ: «Господинъ приставъ, мнѣ очень кажется, что у этого человѣка есть дурное сердце, ein schlechtes Herz». Становой имъ отвѣчаетъ: «Вы у меня, нѣмцы, молодцы; только отчего вы, чортъ васъ возьми, не строите себѣ бань? Вѣдь отъ нѣмца за версту разить честностью и заношеннымъ платьемъ. Хоть-бы бабъ вашихъ, по крайней мѣрѣ, мыли». — «У насъ нѣтъ этого хорошаго обычая», говорятъ нѣмцы и продолжаютъ пребывать въ чистотѣ душевной и неопрятности тѣлесной.

Но вотъ, наконецъ, первая настоящая молдаванская деревня. Я увѣренъ, что читатель никогда не видывалъ такихъ деревень. Имя ей, положимъ, Слободзея, что на языкѣ потомковъ «древнихъ римлянъ» значитъ слобода. Слободзей ужасно много въ Молдо-Жидовіи. Очень часто прибавляется, какая именно слободзея: Формушика — красивая, Импуцыта — грязная, Попушой — кукурузная. Въ нашей

Слободзеѣ тысячи полторы душъ, четыреста хатъ,—и ни одной улицы, ни одного забора, ни одинаго садика и ни единой постройки, кромѣ избъ, если не считать крохотной церкви. Особенно удивительно, что даже улицы нѣтъ. Избы разсыпаны безъ намека на порядокъ, и дорога, большая торговая дорога, съ телеграфными столбами, вьется какъ муравьиная тропинка между группой опенковъ. Домики, сажени двѣ въ длину и полторы въ ширину, дѣйствительно похожи на грибы. Стѣны безукоризненно бѣлыя, а соломенная крыша — громадной шапкой. По срединѣ дверь, направо и налево по оконцу. И окна и двери обведены краской, цвѣта которыхъ дѣлаютъ честь молдаванскому вкусу. Цвѣта эти—или синій, или красно-коричневый, глубокихъ теплыхъ тоновъ. На крышѣ почти всегда сидитъ пара аистовъ съ потомствомъ, и гнѣздо ихъ малымъ меньше избы, а построено оно конечно искуснѣй, особенно если принять во вниманіе, что у аиста (лелѣка по здѣшнему), кромѣ его краснаго клюва, никакихъ инструментовъ нѣтъ. Лелѣка—это геній-хранитель здѣшнихъ деревень, и когда сосѣднія села ссорятся, они, между прочимъ, убиваютъ аистовъ своего недруга.

Внутренность молдаванской хаты - гриба безукоризненно чиста. Полъ, стѣны и пото-

локъ гладко вымазаны глиной. Потолокъ и стѣны побѣлены, полъ сохраняетъ свой сѣро-зеленоватый цвѣтъ и усердно плодитъ блохъ, которыя хотя отчасти замѣняютъ отсутствующихъ тутъ таракановъ и клоповъ. Въ сѣняхъ помѣщается главное отличіе молдаванина отъ его брата по крови, малоросса, — очагъ въ видѣ большого камина, замѣняющій малороссійскую печь. Изъ сѣней налѣво—жилая комната безъ всякаго убранства; направо,—такъ сказать, гостиная, убранная съ «безумной роскошью». Вдоль стѣнъ идутъ лавки, до полу покрытыя пушистыми цвѣтными коврами. Стѣны подъ лавками затянуты полосой цвѣтныхъ плахтъ. Въ переднемъ углу—множество ярко-раскрашенныхъ бумажныхъ иконъ. Рядомъ съ ними—группа «государей всего свѣта» и «ступени человѣческаго возраста», съ объясненіями на русскомъ и греческомъ языкахъ, печатанныя въ Москвѣ. У противоположной окнамъ стѣны стоитъ пышная кровать, съ безчисленными подушками. На кровати навалены штуки тонкаго полотна, ковровъ, утиральниковъ и плахтъ. Это сокровище имѣется въ тѣхъ избахъ, гдѣ есть невѣста, и оно составляетъ приданое послѣдней. Въ довершеніе очарованія, за кривыя балки потолка заткнуты пучки душистыхъ травъ, а стѣны тамъ и сямъ завѣшаны лоскутками ситца и яркихъ бумаж-

ныхъ обоевъ. Все это очень миловидно, но удивительно безпомощно и примитивно. Въ постройкѣ ни одной прямой линіи, ни одной ровной плоскости; нитки въ красивомъ холстѣ неровныя; узоры цвѣтныхъ тканей напоминаютъ рисунокъ оперенія птицы или сусликовой шкурки. Сейчасъ видно, что рука молдаванина еще не далеко ушла отъ клюва его друга, лелеки.

Сходство здѣшняго человѣка съ аистомъ идетъ и еще дальше. У аиста только одна постройка, — гнѣздо; у человѣка — одна хата. Аистъ ничего не сѣетъ; человѣкъ сѣетъ очень мало. У аистовъ нѣтъ церквей; молдаванинъ поразительно равнодушенъ къ религіи.

Основа молдаванскаго бытія — кукуруза. Десятина, полторы этого благодѣтельнаго растенія вполнѣ обезпечиваютъ годовое пропитаніе. А больше молдаванину ничего и не нужно. Полторы десятины онъ можетъ обработать заступомъ, — и онъ не держитъ скота. Нѣтъ скота — не нужны никакія постройки, кромѣ избы да огромной, съ избу, плетневой кошолки, куда ссыпаются початки попушоя. Кромѣ десятины кукурузы, у молдаванина есть еще виноградникъ. Когда виноградъ созрѣетъ, молдаванинъ выдавливаетъ изъ него сокъ. Сокъ бродитъ, а нашъ герой его пьетъ, страдаетъ разстройствомъ желудка и пребы-

ваетъ безпросыпа пьянъ, пока не выпьетъ всего запаса. Тогда онъ принимается за мамалыгу, крутую кашу изъ кукурузной муки, вкусомъ похожую на пшонную. Когда и это прикончено, молдаванинъ живетъ маринованными въ уксусъ тыквами съ чеснокомъ. Затѣмъ онъ надѣется на Бога.

Я уже сказалъ, что къ религіи молдаванинъ чрезвычайно равнодушенъ. Дѣйствительно, ни въ одной «слободзеѣ» вы не встрѣтите хорошей церкви. Каменныхъ церквей я нигдѣ не видалъ, а все деревянные, крохотныя, старыя, иногда подпертыя и покосившіяся. Въ храмѣ не помѣщается и десятой доли прихожанъ, но и тѣ не ходятъ въ церковь, такъ что священникъ отправляетъ службы нерѣдко въ полномъ одиночествѣ. Молдаване Измаильскаго уѣзда пошли еще дальше. Тамъ при румынахъ существовалъ гражданскій бракъ. Молдаванамъ онъ такъ понравился, что они и теперь стараются жениться гражданскимъ бракомъ, при чемъ очень часто черезъ мѣсяць, черезъ два или мужъ пригонитъ жену, или жена сбѣжитъ отъ мужа, и сочиняютъ себѣ новый «гражданскій бракъ». Штунда, съ необыкновенной силой распространяющаяся среди малороссовъ сосѣднихъ губерній и начинающая проникать къ русскимъ самой Бессарабіи, совершенно неизвѣстна молдаванамъ.

Такое полное религиозное омертвеніе народа, не нарушаемое даже заблужденіями религиознаго свойства,—худой знакъ. Мѣстные люди приписываютъ это обстоятельство безпримѣрному невѣжеству молдаванскихъ священниковъ, которые только въ послѣднее время начали уступать усиліямъ русскихъ епископовъ.

Въ слободзеѣ живетъ, кромѣ мужиковъ, его бывшихъ «царанъ», т. е. оброчныхъ, получившихъ въ семидесятыхъ годахъ (все по почину русскихъ варваровъ) по 9^{1/2} десятии на дворъ,—слободзейскій боѣръ. По происхожденію онъ преимущественно грекъ, но считаетъ себя потомкомъ древнихъ римлянъ. Онъ крупнаго роста, тученъ, глубокій брюнетъ, съ обильной растительностью на головѣ и лицѣ. Носъ у него новогреческій, мясистый а выпуклые черные глаза, смотря по обстоятельствамъ, или приторно сладкими. или равнодушно жесткими. Лѣто онъ проводитъ въ слободзеѣ, причемъ проявляетъ черты характера довольно скарднаго свойства: прижимаетъ мужиковъ и арендаторовъ, ссорится изъ-за мелочей со становыми и урядниками, отъ которыхъ требуетъ готовности и почтительности, исполняетъ не совсѣмъ добросовѣстно совсѣмъ ему ненужные земскіе подряды и собираетъ урожай. Зимой онъ живетъ или въ Кишиневѣ, или за границей,—за границею охот-

нѣй, потому что тамъ ему свободнѣй изображать изъ себя великаго чубукджи.

Домъ боэра имѣетъ видъ замка и выстроенъ на горѣ, у подножія которой разсыпаны царанскія мазанки. Убранство комнатъ самое европейское. Билліардъ и библіотека обязательны, причемъ сукно билліарда замаслено несравненно больше, чѣмъ переплеты книгъ. На конюшняхъ—лошади европейскихъ породъ, въ каретныхъ сараяхъ—экипажи европейскихъ фасоновъ, въ передней — европейскіе лакеи, управляющій — иностранецъ. Словомъ, по всему видно, что боэру мѣсто не въ варварской Россіи, а въ просвѣщенной Румыніи. Боэръ колоссально богатъ, но богатство его какое-то сомнительное: деньги, говорятъ, заработаны въ компаніи съ разбойникомъ Бужоромъ, а громадныя земли куплены не безъ фокуса—не то у малолѣтнихъ, не то у лишенныхъ ума. Наслѣдники умалишенныхъ или малолѣтнихъ ведутъ процессъ, и можетъ случиться, что выиграютъ его.

Это, конечно, боэръ крупный, — такихъ крупныхъ очень много въ Бессарабіи. Боэръ помельче живетъ скромнѣй. Его домъ не на горѣ, а въ ямѣ. Заграницу онъ не ѣздитъ, а все время возится съ хозяйствомъ. Принимаетъ онъ не по-европейски, а, согласно древнему обычаю, первымъ дѣломъ подносить

гостю «дульчецы» т. е. сладости: шербетъ и варенье. Становые особенно ненавидятъ этотъ древній обычай. «Помилуйте, ропшутъ они, —пріѣдешь, какъ собака голодный, душа проситъ рюмку водки и кусокъ солонины, а они подаютъ эти—тьфу!—дульчецы». Боэры средней руки, если они чистые молдаване, обыкновенно раззоряются, главнымъ образомъ какъ говорятъ, отъ нерасторопности и безпечности.

Есть, наконецъ, третій сортъ боэровъ: возникающіе изъ ничтожества, богатѣющіе кулаки всевозможныхъ происхожденій, греческаго, еврейскаго, армянскаго, болгарскаго и только въ рѣдкихъ случаяхъ молдаванскаго. Эти живутъ по-мужицки, больше въ уединенныхъ степныхъ хуторахъ, въ простыхъ и неопрятныхъ домахъ. Деньги держатъ зарытыми въ землю, дѣтей по общему правилу не учатъ, а если и отдадутъ въ гимназію, то дальше третьяго класса не ведутъ. Выучился читать, писать и считать — и домой, пасти скотъ или получать съ арендаторовъ «демшу», десятину, въ настоящее время выросшую до трети и даже до половины урожая.

Существуютъ еще русскіе боэры; но ихъ латифундіи, жалованныя имъ въ первой половинѣ столѣтія, находятся преимущественно въ южныхъ уѣздахъ. Владѣльцы въ нихъ не

живуть, стараются ихъ продавать, а такъ какъ земли тутъ все еще больше, чѣмъ купцовъ, то сдаютъ ихъ въ аренду, нѣмцамъ подъ пашню и заграничнымъ молдаванамъ подъ выпасъ скота.

Бѣльцы.

Мы подвигаемся дальше по направленію къ Бѣльцамъ. Тутъ нашъ любопытствующій взоръ поражаютъ колоніи австрійскихъ малороссовъ. Печальный видъ! Еле слѣпленные изъ грязи землянки, тощія и злые мужики; сердитыя бабы. Эти—тоже арендаторы, какъ и ихъ земляки нѣмецкаго происхожденія, но въ то время какъ нѣмцы ухитрились и условія заключить болѣе выгодныя, и заработать кое-что,—малороссы нищи до послѣдней степени и приняли тѣ условія, какія заблагоразсудилъ поставить великодушный боѣръ. Малороссы платятъ не деньгами, а работою, то-есть тѣмъ, что гораздо дороже денегъ. Поэтому ихъ поля стоятъ необранными и осыпаются до тѣхъ поръ, пока они не уберутъ положеннаго числа хозяйскихъ десятинъ. Дѣло выходитъ дрянъ, съ году на годъ оно идетъ все хуже, но хохоль ничего не предпринимаетъ, чтобы измѣнить свое положеніе, по соображеніямъ высшаго и супранатуральнаго свойства: землю у боѣровъ отберутъ и отдадутъ ему, хохлу, хотя и закордонному. А до тѣхъ

поръ можно потерпѣть и не слишкомъ торговаться изъ-за арендныхъ условій. — «Гдѣ у васъ староста?» спрашивали мы хохловъ. — У насъ старосты нема, бо тутъ живе народъ дыкій, отвѣчали намъ. И подлинно — дикій. Ни суда у нихъ нѣтъ, ни расправы, ни порядка, а живутъ какъ кому вздумается...

Бѣльцы прежде назывались — Бѣлецъ, что по-молдавански значить — грязь. Вдобавокъ Бѣльцы построены на владѣльческой землѣ. Можете себѣ представить, что изъ этой совокупности вышло. Издали Бѣльцы довольно презентабельны. Высится бѣлый армяно-католическій костелъ, обращенный въ православную церковь, зеленѣютъ сады, пестрѣютъ цвѣтныя кровли домовъ. Таковы Бѣльцы издали; но внутри это городъ совершенно «дыкій». Построенъ онъ на самомъ днѣ огромной котловины, и дно это послѣ малѣйшаго дождя переполняется черноземной грязью. Что тамъ дѣлается весною, этого и описать нельзя. Говорятъ, что тогда скорѣе можно проѣхать отъ Бѣлецъ до Кишинева, чѣмъ отъ границъ города до его центра. Я видѣлъ Бѣльцы послѣ часоваго дождя, весьма мало похожаго на ливень, — и то въѣзжалъ и выѣзжалъ въ городъ и изъ города не улицами, а задворками, между какихъ-то бань и европейскихъ молелень, растворяя частныя ворота и наги-

баясь подъ веревками съ сохнувшимъ бѣльемъ. Помню я также и то, какъ мнѣ ночью пришлось сдѣлать сто сажений отъ дома, гдѣ я былъ въ гостяхъ, до гостиницы. Эти триста шаговъ я и мой спутникъ шли не менѣе получаса. И еще спутникъ былъ бѣлецкій старожилъ. Вышли мы на крыльцо, — темно. Спустились съ него и сразу очутились въ томительной неизвѣстности. Тутъ начался монологъ моего спутника:

— Держитесь за меня, за шинель... А? Неловко? Бойтесь наступить мнѣ на пятки?... Гм... Тогда вотъ что: вотъ вамъ конецъ моей палки, хватайтесь-ка... Фонарей-то тутъ, чтобъ имъ лопнуть, не бывало... Ну, пошли, Идемъ... Ахъ, проклятіе! Самой, что называется, чашкой объ столбъ какой-то! И откуда онъ взялся, чортъ, холера!?. Что? Тумба? Вы думаете, это тумба? Держи карманъ!—извините за выраженіе; ждите здѣсь тумбъ, когда нѣтъ тротуаровъ. Это просто врыли столбъ, чтобы извошки, когда грязно, не жались къ домамъ и не царапали осями штукатурки на стѣнахъ. Тумбы! Тутъ выговорить-то это слово, и то смѣшно! Ей-Богу, забавно! Тутъ одного генерала, штатскаго, какъ качнуло въ коляскѣ, такъ прямо въ окошко вывалило, въ чей-то домъ, въ столовую. А другого генерала, только уже военнаго, чуть не утопили на Петербург-

ской улицѣ. Боже, что было! «Пристава, кри-
читьъ, пристава сюда!» Приставъ, по поясъ
въ грязи, подошелъ, держать подъ козырекъ
и постепенно грузнетъ. Генераль кричалъ, кри-
чалъ, пока грязь приставу до логтей стала
доходить... Ну, теперь — стопъ! Теперь вотъ
что... Если это домъ Мойшелевича, то тутъ
должна быть лужа... Гм... Отломите-ка ку-
сокъ штукатурки и бросьте направо, эдакъ
аршина на четыре отъ себя... Бросили? Вода
всплеснула тамъ? А, плеснула... Хорошо...
Стало-быть, жмитесь къ забору какъ можно
тѣснѣе и ужъ какъ-нибудь за щели ухитри-
тесь придерживать. Да если вы въ кало-
шахъ, такъ лучше ихъ снимите, потому что
тутъ земля поката, а резина склизкая... Ну,
Господи благослови, впередъ, гайда!... Тутъ
такъ оно саженой пять будетъ, минутъ на
пятнадцать эквилибристики... Идете?... За щели,
за щели-то цѣпче хватайтесь... А вотъ штука,
если навстрѣчу намъ тоже какой-нибудь эта-
кій канатный плясунъ бредетъ!... Охъ, чортъ
возьми, съ моей толщиной, да... Осторожнѣй,
совсѣмъ скатисте!... Я говорю: съ моей тол-
щиной да такое представленіе давать... И
знаете, это еще улица изъ тѣхъ, что посуше...
и кромѣ того на дворѣ іюль... И т. д.

Я не преувеличиваю, читатель. Можете-на
рочно написать въ Бѣльцы и спросить. Вамъ

навѣрно отвѣтятъ, потому-что граждане этого владѣльческаго молдо-жидовскаго городка будутъ пріятно поражены выраженіемъ къ нимъ вашего участія. Они прибавятъ конечно и то, что Бѣльцы—типичный уѣздный городъ Бессарабской губерніи. Вездѣ отсутствіе тротуаровъ и мостовыхъ, вездѣ грязь, смрадъ и пыль; но владѣльческіе Бѣльцы всѣхъ перешеголяли.

Сороки.

Путь отъ Бѣлецъ до Сорокъ (по-молдавски: Сарака, т. е. сироты) идетъ сначала долиной рѣки Реута. Реутъ, послѣ Прута и Днѣстра, самая большая рѣка Бессарабіи. Лѣтомъ куры, переходятъ его въ бродъ. Это и есть тѣ «воды» сѣверной Бессарабіи, которыми меня прельщали кишиневцы. Зато долина рѣки — дѣйствительно потокъ плодородія. Шестьдесятъ верстъ мчатъ васъ худыя, какъ скелеть, но сумасшедшія лошади, — и все время вы ѣдете среди города копень и скирдъ. Поразительное богатство! И все оно идетъ въ карманъ «жидамъ», которые то и дѣло попадаютъ въ двуколкахъ, бричкахъ, фаэтонахъ и даже коляскахъ:—ѣдутъ осматривать ометы и молотьбу. Молдаванамъ мало остается...

Сороки,—и наконецъ-то оправдались предсказанія бессарабцевъ:—мы очарованы. Если васъ тянетъ на Рейнъ и на Эльбу, но Днѣстръ

отъ васъ ближе, — поѣзжайте на Днѣстръ. Это дѣйствительно прелесть, дѣйствительно рай. Высокіе и крутыя берега, мѣстами зеленые, мѣстами скалистые. Сочные, зеленые лѣса. Живописные ручьи, бѣгущіе по каменистымъ расщелинамъ въ рѣку. Наконецъ, славная быстрая рѣка, прихотливыми излучинами прорѣзающая себѣ путь среди громадныхъ конусовъ и пирамидъ сѣверной Бессарабіи. И вдобавокъ теплынь, умѣряемая водою могучей рѣки, запахъ южныхъ травъ и деревъ, фрукты, стерляди, свѣжая икра и виноградъ, виноградъ безъ мѣры. Тутъ дѣйствительно и красиво, и хорошо.

Да, читатель, вмѣсто Эльбы и Рейна прокатитесь по Днѣстру. Въ Сорокахъ осмотрите еврейскую часть города, которая своимъ восточнымъ видомъ перенесетъ васъ если не въ Дамаскъ, то въ предмѣстья Константинополя; потомъ по крутой тропинкѣ подымитесь къ пещерѣ, вырубленной на половинѣ высоты отвѣсной бѣлой скалы; потомъ сходите въ старую, еще генуэзскую, крѣпость, которая въ видѣ колоссальной бочки стоитъ тутъ-же въ городѣ. Наконецъ, отправьтесь въ любой изъ скалистыхъ приднѣстровскихъ овраговъ. Они всѣ одинаково хороши. Ручей бѣжитъ по камнямъ и между обломками скалъ, покрытыхъ бархатнымъ мохомъ; среди камней и по

склонамъ оврага — зеленый лѣсъ и кусты. Внизу скользятъ рѣка, отражая и берега, и облака, и небо, и луну, когда она взойдетъ... Да, хорошо, очень хорошо! Еслибы я былъ немного помоложе, я исписалъ-бы по этому поводу не одну страницу... Пусть вамъ въ этомъ ущельѣ, подъ журчаніе ручья, сіяніе луны и величественное стремленіе Днѣстра, споютъ: «Окъ негри»... сорокскимъ пріятелямъ!

Но вы не поѣдете, читатель, по Днѣстру, потому что тамъ ходитъ только одинъ пароходъ, притомъ такой, что ѣхать на немъ я посоветую только злѣйшему врагу моему.

III.

Русская Болгарія.

Переселеніе народовъ въ XIX вѣкѣ.

Мы—на югѣ Бессарабіи, въ Буджакѣ. А въ Буджакѣ еще не прекратилось великое переселеніе народовъ. Вотъ въ какое допотопное времячко мы съ вами попали! Правда, движутся не безчисленные орды и народы, а десятки и сотни тысячъ; но, читатель, почему вы знаете, въ какомъ числѣ шли гунны, готы, болгары? Статистики до потопа не было. Можетъ быть, Атилла вель за собой всего какихъ-нибудь двѣсти, триста тысячъ. Да и то еще, пожалуй много, потому что и двѣсти-то

тысячъ извольте напоить накормить и выдать имъ двадцатаго числа жалованье. Вѣдь жалованье навѣрно давали, — не ассигнаціями, такъ вражескими дамами и дѣвицами. Соберите-ка двѣсти тысячъ дѣвиць, да еще такихъ, что не упали въ курсѣ! А безъ жалованья никто даже и переселеніемъ народовъ заниматься не станетъ.

Итакъ, гунны шли въ числѣ двухсотъ тысячъ. Это мы съ вами рѣшили. Теперь смотрите, что дѣлалось въ Буджакѣ, на устьяхъ Дуная и Днѣстра, чуть не на нашемъ вѣку.

Съ 1814 по 1840 годъ къ устьямъ Днѣстра, въ одну только Бессарабію, пришло пятнадцать тысячъ нѣмцевъ.

Съ 1806 по 1830 годъ на лѣвомъ берегу русскаго Дуная расположились сорокъ тысячъ болгарь.

Туда-же и тогда-же прибрели и нынѣ благоденствуютъ полторы тысячи албанцевъ. Какъ зашли сюда эти господа, просто уму непостижимо. Впрочемъ, албанцевъ я видѣлъ даже въ Сициліи и въ южной Италіи.

Болгары въ 1808 году вытѣсняють съ Дуная 12,000 ногайскихъ татарь въ Крымъ.

Въ 1856 году 15,000 ногаевъ изъ Крыма уходятъ въ Добруджу.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ 20,000 болгарь Измаильскаго уѣзда, отошедшаго къ

Румыніи, переходятъ въ Крымъ на мѣсто
ногаевъ.

Въ шестидесятыхъ-же годахъ четыреста
тысячъ черкесовъ выселились изъ Россіи и
заняли мѣстность на югъ отъ устьевъ Дуная.
Три-четверти ихъ перемерли. Остальные за-
варили «болгарскіе ужасы», ихъ за это боль-
шею частью избили болгары и наши войска,
а уцѣлѣвшіе убрались въ Малую Азію. Я
имѣлъ удовольствіе встрѣчаться съ ними,
между прочимъ, въ Каирѣ, гдѣ они служатъ
въ гвардіи хедива, и на улицахъ Дамаска,
гдѣ они опредѣленныхъ занятій не имѣютъ.

Наконецъ, послѣ 1879 года, получившіе
автономію братушки выжили изъ восточной
Болгаріи до двухъ *милліоновъ* мусульманъ.

Ну-ка, господинъ Атилла, скажите: взя-
лись-бы вы устроить этакое переселеніе,—
да еще вдобавокъ въ вѣкъ пароходовъ и же-
лѣзныхъ дорогъ, когда передвиженіе стоить
несравненно дороже, чѣмъ въ ваше время?
Позволяю себѣ въ томъ усомниться.

Итакъ, читатель, отправляясь съ вами въ
русскую Болгарію, мы совершенно неожиданно
для самихъ себя превратились въ лѣтопис-
цевъ-очевидцевъ переселенія народовъ. При-
ступимъ-же къ писанію съ должной солид-
ностью.

Любезный нашему сердцу народъ брату-

шекъ, или болгаръ, явился на то мѣсто, гдѣ теперь сидитъ принцъ Фердинандъ Кобургскій, довольно давно, — въ пятомъ вѣкѣ, съ береговъ матушки-Волги. Думаютъ, что *болгаръ* означаетъ: *воларь*. Этому можно повѣрить. Волгарами ихъ, конечно, назвали сербы, которые знали-же, откуда пришли ихъ будущіе братушки, а въ то время злые грабители и «палочники». Затѣмъ, волгары превратились въ болгаръ въ устахъ эллиновъ, которые буквы *виты*, пожалуй, и не имѣли, а имѣли одну *бету*. Народомъ болгары были куда какимъ непрезентабельнымъ, ибо были они племенемъ; близко родственнымъ нашимъ самоѣдамъ. Превратиться имъ въ братушекъ помогли сербы, которые смѣшались съ болгарами и подчинили ихъ своему языку, своимъ нравамъ и обычаямъ. Къ концу девятаго вѣка болгары были уже славянами, затѣмъ недолго прогремѣли въ роли самостоятельнаго народа и, наконецъ, впали въ многовѣковое рабство пока мы не приняли въ нихъ участія.

Какъ насъ братушки прежде любили, какъ любили! Первая любовь началась еще въ 1752 году, когда 620 болгарскихъ семействъ поселились въ Новомиргородѣ, Херсонской губерніи. Послѣ того послѣдовалъ цѣлый рядъ любовныхъ интрижекъ, о которыхъ свидѣлствуютъ сальвогардіи и аттестаты Румянцева

и Суворова, выданныя болгарскимъ дружинамъ, сражавшимся вмѣстѣ съ нами противъ турокъ. Наконецъ, началась настоящая любовь, пламенная. Поводомъ къ ней послужилъ слѣдующій случай, «19-го сентября 1801 года прибыло къ одесскому порту купеческое судно, принадлежавшее русскому шкиперу, прапорщику Мускули, который, возвращаясь изъ Константинополя, загнанъ былъ сильнымъ штормомъ къ Румелійскимъ берегамъ, и тамъ, на Сизопольскомъ рейдѣ, нашелъ убѣжище. Сюда пришли къ нему жители деревни Кючукъ-Воялыкъ, Адрианопольскаго округа, греки и болгары, съ своимъ священникомъ, убѣдительно прося шкипера спасти ихъ на своемъ суднѣ отъ бѣдствій, претерпѣваемыхъ ими отъ разбойниковъ, которые, подъ предводительствомъ турка Кара-Феджи, производятъ большія опустошенія въ ихъ округѣ. Шкиперъ изъ челоуѣколюбія рѣшился взять этого священника и 19 разоренныхъ семействъ болгарскихъ, въ числѣ 148 обоого пола душъ, и привезъ ихъ въ Одессу, вполне надѣясь, что, по всегдашнему милосердію и покровительству Россіи къ единовѣрнымъ съ нею народамъ, не будутъ отвергнуты и его несчастные странники *).

*) «Болгарскія колоніи», А. Скальковскаго. Одесса. 1848.

Странниковъ, конечно, не отвергли. Какъ видитъ читатель, это были тоже «болгарскіе ужасы» и «турецкія звѣрства»,— эти болгары деревни Кючюкъ-Боялыкъ, съ одной стороны, и турокъ Кара-Феджи, съ другой. Такъ оно и пошло, вплоть до 1879 года. За Кара-Феджи—Пасванъ-Оклу. За селомъ Кючюкъ-Боялыкъ—село Бююкъ-Боялыкъ. Уже въ 1802 году для перевоза братушекъ разрѣшается нанимать торговыя суда. Къ концу слѣдующаго года появляются въ Херсонской и Таврической губерніяхъ четыре болгарскія колоніи: два Боялыка, да Терновка, да Старый Крымъ. Въ 1806 году мы объявляемъ Турціи войну, турецкія звѣрства производятся *en grand*,—и братушки валомъ валятъ черезъ Дунай, къ намъ въ Бессарабію, въ числѣ двадцати-четырехъ тысячъ душъ.

Отъ турецкихъ звѣрствъ братушки избавились; но скоро Россіи пришлось ихъ избавлять отъ звѣрствъ молдаванскихъ. Едва братушки перешли за Дунай и осѣли на земляхъ, повидимому, совершенно пустынныхъ, какъ вдругъ словно изъ-подъ земли выросли молдавскіе боеры: Иона Стурдза, камергеръ Бальшъ, коллежскіе совѣтники Петраки и Кабраль,— и объявили, что братушки сидятъ на землѣ, принадлежащей имъ, боерамъ, а слѣдовательно, братушки — ихъ крѣпостные. Плохо

пришлось-бы братушкамъ, еслибы судьба не послала имъ добраго человѣка въ лицѣ генерала Инзова, главная заслуга котораго состоитъ, впрочемъ, не въ томъ, что онъ выручилъ болгаръ и далъ имъ на югѣ Бессарабіи по пятидесяти десятинъ земли на дворъ, сколько въ томъ, что Инзовъ берегъ въ Кишиневѣ Пушкина. Безъ двадцати-четырехъ тысячъ душъ братушекъ мы обошлись-бы легко, тогда какъ безъ одной души Пушкина потеряли-бы много. Разныя бываютъ души.

Переселеніе народовъ, однако, не кончилось. Въ 28-мъ году мы опять воюемъ съ турками, турки по этому случаю опять рѣжутъ братушекъ, а послѣдніе снова бросаются въ наши объятія, на этотъ разъ въ числѣ восемнадцати тысячъ человѣкъ. Всѣхъ ихъ мы селимъ все тамъ-же, въ бессарабскомъ Буджакѣ.

Послѣднее переселеніе болгаръ было не совѣмъ обыкновенное. До сихъ поръ ихъ рѣзали турки, — люди, какъ извѣстно, совершенно дикіе. Рѣзня 8-го ноября 1860 года была совершена конституціонными войсками и властями Молдо-Валахій. Парижскій трактатъ 1856 года поступилъ съ Россіей жестоко и даже не безъ обидной ироніи. Въ Бессарабіи отъ насъ отрѣзали ничтожную полосу земли, — но вѣдь ухо или носъ тоже ничтожный ку-

сочекъ тѣла, а попробуйте-ка, покажитесь въ публикѣ безъ носа. Отрѣзанная полоса бессарабской земли, теперешній Измаильскій уѣздъ, тянется отъ устьевъ Дуная на западъ, до устья Прута, а затѣмъ, все сѣуживаясь и сѣуживаясь, идетъ по Пруту, перпендикулярно къ Дунаю, почти до широты Кишинева. Мы потеряли устье Дуная, эту гигантскую дорогу, идущую къ самому сердцу Европы, и всю судоходную часть Прута. На этой полоскѣ расположены, между прочимъ, сорокъ болгарскихъ колоній, которыя и отошли къ конституціонной Молдо-Валахіи. Но, должно быть, и конституціи, подобно душамъ, бываютъ разныя. Болгарь въ Молдавіи такъ стали жать, что они взбунтовались. Когда болгары взбунтовались, румыны сдѣлали «звѣрство». Что дѣлать послѣ звѣрствъ — болгары знали твердо: «прибѣгнуть ко всегдашнему милосердію и покровительству Россіи». Такъ братушки и сдѣлали, и 20,000 душъ изъ 47,000 перебрались въ Россію.

По берлинскому трактату, въ лоно Россіи, вмѣстѣ съ иронической полоской земли, вернулись остальные братушки. Полоска, какъ она ни незначительна, — драгоцѣнное пріобрѣтеніе. Такъ-ли драгоцѣнны братушки, — Богъ вѣсть.

Буджакъ.

Въ Буджакъ выѣзжаемъ изъ города Акермана, при устьѣ Днѣстра.

Сначала идутъ акерманскіе виноградные сады. Имъ конца нѣтъ. Дорога широкая, южно-русская, ското-прогонная. По бокамъ— канавы. Выброшенная изъ нихъ земля насыпана высокимъ валомъ, заросшимъ какимъ-то некрасивымъ тусклымъ кустарникомъ, образующимъ живую изгородь. Изъ-за вала поднимаются абрикосы, персики, груши, яблоки, и перевисаютъ великолѣпныя плети винограда. Виноградъ только-что завязался — на дворѣ середина мая, и его будущія пышныя гроздья имѣютъ видъ комочковъ зеленой икры. Кусты и деревья растутъ роскошно. Сила растительности поражаетъ, когда присмотришься, въ какой землѣ все это сидитъ. Земля—сыпучій песокъ. Вотъ раздолье для сентиментальнаго удивленія предъ энергіей человѣка, превращающаго «сыпучіе пески» въ «сплошной садъ!» Мы отъ удивленія воздержимся, потому-что знаемъ, что песокъ этотъ не простой. На немъ долго лежалъ могучій Днѣстръ и напиталъ его благороднымъ иломъ. Виноградники тутъ заведены давно, еще при туркахъ. Потомъ виноградъ стали садить швейцарскіе французы, основавшіе тутъ въ 1822 году колонію Шабу. Колонія тутъ-же, недалеко. Колонисты разбогатѣли, накупили земли, развели громадныя виноградники, накопили громадныя погреба, — и, конечно, знать не хотятъ Россіи.

Нѣкоторые изъ нихъ даже до сихъ поръ не приняли русскаго подданства.

Чрезъ нѣсколько верстъ виноградники кончаются,—и мы въ Буджакѣ, въ бывшемъ татарскомъ Буджакѣ, гдѣ недавно гуляли стада пасомыя полудикими чабанами, гдѣ успѣшно скрывались бѣглые, гдѣ въ тридцатыхъ годахъ десятина земли стоила полтинникъ, гдѣ, тогда-же, изъ полутора милліоновъ десятинъ подъ пашней лежало не больше двухсотъ тысячъ.

Когда говорятъ о южной Бессарабіи, о Буджакѣ, почему-то представляется нѣчто вродѣ Сахары. Представляются верблюды, пески безъ конца, вѣтры, носящіе тучи этого песку, скелеты похороненныхъ самумомъ каравановъ, миражи, жажда и лишь изрѣдка оазисы, кукурузы вмѣсто пальмъ, и нѣмцы-колонисты вмѣсто арабовъ. Когда заговорятъ о колонистахъ, нѣмцахъ и болгарахъ, поселенныхъ въ Буджакѣ, то невольно впадешь въ сентиментальное удивленіе и начинаешь говорить объ энергіи человѣка, превратившаго буджакскую пустыню въ плодоносныя нивы. Все это вздоръ, читатель. Еслибы Буджакъ былъ пустыней, никакая фатерландская проголодь и никакое турецкое звѣрство не загнали-бы сюда колонистовъ. Буджакъ, это тучнѣйшій черноземъ, которымъ не умѣли

воспользоваться только турки да татары. Здѣшній черноземъ ничѣмъ не отличается отъ чернозема рязанскаго, тамбовскаго, курскаго, и имѣетъ еще то преимущество, что не истощенъ. Говорятъ, что плоха земля полосы вдоль моря и Дуная. И это вздоръ. За такую землю гдѣ нибудь въ Бѣлорусіи или на сѣверѣ Россіи драться-бы стали такъ, что не растащитъ. Земля—съ примѣсью песку, но песокъ-то этотъ такой-же, какъ и подъ акерманскими виноградниками. Справедливѣй жалобы на буджакскій климатъ. Дѣйствительно, тутъ выдаются года, когда такъ засушить, что едва соберутъ посѣянное зерно. Зато не рѣдкость и такіе года, что отъ урожая, что называется, «не отгрестись». Бываетъ тутъ и саранча, — но въ послѣднее время принялись за нее такъ энергично, что она исчезла-бы совсѣмъ, если-бы не лѣность нашихъ задунайскихъ сосѣдей, румыновъ, которые все не соберутся ее истребить въ Добруджѣ. Бываютъ тутъ также запалы... Но что такое *запаль*, надо объяснить подробнѣе.

Въ Буджакѣ я былъ въ маѣ и въ іюнѣ и искрестилъ его вдоль и поперекъ. Если вы ѣдете вдоль, съ сѣвера на югъ, вы ничего, кромѣ степи, ровной какъ столъ, не увидите. Ни горки, ни ручья, ни деревни. Только изрѣдка попадаются хутора бессарабскихъ мѣ-

щанъ, состоящiе изъ непобѣленныхъ мазанокъ, до половины вырытыхъ въ землѣ, на половину стоящихъ надъ землею, — кучки глины, а не жилья. Но картина совершенно измѣняется, если вы поѣдете съ востока на западъ. Тутъ точно волшебство происходитъ. Сначала идетъ та-же степь; но не проѣхали вы десяти, двѣнадцати верстъ, какъ видите, что вы не на днѣ плоской степи, покрытой недосыгаемымъ куполомъ неба, а на высокой горѣ. Степь обрывается колоссальнымъ оврагомъ. На его плоскомъ днѣ вьется рѣка, — Кагальникъ, Ялпухъ, Шага, Кундукъ. Ея направленiе обозначено, однако, не водой, а ленточкой камыша. Въ трехъ, четырехъ мѣстахъ рѣка запружена и разлилась блестящими озерами. У озеръ протянулись прямые ряды колонiй и сель. Вы ихъ видите — три, четыре. Они лежатъ у вашихъ ногъ, и вы можете отсюда, сверху, пересчитать ихъ домá. А вдали, и направо и налево, вдоль по лентѣ камыша, виднѣются еще и еще колонiи. Подымаются шпили кирокъ и купола церквей. Склоны оврага зеленѣютъ и рябятъ виноградниками, запущены лѣсными плантацiями. По дну оврага тамъ и сямъ разсыпаны, какъ камышки, стада, бѣлыя—коровъ, темныя—лошадей.— Эге-ге, говорите вы: ай да Буджакъ!—А съ неба солнце льетъ свѣтъ и теплоту въ такой не-

истощимой щедрости, что ея хватитъ на двойное число стадъ, деревень, виноградниковъ и рощъ, — лишь-бы имъ была охота плодиться.

Въ прошломъ маѣ и юнѣ буджакская жизнь плодилась невѣроятно. Солнце грѣло, но шли и дожди. Ихъ теплая вода растворила плодоносную землю, и оттуда вырвались такіе хлѣба, такія травы, какихъ мнѣ еще нигдѣ, ни даже на Нилѣ, видѣть не приходилось, — дебелые, темнозеленые, даже переходящіе въ блестящую синеву, сочные, густые: ужю не проползти. Дорога, размягшая черноземная дорога, даже въ колеяхъ поросла муравой, не въ силахъ противиться пробудившейся силѣ плодородія. А по сторонамъ стѣной стоятъ высокіе овсы, осыпанные зерномъ; пшеницы, съ колосьями, нагнувшими свои тонкія шейки; проса, похожія на стадо дрофъ, поднявшее головы; цвѣтущіе льны, это зеленое небо съ голубыми звѣздочками. Кое-гдѣ на впадинахъ и по ложбинамъ, гдѣ черноземъ ужь черезчуръ тученъ, хлѣба не выдержали, повалились и не могутъ встать: сыты по горло и пьяны... — «Да, мы Европу засыплемъ зерномъ! воскликнулъ мой спутникъ, когда миновались акерманскіе пески и начались хлѣба, — если только не будетъ запала», прибавилъ онъ потише и поосторожнѣй, чтобы не сглазить.

Хороши хлѣба, но еще лучше травы. Вотъ мы въѣзжаемъ въ недавніе, пырейные сѣнокосы. Стебельки какъ одинъ ровные, и еще гуще хлѣбовъ. Вѣтерокъ пробѣгаетъ по травѣ и она волнуется короткими и торопливыми, не такъ какъ медленные хлѣба, взмахами. Вѣтеръ чуть слышно свиститъ между стебельковъ, точно онъ гладитъ шелкъ, а трава и цвѣтомъ играетъ, какъ шелкъ, матово блестя своей сѣро-зеленой поверхностью.

Вотъ пошли сѣнокосы болѣе давніе.. Нѣтъ, тутъ надо остановиться. Тутъ не только хозяинъ, но и художникъ будетъ очарованъ. Толпы травъ, толпы цвѣтовъ разбѣгаются во всѣ стороны, и какія оживленныя, пестрыя! Однѣ выше, другія ниже. Однѣ рѣже, плечистѣй, головастѣй, другія—приземистыя, тонкія, густыя. Однѣ вытянулись прямо и будто смотрятъ на насъ и слушаютъ, другія знать ничего не хотятъ и спутались и сваялись, точно расшалившись и борясь другъ съ другомъ. Горошки — малиновые, какъ карминъ, синіе, какъ берлинская лазурь, желтые, красные, бѣлые, перепутываются другъ съ другомъ и со злаками. Тамъ островокъ зеленого пырея, тутъ коверъ изящнаго эспарцета. И вездѣ золотыя и вишневый капли крупныхъ, сочныхъ репейниковъ. Это дѣйствительно благодать! Даже ѣсть не хотѣлось среди этой сытости.

Благодать продолжалась до конца июля. Хлѣба наливались, черезъ три, четыре дня ихъ было можно жать, — и въ эти-то послѣдніе дни, можно сказать — часы, и случилась бѣда. Вѣтеръ затихъ, облака скрылись, солнце разгорѣлось до 46 и 47 градусовъ — и сварило налившееся зерно. Въмѣсто полновѣсной пшеницы, собрали какія-то востренькіи занозы. Это называется *запаломъ*.

Итакъ, въ Буджакѣ бывають запалы; но минувшимъ лѣтомъ запаль былъ даже въ Бѣлорусіи. Что же было въ Оренбургѣ, въ Самарѣ, на Дону! Нѣтъ, считать колонистовъ безпримѣрно энергичными людьми я не могу, Буджакъ въ Россіи много, и вездѣ живутъ люди.

Мы остановились съ вами читатель, на берегу перваго оврага-долины. Спускаемся, подымаемся снова, снова ѣдемъ съ десятокъ верстъ по плоской степи и опять, очутившись на краю новаго рѣчного оврага, изумляемся внезапному переходу: съ самаго дна стали на самую макушку высокой горы. Изумившись такъ разовъ съ дюжинку, мы вступаемъ наконецъ въ русскую Болгарію.

Русская Болгарія.

Жителей — 150,000.

Территорія — 500,000 десятинъ, т. е. 4,800 квадр. верстъ, т. е. 98 кв. миль.

Главный заштатный городъ—Болградъ, при озерѣ Ялпухѣ. Соборъ, двѣ гимназіи, великолѣпный паркъ.

Провинціи: Акермано-Бендерская и Измаильская.

Племена—болгары, гагаузы, албанцы.

Управленіе—уѣздное полицейское.

Прежде чѣмъ заѣхать въ болгарскую колонію, нужно объяснить, что означаютъ эти географическія и этнографическія свѣдѣнія. Прежде всего, что такое гагаузы? Это точно такіе же братушки, какъ и болгары, такіе же родомъ и племенемъ, той же православной вѣры, того же національнаго характера и только говорящіе по турецки. По болгарски они не понимаютъ ни слова; по русски, разумѣется, тоже. Что такое происходитъ въ церкви, они не знаютъ. Такъ какъ христіанскія молитвы на турецкій языкъ не переведены, то у гагаузовъ только одна молитва: «Аминь, аминь, аминь». Болгары гагаузовъ презираютъ до того, что кладбища у тѣхъ и другихъ разныя. За всѣмъ тѣмъ ни по наружности, ни по костюму, ни по постройкамъ и хозяйству вы не отличите болгарина отъ гагауза, и ихъ взаимная нелюбовь объясняется весьма многими и совершенно непонятными причинами, совокупность которыхъ весьма понятно называется человѣческой глупостью.

Албанцы—не болгары. Смѣшивать однихъ съ другими дозволяется только просвѣщеннымъ бессарабцамъ, полагающимъ, что хотинскіе райки — особая нація. Албанцы живутъ очень далеко отъ Бессарабіи и занимаютъ немалую территорію вдоль Адриатическаго моря, отъ Черногоріи до Греціи. Это удивительная раса. Прямые потомки древнихъ пеласговъ, они до сихъ поръ остаются на той же культурной ступени, какъ и во времена Сократа. Правда, они частью христіане, частью мусульмане, но живутъ совершенными полудикарями, со всѣми достоинствами и недостатками дикихъ. Турки не могли ихъ покорить совсѣмъ и побаиваются ихъ. Отдѣльныя албанскія племена ненавидятъ другъ друга и другъ друга при первомъ удобномъ случаѣ рѣжутъ и стрѣляютъ. Женщина пользуется величайшимъ почетомъ и уваженіемъ со стороны всѣхъ албанцевъ, за исключеніемъ одного, мужа, который обращаетъ жену въ рабочую скотину. Браки устраиваются родителями, взаимная любовь мужчины и женщины не играетъ тутъ никакой роли, и албанецъ влюбляется только въ албанца. Nonny soit qui mal у pense. Это выходитъ скверно только у грековъ временъ упадка и у сумашедшихъ XIX вѣка; албанецъ же обмѣнивается со своимъ предметомъ крестами и становится ему побратимомъ. Про-

ходятъ десятки столѣтій, а албанцы все тѣ же, все остаются старыми пеласгами. Тѣ, которые живутъ въ бессарабской колоніи Каракуртъ,—православные христіане и говорятъ по турецки. По русски, конечно, не понимаютъ.

Этнографическія объясненія кончены. Теперь—географическія.

Болгарскія колоніи Акерманскаго и Бендерскаго уѣздовъ никогда не оставляли русскаго подданства. Измаильскія колоніи около четверти вѣка пробыли въ плѣненіи у румыновъ вмѣстѣ съ главнымъ городомъ русской Болгаріи, Болградомъ. Чѣмъ отличаются акерманско-бендерскія колоніи отъ измаильскихъ, мы увидимъ, посѣтивъ тѣхъ и другихъ.

Измаильскія колоніи — не колоніи, а коммуны.

— Полѣка, братушка, полѣка, братекъ! покликаваетъ на возницу-болгарина мой спутникъ.

Покрикивать на болгарина, чтобъ ѣхалъ *полека* (потіше) — необходимо. Братушка, когда онъ прикоснется къ лошади, какъ бы лишается ума: въ немъ засыпаетъ сербъ и просыпается гуннь. Пока болгаринъ стоитъ на собственныхъ ногахъ, его можно смѣшать и съ молдаваномъ, и съ малороссомъ. Когда онъ на конѣ,—это цыганъ, нехристь, дьяволъ.

Нужно видѣть конскія скачки болгаръ. Прямо бѣшеные люди! Глаза шальные, лицо дрожитъ нервной дрожью, руки приподняты, самъ откинулся назадъ, шапку потерялъ, волосы стоятъ дыбомъ. Онъ летитъ и гикаетъ, и кричитъ, и колотитъ несчастную лошадь ногами, руками, плеткой, — укусилъ бы, еслибы могъ. Сходите тоже посмотрѣть на борьбу болгаръ. Борьба устраивается обыкновенно въ день храмоваго праздника. Борются болгары другъ съ другомъ, но иногда выходятъ борцы изъ русскихъ сосѣдей. Схватится русскій съ братушкой и начнутъ топтаться. Борются «по болгарски»: стараются подхватить противника за ноги и бросить его на земь. Борются пытать. Болгары стоятъ кругомъ и молча, какъ будто равнодушно смотрять. Борьба кончилась, болгаринъ свалилъ русскаго — и братушки расходятся въ нѣмомъ торжествѣ. Если наоборотъ, русскій побѣдилъ болгарина, въ братушкѣ мгновенно пробуждается гуннь. Побѣдителю лучше убираться поскорѣ, не то его обступятъ всѣмъ стадомъ, надаютъ ему колотушекъ, изцарапаютъ физиономію и до гола оборвутъ одежду... Въ братушкѣ еще сидитъ звѣрь.

Такъ же не хорошъ братушка въ ревности: убьетъ, и убьетъ звѣрски. Такъ же онъ неистовъ въ скупости: ѣсть плохо; обсчиты-

васть, обмѣриваетъ, копить, накопленное боится отнести въ банкъ, о существованіи котораго едва ли и подозрѣваетъ, а зарываетъ въ землю или закладываетъ въ стѣну. Не говоритъ онъ о деньгахъ никому до послѣднихъ минутъ. Иной разъ и въ послѣднія минуты промолчитъ,—и тогда дѣти умершаго днемъ ковыряютъ стѣны, а ночью на угадъ роются по огородамъ и виноградникамъ.

Всѣ эти свойства братушекъ хорошо знаютъ ихъ русскіе сосѣди и сильно ихъ не любятъ. «Ей-Богу, баринъ, говорилъ мнѣ русскій мужикъ, побывавшій погонцемъ въ Турціи,—турокъ въ десять съ половиною разъ лучше болгара. Болгаръ—не человекъ. Его по ошибкѣ въ христіане окрестили. Одно ему названіе: скряга. У нѣкоторыхъ еще турецкое золото до сихъ поръ на тысячи лежитъ, а нищему никогда не подастъ. Чтобы угощеніе другъ другу сдѣлать, вечеринку, посидѣлку,—Боже сохрани. Вѣрите ли, кромѣ перцу, ничего не ѣдятъ: то-то и худые, и злые. А про бабъ скажу и про дѣвокъ, такъ вы не повѣрите. Какъ станетъ она подростать, такъ ей грудь сейчасъ и запеленаютъ туго на туго. Выростетъ,—какъ доска. Это у нихъ самая красота считается».

— Полѣка же, чортъ! уже кричитъ спутникъ.

Мы проѣхали нашу десятиверстную порцію

степи и спускаемся въ рѣчной оврагъ. Бра-тушка и туда хотѣлъ скатить во весь духъ. А внизъ и посмотрѣть страшно. Съѣхать-то можно съ быстротой молніи, но доѣхать едва ли въ своемъ видѣ придется: останутся тряпочки, щепочки и кусочки.

Внизу — болгарская колонія: Дельжилеръ, Эскиполось, Кальчева, Тарақлія, Конгизъ, Чумлекіой. Выбирайте любое имя: я могу вамъ представить ихъ 72, одно чуднѣй другого. Большинство названій — татарскія, ногайскихъ кочевыхъ урочищъ. Колонія громадная, какъ и все здѣсь въ Буджакѣ, — душъ тысячи въ двѣ, въ три. Выстроена она по плану, а планъ извѣстный — колоній, станицъ, военныхъ поселеній. Улицы прямыя, тянутся строго параллельно и перекрещиваются строго подъ прямыми углами. Посрединѣ — квадратная площадь, и тутъ дома стоятъ *карреемъ*. Въ центрѣ площади — церковь, всегда очень большая. Противъ церкви — волостное правленіе, всегда очень помѣстительное. Генералъ Инзовъ все дѣлалъ на широкую ногу, «по николаевски», какъ говорятъ еще до сихъ поръ. Фундаментъ — такъ ужъ фундаментъ, аршинъ на пять въ землю. Балка — такъ балка, двѣнадцати-вершковая, вѣка простоить.

Въ волостномъ правленіи внимательный гость найдетъ остатки особаго колониальнаго

управленія, упраздненнаго въ 1851 году. Двѣнадцатый томъ, съ уставомъ о колоніяхъ, засиженное мухами положеніе объ окружныхъ ссудо-сберегательныхъ кассахъ, печатанное старинными, толстыми и широкими буквами. На стѣнахъ — портретъ генерала Инзова, великолѣпно начерченный планъ надѣльной земли съ удивительно-каллиграфическимъ подписомъ землемѣра, его составлявшаго; наконецъ, планъ образцоваго колонистскаго дома, на которомъ тщательно обозначено, гдѣ колонистъ долженъ спать, гдѣ хранить деньги, гдѣ принимать посѣтителей. Все это уже сдѣлалось преданьемъ старины глубокой. Двѣнадцатый томъ упраздненъ; ссуды исчерпаны займовъ никто изъ братушекъ возвращать не хочетъ; пятидесяти-десятиный надѣлъ раздробился и дошелъ до десяти десятинъ на семью; въ волости и въ селѣ засѣли кулаки.

За всѣмъ тѣмъ болгары далеко не бѣдны. Дай Богъ такъ всей Россіи жить. Избы сохранили свой казенный планъ, просторны, свѣтлы и крѣпки. Снаружи они чисто выбѣлены. Окна и двери на молдавскій манеръ обведены цвѣтными ободками. Передъ избой непременно цвѣтничекъ, а въ немъ непременно — желтая роза. Въ избѣ ковры и плахты. На стѣнахъ — шкапы, портреты русскихъ государей и государынь, дешевыя гравюры, изо-

бражающія «болгарскіе ужасы», и если хозяинъ былъ въ школѣ, непременно его аттестатъ въ рамкѣ за стекломъ.

Вокругъ колоніи растилаются ея владѣнія на многіе версты кругомъ: есть колоніи, имѣющія по 10, по 12 тысячъ десятинъ. Ближе къ селу—виноградники и сады. У воды—лѣсная плантація. Въ долинѣ и по обрывамъ—выгонъ для скота. Наибольшее пристрастіе болгаринъ питаетъ къ овцамъ. Затѣмъ, лишь только онъ сколотитъ деньгу, онъ ставитъ игрушечную вѣтряную мельницу, чтобы, Боже сохрани, не заплатить за помоль. Далѣе онъ любитъ перецъ и, наконецъ жену. «Когда у болгарина есть перецъ, овца, мельница и жена, ему больше ничего не нужно», говорятъ о братушкахъ колонисты-нѣмцы, объясняя этимъ отсталость болгаръ въ сравненіи съ нѣмцами. Поля свои болгаринъ засѣваетъ большею частію кукурузой и день-деньской бродитъ съ своей болгаркой между любимымъ растеніемъ и мотыжить землю огромной, въ видѣ полулунія, мотыгой.

Заѣдемте къ болгарину въ домъ. Пора обѣдать.

На порогѣ насъ встрѣчаетъ болгарка, высокая, худошавая, черноглазая женщина. Мы заговариваемъ съ ней на тему объ обѣдѣ, — на тупо, но непріязненно молчитъ. Тупость

— это многовѣковое рабство; непріязнь — потому, что боится, что мы вовлечемъ ее въ расходы. Мы заплатимъ, это такъ, но расходы все-таки будутъ. Еслибы мы просто заплатили, ничего не бравши, ну тогда другое дѣло. Итакъ, болгарка молчитъ.

Въ сторонѣ показывается болгаринъ. Круглая голова, лицо похоже на хохла и на молдавана, но матовый, немного безжизненный цвѣтъ лица отдаетъ финномъ, монголомъ. Болгаринъ благообразенъ, такъ-же, какъ и его болгарка, но что-то неуловимое, какой-то отдаленный *привкусъ* его типа говоритъ, что это далеко не чистый кавказецъ. Мы адресуемся къ болгарину. Онъ снимаетъ шапку, долго молча мнетъ ее въ рукахъ и, наконецъ, съ подавленнымъ вздохомъ впускаетъ насъ въ избу.

Намъ даютъ обѣдать, но обѣдъ не весель. Болгаркѣ все представляется, что она продешевила, и она ходитъ огорченной. Болгаринъ глядя на жену, тоже впадаетъ въ уныніе. Кромѣ того, въ кушаньяхъ такое количество перцу, что ротъ, горло и желудокъ обращаются въ огненную вещь.

Во время обѣда въ комнату набираются гости: моего спутника тутъ знаютъ.

Сначала приходитъ старшина. Колонія, гдѣ мы обѣдаемъ, — бойкая, торговая, и старшина

—въ черномъ сюртукѣ, при часахъ, съ черепаховымъ ринсе-нез на лентѣ. Это большой, тучный, пожилой господинъ. Его манеры совсѣмъ господскія, разговоръ—интеллигентнаго человѣка. О дѣлахъ своей волости онъ говоритъ неохотно и съ раздраженіемъ: народъ глупъ, и ничего съ нимъ не подѣлаешь.

За старшиной появляется староста. Это простой мужикъ въ овчинной курткѣ. Онъ стоитъ у притолки и будто-бы ничего не понимаетъ.

Наконецъ, насъ посѣщаетъ и школьный учитель, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, типичный, красивый болгаринъ. Средній ростъ, широкія плечи, самъ худощавый, и съ лицомъ и головой, въ типѣ которыхъ причудливо слились античный грекъ и монголъ. Профиль классическій, но глаза невелики, а лицо спереди широко; греческій носъ чуть-чуть изогнутъ; черепъ слишкомъ круглъ; уши едва замѣтно оттопырены. Красиво, но совсѣмъ непривычно. Молодой человѣкъ благовоспитанъ, интеллигентенъ, по всему видно, уменъ, но сдержанъ какъ старикъ, какъ восточный человѣкъ.

Старшина и учитель любезно приглашаютъ взглянуть на школу. Мы, конечно, соглашаемся, и пообѣдавъ, отправляемся туда.

Школа хорошая, свѣтлая и чистая, обильно

снабженная усовершенствованными учебными пособиями и малымъ количествомъ учениковъ и ученицъ.

Взглянемъ, однако, на этихъ маленькихъ болгарятъ. Когда я хочу выяснитъ себѣ не то, что такое данный народъ въ настоящее время, а чѣмъ онъ станетъ въ лучшее будущее, я смотрю на стариковъ и говорю себѣ, что это—настоящее; потомъ смотрю на дѣтей и стараюсь прочесть на ихъ открытыхъ лицахъ будущее.

У болгаръ есть будущее, и хорошее будущее. Передъ нами — наивные, веселые, умные мальчуганы и дѣвочки. Быстрымъ взглядомъ окидываютъ они насъ при входѣ, — быстрымъ, умнымъ, но хорошимъ. Въ этомъ взглядѣ нѣтъ ни недовѣрчивости, ни вражды. Мы съ ними ласковы, они съ нами довѣрчивы, безъ всякой задней мысли. Имъ задаютъ арифметическую задачу, они бросаются на нее, какъ мурашки, съ такою-же бодростью и энергіей. Задачу они рѣшили молодцами. Ихъ заставляютъ прочесть по-русски исторію «о пузырьѣ, лаптѣ и соломенкѣ». Пузырь вмѣстѣ съ лаптемъ и соломенкой захотѣли перейти черезъ ручей. Соломенка протянулась черезъ ручей въ видѣ моста. Первымъ пошелъ по ней лапоть. Соломенка сломалась и вмѣстѣ съ лаптемъ упала въ ручей и утонула. Пузырь хо-

хоталъ, хохоталъ и лопнулъ. Едва дочли послѣднія слова, классъ повалился отъ смѣха. Хорошій смѣхъ, здоровый смѣхъ! Это не золотушныя дѣти, которыя заплакали-бы отъ того, что имъ «жаль соломенку»: болгарята знаютъ, что соломенка и безъ того мертвая, а вся исторія — выдумка; но они вмѣстѣ съ тѣмъ и понимаютъ весь комизмъ исторіи, — и хохочутъ, хохочутъ... Славныя ребятишки! Нѣсколько поколѣній такихъ ребятишекъ, и наши братушки за Дунаемъ станутъ народомъ-людей, а не полу-звѣрей, какъ теперь. Въ нихъ много звѣря, но и человѣкъ въ нихъ сидитъ прочный — смысленный, энергичный, свѣжій. Скоро-ли это будетъ? Охъ, нескоро. Будетъ-ли этотъ намъ, русскимъ, на пользу и утѣшеніе? — Если и будетъ, такъ и того нескорѣе. Не съѣстъ-ли до тѣхъ поръ болгарина нѣмецъ? — Это ужь окончательно покрыто мракомъ неизвѣстности...

Въ странѣ коммунъ.

Не стану утомлять читателя подробнымъ описаніемъ русской Болгаріи. Одна колонія похожа на другую, одинъ болгаринъ на другого, школа Кубея на школу Вайсола, церковь въ Татаръ-Кицчакѣ на храмъ въ Эрдекбурну, долукіойскій старшина на болбокскаго. Такъ-же однообразенъ и буджакскій пейзажъ, ко-

торый, если вникнуть въ его сущность, даже и не пейзажъ совсѣмъ, а рельефная географическая карта въ натуральную величину: ни перспективы, ни неожиданностей, ни разнообразія. Взберитесь на первую попавшуюся возвышенность, оглянитесь,—и весь Буджакъ вамъ будетъ такъ-же ясенъ, какъ еслибы вы смотрѣли на его карту на вашемъ письменномъ столѣ. Чтобы отдохнуть отъ однообразія, ѣдемъ въ столицу русской Болгаріи, Болградъ, находящійся въ Измаильскомъ уѣздѣ.

Послѣ долгихъ странствій по рельефной географической картѣ, по которой мы ползали въ видѣ самыхъ крохотныхъ букашекъ, мы выползли на горбатый холмъ. Съ холма въ балку спускалась канава; въ балкѣ канава исчезала, снова появлялась на противоположномъ склонѣ, взбиралась наверхъ; перевалила черезъ гребень и куда-то скрывалась. Надъ нами, балкой, холмами и канавой сіяло небо. Позади, въ сторонѣ, висѣлъ кусокъ сѣрой тучи и выжималъ изъ себя сѣрыя струи дождя. Лошади и колеса подымали клубы глинисто-песчанисто-черноземной пыли, которые гналъ за нами легкій вѣтеръ. И вдругъ сквозь пыль мы увидѣли внизу, въ балкѣ, желѣзно-дорожный вокзалъ, рельсы, вагоны, паровозы, начальника станціи, кондукторовъ и пассажировъ. Все это было величиной съ «предметы

нагляднаго обученія» болгарской школы. Это было очень мило, и живо напомнило мнѣ цивилизованный способъ передвиженія, котораго я былъ лишенъ втеченіе полутора мѣсяцевъ.

— Станція Траяновъ Валъ, сказалъ мнѣ спутникъ. — Начинается Измаильскій уѣздъ.

Иллюзія разрушилась: это была настоящая станція бендеро-галацкой желѣзной дороги. Дорогу строилъ Поляковъ, на ровномъ мѣстѣ, дешевыми руками бѣглыхъ и безпаспортныхъ, по 40.000 р. верста. Дорога строилась въ горячее время послѣдней войны для спѣшныхъ военныхъ цѣлей.

— А вотъ и настоящій Траяновъ валъ, продолжалъ спутникъ, указывая на канаву, уходившую отъ насъ за гребень противоположнаго холма.

Небольшая канавка была знаменитымъ Траяновымъ валомъ, о которомъ пѣлъ еще авторъ слова о полку Игоревѣ. Быть можетъ, пѣвецъ, подобно мнѣ, тутъ бывалъ. Быть можетъ, ему рассказывали, что валъ воздвигнутъ въ горячее военное время, съ военными цѣлями, тоже, пожалуй, дешевыми руками бѣглыхъ и безпаспортныхъ. Наконецъ, быть можетъ, и валъ, — онъ тоже обошелся въ тридцать серебряниковъ погонная сажень. Все можетъ быть, ибо исторія, въ особенности такая, повторяется чаще, нежели думаютъ.

Началось шоссе, построенное, но недостроенное мѣстнымъ земствомъ. Подобное шоссе я видѣлъ до сихъ поръ только разъ въ жизни, у турокъ въ Азіи, между Яффою и Іерусалимомъ. Тамъ мой ямщикъ (колонистъ-нѣмецъ, вродѣ бессарабскаго) при первой-же возможности бросилъ шоссе и поѣхалъ обочиной. Тутъ то-же самое сдѣлалъ ямщикъ изъ колонистовъ-болгаръ.

— Ну, ужъ эти измаильскія земства! сердито воскликнулъ мой спутникъ, когда мы оставили шоссе и спутникъ въ послѣдній разъ спасся отъ опасности быть выброшеннымъ изъ экипажа.

— Ишь, вы отъ сердцовъ даже во множественномъ числѣ заговорили! сказалъ я.— Говорите: *земства!*

— Да какъ-же иначе! Земствъ тутъ три, и одно лучше другого. Это вотъ шоссе, холера ему въ бокъ, восемь тысячъ верста обошлась!

— Какъ три земства? Какъ восемь тысячъ? вдвойнѣ воскликнулъ я отъ двойного изумленія.

— Такъ вотъ и восемь! Такъ вотъ и три! Въ одномъ уѣздѣ три непремѣнныхъ земскихъ комитета: измаильскій, болградскій и какульскій.

— Три управы, поправилъ я.

— Нѣтъ, комитета, отвѣтилъ спутникъ. —
Э, да я вижу, это для васъ сюрпризъ... Ну-
ка, что это по вашему? продолжалъ онъ, ука-
зывая на болгарскую колонію, дома которой
были разсыпаны по склонамъ балки.

— Деревня, отвѣтилъ я.

— Нѣтъ-съ, это коммуна.

— Съ какой стати?..

— Ни съ какой стати; а на основаніи за-
кона о коммунахъ 13-го апрѣля 1874 года,
подписаннаго румынскимъ государемъ 5-го
апрѣля того-же года.

Тутъ я узналъ преинтересныя вещи.

Если вы захотите познакомиться съ зако-
нами, по которымъ управляется Измаильскій
уѣздъ Бессарабской губерніи, то поѣзжайте
въ Букарештъ и купите такую штуку:

Appendice La Collectiunea

De

Legiuirile Romaniei

Vechi si Nui

de

Ioan M. Bujoreanu

Bucuresci

1875.

Если вы получили въ Измаильскомъ уѣздѣ
мѣсто исправника, и вамъ нужно узнать осно-
ванія, на которыхъ вы можете посадить ста-

росту въ холодную, отыщите въ упомянутомъ «Appendice» этакую штуку:

Lege

Pentru comunele urbane

si rurale

(cu modificarile introduse prin legea de la 13 Martiu 1874 si promulgate prin decretulu № 747 din 5 Aprilie 1874)

и начинайте эту штуку изучать съ главы I-й, статьи I-й, которая читается такъ:

Capitolulu I

Formarea comunei

Art. I.—Pöte satele, orasele si oraselele (têrgurile) României voru forma pevitor comune independente, supuse legii de fața...

Но довольно васъ мучить. Это—по румынски. Это законъ объ устройствѣ сельскихъ и городскихъ коммунъ румынскаго княжества.

Если вы спросите здѣсь сельскаго старосту, на васъ выпучать глаза: тутъ старость нѣтъ. Волость тутъ всесловная, потому что сословія нѣтъ. Русскій подданный Измаильскаго уѣзда Бессарабской губерніи именуется не купцомъ, не мѣщаниномъ, не дворяниномъ, а попросту «жителемъ»: житель Измаильскаго уѣзда, и все тутъ. Всесловная волость называется сельской коммуной. Городъ — тоже коммуна, но городская. Волостной старшина—примарь;

писарь—ногарь; при старшинѣ—коммунальный совѣтъ. Нѣкоторыя волостныя дѣла восходятъ на разсмотрѣніе, разрѣшеніе и провѣрку въ палаты и къ господарю. Да, да, все это осталось въ законѣ, но палаты замѣнены почтеннымъ В. В. Шмульгой, измаильскимъ исправникомъ, а господарь—начальникомъ Бессарабской губерніи. Въ уѣздѣ дѣйствительно три земства, три земскихъ комитета: Измаильскій, которому подчинены всѣ города и посады уѣзда, Болградскій—столица бывшихъ болгарскихъ колоній, и Кагульскій—комитетъ остальныхъ сельскихъ коммунъ.

Какъ-же это могло случиться? спросить меня читатель. А вотъ какъ. Когда Измаильскій уѣздъ отошелъ отъ Румыніи къ Россіи въ 1879 году, рѣшено было не ломать мѣстнаго управленія, въ виду реформъ, подготовляющихся извѣстной Кахановской комиссіей. Прошло нѣсколько лѣтъ, Кахановская комиссія была упразднена и ея дѣла переданы въ ту комиссію, которая выработала земскихъ начальниковъ и новое устройство земства. вмѣстѣ съ Кахановской комиссіей это составило одиннадцать лѣтъ работы. И вотъ, Измаильскій уѣздъ, въ ожиданіи земскихъ начальниковъ и новаго земства, живетъ по румынскимъ законамъ до нашихъ дней.

Измаильскій уѣздъ мы оставимъ въ покоѣ,

а заглянемъ только въ главный городъ болгарскаго земства, — Болградъ.

Болградъ.

Перебирая старыя свѣдѣнія о Болградѣ, осматривая громадный болгарскій Храмъ и огромный городской паркъ, убѣждаешься, что болгарскія колоніи имѣли цѣлью не одно заселеніе Буджака, а еще должны были импонировать туркамъ, владѣвшимъ настоящею Болгаріей, должны были показать болгарамъ могущество Россіи.

Весною 1820 года пріѣхалъ въ Болградъ первый попечитель болгарскихъ колоній, Малявинскій. Собралъ старшинъ и депутатовъ, Малявинскій торжественно въ церкви прочелъ колонистамъ написанную на пергаментѣ Высочайшую грамоту. На каждую семью даровалось по 60 десятинъ. Давались льготы въ платежахъ податей и повинностей. Дарованы свобода вѣры и свобода отъ воинской и гражданской службы. Дозволялось заводить фабрики и заводы, заниматься ремеслами и торговлей, вступать въ гильдіи и цехи... Ничего подобнаго болгарамъ въ Турціи и присниться не могло. По прочтеніи грамоты, «сей драгоценный залогъ великихъ милостей, Всеавгустѣйшимъ Государемъ Императоромъ оказанныхъ болгарамъ, былъ положенъ для храненія въ алтарь церкви». Болгары, тронутые до

слезъ, положили, на мѣстѣ бѣднаго храма, гдѣ они получили грамоту, выстроить насчетъ болгарскаго народа, поселеннаго въ Бессарабіи, великолѣпный соборъ.

Но «положить»—одно, а сдѣлать—другое, Братушки прослезились, а потомъ и притихли, ожидая, не воздвигнется-ли великолѣпный соборъ самъ собою на казенныя деньги. И только чрезъ одинацать лѣтъ «убѣжденія и старанія новаго попечителя колоніи, надворнаго совѣтника Буткова, заставили ихъ приступить къ этому дѣлу». Въ іюнѣ 1833 года 10,000 колонистовъ собрались въ Болградъ, Втеченіе двѣнадцати дней 500 человекъ постоянно рыли фундаментъ; имъ помогали другіе; 1,000 куб. саженьей бутоваго камня было положено подъ фундаментъ. 23-го іюля, въ присутствіи генерала Инзова, закладка была освящена, а чрезъ пять лѣтъ воздвигся дивохрамъ во имя Преображенія Господня. Это лучший храмъ во всей Новороссіи. А слава его, конечно, прогремѣла по всей задунайской Болгаріи.

Не менѣе грандіозенъ великолѣпный болгарскій паркъ, разбитый на обрывистомъ берегу озера Ялпуха, то-же «убѣжденіями и стараніями» попечителей колонистовъ. Внушительнъ и Ялпухъ, тянущійся верстъ на тридцать въ длину и до восьми, десяти верстъ въ ши-

рину. Паркъ такой, что и въ столицѣ ему не стыдно-бы помѣститься, — съ гротами, съ фонтанами, съ бассейнами и каскадами, съ бѣсѣдками и кіосками. Тутъ есть и виноградники, подобно водопадамъ, сбѣгающіе по обрывамъ, и прямыя перспективы аллей, и гущи кустовъ, и темныя рощи поистинѣ гигантскихъ серебристыхъ тополей. Среди плоской, какъ столъ, придунайской степи, съ выжженной солнцемъ рыжей глинисто-черноземной почвой, на берегу такого-же рыжеватаго неуклюжаго гиганта Ялпуха, въ виду тяжкаго горба противоположнаго голаго берега, — этотъ паркъ производитъ странное, но глубокое впечатлѣніе. Да, Болградъ въ свое время должны были знать за Дунаемъ: въ свое время онъ сослужилъ-таки службу.

Дунай и землетрясеніе.

Намъ некогда, читатель, но нельзя-же не заѣхать въ Измаилъ, чтобы взглянуть на Дунай, на тотъ Дунай, о которомъ поютъ по всей Россіи, по всей Сибири, до Владивостока и Тихаго океана.

Мимоходомъ взглянемъ на Измаилъ. Это — нѣчто среднее между Одессой и Акерманомъ: полуправильный, получистенькій, но совершенно не русскій городъ. Напримѣръ, вотъ члены-учредители измаильскаго *казино*: Що-

повъ, трое Тульчиановыхъ (болгары), Захариади, Александриди, Аздеровъ, Ходжопуло, Аристасопуло, Кипариси, Горовичъ, два Златанова, Карадимовъ, Красса, Кастройоти, Келадино. Русскіе нравы прививаются тамъ туго. Въ первое время послѣ присоединенія Измаила къ Россіи, именитые граждане посылали къ полицмейстеру своихъ слугъ съ записочками приблизительно такого содержанія: «Милый полицмейстеръ, закатите препровождаемому при семь жителю Измаила, Попушоюлу, моему лакею, сотню горячихъ. Примите и проч. Житель Измаила Мамалыгуль». Русскій полицмейстеръ отказывалъ. Мамалыгуль былъ внѣ себя: при румынахъ били, а при русскихъ — нѣтъ. Охъ, читатель, какъ бьютъ въ конституціонной Румыніи! Правительство тамъ въ рукахъ у богатыхъ «жидовъ», и «жиды» бьютъ кого имъ вздумается: имъ стоитъ только отправить записочку къ исправнику, къ губернатору, къ министру, а то такъ и къ самому королю. Зимой, когда замерзнуть Дунай и Прутъ, къ намъ по льду бѣгутъ цѣлыя партіи румынскихъ солдатъ. Плачутъ, разставаясь со своей Молдо-валахіей, а бѣгутъ: не кормятъ, говорятъ, не одѣваютъ, а колотятъ не на животъ, а на смерть. Ихъ отправляютъ на жительство во внутреннія губерніи. Такъ же по рассказамъ бѣглецовъ, колотятъ и въ Бол-

гарии, но тамъ все-таки съ болѣе возвышенной цѣлью: дисциплинируютъ свое «быдло» для отстаиванія независимости государства. Въ Румыніи-же бѣдное быдло просто-на-просто обдираютъ.

Спѣшимте, однако, къ Дунаю. Вотъ онъ, европейская Волга. Онъ не широкъ, но быстръ; онъ несетъ столько-же воды, сколько всѣ рѣки Франціи, взятыя вмѣстѣ. На противоположномъ берегу — румынская Добруджа, полуболото, изрѣзанное безчисленными протоками и ручьями дунайской Дельты. Налѣво — Добруджа тянется безъ конца. Направо, тамъ, гдѣ въ нѣсколькихъ верстахъ выше Измаила, единый Дунай развѣтвляется на рукава, синѣютъ Балканы. У самаго развѣтвленія въ долину — румынская Тульча, съ ея колокольнями.

Дунай тихъ и смиренъ. Но вотъ подулъ восточный вѣтеръ, и въ одно мгновеніе Дунай показалъ, что съ нимъ шутить нельзя. Другая рѣка только-бы зарябила, только-бы заплескала. Не то быстрый Дунай. Онъ не выноситъ противорѣчія. Въ одно мгновеніе на рѣкѣ дыбомъ стали желтыя волны, откидывая сѣдые гривы пѣны. Въ одно мгновеніе прибрежный лепетъ струй превратился въ мощный плескъ. Рыбацкія лодки, до единой, сбѣжали съ рѣки, а на ней остались только вода да вѣтеръ.

Хотѣлъ-бы я взглянуть на Дунай въ минуту землетрясенія, которое я испыталъ въ Измаилѣ. Это было ночью, въ началѣ третьяго часа. Я заснулъ только около двухъ. Ночь была полнолунная, свѣтлая и какая-то безсонная. Собаки лаяли и выли. Подъ окнами моей комнаты ходили люди и какъ-то необычно громко разговаривали. Въ корридорѣ гостиницы тоже не хотѣли угомониться голоса и шаги. Наконецъ, я заснулъ. Но только что я забылся, какъ мою кровать встряхнуло вдоль, и она скрипнула. Проснувшись, я подумалъ, что мнѣ это почудилось, и опять задремалъ. И опять кровать заходила подо мною назадъ и впередъ, уже безъ скрипа. Я всталъ, и все еще не понимая, въ чемъ дѣло, зажегъ свѣчу и налилъ въ стаканъ воды. Когда я опрокинулъ голову и пилъ, я сильно пошатнулся и потомъ секунды двѣ «ходилъ», какъ передъ тѣмъ моя кровать. Въ то-же мгновенье покачнулось зеркало, въ которомъ я отражался, шевельнулось пламя свѣчи, треснули двери, гдѣ-то, что-то стукнуло, и жалобно завывала собака на улицѣ... Когда человѣка, иной разъ, послѣ усиленной работы, отъ нервной усталости, «покачиваетъ», выходитъ совсѣмъ землетрясеніе. На этотъ разъ, однако, встряхнуло не одного меня, а четыре уѣзда, вплоть до Кишинева. Дальше на сѣверъ «трусъ» не пошелъ.

IV.

Акерманландія.

Каиръ.— Каиръ населенъ исключительно цыганами. Даже сельскій староста, и тотъ цыганъ. Лошади, которыхъ мнѣ запрягли въ мою телегу, были отвратительныя.

Лейпцигъ.— Изъ Каира въ Лейпцигъ проѣхалъ шесть часовъ! Каково! Такъ медленно я еще отъ роду не ѣзживалъ. Въ Лейпцигѣ ночевалъ. Нѣмцы — народъ чистоплотный, но клоповъ немало. Выѣзжая изъ Лейпцига въ Парижъ, на главной, да и единственной вмѣстѣ съ тѣмъ улицѣ, видѣлъ кирку. Ничего себѣ кирка, порядочная; стоила, говорятъ, около пятидесяти тысячъ рублей. Лейпцигъ ея чрезвычайно гордится.

Парижъ.— Лейпцигскіе ямщики довели сюда хорошо. Парижъ населенъ исключительно нѣмцами. Базара нѣтъ. Продавать и покупать парижане ѣздятъ на базаръ въ Тарутино.

Тарутино.— Тарутино куда больше Парижа. Говорятъ, что и *Бородино* больше Парижа. Бородино населено кашубами, славянскимъ племенемъ изъ восточной Пруссіи. Это племя нѣмечится роковымъ образомъ, ибо онѣмечилось до тла не только въ Пруссіи, но и въ Бородинѣ, которое находится, очевидно, въ

Россіи. Въ Бородинѣ множество Вержбицкихъ, Яновскихъ, Заблоцкихъ, Гурскихъ, но всѣ они — Фритцы Іоганны и Францы, и никто изъ нихъ кромѣ какъ по-нѣмецки не говоритъ. Куда поѣду отсюда — не знаю: можетъ быть, въ *Красное*, можетъ быть, въ *Малоярославецъ*.

Арцисъ. (Arcis sur Aube). — Оказалось, что ближе всего отъ Бородина — Arcis sur Aube. Жалѣю, что не заглянулъ въ *Красное*, гдѣ живутъ эльзасцы, лотарингцы и поляки — въ смѣси. Малоярославецъ можно было и миновать, ибо онъ населенъ такими-же нѣмечеными кашубами, какъ и Бородино, которое я видѣлъ. Оказывается, что Arcis sur Aube стоитъ вовсе не на Aube, а на рѣкѣ Кундукѣ, онъ-же и Кигальникъ.

Фершампенуазъ 1-й. — На однѣхъ и тѣхъ-же лошадяхъ побывалъ въ знаменитомъ *Кульмѣ* и черезъ Тарутино прибылъ въ Фершампенуазъ 1-й. *Кульмъ* интересенъ тѣмъ, что стоитъ на желѣзной дорогѣ, тогда какъ Парижъ, Каиръ, Малый Ярославецъ, *Плоцкъ*, etc. etc. стоятъ на проселкахъ.

Фершампенуазъ 2-й. — Тутъ составляю дальнѣйшій маршрутъ. Вотъ онъ: Гнаденталь, Гофнунгсталь, Гофнунгсфельдъ, Фрейденфельдъ, Гнаденфельдъ, Фриденсфельдъ, Фриденсталь, Эйгенфельдъ, Эйгенгеймъ, Фрейденгеймъ, Гофнунгсгеймъ, Якобсталь, Якобсгеймъ.

Въ чистомъ полѣ (въ буквальному смыслѣ этого слова).— Дальнѣйшій маршрутъ оказался заколдованнымъ. Хочу попасть въ Фриденгеймъ, я попадаю въ Фрейденгеймъ. Ямщикъ увѣряетъ, что вонъ тамъ, направо,—Гофнунгсфельдъ, а оказывается, что это совсѣмъ другое: это Гофнунгсталь. Къ вечеру я непременно долженъ былъ поспѣть въ Эйгенфельдъ гдѣ меня съ нетерпѣніемъ ждали, а попалъ въ Эйгенгеймъ, и воображая, что я въ Эйгенфельдѣ, съ нетерпѣніемъ жду тѣхъ, кто меня съ нетерпѣніемъ ждетъ за тридцать верстъ отъ Эйгенгейма. Кончилось тѣмъ, что я пришелъ въ отчаяніе, велѣлъ остановить лошадей на томъ пунктѣ степи, гдѣ меня отчаяніе схватило, легъ на траву, и подобно Потемкину, можетъ быть, тутъ и скончаюсь. Моя скорбь увеличивается еще тѣмъ, что ни я, ни ямщикъ не можемъ съ увѣренностью сказать, на чьихъ поляхъ совершится этотъ трагическій конецъ: гнадентальскихъ или яacobстальскихъ, фриденфельдскихъ или фрейденфельдскихъ, фрейденстальскихъ или яacobсгеймскихъ...

Когда было совершено это интересное путешествіе? спрашиваетъ меня читатель, и конечно, ждетъ въ отвѣтъ: — 93-го марта, между днемъ и ночью.— Нѣтъ, читатель, день и ночь были въ полномъ порядкѣ, марта никакого не было, а попали мы съ вами въ

одну изъ фантастичнѣйшихъ географій въ мірѣ, въ страну бессарабскихъ нѣмецкихъ колоній. Это—Акерманландія, Акерманскій уѣздъ Бессарабской губерніи.

Парижъ, Лейпцигъ, Кульмъ, Бородино, Тарутино, *Клястица*, Арцисъ Старый, Арцисъ Новый, — все это имена нѣмецкихъ колоній, основанныхъ въ Бессарабіи въ началѣ этого столѣтія, въ то время, когда еще были живы воспоминанія о нашихъ побѣдахъ 1812—14 годовъ. Въ честь этихъ-то побѣдъ и появились двадцать пять колоній съ громкими историческими названіями. Когда колоніи основывались, нѣмцевъ было не особенно много; вѣроятно, тысячъ десять, двѣнадцать душъ, вмѣстѣ съ нѣмками и малыми нѣмчатами. Съ тѣхъ поръ нѣмцы сильно размножились. Нѣмки не дремали, нѣмчата подростали, женились, плодились, и теперь ихъ наберется тысячъ около сорока. А колоній считается не двадцать-пять, а штукъ около восьмидесяти. Я говорю: около, — потому-что разобратъся въ новыхъ колоніяхъ, въ этихъ безчисленныхъ *таляхъ*, *теймахъ* и *фельдахъ* — работа далеко не легкая даже человѣку, для котораго нѣмецкіе звуки не звукъ пустой, а имѣютъ значеніе. Говорятъ, что мѣстные урядники просто слезами плачутъ, не будучи въ состояніи понять, какая-же, наконецъ, разница между Фриден-

сгеймомъ, гдѣ живетъ нѣмецъ, которому надо вручить повѣстку, и Фрейденсгеймомъ, гдѣ обитаетъ другой нѣмецъ, отъ котораго надо отобрать подписку. Бессарабская природа также не даетъ никакой точки опоры. Вездѣ все тотъ-же Буджакъ, все та-же географическая карта въ натуральную величину. Одинъ оврагъ какъ двѣ капли воды похожъ на другой оврагъ. Вездѣ такіе-же хлѣба, такіе-же суслики, такіе-же нѣмцы. У всѣхъ нѣмцевъ одинаковые дома, одинаково отличныя лошади. Даже пожаровъ у нѣмцевъ не бываетъ, даже пьянству они не предаются, такъ-что ни по синякамъ, ни по головешкамъ ихъ отличить отъ сосѣдей невозможно.

Нѣмцы и ихъ колоніи въ самомъ дѣлѣ до того похожи другъ на друга, что можно подумать, будто ихъ дѣлали на фабрикѣ.. Но бросимъ шутки. Фабрика, гдѣ сработаны нѣмцы — великая страна, Германія; а работала нѣмцевъ великая мастерица, западно-европейская многовѣковая культурная исторія. Нѣмецъ можетъ быть для насъ, русскихъ, антипатиченъ, можетъ быть опасенъ, пожалуй страшенъ. Но что германскій народъ—великій народъ, этого не признать нельзя, особенно когда побываешь въ колоніяхъ, гдѣ живутъ отборные элементы нѣмецкаго простонародья. Около Измаила я видѣлъ «некрасовцевъ».

Это великоруссы-раскольники, когда-то бѣжавшіе въ Турцію. Знаете-ли, чтобы добѣжать изъ какой-нибудь Пермской губерніи въ Турцію надобно быть довольно расторопнымъ мужикомъ! Чтобы убѣжать не изъ страха наказанія за мошенничество или воровство, а отъ побужденій совѣсти, надо имѣть много совѣсти и хорошей совѣсти. Чтобы затѣмъ устроиться такъ, какъ устроились некрасовцы, — Богъ знаетъ гдѣ, въ болотахъ Георгіевскаго острова Добруджи, среди турокъ, рядомъ съ черкесами, — нужно много энергіи, ума и характера. Все это оказалось у раскольника-великоруса. Онъ умаслилъ и заговорилъ зубы турку, нашелъ возможнымъ ужиться съ черкесомъ, построилъ себѣ хорошія церкви, завелъ не только поповъ, но и епископовъ, а, главное, какъ кусокъ гранита всегда остается гранитомъ, онъ остался русскимъ. Отъ турокъ онъ перешелъ къ румынамъ, отъ румынъ вернулся къ намъ такимъ, точно онъ только вчера пріѣхалъ сюда изъ своей пермской или симбирской деревни. Сапоги, сарафаны, шляпы, ситцы, даже узоры ситцевъ — точь-въ-точь такіе, какъ «тамъ, въ глубинѣ Россіи». И это — дѣтище всего лишь двухвѣковой культуры, да и то незавидной. Его расколъ большею частью формальный. Можете теперь себѣ представить каковъ былъ-бы некрасовецъ, еслибы за нимъ

стояли восемь, девять вѣковъ культуры, и еслибы онъ бѣжалъ не изъ-за вопросовъ орфографій,—какъ писать: Исусъ, или Исусъ?—а изъ-за разногласій, которыя явились плодомъ многовѣкового серьезнаго мышленія.. Если вы хотите видѣть такого идеальнаго некрасовца, пожалуйста въ нѣмецкую колонію. Она основана нѣмецкими раскольниками, нѣмецкими «некрасовцами».

Исторія нѣмецкой колоніи.

Пусть эта колонія называется Дейченталь. Пусть она построена не въ Бессарабіи, а вообще гдѣ-нибудь на югѣ черноземной благодатной Россіи. Теперь въ колоніи благодать, но не таково прошлое ея жителей. Исторія взяла съ нихъ очень дорого за теперешнее благоденствіе.

На сценѣ одиннадцатый вѣкъ. Въ Римѣ сидитъ папа и правитъ многочисленной арміей ксендзовъ. Папа и ксендзы—намѣстники апостоловъ, но какъ мало похожи они на свой первообразъ! Папа, это каксй-то восточный владыка, неизмѣримо богатый, суетно великолѣпный, деспотичный и лѣнивый. Епископы—его сатрапы; ксендзы—рабы сатраповъ и тираны своей паствы. Это-ли царствіе небесное на землѣ, эти монастырскіе крѣпостные, эти оргіи въ епископскихъ дворцахъ, эти индуль-

генціи, продаваемыя за деньги, эта покупка священныхъ мѣстъ?! Нѣтъ, это нѣчто грѣшное, сатанинское, *нечистое*. Христіанство загрязнено, — его надо очистить. И вотъ, въ сѣверной Италіи появляются *gazzari*, что значитъ *чистые*. Они требуютъ одного: чтобы жизнь христіанъ была чиста. Призывъ *gazzari* быстро разносится по всей Европѣ. Въ Чехіи *gazzari* именуются: катары; у нѣмцевъ—*Ketzer*. Лионскіе *gazzari* называютъ себя, по имени своего вождя, Вельда, вальденцами. Папа Люцій III въ 1184 году всенародно прокликаетъ *чистыхъ*, какъ-бы они ни называли себя. *Gazzari* и *Ketzer* становится синонимомъ еретика. Закипаютъ религіозныя войны, загораются костры инквизиціи, изобрѣтаются сотни мучительныхъ пытокъ,—и начинается ужасный періодъ европейской исторіи, періодъ ересей, расколовъ и безчеловѣчной борьбы съ ними, передъ которымъ исторія нашего раскола — мимолетняя «семейная сцена».

Въ XIV столѣтіи появляется *Ketzer* Лютеръ. Половина Германіи освобождается отъ ига римской церкви, но народной массѣ этого уже мало. Раньше Лютера былъ Гуссъ. Среди гусситовъ явились табориты. Табориты имѣли собственную крѣпость на горѣ Таборѣ, или Оаворѣ, и проповѣдывали безусловную имущественную общность. Не должно быть ни

богатыхъ ни бѣдныхъ, ни знатныхъ, ни подлыхъ. Всѣ должны быть равны, всѣ должны быть равно довольны и счастливы. Объ этомъ мечтали табориты. А дѣйствительность была такова: въ христіанскихъ государствахъ царило римское право, право язычниковъ и рабовладѣльцевъ; германскій императоръ зналъ только свои династическіе интересы, а не интересы государства. Князья и рыцари жили грабежомъ и угнѣсненіемъ слабыхъ. Города соперничали съ ними на этомъ похвальномъ поприщѣ. Царилъ сильный кулакъ, и этотъ кулакъ въ-дребезги разбилъ общины таборитовъ.

До временъ Лютера все затихло. Но явился Лютеръ, и его проповѣдь свободы церкви отразилась въ массахъ въ видѣ новаго призыва къ свободѣ гражданскаго быта. Вновь закипѣла Европа. Вновь работаютъ экзальтированные умы, вновь поднимаются волны народнаго моря, являются дерзкіе мыслители, смѣлые вожди. Вновь призраки полнаго счастья, того счастья, которое обѣщано праведникамъ за гробомъ, носятся надъ грѣшнымъ челоѣчествомъ и зовутъ его къ борьбѣ за это счастье, къ борьбѣ съ убійствами, съ пожарами, съ сраженіями, — съ несчастіемъ. Появляются «цвикаускіе пророки» и во главѣ ихъ—Фома Мюнцеръ, Никласъ Шторхъ, Мартинъ Целларіусъ. Они

проповѣдуютъ основаніе «Новаго Іерусалима», немедленно, и если нужно — насильственно. Лютеръ требуетъ, чтобы ихъ «вѣшали, какъ бѣшенныхъ собакъ». Мюнцеръ обличаетъ Лютера въ томъ, что онъ «любитъ тѣшить плоть въ пуховикахъ, что для него вѣра — все, а дѣла ничто; что онъ оставляетъ народъ въ его прежнихъ грѣхахъ».

Мюнцеръ обратился къ низшимъ слоямъ общества. «Онъ ненавидѣлъ угнетателей народа, свѣтскихъ и духовныхъ владѣтелей; онъ считалъ ихъ развратителями міра, врагами божественнаго порядка. Въ духовенствѣ онъ видѣлъ продолженіе «древней тиранніи, которая мучитъ людей». Онъ ненавидѣлъ высшіе классы, «враговъ царства Божія на землѣ, евангелія и вѣчнаго спасенія, какъ людей, приносящихъ человѣчество въ жертву своему эгоизму, сластолюбію и капризамъ, всячески злоупотребляющихъ ими и препятствующихъ ему развивать свои силы и наслаждаться жизнью» *).

Какъ видите, Мюнцеръ былъ олицетвореніемъ народнаго бунта, мрачнаго, дикаго. И бунтъ этотъ, извѣстный подъ именемъ великой крестьянской войны, разразился. Все обездоленное, все несчастное, бредившее счастьемъ,

*) Клаусъ. Наши колоніи. Спа. 1869, стр. 109.

сошлось подь онучныя знамена мужиковъ — искателей новаго Іерусалима на землѣ. «Въ революціонныхъ рядахъ стояли другъ возлѣ друга либералы, не переходившіе за извѣстные предѣлы и требовавшіе только того, что имъ казалось возможнымъ; и радикалы, которые хотѣли передѣлать все существующее сначала до конца, передѣлать все заново. Въ религиозномъ смыслѣ были здѣсь представители всѣхъ оттѣнковъ, отъ фанатика-анабаптиста, имѣвшаго личныя откровенія и непосредственныя связи съ безтѣлеснымъ міромъ, до фанатика-раціоналиста, отвергавшаго и даръ пророчества, и загробный міръ, наконецъ, даже церковь и самое бытіе Бога *)».

«Большой мужицкій бунтъ» кончился тѣмъ, что онъ былъ уничтоженъ. Онучныя знамена были изорваны, и мужикъ, мечтавшій о «Новомъ Іерусалимѣ», очутился въ рабствѣ еще худшемъ, чѣмъ до того.

Чѣмъ чаще заглядываешь въ исторію, тѣмъ больше и больше убѣждаешься, что «Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ». Рѣшая споръ силою, отдаешь рѣшеніе тому, кто сильнѣе. Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ-же конфузиться: надо прямо объявить, что право и справедливость есть сила. Большой мужицкій бунтъ былъ по-

*) Тамъ-же, стр. III.

давленъ, и сила была посрамлена силою. Нѣмецкимъ раскольникамъ оставалось терпѣть, и они терпѣли, не измѣняя, однако, своимъ ученіямъ; измѣна была совершена позже.

Вытерпѣть, должно быть, пришлось немало, потому что сектанты не сидятъ на мѣстѣ, а бродятъ изъ одной стороны въ другую, ища, гдѣ-бы ихъ оставили въ покоѣ. Послѣдователи Якова Гуттера, одного изъ вожаковъ мужицкаго бунта, изъ Швейцаріи бѣгутъ въ Моравію, въ Аустерлицъ. Но Моравія попадаетъ въ лапы католическихъ габсбурговъ; Гуттера сожгли, а гуттерцы ушли въ Крайну и Венгрію. Оттуда Марія Терезія выжила ихъ въ Трансильванію. Та-же Марія Терезія нашла ихъ и въ Трансильваніи и грозила взрослыхъ размѣстить по тюрьмамъ, а дѣтей раздать на воспитаніе католикамъ. Гуттерцы ушли въ Валахію, но тутъ ихъ стали грабить, мучить и убивать валахи. Тогда община кинула жребій, указала на Россію, и гуттерцы перешли въ Россію, гдѣ основали колонію Радичевъ, Черниговской губерніи *). Такъ-же круто, какъ и гуттерцамъ, приходилось и другимъ толкамъ. Таковы судьбы таборитовъ. Приставая то къ вальденцамъ, то

*) Клауссъ. Тамъ-же. Колонія Радичевъ.

къ гуттерцамъ, то склоняясь къ соединенію съ лютеранствомъ и реформаторами, они то-же бѣгають по лицу земли, избѣгая отечества и эмигрируя въ восточную Пруссію, въ Польшу, даже развѣдывая черезъ ходоковъ, нельзя-ли перебраться въ Россію, гдѣ не признають ненавистнаго папы и, пожалуй, столь-же ненавистнаго Лютера. Остававшіеся на родинѣ исповѣдывали свою раскольничью вѣру тайно.

Вдругъ между нѣмецкими сектантами пронесся слухъ, который повергъ ихъ въ восхищеніе и оживилъ ихъ надежды. Это было въ первой четверти прошлаго столѣтія. Въ саксонской Лузаціи нашелся богатый и знатный помѣщикъ, графъ Николай Людвигъ Цинцендорфъ, который объявилъ себя почитателемъ и приверженцемъ нѣмецкаго соціально-религіознаго раскола. Графъ тоже искалъ счастья на землѣ, тоже искалъ правды. Графъ, очевидно, отрицалъ правду силы. Онъ не сдѣлался демагогомъ. Онъ просто отдалъ свое имѣніе, Бертельсдорфъ, раскольникамъ, и одна изъ раскольничьихъ общинъ основала тамъ въ 1772 году колонію Гернгуть.

Табориты пришли къ графу далеко не такими яркими коммунистами, какими были ихъ предки. Время и опытъ умудрили ихъ, и они вернулись къ ученію Ketzer'овъ, кото-

рые желали только чистоты и любовности жизни, въ духѣ первыхъ временъ христіанства. Это соединило вокругъ нихъ послѣдователей разныхъ толковъ; даже реформаторы, даже лютеране, не измѣняя своимъ религіознымъ вѣрованіямъ, примыкали къ нимъ. Добрый графъ оформилъ ученіе своихъ раскольниковъ, и вышло слѣдующее.

Раскольничій толкъ назвалъ себя «обществомъ евангелическихъ братьевъ.»

Общество допускаетъ въ свою среду послѣдователей трехъ исповѣданій моравскаго, лютеранскаго и реформатскаго.

«Имущественная общность, какъ догматъ, обойдена; общинная собственность поставлена въ совершенную независимость отъ личной. Взаимныя имущественныя отношенія общинной экономіи къ членамъ общины приняты приблизительно тѣ-же, какія существуютъ между человѣколюбивымъ капиталистомъ - заводчикомъ и его рабочими. Эти отношенія, ставя всюду на первый планъ интересы хозяина-капиталиста, въ принципѣ не отрицаютъ, однако, ни личной собственности вообще, ни возможности различныхъ, по обстоятельствамъ, комбинацій. Но, для полноты и ясности сравненія, необходимо добавить, что члены общины связаны съ общинною экономіей принципомъ круговой поруки, чего нѣтъ во вза-

имныхъ отношеніяхъ капиталиста и его рабочихъ» *).

Въ частныхъ домахъ живутъ только семейные (*die privaten*). Остальные: младенцы, мальчики, дѣвочки, холостяки, дѣвушки, вдовцы и вдовы, живутъ въ общихъ помѣщеніяхъ. За «приватными» слѣдятъ Arbeiter'ы. Каждая корпорація имѣетъ своего *Chorpfleger'a*. Высшее управленіе общины называется совѣтомъ старѣйшихъ *Aeltestenconferenz*.

Такъ управляется отдѣльная расколничья нѣмецкая община. Дѣлами всѣхъ общинъ завѣдуетъ *Directorium*, раздѣленный на три департамента, изъ которыхъ каждый управляется епископомъ и четырьмя пасторами. Департаменты эти—попечительства и воспитанія, мисіонерства, финансовъ и инспекціи. Выше директоріума стоятъ синодальныя собранія, бывающія въ 7—12 лѣтъ разъ и состоящія изъ членовъ директоріума и депутатовъ отъ общинъ и ихъ управленій.

Вотъ какъ устроились нѣмецкіе некрасовцы послѣ нѣсколькихъ вѣковъ борьбы, страданій и гоненій,—послѣ нѣсколькихъ столѣтій горячей молитвы о дарованіи счастья. Горячо молились обездоленные, нищіе и голодные, но невольно жарче другихъ словъ изъ ихъ за-

*) Клаусъ. «Наши колоніи. Колонія Сарепта», стр. 64.

сохшихъ усть вырывалась мольба: «Unser täglich Brod gieb uns heute», хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь.

И вотъ, по нѣмецкимъ раскольничьимъ общинамъ, по глухимъ германскимъ городкамъ, по горнымъ баварскимъ пастушьимъ хижинамъ, по болотнымъ хуторамъ балтійскаго побережья, по селамъ онѣмеченныхъ кашубовъ, — среди нѣмецкихъ раскольниковъ, которые исповѣдывали свою вѣру полу-терпимые, полу-таясь, нажимаемые то лютеранскимъ пасторомъ, то католическимъ барономъ - помѣщикомъ, разнеслась вѣсть: Господь далъ насущный хлѣбъ, далъ въ Гернгутѣ графа Цинцендорфа. Въ Гернгутѣ хлынули нѣмецкіе переселенцы, потянулись нѣмецкіе-ходоки. Голодный и преслѣдуемый наивень. Переселенцамъ и ходокамъ воображалось, что въ Гернгутѣ хватить насущнаго хлѣба на всѣхъ, что тамъ совершится чудо. Чуда, конечно, не было. Цинцендорфъ могъ организовать нѣмецкій расколъ, но не напитать его хлѣбомъ.

Колонія идетъ въ Россію.

Пришли къ Цинцендорфу и наши дейчен-талъцы. Къ какой они принадлежали сектѣ, они и сами плохо понимали. Знали они только, что худо и трудно имъ живется на свѣтѣ, и что гернгутеры нашли возможность устроиться

хорошо. Имъ самимъ хочется удачи, спокойствія и хлѣба, — ну, значить, и они гернгутеры. Пришли, молятся: «Unser täglich Brod gieb uns heute»,—а хлѣба нѣтъ. Плохо пришлось-бы переселенцамъ и ходокамъ, еслибы они не были нѣмцами. Къ счастью, они были не только нѣмцами, но эссенціей нѣмцевъ. Эссенція выдѣлила изъ себя квинтъ-эссенцію, въ формѣ директоріума и синода. Директоріумъ и синодъ, молясь: «Unser täglich Brod gieb uns heute», бросились развѣдывать, куда-бы имъ пристроить своихъ единовѣрцевъ, — и нашли: насущный хлѣбъ нѣмцевъ объявился въ Россіи.

Прочтите у цитированнаго выше Клаусса главу о Сарептѣ. Тамъ вы узнаете, что такое нѣмецкіе раскольники, которыхъ ковала исторія втеченіе восьми вѣковъ. Это образецъ культурныхъ людей. Ихъ вожаки, вродѣ графа Цицендорфа,—настоящіе философы. Ихъ епископы и пасторы,—это ученые. Ихъ Arbeiter'ы, Chorptleger'ы, Gemeindevorsteher'ы и прочіе «начетчики» и «старіки», — образованные люди. Масса, конечно, не философы и не ученые, но и не «дыромолы» или хлысты. Масса втеченіе многихъ вѣковъ культуры сдѣлала огромный запасъ культурныхъ инстинктовъ и привычекъ, научилась понимать своихъ образованныхъ

вожаковъ и, довѣря этимъ послѣднимъ, дѣйствуетъ дружно, каждый стоитъ за всѣхъ и всѣ за cadaго. Когда директоріумъ и синодъ открыли существованіе хлѣба насущнаго въ Россіи, масса не бросилась туда очертя голову, а терпѣливо ждала, пока управление братства обстоятельно переговорить съ русскимъ правительствомъ, обезпечить будущее и выговорить для своихъ братьевъ тѣ льготы и свободу, которыя проживаніе въ Россіи въ самомъ дѣлѣ сдѣлаютъ похожимъ на «Новый Іерусалимъ».

Переговоры ведутся не торопясь. Братство посылаетъ въ Россію настоящихъ пословъ. Послы держатъ себя осторожными и искусными дипломатами, и въ 1767 году выговариваютъ слѣдующій *täglich Brod*.

Колонистамъ дается земля, по 60 десятинъ на дворъ, и безпроцентная ссуда на 10 лѣтъ для обстройки. Колонисты освобождаются на 30 лѣтъ отъ податей, и навѣчно — отъ воинской повинности, постоя и почтовой гоньбы. Колонисты получаютъ полную свободу вѣры, свободу торговли, промысловъ, передвиженія внутри имперіи и за ея предѣлы. Наконецъ колонисты получаютъ право содержать въ Петербургѣ одного изъ братьевъ «въ чинѣ агента», которому дается право представительства не только предъ управленіемъ рус-

скими колоніями, но и «персонально» предъ Императорскимъ Величествомъ. Только послѣ утвержденія всѣхъ этихъ правъ Всеилости-вѣйшею грамотой 27-го марта 1767 года нѣмецкіе раскольники сначала двинули въ Россію ходоковъ для избранія мѣстъ, а потомъ двинулись и сами. Движеніе это длилось почти столѣтіе, и остановлено только въ сороковыхъ годахъ.

Нѣмцы шли въ Россію съ надеждой, но хранили ее на самомъ днѣ своей нѣмецкой души, не рѣшаясь вѣрить, что ихъ молитва «Unser täglich Brod gib uns heute» наконецъ, послѣ вѣковъ напраснаго ожиданія, услышана. Нѣмцы были бѣдны, изнурены нищетой, тревогами и труднымъ путемъ. Лошади и тѣлеги были далеко не у всѣхъ, и многіе тащили кое-какую свою рухлядь и ребятишекъ на ручныхъ двуколкахъ: самъ нѣмецъ—въ оглобляхъ; на пристяжкѣ—его нѣмка, въ соломенной шлякѣ; сзади подпираетъ добросовѣстный нѣмченокъ, старшій сынишка, въ пиджакѣ и босикомъ. Такъ тащились вереницы нѣмецкихъ раскольниковъ въ Россію, по пустыннымъ степямъ и широкимъ скотопрогоннымъ трактамъ. Шли они мѣсяцами, шли годами. На зиму размѣщали ихъ по русскимъ селамъ. Казалось, никогда не дойдутъ они до мѣста. Нѣтъ конца этой неизмѣримой странѣ,

Россіи. Нѣтъ конца никогда неиспытанной зимней стужѣ, которая, казалось нѣмцамъ, погубить сдѣланные съ осени поствы,—и весною и сами они, и все русское царство очутятся безъ täglich Brod. Нѣмцамъ дѣлалось жутко, они начинали отчаяваться.

Was ist das für ein Schmerz,
Das ich muss Deutschland meiden
Und nun, als Kolonist,
Viel Plag' und Kummer leiden —

писалъ въ стихахъ одинъ изъ колонистовъ, зимую въ курной мужицкой избѣ, замеченной снѣгомъ *)

Курная изба ужасала нѣмцевъ:

Des Morgens kann vorerst
Ich nicht im Zimmer bleiben
Vor Rauch und dickem Dampf,
Weil hier kein Schornstein war.

Въ избѣ было не только курно, но и темно:

Die Fenster sind von Glas
Doch nur zwei Scheibelein.
Dass kaum die liebe Sonn'
Kann geben ihren Schein.

*) Клауссъ. «Наши колоніи. Приложение I.»

«Какое горе, оставить Германию и въ качествѣ колониста идти на всякія бѣды и напасти». — «Утромъ нельзя было оставаться въ избѣ отъ дыма и густаго пара, потому-что не было трубы». — «Окно хотя и со стекломъ, но всего въ двѣ маленькія оконницы. Милое солнце чуть-чуть заглядываетъ въ нихъ.»

Особенно ужасался колонистъ-поэтъ тому, что въ избѣ вмѣстѣ съ людьми жили свиньи, телята и овцы. Но и хозяинъ избы, Hans Russmann, онъ-же и Batuschka (батюшка), и его Ваба, она-же Matuschka (матушка), представлялись нѣмцамъ совершенными дикарями. Въ избѣ Batuschka и Matuschka ходятъ безъ верхняго платья, и нѣмецъ восклицаетъ:

Was soll denn das bedeuten—

Die gehn' ja bloss im Hemd

Und das vor allen Leuten! *)

Бстъ Hans Russmann нѣчто невозможное: Karusta und Quas. У Руссманна много молока, но онъ не умѣетъ дѣлать масла. Своей лошади онъ не даетъ ни овса, ни ячменя, и несчастная скотина жива однимъ сѣномъ. Хозяйничаетъ Руссманъ глупо: пашетъ скверно, сѣетъ скверно, жнетъ и косить скверно. Одѣтъ онъ дико: въ грубый холстъ, овчину и даже не имѣетъ кожаныхъ сапоговъ, а обуть въ лапти изъ древесной коры. Домашняя утварь: ложки, чашки, Gorschok и Wadeika — все это деревянное или глиняное. Ни мѣди, ни чугуна, ни даже жести Руссманнъ не знаетъ. Цѣлую зиму Руссманнъ лежитъ на печи и палецъ о палецъ не ударить.

*) «Что такое! Да они въ однихъ рубахахъ, — и это при всѣхъ!»

Vor Faulheit stinckt der Russ'

Das ist ja hell und klar **)

Вонъ съ какихъ временъ нѣмцы презираютъ Руссманна! Но тогда они были еще робки и остерегались выражать свои чувства во всеуслышаніе.

Зима, наконецъ, миновала, и колонисты двинулись дальше. Вотъ и отведенная имъ земля. Конецъ странствіямъ. Что-то будетъ? «Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь»...

Хлѣбъ ихъ насущный имъ данъ.

Прошло со времени рассказанной исторіи около ста лѣтъ. Мы съ вами, читатель, волею судебъ попадаемъ въ Дейченталь и знакомимся съ нимъ.

Съ высокаго берега глубокой балки мы видимъ Дейченталь, расположенный у степной рѣчки—ручья. Дейченталь состоитъ изъ двухъ параллельныхъ безконечныхъ улицъ, пересѣченныхъ нѣсколькими короткими поперечными. Дома построены съ промежутками, и въ промежуткахъ деревья и кусты. Передъ домами, вдоль улицы, тоже деревья. Дома одноэтажные, на улицу выходятъ боковымъ фасадомъ, въ два, въ три окна. Строены они изъ камня или изъ кирпича, оштукатурены и выкрашены

**) Отъ русскаго смердитъ лѣнью,—это ясно, какъ день.

клеевой краской въ жиденькіе цвѣта: голу-
бенькій, блѣдно-розовый, желтенькій. Крыши
крутыя и высокія. На каждомъ дворѣ виденъ
колодезь. Общественныхъ колодцевъ нѣтъ, и
нѣмецъ желаетъ пить собственную воду изъ
собственнаго колодца. На каждой крышѣ въ
гнѣздѣ сидитъ собственный аистъ, и назы-
вается тутъ не лелекой, а шторхомъ. Это нѣ-
мецкій аистъ. Аисты дѣлаютъ гнѣзда разъ
навсегда, не мѣняютъ ихъ и, пока живы, не
пустятъ въ колонию ни молдаванскаго, ни рус-
скаго аиста. Гнѣздо нѣмецкаго аиста какъ-
будто больше его братьевъ другихъ націо-
нальностей, потому-что нѣмецкая крыша про-
сторнѣй.

Посреди Дейченталя, на площади, стоитъ
кирка готической архитектуры, конечно, са-
мой простенькой и неприхотливой. Зато кирка
обширна, безукоризненно ремонтируется и
утопаетъ въ древесной зелени, сквозь которую
мирно смотрятъ ея высокія стрѣльчатые окна.

Противъ кирки, черезъ площадь,—пастор-
скій домъ. Хорошій, просторный и свѣтлый
домъ. Построить и содержать его могъ-бы
помѣщикъ, имѣющій не меньше десяти, пят-
надцати тысячъ годового дохода. Пасторскій
садъ еще больше и тѣнистѣй сада у кирки.

Неподалеку отъ кирки и пастора стоятъ два
дома, выше прочихъ. Это волостное правленіе

и школа. На правомъ концѣ селенія подымается зданіе мельницы, — не вѣтряной, конечно. Нѣмцы — не болгары. Нѣмцы знаютъ, что вѣтрянка — инструментъ варварскій, и построили паровую, усовершенствованную мельницу. Съ лѣваго края колоніи тоже дымитъ фабричная труба. Это — мастерская сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій.

Спускаемся въ балку. Это дѣлается не такъ скоро. Спускъ длинный, версты въ полторы. Мы ѣдемъ шагомъ и можемъ обстоятельно оглядѣться. Склонъ оврага, повидимому, отведенъ подъ выгонъ; но, странное дѣло, онъ не похожъ на выгоны русскихъ, молдаванскихъ или болгарскихъ сель. Тамъ трава плоха, большія пространства заросли репейникомъ и терніемъ; почва изорвана многочисленными рытвинами. Здѣсь-же все въ полномъ порядкѣ: ни рытвинъ, ни бурьяна. Какъ-же устроили это нѣмцы? Очень просто, — они не держатъ овецъ, которыя своими острыми копытами выбиваютъ траву. Оголенная отъ дерна земля зарастаетъ репейникомъ и размывается дождевыми и весенними водами. Не держатъ нѣмцы и свиней. Кому угодно, можетъ купить свинью у болгарина или молдавана и держать ее у себя взаперти. Если свинья убѣжитъ и явится на улицѣ или на выгонѣ, хозяинъ подвергается штрафу.

Овецъ и свиней у нѣмцевъ совсѣмъ нѣтъ. Рогатаго скота очень мало: только коровы, которыхъ держатъ ради молочныхъ продуктовъ. Вонъ онѣ пасутся въ долинѣ. Это обыкновенный черкасскій сивый скотъ, правда, хорошо накормленный и напоенный. Разныхъ «модныхъ» породъ умные нѣмцы не разводятъ. «Европейскія породы слишкомъ нѣжны, говорятъ они,—за ними нуженъ и европейскій уходъ. На европейскихъ рынкахъ этотъ уходъ окупается, но у насъ, гдѣ земли много, а молочные продукты дешевы, выгоднѣй всего простая черкасская скотина. Зато посмотрите на нашихъ лошадей. Это наша страсть. Знаете-ли, когда нѣмецъ возвращается изъ отлучки домой, онъ идетъ прямо въ конюшню, и только потомъ къ женѣ и дѣтямъ».

Мы въѣзжаемъ въ огромный табунъ лошадей. Кони, дѣйствительно, на-подборъ. Рослые, сытые, веселые, чистые. Глаза блестятъ. Чолки и гривы кудрявыя. Хвосты волнистые. Масти почти исключительно вороной или гнѣдой. На огромное пространство разсыпались эти черные и коричневые красавцы. Вонъ сердитыя матки, къ которымъ жмутся робкіе, долгоногіе, съ заячьей головкой жеребята. Вонъ кругами носятъ жизнерадостные подростки. Вонъ, добросовѣстно наѣдаются пожилые мерена и свободныя отъ семейныхъ заботъ и огорченій

кобылы. А вотъ и онъ, любимецъ и гордость Дейченталя, предметъ его вечернихъ бесѣдъ, дневныхъ попеченій и даже ночныхъ сновидѣній,—вотъ онъ, племенной жеребецъ, всѣмъ нѣмецкимъ колоніямъ извѣстный Deutschenthaler Ivan, дейчентальскій Иванъ.

— Вотъ нашъ Иванъ! указываетъ на коня нашъ спутникъ-колонистъ.

Иванъ смотритъ на насъ съ веселымъ и разсѣяннымъ любопытствомъ, какъ балованный юноша. Вѣтеръ бросаетъ ему въ глаза его гриву. Конь отмахнулъ ее разъ, отмахнулъ другой, и вдругъ нето шутя, нето разсердившись, взялся на дыбы прямо противъ досаднаго вѣтра, вдохнулъ его въ себя и бросился на него, порывистыми прыжками разсѣкая его струи.

— О, Иванъ! съ умиленіемъ произнесли нашъ спутникъ и колонистъ-кучеръ на козлахъ.

— А красть его у васъ не пробовали? спросилъ я.

Кучеръ оглянулся на спутника, спутникъ вперилъ глаза въ кучера, и оба смотрѣли другъ на друга съ такимъ видомъ, точно спрашивали, не рехнулся-ли я.

— Развѣ вы не знаете исторію дейченфельдскаго Васьки, des Deutschenfelder Wasska? спросили они меня и рассказали слѣдующее.

Wasska такой-же красавецъ, какъ Ivan. Дей-

ченфельдъ души въ немъ не чаялъ, и вдругъ въ одну осеннюю темную ночь онъ былъ украденъ. Въ томъ, кто былъ воръ, сомнѣній не было. Это былъ цыганъ Сусликъ, наведшій панику на всю окрестность. Сусликъ, какъ и всѣ конокрады, рѣдко обижалъ нѣмцевъ, по той простой причинѣ, что нѣмцы зорко смотрятъ за своими табунами, и воръ только въ рѣдкихъ случаяхъ не попадаетъ въ ихъ руки. Но Сусликъ былъ опьяненъ успѣхомъ. Не одинъ десятокъ крестьянскихъ дворовъ пустилъ онъ по міру, лишивъ лошадей. Мести онъ не боялся. Онъ былъ силенъ какъ чортъ, и грозилъ въ случаѣ чего поджогами. Наконецъ, Суслику пришла горделивая мысль помѣриться съ нѣмцами, и онъ давно уже хвасталъ, что украдетъ самого дейченфельдскаго Ваську. Васька былъ украденъ, — очевидно, это дѣло Суслика.

Взволновался Дейченфельдъ. Нѣмцы заходили изъ дома въ домъ, по сосѣдямъ, собирались на полѣ, толпились на задворкахъ и совѣщались. Огромнаго роста, толстые, мускулистые, въ пиджакахъ, съ бритыми щеками, съ коротко-остриженными черными волосами, они медленно вращали своими выпуклыми сѣро-синими глазами, въ черныхъ рѣсницахъ и подъ пучковатыми черными бровями, и медленно щѣдили слова, пополамъ съ трубочнымъ ды-

момъ. Прошелъ день, рѣшеніе принято не было, потому что важныя рѣшенія принимаются не такъ скоро. Настала ночь, настало утро и— не досчитались еще пяти лошадей.

Ужасный день пережили дейченфельдцы. А, ихъ хотятъ не только оскорбить дерзкой кражей Васьки,—ихъ хотятъ раззорить! Развѣ для разоренія рѣшились они покинуть Германію? Развѣ для этого нѣсколько вѣковъ подрядъ молились они: *Unser täglich Brod gib uns heute?* Опять сходились нѣмцы кучками и толпами, опять вращали глазами, опять попыхивали клубами дыма, вмѣстѣ съ которыми иной разъ вылетали и слова,—и опять не успѣли принять рѣшенія.

Слѣдующее утро принесло вѣсть о покражѣ уже десятка лошадей. Вопросъ разрѣшился самъ собою: нужно усилить табунную стражу,—сомнѣній нѣтъ...

Прошло недѣли двѣ, и полиція нашла на поляхъ сосѣдняго съ Дейченфельдомъ русскаго селенія зарытымъ въ землю трупъ Суслика, который откопали чабанскія собаки. Призванные къ трупу крестьяне, при первомъ же взглядѣ на покойника, признали «нѣмецкую работу». Русскіе тоже убиваютъ конокрадовъ, но безъ системы. Сусликъ-же убитъ въ лѣвую половину головы, притомъ не сразу: нанесенъ былъ не одинъ ударъ, а избита и

изуродована вся лѣвая сторона лица и черепа. Сомнѣній не было, что виноваты нѣмцы; но какъ доказать это? За дѣло берется полицейскій чиновникъ, у котораго въ Дейченфельдѣ былъ другъ. Почва, на которой полицейскій подружился съ колонистомъ, была, конечно, бутылка.

Вотъ и сидятъ друзья за бутылкой. Пьютъ, пьютъ основательно (нѣмцы, какъ и все дѣлаютъ, и пьютъ основательно, съ условіемъ, чтобы вино было собственное и чтобы пить у себя дома, при закрытыхъ дверяхъ и ставняхъ). Бесѣдуютъ. Бесѣдуютъ о цѣнахъ, о Бисмаркѣ, о винѣ, о добродѣтеляхъ нѣмцевъ. И вдругъ полицейскій, въ порывѣ неподдѣльнаго удивленія передъ нѣмцами, проситъ рассказать, какъ это они ухитрились поймать и убить такого ловкаго и страшнаго человѣка, какъ Сусликъ. «Я вамъ расскажу, потому что я это знаю, отвѣчаетъ нѣмецъ, — но вы должны мнѣ дать честное слово, что это останется навѣки тайною». Полицейскій даетъ десять честныхъ словъ, и нѣмецъ рассказываетъ. Пятнадцать человѣкъ самыхъ сильныхъ и ловкихъ дейченфельдцевъ залегли въ разныхъ мѣстахъ выгона. Каждый держалъ при себѣ лошадь, а во рту свистокъ. Около полночи явился Сусликъ и сейчасъ-же наткнулся на нѣмца. Сусликъ вскочилъ на первую лошадь, но нѣ-

мецъ вскочилъ на свою. Сусликъ пустился въ галопъ, нѣмецъ за нимъ, и засвисталъ. Со всѣхъ сторонъ, на перерѣзъ Суслику, поскакали нѣмцы и всѣ неистово свистали.

Сусликъ былъ пойманъ и не сопротивлялся: передъ нимъ стояло пятнадцать саженныхъ гигантовъ, съ бритыми щеками, щетинистыми волосами и пудовыми кулаками. «Они не убивали Суслика, окончилъ свой рассказъ нѣмецъ, — а только каждый изъ пятнадцати, чтобы отомстить за понесенныя обиды и потери, два раза ударилъ его кулакомъ по головѣ, справа налѣво. Когда ударилъ послѣдній — всѣ удивились, что Сусликъ мертвъ». — А кто же были эти пятнадцать? — «А были тѣ-то и тѣ...»

Когда, день спустя, пятнадцать *тѣхъ-то и тѣхъ* были арестованы, Дейченфельдъ не могъ прийти въ себя отъ изумленія: какъ узнали ихъ имена? Правда, вся исторія была рассказана полицейскому, но вѣдь онъ далъ слово молчать...

Нѣмцевъ судили. Сидятъ судьи, сидятъ присяжные, сидятъ подсудимые. Прокуроръ — на стражѣ закона. Адвокатъ представляетъ собою милосердіе. Вызываютъ главнаго свидѣтеля противъ нѣмцевъ, стараго русскаго мужика. — Свидѣтель, что можете вы рассказать по этому дѣлу? Свидѣтель обращается въ сто-

рону подсудимыхъ и кланяется имъ въ землю.—
«Господа нѣмцы, говоритъ онъ,—спасибо вамъ.
Я теперь нищій, бобыль, а прежде я былъ
первый хозяинъ въ селѣ. Разорилъ меня Сус-
ликъ. Много народу разорилъ онъ. Много
слезъ изъ-за него пролито... Спасибо вамъ,
почтенные господа-нѣмцы, взяли вы грѣхъ на
свои душеньки нѣмецкія, да авось мы за васъ
Господа Бога умолимъ. Не всякій-же грѣхъ
не прощается, господа-нѣмцы...» Свидѣтеля
остановили. Еслибы нѣмцы, сидѣвшіе на скамьѣ
подсудимыхъ, хоть немножко понимали по-
русски, они, хотя-бы въ эту минуту поняли-
бы, что Hans Russmann, одѣвающійся въ
лапти, кормящій свою лошадь однимъ сѣномъ,
щеголяющій въ однихъ порткахъ и рубахѣ,
даже не имѣющій жестяной посуды,—не та-
кой полудикій скотъ, какимъ нѣмцы его счи-
таютъ.

Присяжные оправдали нѣмцевъ,—очень мо-
жетъ быть, благодаря приведенной выше рѣчи
свидѣтеля.

Такова исторія дейченфельдскаго Васьки.

Мы въѣзжаемъ въ колонію. Чтобы попастьъ
въ нее, надо переѣхать по высокой плотинѣ,
которою запружена рѣка. Передъ плотиной—
груды навоза, сваливаемаго тутъ десятками
лѣтъ. Земля не требуетъ еще удобренія, и
нѣтъ расчета возить навозъ на поле. Когда

почва поистошится, тогда другое дѣло, — повезутъ. Вообще, нѣмцы дѣлаютъ какъ-разъ то, что нужно, и какъ-разъ тогда, когда это нужно. Оттого-то имъ все и удается, оттого-то они и богатѣютъ. Когда было выгодно овцеводство, они держали овецъ и мало пахали. Когда появилось требованіе на пшеницу, они бросили овецъ и стали сѣять хлѣба. Теперь хлѣбъ упалъ въ цѣнѣ, — нѣмцы переходятъ къ кукурузѣ и виноградникамъ, причемъ усердно учатся виноградарству. Встарь они вели хозяйство переложное; теперь у нихъ что-то среднее между перелогомъ и трехпольемъ; въ ближайшемъ будущемъ, когда земля ослабѣетъ и уменьшится въ количествѣ, нѣмцы заведутъ настоящее трехполье.

Мы ѣдемъ по колоніи и чувствуемъ себя совершенно непривычно. Это что-то вродѣ городка, — эта чистота, эти однообразные домики, эти тумбы, отдѣляющія тротуаръ (правда, немощеный), отъ улицы, эта большая кирка. Волостное правленіе, школа, пасторскій домъ, больница, богадѣльня — смотрятъ уже совсѣмъ городскими зданіями. Нѣмцы, одѣтые въ пиджаки, и нѣмки, въ городскихъ платьяхъ, сшитыхъ въ талію — смотрятъ горожанами. Но отсутствіе лавокъ, базара и кабаковъ говоритъ, что это — деревня. Черезъ невысокіе каменные заборы почти на каждомъ дворѣ мы видимъ

жатвенныя машины, желѣзные многолемешные плуги, желѣзныя бороны, отличныя крашенныя фургоны на желѣзныхъ осяхъ, и великолѣпныхъ лошадей въ дорогой ременной сбруѣ. Ужъ не къ помѣщикамъ-ли мы попали, не въ «колонию-ли интеллигентныхъ хлѣбопашцевъ», на первыхъ порахъ ея дѣятельности, пока еще не прохозяйничаны деньжонки?—Нѣтъ, мы въ деревнѣ культурныхъ нѣмецкихъ раскольниковъ, которые дождались наконецъ насущнаго хлѣба.

Раскольниковъ? спроситъ читатель:—а какъ же въ колоніи стоитъ кирка, и есть пасторъ, живущій богатымъ помѣщикомъ?—Ахъ, читатель, хлѣбъ насущный—коварная вещь. Когда его нѣтъ, человѣкъ все обѣщаетъ, лишь-бы ему дали хлѣба. Онъ искренно кается въ грѣхахъ, онъ прощаетъ своимъ врагамъ, онъ противустоитъ искушеніямъ, безропотно переноситъ испытанія и все упованіе возлагаетъ на будущую жизнь за гробомъ. Но разъ онъ отвѣдалъ хлѣба досыта, — онъ ложится спать послѣ обѣда. И бѣда тому, кто нарушитъ его сладкій отдыхъ, будь то Hans Russmann, ставившій скотомъ его поле, или Сусликъ, укравшій Ваську.

Да, нѣмцы пришли въ Дейченфельдъ преслѣдуемыми раскольниками, членами утѣшеннаго евангелическаго братства, готовыми дѣ-

дѣлиться съ братьями всѣмъ своимъ достояніемъ. Не велико, правда, было это достояніе. Но лишь только братья разбогатѣли, они нашли лишнимъ дѣлиться съ другими. Работай, — будешь богатъ и ты. Мы работали, — и разбогатѣли. Hans Rasmann бѣденъ, — но это потому, что онъ смрадно лѣнивъ. Кромѣ того, онъ глупъ. «Hier ist an dem Verstand der Bauer sehr verlegen»*), сказалъ еще сто лѣтъ тому назадъ колонистъ-поэтъ. Кромѣ того, онъ скотоподобный дикарь: «Vatuschka sein Gestalt war böse anzuschauen; sein haariges Gesicht, dem thät ich gar nicht trauen». Когда колонистъ-поэтъ пришелъ на мѣсто поселенія, онъ воскликнулъ: «Mag kosten Haut und Haar, herein ins *wilde* Leben». Россія — страна дикая, и нѣмцы такъ себя и держатъ, точно поселились въ Центральной Африкѣ. Отъ забитаго и кроткаго сектанта не осталось и признаковъ. Колонистъ перешелъ въ лютеранство, которое исповѣдуютъ германскій императоръ, Бисмаркъ и Мольтке, портреты которыхъ висятъ у колониста на стѣнахъ. Онъ подобно Бисмарку, боится только Бога, да оказываетъ почтеніе Его служителю, пастору. Все остальное должно преклониться предъ колонистомъ: вѣдь онъ раз-

*) Здѣсь мужикъ куда, какъ плохъ насчетъ ума. — На фигуру батюшки было жутко смотрѣть; его волосатое лицо не внушало довѣрія. — Была не была, окунемся въ дикую жизнь.

богатѣль. Правда, колонистъ никого не трогаетъ, но горе тому, кто оскорбитъ его святыню, — его благосостояніе, дейчентальскаго Ивана или дейченфельдскаго Ваську. Смертная казнь считается справедливой въ такомъ случаѣ. Гансы Руссманны, служащіе у нѣмца въ батракахъ, должны непрекословно повиноваться, потому-что они бѣдны, а онъ богатъ, они глупы, а онъ мудръ, они пьяны и вороваты, а онъ пьянъ потихоньку и безусловно честенъ. Нѣмецъ честенъ, а потому онъ говоритъ съ Гансомъ Руссманномъ свысока, вздернувъ голову, ругаетъ его самыми «русскими» словами, а при случаѣ и бьетъ его своими пудовыми кулаками. Гансъ Руссманнъ переименованъ теперь въ «русскую свинью».

Гдѣ остановиться въ Дейченталѣ? Въ частные дома насъ не пустятъ, — нѣмцы народъ непривѣтливый, — и мы основываемся на общественной квартирѣ, которую содержитъ кто-нибудь изъ колонистовъ съ подряда. Входимъ въ домъ. Тамъ четыре небольшія чистыя горенки. Мебель городская, крѣпкая, старинныхъ фасоновъ. Такая бываетъ и въ Петербургѣ, у старыхъ холостяковъ или бездѣтныхъ супруговъ, изъ небогатыхъ, домосѣдовъ, лѣтъ двадцать, тридцать не выѣзжавшихъ изъ одной и той-же квартиры, гдѣ-нибудь въ Коломнѣ, или на дальней линіи Васильевскаго острова. Въ

Дейченфельдъ эта обстановка, конечно, признакъ большихъ средствъ. На стѣнахъ нѣтъ ни иконъ, ни картинъ, а лишь крупно напечатанные тексты священнаго писанія:

Halte im Gedächtnis Iesum Christum, Der auferstanden ist von den Todten.

Befiele dem Herrn deine Wege, hoffe auf Ihn. Er wird's wohl machen.

Oh Herr, unser täglich Brod gieb uns heute.
И т. д. и т. д.

Кромѣ изрѣченій, висятъ нѣсколько фотографическихъ карточекъ, вышитые бисеромъ и шелкомъ ко дню рожденія сюрпризы, — какіе-то вѣнки изъ розъ и незабудокъ. На столахъ тщательно разложены плетенки изъ разноцвѣтныхъ бумажекъ и бумажныя-же клеенныя коробочки.

Входитъ хозяинъ, огромный, толстый, бритый, довольный и добродушный. Онъ прямо протягиваетъ намъ руку, садится безъ приглашенія на диванъ и начинаетъ разспрашивать, кто мы, откуда ѣдемъ, куда и зачѣмъ ѣдемъ. Потомъ онъ начинаетъ болтать съ нашимъ спутникомъ, колонистомъ, не торопясь и обстоятельно, какъ-бы по пунктамъ передавая ему всѣ новости и сплетни Дейченталя. Когда все было переговорено, хозяинъ помолчалъ, безъ стѣсненія зѣвнулъ и ушелъ. На сцену выступила хозяйка, съ которой мы стали со-

вѣщать на счетъ обѣда. Мой спутникъ сказалъ, что ей за семьдесятъ, но на разстояніи двадцати шаговъ вы приняли-бы ее за молодую женщину. Платье въ талию, движется хлопотливо, быстро, нагибается и подымается легко, лицо свѣжее, красное. И только вблизи по глазамъ да по медленности, съ которой женщина соображала, можно было понять, что это старуха. Удивительно прочный народъ эти нѣмцы!

Обѣдъ былъ заказанъ. Подавали его уже настоящія молодая нѣмки, какія-то не то работницы, не то дальнія родственницы. Знаете-ли, нѣмки могутъ кокетничать. Но какъ это забавно выходитъ у нихъ! Фигурой нѣмки въ папенекъ, большія и какія-то неимоვნно круто замѣшанныя: платья на нихъ такъ и трещать. Лицемъ нѣмки — «ничего себѣ», «чистыя». Больше ничего не придумаете сказать объ этихъ неподвижныхъ, крѣпкихъ какъ гутаперча спокойныхъ фізіономіяхъ. Если нѣмка изъ южанокъ, ея волосы, брови и гыза выкрашены черной краской. Если она сѣверянка, окраска сдѣлана пепельная. И вотъ нѣмка дѣлаетъ глазки. Женщины другихъ племенъ при этомъ глазками играютъ: одна прищурится, другая какъ будто задумается, третья будто вотъ-вотъ разсмѣется, четвертая точно что-нибудь сказать хочетъ. Нѣмка-же уставится

и моргаетъ—больше ничего. Другая женщина что-нибудь запоетъ въ сосѣдней комнатѣ и вдругъ смолкнетъ: прислушивается, какое это произвело на васъ впечатлѣніе. Нѣмка никогда не поетъ: это строго запрещено. Пѣть можно только въ киркѣ, и нигдѣ больше. Даже на свадьбахъ, и то поются только духовныя пѣсни. Другая женщина, когда чувствуетъ, что на нее смотрятъ откуда-нибудь издали, начинаетъ двигаться граціознѣй и изподтишка наблюдаетъ, нравится-ли она. Нѣмка въ подобномъ случаѣ начинаетъ показывать чудеса физической силы: ворочать камни, одною рукою вталкивать въ хлѣвъ двухгодовалого телка, съ легкостью пера подымать стога травы; продѣлавъ это, нѣмка перелѣзаетъ черезъ заборъ—заборъ при этомъ трещитъ—и съ той стороны смотритъ на васъ въ большую дыру сквозь которую видно все ея лицо:—это она изподтишка наблюдаетъ, какое она произвела на васъ впечатлѣніе. Право, это даже трогаетъ,—эти тщетныя старанія бѣдной женской души, заключенной въ тяжеловѣсную нѣмецкую плоть.

Да, нѣмецъ удивительно тяжеловѣсенъ и основателенъ. И въ этомъ его сила. Гдѣ онъ разъ сѣлъ, оттуда его уже не сдвинешь. На что онъ однажды рѣшился, то ужъ будетъ сдѣлано. Такъ въ частной жизни, такъ оно и въ общественной. Додумался нѣмецъ до

дисциплины въ общественныхъ дѣлахъ, до заботы объ общемъ благоустройствѣ, до мысли о необходимости жертвовать частью своей личной свободы интересамъ колоніи, прихода волости, интересамъ русскихъ нѣмцевъ вообще,—и нѣмецъ свято исполнить принятыя обязательства. Староста или старшина — это персона, при которой нельзя сѣсть, нельзя стоять въ шапкѣ. Нагруби нѣмецъ своему старостѣ, его жестоко выскуютъ собственнымъ келейнымъ судомъ. Не принять какой-либо должности, не явиться на сходъ, не прибѣжать на пожаръ, хотя-бы изъ-за десятка верстъ, не внести во-время подать или мірской сборъ,—объ этомъ и во снѣ ни одному нѣмцу не приснится; а если приснится, такъ онъ пойдетъ къ пастору съ просьбой отчитать его, за что и уплатить по таксѣ,—полтинникъ за взрослога, тридцать-пять копѣекъ за нѣмку и пятиалтынный за ребенка. Нѣмецъ—удивительный исполнитель. Но и распорядители его достойны такого-же удивленія. Когда колоніи основывались, извѣстный Ермоловъ просилъ, чтобы его сдѣлали нѣмцемъ. Колонисты чувствовали себя, стало быть, въ надежныхъ рукахъ. И посмотрите, какъ устроились они. Другіе колонисты получили по 50 десятинъ на дворъ, нѣмцы по шестидесяти. Болгары поселились хоть и на хорошей землѣ, но по

холмамъ и крутымъ балкамъ,—а нѣмцы облюбовали себѣ самый лучшій кусокъ Буджака, по Кундуку, гдѣ и воды больше, и солончакъ меньше, и овраги не такъ круты, и до Акермана и Днѣстра недалеко. Болгары бывали «убѣждаемы» строить монументальные храмы и разводить семирамидины сады,—нѣмцы вмѣсто того строили школы, устраивали ссудо-сберегательныя кассы и организовали взаимное страхованіе. Результаты на лицо. Болгарскихъ колоній сколько было въ началѣ этого столѣтія, столько ихъ и теперь, а нѣмцы изъ двадцати-пяти колоній сдѣлали восемьдесятъ. Наконецъ, болгары никого не оболгарили,—а нѣмцы превратили кашубовъ, населяющихъ треть старыхъ колоній, въ самыхъ настоящихъ нѣмцевъ.

Тяжеловѣсность нѣмцевъ имѣетъ и смѣшныя стороны, хотя до смѣха-ли тутъ. Однако, попробуемъ и посмѣяться.

Когда мы собирались спать, опять вошелъ хозяинъ и извинился, что намъ будетъ безпокойно. «Молодежь дѣлается все распущеннѣй, и распущеннѣй, говорилъ онъ,—русскіе законы запрещаютъ сѣчь безъ суда; и сладу нѣтъ съ парнями. Представьте себѣ, что они выдумали: тѣ, которые пойдутъ осенью на призывъ, завоевали себѣ привиллегію ложиться когда имъ вздумается, бандами ходить по улицамъ, иг-

рать на гармоникахъ и пѣть пѣсни... Не знаю, какъ будете вы спать подъ этотъ безпорядокъ... А все воинская повинность, которой до 1871 года мы не знали».

Имѣя понятіе о гулянкахъ нашихъ призывныхъ парней, я въ самомъ дѣлѣ повѣрилъ нѣмцу. Каково-же было мое удивленіе, когда всѣ безпорядки были только въ томъ, что парни легли спать не съ закатомъ солнца, какъ полагается по правиламъ колоніи, а часомъ позже; втеченіе-же этого часа они, парами, обнявшись, ходили взадъ и впередъ по улицѣ, потихоньку наигрывая на гармоникѣ и вполголоса напѣвая религіозные гимны.

Другой примѣръ тяжеловѣсности. Лѣтъ десять тому назадъ колонія вступила на стезю бурнаго прогресса. Совершился переходъ отъ овцеводства къ хлѣбопашеству. Стали заводить жнеи, увеличили число боронъ, стали закупать плуги. Для этого нужны были деньги, и дремавшіе въ ссудо-сберегательныхъ кассахъ вклады стали требоваться обратно одинъ за другимъ: тотъ беретъ пятьдесятъ рублей, этому нужно сто, третьему шестьдесятъ. Начинался Schwindel. Старики качали головами и ожидали всего худшаго. Къ удивленію, опасенія не сбылись. Урожаи были отличные, цѣны на пшеницу росли, спекулянты, казавшіеся безумными, богатѣли и вмѣсто взятыхъ изъ кассы

пятидесяти рублей возвращали въ нее вкладомъ по пятидесяти-пяти. Старики, и тѣ, наконецъ не устояли и положили удивить вселенную: выстроить eine Dampfmühle, паровую мельницу. Выстроили, стали работать, зарабатывали,—и рѣшили, что Dampfuhle точка человѣческому прогрессу, дальше идти некуда.

Такъ прошло года три. Старики окончательно свыклись съ мыслью, что человѣчество исполнило свою задачу. Какъ вдругъ въ колонію является молодой нѣмецъ изъ безземельныхъ, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ, еще мальчишкой, ушелъ изъ колоніи искать насущнаго хлѣба. Оказалось, нѣмецъ поступилъ гдѣ-то въ центральной Россіи на литейный заводъ, выучился мастерству, собралъ деньжонокъ, и теперь обратился къ управленію колоніи съ просьбой — позволить ему открыть маленькій литейный и механическій заводъ.

Славный былъ этотъ нѣмецъ. Южанинъ, бронецъ, высокій, немного грузный, но стройный. Красивая черная борода, гордо откинутая назадъ голова, неторопливая лаконическая рѣчь, зоркій, честный, немного жестскій взглядъ, медленная, но горячая, немного вспыльчивая кровь. Благородный былъ нѣмецъ! Довольно одного взгляда на него, чтобы увѣриться, что онъ едва-ли умретъ не миллионе-

ромъ. Но упрямые, тяжеловѣсные старики-со своей Dampfmühle, объявили его безумцемъ.

Чего только не продѣлали старики съ дерзкимъ новаторомъ! Сначала вся колонія была увѣрена, что онъ хочетъ погубить себя и разориться. Потомъ сельское управленіе потребовало отъ него, чтобы онъ представилъ свидѣтельство на мастера, и бѣдняга, не запасшійся такимъ свидѣтельствомъ, долженъ былъ въ качествѣ рабочаго поступить на два года на какой-то заводъ. Когда требуемое свидѣтельство было представлено, нѣмцу отвели мѣсто для его завода на горахъ навоза, въ которыхъ нельзя было докопаться до земли. Нѣмецъ, конечно, докопался. Но лишь только онъ выстроился и началъ работать, его, подъ предлогомъ опасности въ пожарномъ отношеніи, перевели на выгонъ, причемъ не позволили селиться около рѣки, а велѣли основаться на горѣ, гдѣ пришлось рыть бездонный колодезь.

Все вытерпѣлъ нѣмецъ: онъ былъ тоже тяжеловѣсенъ, тоже круто замѣшанъ,—и теперь его заводъ работаетъ на славу, получаетъ на выставкахъ награды, старики начинаютъ имъ мало-по-малу гордиться. Лѣтъ черезъ десятокъ они, конечно, такъ приучатся гордиться, что начнутъ сомнѣваться, кто болѣе великъ, ихъ нѣмецъ или Бисмаркъ.

Спали мы хорошо. На другой день былъ праздникъ, и мы пошли въ церковь. На дворѣ палило раскаленное солнце, но въ киркѣ, подъ ея сводами, прикрытыми акаціей и орѣхами, было прохладно. Пасторъ, изящный строгій господинъ, служилъ. На хорахъ прекрасный органъ могучей грудью, волнами и тучами великолѣпныхъ звуковъ и славилъ, и молился, благодарилъ и просилъ. Органъ смѣнялся хоромъ,—и какимъ! — безукоризненно исполнявшимъ труднѣйшія вещи классическихъ маэстро.

Но вотъ все стихло. Изящный и строгій господинъ всходитъ на кафедру и окидываетъ задумчивымъ и проникновеннымъ взглядомъ сидящихъ внизу. Внизу все великаны, толстые, бритые, спокойные, довольные. Вотъ старики, построившіе Dampfmühle. Вотъ гигантъ Ober-Schulz. Вотъ скамья честныхъ пожарныхъ старость и оцѣнщиковъ. Вотъ сиротскій старшина. А вотъ и пятнадцать убійць конокрада Суслика.

Изящный и строгій господинъ на кафедрѣ сцѣпляетъ пальцы рукъ, подноситъ ихъ къ головѣ, голову склоняетъ и начинаетъ вслухъ читать «Отче нашъ». Великаны внизу повторяютъ его слова. «Unser täglich Brod gieb uns heute», произноситъ господинъ. «Unser täglich Brod gieb uns heute», повторяютъ великаны,

— но слова эти произносятся машинально, равнодушно: эти люди сыты... Это бы слава Богу, но эти люди, кромѣ того, злы, не помнить сдѣланнаго имъ добра и, вдобавокъ, далеко не малочисленны.

V.

ИГРУШЕЧНАЯ ИТАЛІЯ.

(Южный берегъ).

Мы убѣгаемъ отъ холода на югъ, а холодъ гонится за нами. Девятаго октября рано утромъ въ Харьковѣ идетъ крупными хлопьями снѣгъ, и мои милыя спутницы начинаютъ бояться, какъ-бы не случилось заносовъ,—опасеніе въ это время года лишенное основанія, но все-таки портящее имъ настроеніе. Скорый поѣздъ уноситъ насъ изъ Харькова дальше на югъ. Снѣгъ таетъ, заносовъ не будетъ, но «кажется, поѣздъ идетъ слишкомъ скоро».

— Это потому, что онъ—скорый.

— Такъ-то оно такъ, а все-таки...

Изъ оконъ видна безграничная, слегка взволнованная степь, покрытая побурѣвшей травой и буро-желтымъ пожнивьемъ. Этотъ буро-желтый необъятный коверъ взрываютъ плугами, запряженными нѣсколькими парами воловъ. Плуги, люди и животныя кажутся крохотными игрушками, кѣмъ-то потерянными на степной поверхности. Однако игрушки дѣ-

лаютъ свое дѣло и проводятъ на бурой степи широкія черныя полосы пашни. Когда смерклось, кажется, будто это разостлалися по степи громадные черныя холсты. Настаетъ ночь, тучи расходятся, и подымается великолѣпная яркая полная луна. Черныя холсты стали еще чернѣй и отчетливѣй. Разостлавшіе ихъ плуги исчезли. Остались степь и мѣсяцъ на единѣ. По степи бѣжитъ одинъ нашъ поѣздъ, который съ ближайшаго холма долженъ представляться тоже крошечной игрушкой. Становится не то грустно, не то жутко. Одна изъ спутницъ начинаетъ говорить о скоромъ ходѣ поѣзда уже совсѣмъ въ тревожномъ тонѣ. Другая ее усовѣщиваетъ, но вдругъ сама начинаетъ тревожиться. Я чувствую, что и на меня можетъ найти тревога, уговариваю ихъ ложиться спать, засыпаю самъ,—и открываемъ мы глаза въ Симферополѣ, въ шесть часовъ утра.

Симферополь.

По географіи тутъ югъ,—одна широта съ Ницей,—но по температурѣ холодно, не больше двухъ-трехъ градусовъ тепла. Ыдемъ съ вокзала въ городъ. Улица хорошо шоссирована. Направо и налево въ темныхъ густыхъ садахъ бѣлой акаціи, грецкихъ орѣховъ и тополей прячутся затѣливой архитектуры дома и до-

мики. Въ садахъ—георгины; зелень ихъ при-
морожена.

— А у васъ ужь и морозъ былъ! говорю
я извощику.

— Былъ, вчера. Это ужь такъ: когда на
Чатырдагъ падетъ снѣгъ, тогда у насъ обя-
зательно первый морозъ.

— Почему-же ты знаешь, что на Чатыр-
тагѣ снѣгъ?

— А вонъ онъ, виденъ.

Смотрю впередъ и различаю невысоко
надъ горизонтомъ неподвижную четырехъ-
угольную тучу, которая немного темнѣе сѣро-
синяго предразсвѣтнаго неба. Верхъ тучи —
бѣлый. Это и есть Чатырдагъ и его снѣгъ,
выпавшій вчера.

— Теперь снѣгъ пролежитъ такъ до Пасхи,
говоритъ извощикъ.—Сгонить съ него снѣгъ,
тогда и заморозкамъ конецъ.

Такимъ образомъ, у Симферополя есть
свой барометръ, въ пять тысячъ футовъ вы-
сотю,—Чатырдагъ.

Присутствіе Четырдага сразу даетъ Сим-
феропозю особую окраску. Глядя на эту не-
большую, тяжелую, вѣчно неподвижную тучу
на горизонтѣ, чувствуешь близость горнаго
Крыма, знаешь, что за нимъ плещетъ синее
море; а за моремъ—Малая Азія. Въ Симфе-
рополѣ воображеніе сильнѣе притягивается

югомъ, а настроеніе, навѣянное безконечными сѣверными степями, исчезаетъ; настраиваешься на иной ладъ, готовишься къ инымъ, совершенно противоположнымъ впечатлѣніямъ.

Отголоскомъ близкихъ горъ въ Симферополѣ является его рѣка, Салгиръ. Нигдѣ, кромѣ горъ, такихъ рѣчекъ нѣтъ. Полюбоваться Салгиромъ пожалуйста въ общественный, такъ называемый «губернаторскій» садъ, на берегахъ этой рѣки. Самъ по себѣ садъ— весьма неказистый, съ тощими усыхающими деревьями и кустарниками; но подойдите къ самой рѣчкѣ. Тутъ по обѣимъ ея сторонамъ— тѣнистые орѣхи, тополи, вязы и клены. За заборами, сложенными изъ дикаго камня,— зеленые фруктовые сады, отдѣленные другъ отъ друга громадными зелеными стѣнами пирамидальныхъ тополей. Въ садахъ груши, абрикосы, персики, яблони, орѣхи. Изъ-за заборовъ по ихъ сѣрому камню свѣшиваются то плети винограда, то гибкіе хлысты ползучихъ розъ. А между сѣрыхъ заборовъ и зеленыхъ деревьевъ вьется какое-то плохо содержимое довольно широкое шоссе, усыпанное бѣлесыми камѣшками. По шоссе бѣжитъ на четверть глубины водица, то сплошь покрывающая шоссе, то текущая по узкой водомоинѣ, черезъ которую легко перешагнуть. По шоссе ѣздятъ—ѣздятъ бочки и наливаются

водой, ѣздятъ телѣги и накладываются камнями. Вотъ это-то шоссе, по которому бѣжитъ водичка, и есть Салгиръ, главная рѣка Крыма, такъ сказать его Амазонка.

Въ отношеніи благоустройства Симферополь сильно подтягивается, какъ и всѣ русскіе города за послѣднее время,—и волею, и неволею. Улицы и базары прекрасно вымощены твердыми каменными кирпичами. По общественнымъ садамъ запрещено гулять козамъ и коровамъ. Вдоль троттуаровъ насажены и болѣе или менѣе принялись акаціи и тополи. Полиція изъ укротителей звѣрей превращается въ вѣжливыхъ полисменовъ. Дворы и ямы чистятся. Бездомные бродяги по зимамъ ночуютъ уже не въ навозныхъ кучахъ у казармъ крымскаго дивизіона, какъ это было еще недавно, а въ ночлежныхъ домахъ. И такъ далѣе, и такъ далѣе. Это полицейское благоустройство не мѣшаетъ, однако, Симферополю быть въ бытовомъ и этнографическомъ отношеніяхъ городомъ съ азіатчинкой. Воздухъ все-таки пахнетъ Азіей: старымъ Крымомъ, Малой Азіей, Греціей, южной Италіей. Въ немъ слышится и пригорѣлое прованское масло, и чеснокъ, и маринованные баклажаны, и красный перецъ, и украдкой выливаемая на улицу менѣе благовонные спеціи. Вы заходите въ булочную или фруктовую

лавку и тоже чувствуете азіатчинку. Лавки— безъ стѣнъ на улицу; стѣны откидываются наружу и образуютъ прилавки. За прилавкомъ булочники, турки изъ Трапезонда, на глазахъ публики пекутъ хлѣбъ и вкусные баранки, крымскіе татары возятся съ яблоками, грушами и главнымъ образомъ съ виноградомъ. Если вамъ этой Азіи мало, пожалуйста въ торговый день на базарную площадь. Тутъ европейскаго только телѣги,—легкіе, крѣпкіе, отлично сработанные зеленые фургоны, введенные повсюду на югѣ нѣмецкими колонистами. Остальное—Азія. Товары, состоящіе изъ овощей, фруктовъ, сѣна, дровъ, птицъ, молока, масла, привезли люди все азіатскаго образца,—черномазые, въ бараньихъ шапкахъ, въ широкихъ штанахъ, въ фескахъ, съ непонятнымъ разговоромъ: толстоносые болгары, ушастые греки, благообразно-глупые татары, шального вида цыгане. У каждаго азіата своя спеціальность: у болгарина — овощи, у грека—рыба, у татарина—горное сѣно и горныя дрова. Татары упорнѣй остальныхъ придерживаются завѣтовъ старины, и только у нихъ однихъ можно еще встрѣтить вмѣсто фургона арбу, на немазанныхъ деревянныхъ громоздкихъ колесахъ, ободья которыхъ, беспомощно слѣпленные изъ небольшихъ кусковъ, представляютъ не кругъ, а многостороннюю геоме-

трическую фигуру, безъ опредѣленнаго названія. Среди продавцевъ и по окраинамъ огромной площади, сплошь и въ порядкѣ заставленной фургонами, у трактировъ и харчевень слоняются толпы такого-же азіатскаго «ракла». Зачѣмъ ихъ столько въ Симферополѣ — непонятно, потому что городъ не торговый и достаточно работы для нихъ тутъ быть не можетъ.

Если васъ не удовлетворитъ и базаръ, направьтесь въ татарскій и цыганскій кварталы. Первый очень невеликъ: татары со временъ покоренія Крыма и посейчасъ уходятъ и уходятъ изъ Россіи въ Турцію. Что заставляетъ ихъ эмигрировать, — непонятно, но ихъ не удерживаютъ, что, конечно, весьма благоразумно. Несчастныя времена крѣпостного права, когда русскаго мужика держали на привязи по старинѣ, а въ Новороссіи и Крыму, себѣ на шею, сажали нѣмцевъ, болгаръ, грековъ, арнаутовъ, сербовъ, швейцарцевъ и всякую всячину, — прошли, и мѣсто свято не останется пусто. Татарина замѣняетъ и замѣнитъ русскій. Въ татарскомъ кварталѣ вы увидите главнымъ образомъ высокіе бѣлые каменные заборы, за которымъ прячутся татары, татарки, татарчата и ихъ мазанки. Татары прячутся, а цыгане, кварталъ которыхъ значительно больше, наоборотъ, живутъ цѣликомъ на улицѣ. Забо-

ровъ никакихъ, хозяйства никакого, однѣ лишь мазанки, въ которыхъ всѣ окна и двери раскрыты настежъ. Работы и заботы никакой. Мужики, бабы, ребятишки бѣгающіе, ребятишки ползающіе — валяются и толкутся на порогахъ избъ и въ уличной пыли. Всѣ или ругаются, или хотя и бесѣдуютъ, но такъ, какъ будто ругаются. Шумъ, гамъ, чернымъ сверкаютъ глаза, бѣлымъ сверкаютъ зубы; яркіе платки; у взрослыхъ — черныя космы волосъ; у дѣтей — выкрашенныя въ ярко-рыжій цвѣтъ косички и кудри; криво одѣтыя юбки, босыя ноги, звонъ монетъ въ ожерельяхъ — какой еще Азіи хотите вы!

Въ культурной части Симферополя и среди культурной части населенія нравы не столько азіатскіе, сколько южныя. На главной улицѣ города, на тѣнистыхъ тротуарахъ, у стѣнъ двухъэтажныхъ домовъ, окна которыхъ снабжены внутренними ставнями и наружными жалюзи, во множествѣ разставлены скамьи. Чуть пригрѣетъ солнце, скамьи сплошь заняты публикой. Тутъ встрѣчаются, тутъ болтаютъ, читаютъ газеты, курятъ или просто созерцаютъ уличную жизнь. Въ этомъ Симферополь больше югъ чѣмъ даже Одесса. Физиономіи — юго-восточныя. У господъ и госпожъ новогрековъ носы — башмакомъ, а уши — аладьями. Караимы и татары отличаются огромными, на

выкатъ черными глазами. Еврейскія фізіономіи извѣстны. Кто не настоящій грекъ, татаринъ или еврей, тотъ носитъ слѣды родства съ этими націями, и чистыхъ русскихъ или малорусскихъ лицъ, за немногими исключеніями, вы не встрѣтите. Я не люблю этой «новороссійской» публики, съ ея отпечаткомъ выродившаго и одряхлѣвшаго востока, испортившаго примѣсью своей крови и свѣжую русскую расу. Особенно непріятной показалась она мнѣ послѣ народа сѣверной Волги, откуда почти непосредственно я попалъ сюда.

Однако,—дальше на югъ, по направленію синѣющаго вдали Чатырдага.

12-го октября въ Симферополѣ въ полдень было—6° R. въ тѣни. Буду время отъ времени отмѣчать температуру: въ самомъ ли дѣлѣ нашъ югъ—югъ?

Алушта.

13-го октября въ полдень въ тѣни—8° R. Немного! Буду, однако, рассказывать по порядку.

Отъ степного Симферополя до приморской Алушты 49 верстъ, если считать по шоссе, которое въ горахъ вьется какъ ужъ. По прямой линіи, вѣроятно, и тридцати не будетъ. На протяженіи какихъ-нибудь трехъ десятковъ верстъ имѣется все: ровная степь, предгорія, горы,

высочайшія вершины хребта, Чатырдагъ и Демерджи, затѣмъ Алуштинская долина и, наконецъ, море. Игрушечная горная цѣпь, игрушечная горная страна! Шутя, безъ утомленія, вы слѣдите по пути за смѣной пейзажа; этотъ интересный и непродолжительный урокъ физической географіи васъ позабавитъ, а красота природы очаруетъ.

Вотъ первый перегонъ отъ Симферополя до станціи Мамутъ-Султанъ, всего въ 14 верстѣ. Шоссе прекрасное, лошади хорошія, — вы ѣдете быстро, и васъ нигдѣ не толконетъ и не тряхнетъ. Вы ѣдете по глубокой и широкой степной балкѣ, съ каменными берегами, которую прорѣзалъ Салгиръ. Дно балки — сплошной фруктовый садъ и огородъ. Тѣ-же деревья, что и въ Симферополѣ у рѣки, такая-же пышная зелень, такая-же густая тѣнь. Вѣтви орѣховъ и тополей задѣваютъ вашъ экипажъ, черезъ шоссе перебѣгаютъ струйки ручьевъ, съ боковъ, долины поднимаются почти отвѣсные обрывы, снизу земляные, вверху ноздреватые каменные срѣзанные по прямой линіи. Горъ еще нѣтъ: наверху тянется скудная, каменистая крымская степь. Только изрѣдка, когда разступятся деревья и обрывы, вдали синѣютъ какія-то возвышенности, — не то новые обрывы, вслѣдствіе близости похожіе на горы, не то горы, по дальности схожія съ обрывами.

Перепряжка лошадей совершается быстро, и послѣ десятиминутной остановки пускаемся въ дальнѣйшій путь до станціи Таушанъ-Базаръ. Перегонъ въ шестнадцать верстъ. На седьмой верстѣ при поворотѣ дороги вы внезапно видите, что сейчасъ изъ степной балки вступите въ горы. Вотъ ихъ преддверіе, ихъ ворота: направо и налево круто поднимаются гороподобные каменные изорванные сѣрые холмы нѣжныхъ розоваго, желтаго и бѣлаго оттѣнковъ. Дальше поднимаются настоящія горы. Что это горы, а не степной обрывъ,—нѣтъ сомнѣнія. Обрисовываются отдѣльныя вершины, выдвигаются отдѣльныя законченныя горныя тѣла, горы-индивидуумы. Индивидуумы образуютъ толпу,—сборище горъ. Ихъ неподвижная жизнь осмысливается. Вотъ эта гора смотритъ на васъ, а эта стоитъ къ вамъ спиною. Этотъ холмъ, увѣнчанный острой вершиной, тянется вверхъ, а его сосѣдь нагнулся впередъ и точно разсматриваетъ что-то, лежащее у его ногъ. Васъ сразу захватываетъ жизнь горъ, и вы въѣзжаете въ нихъ съ такимъ ощущеніемъ, будто вступаете въ толпу огромныхъ существъ, пожалуй, и живыхъ, пожалуй какъ-нибудь тамъ незамѣтно дышащихъ, какъ-нибудь по своему думающихъ, ощущающихъ настоящее, вспоминающихъ необъятное прошлое.

Крымскія горы—привѣтливыя горы. Ничего

грознаго, ничего мрачнаго. Небольшая высота и зеленый нарядъ лѣсовъ дѣлають ихъ очень изящными и веселыми. Когда вы вѣзжаете въ горы,—вы вѣзжаете въ паркъ. Дорога начинается, врѣзывается въ возвышенности, лѣпится по бокамъ скатовъ, переходитъ по короткимъ мостикамъ чрезъ узкіе, но глубокіе рвы. Въ лѣсу къ сѣвернымъ породамъ начинаютъ примѣшиваться южныя. Рядомъ съ букомъ растетъ осина, съ вязомъ—южный ломкій дубъ. У подножія деревьевъ цвѣтутъ свѣтлолиловые безвременники, подснежникъ, зацвѣтающій въ октябрѣ. У ручьевъ растетъ какая-то изящная, напоминающая олеандръ, лоза. Наконецъ, мы замѣчаемъ первую ниточку плюща, который какъ-то уцѣлѣлъ отъ морозовъ сѣвернаго склона горъ, притаившись за выступомъ камня. Сквозь вѣтви деревъ, которыя сводомъ наклоняются надъ шоссе, изрѣдка видны красивыя очертанія синихъ горокъ и горъ.

Отъ Таушанъ-Базара до Алушты девятнадцать верстъ, а до высшей точки перевала черезъ горы—четыре. Высокій и густой лѣсъ. Съ одной стороны крутой склонъ Чатырдага, съ другой—бокъ Демерджи. Едва мы выѣхали со станціи, хлынулъ крупный, частый, совсѣмъ лѣтній дождь. Мы подняли верхъ коляски и видѣли только зеленыя вѣтви деревъ, мутные ручьи дождевой воды сбоку шоссе, да еще

встрѣчные экипажи возвращающихся съ Южнаго берега осеннихъ «кургастовъ». Какіе они молодцеватые, эти кургасты! Изъ-подъ опущенныхъ верхомъ колясокъ и въ окна ландо поглядывали на насъ дамочки, молодья и среднихъ лѣтъ, но одинаково съ бойкими и смѣлыми глазами, а инья, кромѣ того, и съ бойкими и смѣлыми офицерами и статскими. На лицахъ было написано полное удовольствіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторое утомленіе. Какъ видно, курсъ морскихъ ваннъ и винограднаго лѣченія нѣсколько поистрачиваетъ человѣка, хотя, по завѣренію докторовъ, въ послѣдствіи, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ (чаще всего чрезъ девять), благотѣльное дѣйствіе Южнаго берега не замедливаетъ обнаруживаться.

Дорога вертится все больше; по три, по четыре раза проѣзжаемъ мы одно и то-же мѣсто, только каждый разъ на сажень, на двѣ выше, — и мы на перевалѣ, почти у корня Алуштинской долины, которая, все расширяясь и падая все ниже, подходитъ къ самому морю. Предъ нами — прекрасный образчикъ «ривьеры» приморскихъ горъ. Я не видѣлъ французско-итальянской ривьеры, но знающіе люди говорятъ, что крымская по красотѣ и изяществу не уступитъ своей заграничной соперницѣ. Правда, крымскія горы ниже, но не настолько, чтобы такая козявка, какъ человѣкъ, имѣлъ право

находить ихъ слишкомъ низкими. Вотъ теперь мы видимъ внизу у моря домики Алушты, представляющіеся намъ не больше щебенки, валяющейся на шоссе, по которому мы ѣдемъ. Домики видны; видны и тополи въ величину папирознаго мундштука, хотя это деревья въ двадцать сажень высоты, — а человекъ вы ужъ низа что не отличите. Чего же онъ важничаетъ, что горы малы; съ какой стати одинъ изъ нихъ, пишущій о Крымѣ, называетъ его «игрушечной Италіей»!

На горизонтѣ, вровень съ нами, стѣною подымается море. Теперь глубокая осень, море не играетъ, какъ лѣтомъ, красками, но все же оно, сейчасъ видно, — южное море. Его грозная синева смягчается яркимъ солнцемъ, которое сіяетъ надъ нимъ, въ то время какъ надъ нами все еще висятъ тучи. Солнце придаетъ громадѣ воды серебристый оттѣнокъ, а мѣстами превращаетъ свинцовую синеву въ лазурь и нѣжную прозрачную хрустальную зелень. Эти оттѣнки недолговѣчны, появившись, быстро исчезаютъ, но живутъ море, и оно совсѣмъ не похоже на мертвое, суровое, безжалостное, сѣрое сѣверное море.

Освѣщенъ солнцемъ и отвѣсный голый каменный Демерджи, слѣва. Жолтые оттѣнки его сѣраго камня свѣтятся тепло, Рѣдкая зелень въ его морщинахъ нѣжится въ солнеч-

ныхъ лучахъ. Въ солнцѣ и долина, разбитая въ квадраты и полосы виноградниковъ, садовъ и лужаекъ. Красивый, смѣлый камень, разноцвѣтный фантастическій узоръ долины, синяя стѣна моря, солнечный свѣтъ, — все это въ страшной смѣси, въ гармонирующихъ контрастахъ, въ огромныхъ размѣрахъ, изумляетъ и радуетъ взглядъ, утомленный зрѣлищемъ поблекшей степи, съ разостланными по ней черными полотнищами пашень, которую мы оставили по ту сторону горъ.

Сегодня холодный день, но становится теплѣе, когда видишь, что тутъ живутъ южныя растенія: значитъ, сегодняшній холодъ случайный. Вонъ на днѣ долины стоятъ черныя кипарисы. Вотъ мы проѣхали мимо огромнаго стараго куста фиги. Вотъ грецкіе орѣхи, до-верху увитые плющемъ, стволъ котораго толщиною съ человѣческую ногу. Осинки и березки исчезли: имъ тутъ слишкомъ жарко. Безвременника то-же нѣтъ, ему теперь тоже жарко, и здѣсь онъ зацвѣтетъ только въ ноябрѣ.

Спускаемся все ниже и ниже. Начинаются громадные виноградники, за каменными заборами: та щебенка, чѣмъ намъ представлялась Алушта сверху, превращается въ солидные, иногда двухъ- и трехъ-этажные частные дома и гостиницы, и мы въѣзжаемъ въ Алушту.

Вмѣсто заставы при вѣздѣ стоитъ поразительная по красотѣ, къ сожалѣнію слишкомъ короткая, аллея пирамидальныхъ тополей. Южный берегъ Крыма—первое мѣсто въ Россіи, гдѣ этотъ гималайскій гость чувствуетъ себя какъ дома. Правда, онъ податливъ, соглашается жить и на сѣверѣ, попадаетъ даже въ Динабургъ, но только въ Крыму вы можете по достоинству оцѣнить это чудное дерево. Сѣвернѣй онъ недолговѣченъ, хвораетъ, крона его расширяется, кора чернѣетъ. Здѣсь онъ живетъ столѣтія, тонокъ какъ свѣча, кора гладкая и свѣжая, какъ у молодой осины, листъ крупный и сочный. Въ знаменитой Алуштинской аллѣе двадцати-саженныя деревья сидятъ на разстояніи двухъ-трехъ аршинъ другъ отъ друга. Вѣтви сосѣдей сомкнулись въ сплошную отвѣсную зеленую стѣну трепещущихъ листьевъ, стволы облѣплены сплошнымъ плющемъ. Дорога—въ густой тѣни, а между тѣмъ надъ вами — полоска синяго неба. Еще поразительнѣй эта аллея по ночамъ. Въ лунныя ночи темныя стѣны аллеи, пронизанныя серебрянымъ свѣтомъ мѣсяца,—совсѣмъ сказка. Во время новолунія темная дорога надъ которой вьется полоска неба, усыпаннаго яркими звѣздами, пожалуй, еще прекраснѣй.. Вотъ такія-то аллеи, такія-то ночи и оставляютъ слѣды счастливой растерянно-

сти на лицахъ мягко-нервныхъ россійскихъ кургастовъ и вызываютъ чрезъ определенное число мѣсяцевъ послѣдствія крымскаго лѣченія... Виновны, но, чортъ ихъ побери, такъ и быть: заслуживаютъ снисхожденія...

Въ Алуштѣ ночуемъ. Выбрали гостинницу на самомъ берегу моря. Въ Италиі, въ третьестепенныхъ городкахъ изъ посѣщаемыхъ туристами, такія-же гостинницы. Голая комната. Когда нужно позвать прислугу, обращайтесь къ хозяину, и уже тотъ начинаетъ кричать: въ Италиі—Джузеппе! въ Алуштѣ—Тимофей! Является заспанный Джузеппе-Тимофей, и вы приказываете ему что вамъ нужно. Но цѣны въ Алуштѣ совсѣмъ не итальянскія. Что въ настоящей Италиі стоить лиру—тридцать копѣекъ — за то «Италиа игрушечная» требуетъ рубль. Должно быть, это — преимущество курьезовъ и раритетовъ. Карликъ такъ же прописанъ въ участкѣ, какъ и мы съ вами, читатель, но смотрѣть его можно только за деньги.

Спускаясь въ Алушту, мы видѣли горы; изъ оконъ гостинницы любуемся моремъ. Славное море, настоящее море! Не то что какой-нибудь Финскій заливъ или финляндскія шхеры, острова которыхъ похожи на темя стриженныхъ чухонцевъ, до макушки спрятавшихся въ воду. Ни одинъ островокъ не на-

рушаетъ его великаго и прекраснаго одиночества. Вы чувствуете себя лицомъ къ лицу съ единымъ, нераздѣльнымъ моремъ. Оно шумитъ и плещетъ, мѣрно надвигаясь на землю, стѣнами посылая валъ за валомъ, которые рушатся на прибрежные голыши съ шипѣньемъ и легкимъ металлическимъ звономъ. И набѣгаютъ, и плещутъ и нѣтъ имъ ни конца, ни устали. Ничего подобнаго этому неукротимому, живому, но непохожему на все живое, морю вы въ вашихъ степяхъ и равнинахъ не видали... Море живетъ не одними волнами и ихъ шумомъ. Когда мы шли спать, предъ нашими окнами было только море съ его волнами; когда мы проснулись, мы увидѣли, что на водѣ за ночь выросло нѣсколько лодокъ и пароходъ. На лодкахъ и пароходѣ шевелились люди, подымался изъ трубъ паровой топки и кухонныхъ очаговъ дымокъ, на снастяхъ сушилось бѣлье. Вся эта жизнь въ одну ночь была рождена моремъ-волшебникомъ изъ ничего, принесена откуда-то издалека...

Изъ Алушты мы тронулись на слѣдующій день. Взбираемся куда-то наверхъ и любуемся горами. Демерджи высоко поднимается въ синее небо дряхлымъ, морщинистымъ, искрошеннымъ, но гордымъ столбомъ, — настоящій король Лиръ. Чатырдагъ широко раскинулъ

свою плосковерхую палатку и разостлалъ шлейфы своего платья. Этотъ его склонъ, сбѣгающій къ морю, и составляетъ алуштинскую долину. Сколько на немъ селъ, сколько пашень, лѣсовъ и садовъ, — я не знаю; на плоскогоріи Чатырдага умѣщается двадцать тысячъ десятинъ пастбищъ, зелѣнѣющихъ съ половины марта до половины октября. Теперь, въ октябрѣ, Чатырдагъ покрытъ снѣгомъ, и съ его вершины, съ высоты 5,000 футовъ, въ алуштинскую долину порывистымъ вѣтромъ сваливается морозный воздухъ. Гора шлетъ морозъ, но море дышитъ тепломъ. Море одолеваетъ, и теперь, 12-го октября, несмотря на снѣгъ на горѣ, въ Алуштѣ не только нѣтъ мороза, но на солнцѣ, въ затишьѣ отъ вѣтра, можно сидѣть на воздухѣ безъ пальто.

Ялта.

Продолжаю эти замѣтки въ Ялтѣ. Окно моей комнаты открыто. Море мѣрно плещетъ. Подъ окномъ слишкомъ громко и слишкомъ неприлично ругаются извощики Ялты, этого игрушечнаго Неаполя игрушечной Итали. Не знаю, что мнѣ дѣлать: не то бросить въ извощиковъ подсвѣчникомъ, не то любоваться яркими южными звѣздами. Избираю средній путь, — сажусь за настоящее писанье, гдѣ бу-

детъ отдано должное и извощикамъ, и озаряющимъ ихъ южнымъ звѣздамъ.

Отъ Алушты до Ялты мы сдѣлали сорокъ верстъ. Всѣ сорокъ верстъ море и горы, горы и море. Сначала, верстъ пять, мы ѣдемъ густымъ и невысокимъ дубовымъ лѣсомъ. Тутъ ничего особеннаго, кромѣ дикихъ виноградныхъ лозъ, взобравшихся на вершины деревьевъ и свѣсившихъ съ нихъ свои плети, начинающія краснѣть. Потомъ лѣсъ кончается, и уже до самой Ялты его мѣсто заступаютъ виноградники. Виноградъ и вино тутъ царятъ. Навстрѣчу то-и-дѣло попадаются лошади, черезъ спины которыхъ перекинута деревянные полубочки, наполненные собраннымъ виноградомъ, и фургоны, нагруженные бочками съ только-что выжатомъ виномъ. Фургонщики русскіе и татары, одинаково пьяны; рожи и носы у нихъ—розовые, красные и синіе, смотря по степени опьяненія. Ежеминутно мы чуть не сталкиваемся съ ними. Мы возмущены, но нашъ ямщикъ покрикиваетъ встрѣчнымъ соотечественникамъ и нехристямъ одинаково ласковымъ и покладистымъ тономъ:

— Милый, а милый! Потяни-ка правую возжу—способнѣй разѣдемся.

— Ты какой губерніи? спрашиваемъ мы ямщика.

— Орловской.

Конечно! Никто кромѣ великорусса не умѣетъ такъ поладить съ кѣмъ угодно, хотябы съ пьянымъ крымскимъ татаринѣмъ, вдобавокъ потомкомъ итальянцевъ и грековъ.

— А обругать ихъ нельзя?

— Не разсчитъ:—пьяны.

Виноградъ царитъ. Чуть не на каждой верстѣ попадаются повороты съ шоссе; у поворотовъ надписи, гласящія что дорога сворачиваетъ въ садъ такого-то и такого винодѣла, имя котораго достаточно извѣстно потребляющей вино публикѣ. Начинаютъ попадаться татарскія деревеньки. Одна сторона улицы идетъ выше шоссе, и домики показываютъ свои галлерейки, которыми украшенъ каждый изъ нихъ. Другая—построена ниже дороги, и ея плоскія земляныя крыши—вровень съ шоссе. У домиковъ—кучи виноградныхъ выжимокъ, начавшихъ бродить и пахнущихъ далеко неблаговонно. Татарки бродятъ по дворамъ, по галлерейкамъ и даже по крышамъ, справляя свои хозяйскія надобности. Татарчата — въ ожиданіи, когда земскій начальникъ выучитъ ихъ вѣжливости, показываютъ проѣзжающимъ языки и дразнятъ ихъ на своемъ некрещеномъ нарѣчій. Татары, съ посоловѣлыми черными глазами и покраснѣвшими итальянскими и греческими носами, блаженно и безмолвно пьяны.

Чѣмъ дальше мы ѣдемъ, тѣмъ тѣснѣе прижимаемся къ обрывистымъ скаламъ, тѣмъ выше поднимаемся надъ моремъ, которое, вслѣдъ за нами, тоже подымается на горизонтѣ, точно не желая потерять насъ изъ виду. Виноградные сады все обширнѣй; усадьбы винодѣловъ попадаются все чаще; ложа горныхъ ручьевъ, черезъ которыя перекинута каменные мосты, все шире и многочисленнѣй. Скалы изъ сѣрыхъ превращаются въ черно-рыжія, шиферныя. Налѣво, къ морю, все чаще сбѣгаютъ все болѣе глубокія и широкія долинки, въ концѣ которыхъ, у самаго моря, мы видимъ группы зданій. Въ двухъ мѣстахъ изъ самаго моря поднимаются высокія, пухлыя, похожія на булки горы. Вторая изъ нихъ — Аюдагъ, напоминаетъ медвѣдя, который припалъ маленькою головкою къ морю, а задъ оставилъ высоко на суцѣ. Недоѣзжая Аюдага, мы видимъ долинку Партенита, заслоненную горой отъ солнца, всю въ холодной тѣни. Миновавъ гору, смотримъ внизъ, на Гурзуфъ, залитый золотыми свѣтомъ заходящаго дня. Изъ Гурзуфа къ намъ навѣрхъ доносятся звуки оркестра. За Гурзуфомъ мы едва успѣваемъ замѣтить, что черныя скалы превратились въ желтыя, какъ наступаетъ ночь, и мы, при свѣтѣ мѣсяца, по шоссе, испещренному тѣнями орѣховымъ и фиговыхъ деревъ, спуска-

емся въ Ялту и останавливаемся у одной изъ ея гостинницъ, по удобствамъ не уступающихъ столичнымъ, а по цѣнамъ превзошедшихъ ее.

Крымскій Неаполь.

Съ чего начать описаніе Ялты, этого Неаполя игрушечной Италіи,—съ прозы или съ поэзіи? Попробую—съ поэзіи, притомъ съ лирической.

До настоящей моей поѣздки я былъ въ Крыму только разъ. Мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ. До того я не видалъ ни настоящаго юга, ни горъ, ни моря. Боже мой, что сдѣлали со мной горы, море, югъ и въ особенности семнадцать лѣтъ! Я захворалъ отъ впечатлѣній. Горы и море что-то хотѣли мнѣ сказать, но не могли, я хотѣлъ ихъ понять, но напряженія и усилія были напрасны. Выходило что-то необыкновенно сладкое, но еще болѣе мучительное,—какъ Л. Н. Толстой описываетъ дѣйствіе музыки. Музыка Крыма казалась мнѣ необыкновенно величественной. Маленькій Чатырдагъ представлялся какимъ-то Араратомъ. За моремъ была свѣтлая страна куда меня неопреодолимо тянуло обѣщаніями неизвѣданнаго счастья. Валы набѣгавшіе на берегъ, бѣжали ко мнѣ съ какими-то важными, радостными вѣстями. Лунныя ночи были

не свѣтлыми ночами, а безмолвными гимнами о великомъ счастьеѣ. И все это оставалось загадкой. Это было мучительнымъ созерцаніемъ тѣни счастья, — тѣни отъ дыма счастья. Но все-же въ этомъ была хоть какая-нибудь сила былъ порывъ, движеніе впередъ, въ глубь душевной жизни. Теперь, увы, не то. Теперь я знаю, что Чатырдагъ—хорошенькая гора-карликъ; что волны только плещутъ и ничего не говорятъ; что луна ярко свѣтитъ оттого, что она въ полнолуніи; что красота — красива, и все тутъ:—красотой нужно только любоваться и не ждать отъ нея еще чего-то, чему нѣтъ названія и что ждалось въ семнадцалѣ лѣтъ. Конечно, это вѣрно, и благоразумно, но отчего-же дѣлается какъ-то жутко, когда сравнишь беспорядочныя, смутныя, восторженныя строки, которыя я нашелъ въ своей старой тетради того времени, съ такимъ «стихотвореніемъ въ прозѣ», которое я нахожу теперь на послѣднемъ листкѣ моей записной книжки. Вотъ эти подозрительныя строки:

«Я проснулся и отворилъ окно. Осенній сѣрый день. На полу и на стѣнѣ то появляются, то исчезаютъ полосы слабыхъ солнечныхъ лучей, пробивающихся сквозь облака. Поглупѣвшая и ослабѣвшая осенняя муха медленно и упорно ударяется о зеркало, сквозь которое хочетъ пролетѣть. За окномъ колеб-

лются мокрая полуоблетѣвшія вѣтки акацій. Дальше — тяжелые отъ влаги, бурые листья платановъ. Въ окно тянетъ свѣжимъ воздухомъ, но и сыростью и дымкомъ. Изрѣдка и вяло кричатъ пѣтухи. А мнѣ что-то щемитъ душу, все тоскливѣй, все болѣзненнѣй. Отъ чего это? Что это? Одно мнѣ ясно: я глубоко обиженъ чьею-то равнодушной несправедливостью»...

Должно быть, это подходитъ старость. Во всякомъ случаѣ въ семнадцать лѣтъ такихъ рѣчей не полагалось...

Ялту называютъ крымскимъ Неаполемъ, ибо она — самый большой и самый красивый городъ Южнаго берега. Надо, впрочемъ, замѣтить, что Ялта тутъ и единственный городъ. На этомъ сходство Ялты съ Неаполемъ кончается. Если сравнивать Ялту, то вѣрнѣе всего — съ маленькими городками западнаго побережья Малой Азіи, которые пріютились въ такихъ же горныхъ раковинахъ, какъ Ялта. Бѣленькая Ялта сидитъ въ своей раскрытой раковинѣ у моря, точно извѣстная Венсра-устрица. Горы высокой стѣной окружаютъ городокъ и защищаютъ его отъ вѣтровъ. Долина Ялты не подымается почти до вершины горъ, какъ долина Алушты, а упирается въ отвѣсные обрывы на меньшей половинѣ высоты хребта. Это придаетъ ей законченность и уютность.

Съ горь бѣгутъ двѣ рѣчки, Учань-Су и Дерекой. Если Салгирь, эта крымская Амазонка похожа на шоссе, по которому бѣжитъ вода, то Учань-Су и Дерекой напоминаютъ пѣшеходныя тропинки, смоченныя недавнимъ дождемъ. Эти мокрыя тропинки иной разъ шутятъ, однако, дурныя шутки. Вотъ какихъ дѣловъ надѣлали онѣ 11-го февраля прошлаго года, по описанію ялтинской «Справочной книжки» г. Фаусека. Къ вечеру 10-го февраля барометръ внезапно упалъ, надъ Яйлою образовались тучи и пошолъ дождь, который, усилившись до степени ливня, шолъ безъ перерыва всю ночь и все слѣдующее утро почти до 12-ти часовъ. Дерекой и Учань-Су съ ревомъ неслись къ морю, увлекаая на пути все, что ни попадалось: стволы огромныхъ деревьевъ, плетни, бревна, доски, валежникъ. Дерекой примчалъ въ городъ трупъ коровы. Учань-Су хлынулъ въ главный коллекторъ городской канализаціи и фонтанами билъ наружу, разорвалъ магистральную газовую трубу и лишилъ Ялту освѣщенія. Кромѣ Учань-Су и Дерекоя появились двѣ новыя рѣчки, на улицахъ Виноградной и Морской. Здѣсь вода достигла лошадямъ по брюхо, затопила подвалы, поломала и занесла иломъ и соромъ сады и образовала озеро на дачахъ Витмара и Пешковскаго, лежащихъ въ котловинѣ. Еще

эффектнѣй было наводненіе 10-го іюня 1892 года, когда отличился Дереккой. Въ Ялтѣ не упало ни капли дождя, а лишь слышенъ былъ шумъ ливня, падашаго на Яйлѣ. Учанъ-Су остался спокоенъ, но Дереккой въ нѣсколько минутъ принесъ съ горъ такую массу воды, что набережная была затоплена на аршинъ, рѣшотка бульвара разбита принесенными водою бревнами, и вырваны и унесены полы въ четырехъ деревянныхъ лавкахъ.

Этимъ двумъ буянамъ, Учанъ-Су и Дереккой, и обязаны своимъ существованіемъ изящная полукруглая долина Ялты. Они сдѣлали обрывы горъ, выровняли, насколько могли, дно долины и выдвинули ее дальше въ море. Несмотря на дружную работу, они живутъ врозь, подѣлившись, раздѣленные невысокимъ зеленымъ холмомъ, возвышающимся посерединѣ долины. Дереккой течетъ въ старомъ городѣ, Учанъ-Су — въ новомъ; обѣ части Ялты соединены только улицею-набережной.

Если вы хотите полюбоваться горами, отправляйтесь на конецъ Ялтинскаго мола. Оттуда во всей красѣ виденъ ихъ удивительный правильный полукругъ. Онъ, однако, не монотоненъ. Главная стѣна подперта могучими контрфорсами. Стѣна — обнаженный морщинистый камень, въ расщелинахъ котораго красивыми пучками растутъ тамъ и сямъ деревья; контр-

форсы точно коврами устланы садами и плантаціями. Загибаясь къ морю, полукругъ оканчивается направо и налево двумя курчавыми отъ садовъ и лѣса горами, въ формѣ пирамидъ съ очень широкими основаніями. Получается безукоризненно законченный пейзажъ, какихъ немного найдется въ лучшихъ по красотѣ странахъ. Особенно онъ хорошъ въ ясный, сухой день, когда на фонѣ чистаго голубого неба отчетливо и живописно рисуются горы, въ мельчайшихъ подробностяхъ своихъ камней, садовъ, лѣсовъ и плантацій, въ тончайшихъ оттѣнкахъ своихъ свѣжихъ красокъ.

Съ мола отправляйтесь погулять по городу. Старый городъ я не рекомендую для этой цѣли: тутъ слишкомъ пахнетъ азіатчинкой, — рыбаками греками, чернорабочими турками и мѣстной татарвой. Двѣ-три улочки и пять-шесть переулочковъ стараго города узки, населены «ракломъ», наполнены кабаками и трактирами на русскій образецъ, — съ «машинами» и половыми въ бѣлыхъ рубахахъ. Ни красиваго, ни оригинальнаго тутъ ничего нѣтъ.

Новый городъ очень милъ. Эта исключительно дачный городъ, рассчитывающій понравится пріѣзжимъ. Каждый домъ и домикъ построенъ кокетливо, — одинъ въ классическомъ, другой въ итальянскомъ, третій въ швейцарскомъ вкусѣ. Вездѣ балконы и балкончики

выступы, башенки, вьющіяся розы по стѣнамъ, виноградъ на крышахъ балконовъ и переходовъ. Каждый домъ непременно съ видомъ или на море, или на горы. При каждомъ непременно садикъ, съ узкими тѣнистыми дорожками, засаженный платанами, магноліями, лаврами и кипарисами. Дома—исключительно каменные, заборы такіе-же, и на улицахъ Ялты въ миниатюрѣ и искусственно повторяется эффектъ, которымъ вы любуетесь, глядя на крымскія горы,—сочетаніе камня и зелени. Улицы новой Ялты (ихъ тоже немного,—не наберется и десяти) извилисты, идутъ по косогорамъ, но содержатся хорошо и удобны для ѣзды, а о ихъ миловидности и говорить нечего. Элегантность, франтоватость, чистота отдѣлки нѣсколько страдаютъ. Той лакированности и правильности, которыми отличаются нѣмецкія, шведскія и финляндскія загородныя виллы тутъ, въ русскомъ Неаполѣ, нѣтъ. Съ этой стороны Ялты ближе сравнить съ какимъ-нибудь второстепеннымъ итальянскимъ городомъ, съ какою-нибудь Пизой или Вероной. Не-то чтобы плохо, а все-таки маленько небрежно, кое-какъ, «живетъ» и «ладно будетъ». Картинность и живописность отъ этого конечно не убываетъ. Наоборотъ: лакированныя нѣмецкія виллы все какъ-то напоминаютъ до неприличія вычищенные воскресные сапоги собравшагося in's Grüne нѣмецкаго подмастерья.

Съ гранитной набережной, на которой помѣщаются совершенно приличные магазины и нѣсколько огромныхъ, очень хорошихъ, но еще болѣе дорогихъ гостинницъ, можете любоваться моремъ, мягкимъ полукругомъ, вдающимся въ такой-же полугругъ берега. Лѣтомъ его краски удивительны. измѣняясь безконечнымъ числомъ оттѣнковъ, отъ тяжкаго темносиняго до нѣжнѣйшихъ золотистыхъ и перламутрово-розовыхъ тоновъ. Теперь, осенью, и зимой оно чаще всего сѣрое. Иногда оно синѣетъ, и на темной синевѣ его играютъ бѣлоснѣжные барашки волнъ. Изрѣдка, какъ-будто въ минуты особенно хорошаго настроенія, вода становится легкой, прозрачной, аквамариновой. Эти минуты, впрочемъ, очень рѣдки. Осенью и зимой море грозно. Иногда оно бываетъ свирѣпо и жестоко. Ялтинскій молъ и набережная уже не разъ были разбиты и разбросаны могучимъ моремъ, точно сложенные изъ щепокъ, а не изъ громадныхъ каменныхъ массивовъ. Вотъ что было, по словамъ упомянутаго г. Фаусека, на Черномъ морѣ въ прошломъ январѣ. Два дня подрядъ ревѣлъ невообразимый ураганъ. Въ Новороссійскѣ, въ портѣ, пароходъ «Константинъ» отстаивался на двухъ якоряхъ, работая машиной, полный ходъ впередъ. Отстаивавшійся рядомъ болѣе слабый англійскій пароходъ былъ выброшенъ на берегъ. Въ открытомъ:

морѣ прошелъ циклонъ, который поднялъ такое волненіе, что колоссальный океанскій пароходъ «Орель», везшій въ Батумъ новобранцевъ, спасся въ севастопольскую бухту. Въ ялтѣ вся набережная была въ водѣ. Купальни были сбиты. Тяжелыя гранитныя тумбы набережной отбросило на середину улицы. Вода плескала выше телеграфныхъ столбовъ и до стѣнъ домовъ. При 8° мороза стѣны и телеграфная проволока покрылись ледяною корою причудливыхъ очертаній, которая, когда показалось солнце, засверкала какъ брилліантовая. Взлетавшія вверхъ бѣшенныя волны играли радугами. Съ солнцемъ, море перемѣнило гнѣвъ на милость. Буря начала стихать, а къ десяти часамъ утра ледяной узоръ перепуганной и смерзшейся Ялты разстаялъ и обвалился.

При мнѣ море было довольно смирно и лишь иногда посылало небольшіе буруны, которые упрямо бились о стѣнки набережной и мола, иной разъ перебрасывая черезъ нихъ брызги своихъ гребней. Черезъ нѣсколько часовъ оно стихало и улегалось, хотя полной тишины все-таки не было ни разу,—всегда слышалось ворчанье волнъ, шевелившихъ прибрежный гравій. Бурь не было, зато бывали туманы. Пароходы, которыхъ каждый день приставало два-три, опаздывали, и ужасный «ревунъ» мола начиналъ издавать свои нелѣпыя, дикіе, отрывистые

вопли. Цѣлыми часами онъ ревѣлъ въ самомъ ухѣ ялтинцевъ, подавая сигналы судамъ на морѣ. И вотъ, изъ глубины бѣлой мглы начинается доноситься отвѣтный ревъ, сначала еле слышный, потомъ все болѣе громкій. Потомъ въ туманѣ, точно привидѣніе, слабо очерчивается какое-то сѣрое пятно; оно медленно растетъ, становится темнѣе, опредѣленнѣй, и наконецъ, выползаетъ,—точно ощупью, точно слѣпой,—пароходъ, съ мачтами, трубами, рубками и толпою людей, съ такимъ выраженіемъ на лицахъ, какъ-будто они долго блуждали въ лѣсу и наконецъ-то вышли на знакомую дорогу. Туманы стояли тоже недолго. Черезъ нѣсколько часовъ облако или уходило за горы, или его угоняло въ море, на которомъ долго еще виднѣлась пушистая оторочка его громадной пелены.

Все это очень красиво, очень величаво, громадно и совсѣмъ непривычно для человѣка съ той стороны горъ. Послѣ тамошнихъ равнинъ, пригорковъ, рѣкъ и даже облаковъ, здѣшнія горы, просторъ необозримаго моря и тучи, высоко вздымающіяся надъ самыми горами, представляются гигантами. По сравненію съ ними людскія зданія и люди представляются камешками и насѣкомыми. Привычное мѣрило размѣровъ и разстояній теряется, чувствуешь себя сбитымъ съ толку, и тѣмъ сильнѣе прелесть

здѣшнихъ мѣстъ: къ ощущенію красоты присоединяется ощущеніе необыкновеннаго.

А градусникъ доложилъ намъ, что за недѣлю нашего пребыванія въ Ялтѣ съ 13-го по 20-ое октября не было меньше $+7^{\circ}$ и больше $+19^{\circ}$ R.

Ялтинская проза.

Русская житейская проза—самая противная изъ всѣхъ прозъ. У нѣмцевъ она скучна, но порядочна; у французовъ безпорядочна, но зато весела; у итальянцевъ и безпорядочна и скучна, но художественна. Русская-же проза—просто-на-просто свинство. Пока дѣло идетъ о статистикѣ этой жизни, еще туда-сюда, но лишь только вы коснетесь нравовъ и обычаевъ, вы неминуемо приходите въ дурное настроеніе духа, притомъ съ русскимъ специальнымъ оттѣнкомъ,—начинаете шумѣть, браниться, ссориться, жаловаться власть имущимъ, составлять протоколы. Русская житейская проза и русскій обычай быть въ дурномъ настроеніи во всей неприкосновенности перенесены и въ подтропическую Ялту. Чтобы не слишкомъ поразить читателя рѣзкимъ переходомъ отъ поэзіи къ прозѣ, остановимся сначала на статистикѣ.

Ялта, какъ и весь Южный берегъ, какъ и вся Новороссія, обязана своимъ процвѣтаніемъ русскимъ. До 1783 года Южный берегъ, былъ

населенъ исключительно татарами, которые ничѣмъ не занимались, а въ свободное время и въ моменты пробужденія энергіи рѣзали, вмѣстѣ съ турками, своими сюзеренами, христіанъ. Въ годъ присоединенія Крыма къ Россіи Ялта имѣла всего тридцать развалившихся избенокъ. Остальныя поселенія Южнаго берега были еще малолюднѣй и разрушеннѣй. До такого состоянія была доведена нѣкогда цвѣтущая, почти сплошь застроенная городами, портами и крѣпостями область, сначала греческая, потомъ генуэзская. Турокъ мы выгнали, татары стали выселяться сами, къ сожалѣнію, слишкомъ медленно. На ихъ мѣсто стали приходять русскіе. Въ 1837 году строится на Южномъ берегу первое шоссе. Земля быстро переходитъ въ русскія руки, возникаютъ Алупка, Оріанда, Ливадія, Никита и множество другихъ, менѣе извѣстныхъ и менѣе обширныхъ имѣній. Однообразныя дубовыя, буковыя и сосновыя лѣса смѣняются парками деревьевъ и кустовъ итальянской флоры. Особенно успѣшно и широко развиваются виноградники, которыхъ у татаръ почти не было, но въ первобытномъ видѣ. Недалеко то время, когда Южный берегъ, совершенно очищенный отъ татаръ, превратится въ сплошной благоустроенный паркъ и безцѣнный виноградникъ.

Ялта сдѣлана городомъ въ 1837 году, но до

начала 60-хъ развивалась туго. Причинами были отсутствіе дешеваго и скорого сообщенія съ остальной Россіей и ничтожная городская территория, равнявшаяся до 70-хъ годовъ всего четыремъ десятинамъ земли. Когда построились дороги, когда Дворъ, по совѣтамъ профессора Боткина, основалъ свою лѣтнюю резиденцію въ Ливадіи, когда, наконецъ, къ Ялтѣ отошло пятьсотъ десятинъ близъ-лежащей земли, — городъ процвѣлъ. Въ началѣ 60-хъ годовъ въ Ялтѣ было 800 постоянныхъ жителей; теперь ихъ 10 тысячъ, да кромѣ того за лѣто перебивается отъ 15 до 20 тысячъ туристовъ и кургастовъ. Городъ обстроился, украсился и разбогатѣлъ. Его бюджетъ достигаетъ 100 тысячъ рублей. Это дало ему возможность устроить водопроводъ *) стоки и набережную и организовать весьма удовлетворительно санитарный надзоръ. Жить въ Ялтѣ въ санитарномъ отношеніи можно, но ея русская житейская проза приводитъ въ русское дурное настроеніе. Цѣлую недѣлю я посвятилъ поискамъ за квартирой для моихъ спутницъ; я исходилъ, можно сказать, всю Ялту и имѣлъ неудовольствіе озна-

*) Чудесная вода Ялты—подарокъ кн. Воронцова, который предоставилъ городу изъ своего массандрскаго источника струю воды, въ діаметръ $1\frac{7}{8}$ вершка. Это составляетъ 140,000 ведеръ въ сутки.

комиться съ ея закулисной прозой довольно подробно.

Во-первыхъ, дороговизна. Я рѣшительно отказываюсь понять, что заставляетъ ялтинцевъ такъ грабить прїѣзжихъ? Въ карты-ли они ежедневно проигрываются, или пропиваютъ деньги, или бросаютъ ихъ въ море, или у всѣхъ у нихъ какія-нибудь разорительныя тайныя связи? Зимою, въ глухое время, когда половина гостинницъ закрыта, половина домовъ пустуетъ, половина извощиковъ безъ работы, цѣны стоятъ все-таки выше зимнихъ петербургскихъ. Во время-же сезона цѣны прямо ошеломляютъ своей неслыханной, можно сказать, дерзостью. Ялтинцы сами сознаютъ что это къ добру не поведетъ, но не могутъ совладать съ собственной жадностью. «Будущее процвѣтаніе Ялты, говоритъ авторъ ялтинской «Справочной книжки», находится въ прямой зависимости отъ большей или меньшей доступности ея для массы публики небогатой, которая будетъ искать отдыха отъ труда и исцѣленія отъ болѣзней, платя Ялтѣ не сумасшедшими и невѣрными деньгами, а вѣрной трудовой копѣйкой. Мы думаемъ, что залогъ будущихъ успѣховъ Ялты должно видѣть только въ удешевленіи въ ней жизни, и что поэтому вниманіе общества и городского управленія должно быть направлено на борьбу

съ тою кулаческой закваской, которая отвратила уже отъ Ялты многочисленныхъ посѣтителей и создала ей славу недоступности для людей съ небольшими средствами». Съ своей стороны я думаю, что дѣло можетъ быть поправлено только проведеніемъ желѣзной дороги вдоль Южнаго берега. По ея линіи сейчасъ-же выростутъ новыя дачныя и лѣчебныя мѣста, которыя своей конкуренціей образумятъ теперешнія Ялты, Алупки, Алушты, Симелиды etc. Желѣзная дорога удешевитъ и путевыя издержки отъ Севастополя и Симферополя, которыя теперь непомерно велики. Правда, вы можете ѣхать на перекладныхъ, за обычную плату, но перекладныя — не для больныхъ и слабыхъ людей. Экипажныя-же конторы въ Севастополь — не что иное, какъ узаконенные монополисты, грабящіе васъ «по утвержденной таксѣ». Да и грабительская такса дѣйствительна только по шоссе и между главными станціями, тогда-какъ за провозъ до второстепенныхъ и лежащихъ въ сторонѣ пунктовъ берутъ «по взаимному соглашенію». Можете себѣ представить, что это за соглашеніе!

Какъ видите, и статистика Ялты приводитъ въ дурное настроеніе. Нравы и обычаи и того ядовитѣй. Кто ихъ знаетъ, откуда набрались здѣшніе извошники, разсылные, про-

водники, комиссіонеры, прислуга, но всѣ они имѣютъ видъ бѣжавшихъ съ каторги. Извозчики неумолчно ругаются другъ съ другомъ и обыкновенно пьяны. Кухарки, горничныя и няньки, которыхъ я видѣлъ въ моихъ поискахъ квартиры, по большей части малороссійскаго происхожденія, отличаются атлетическимъ сложеніемъ и опухшими фізіономіями, на которыхъ написаны всѣ десять заповѣдей, но, къ сожалѣнію, въ обратномъ смыслѣ. Не могу вполне одобрить также домо- и квартиро-хозяевъ, но позорнѣй всего татары проводники въ горы.

Русская распущенность, подобно русской прозѣ жизни, тоже, строго говоря,—свинство. Грѣшатъ этимъ всѣ, но не такъ откровенно. Испанка и итальянка прячется подъ темные своды церквей или таится подъ покровомъ темной южной ночи. Француженка держитъ для этого отдѣльную квартиру, гдѣ-нибудь на дальней улицѣ по черной лѣстницѣ. Нѣмка и шведка не имѣетъ предразсудковъ насчетъ мѣста, но дѣлаетъ видъ, будто сама она тутъ не при чемъ, ничего такого не только не понимаетъ, но и понять не можетъ. Русская-же гуляющая дама ѣдетъ въ Ялту, гдѣ ее видятъ десять тысячъ коренныхъ жителей и двадцать —пріѣзжихъ, итого тридцать тысячъ человѣкъ. Въ Ялтѣ она выходитъ на набережную, гдѣ

кучками толпятся «проводники», въ короткихъ шитыхъ золотомъ курткахъ, и лорнируетъ ихъ, причемъ тѣ пріосаниваются. Потомъ проводникъ при всемъ народѣ является къ дамѣ въ гостинницу, гдѣ условливаются насчетъ пункта прогулки въ горы и платы. Наконецъ, вся Ялта видитъ даму верхомъ на лошади; а за нею скачетъ проводникъ, съ выраженіемъ такого самодовольства и такой важности, на какую способенъ только дубинноголовый «восточный человѣкъ». Чортъ знаетъ, что такое!.. Ялтинское городское управленіе, конечно, безсильно повисить нравственный уровень гулящихъ дамъ, но говорятъ, въ его средѣ проектируются двѣ весьма серьезныя мѣры, направленные, съ одной стороны, къ уменьшенію скандала, а съ другой—съ санитарной цѣли. Именно, предполагается воспретить проводникамъ носить ихъ бросающійся въ глаза костюмъ и затѣмъ подчинить ихъ правильному врачебному - полицейскому надзору.

Впрочемъ, что требовать отъ татаръ, когда виною ихъ подчиненія врачебно-полицейскому надзору—«интеллигентныя» дамы! Что осуждать звѣро-подобныхъ горничныхъ и кухарокъ, когда примѣръ имъ подаетъ чистая публика! Отправились мы однажды въ садъ гостинницы «Россія» на музыку. Кажется,

приличнѣй мѣста нѣтъ въ Ялтѣ. Гостинница — дворецъ, постояльцы — важные и богатые господа. Сидимъ, слушаемъ музыку, разговариваемъ. Вдругъ какой-то молодой человѣкъ останавливается противъ насъ и произноситъ ругательство. Оказывается, ему померещилось, будто, мы сдѣлали на его счетъ обидное замѣчаніе. Нечего дѣлать, веду молодого человѣка къ городовому, веду его съ городовымъ въ участокъ. Молодой человѣкъ изо всѣхъ силъ дѣлаетъ видъ, что ему самому ужасно хочется идти въ участокъ. Въ участкѣ обнаруживаю личность молодого человѣка и, къ удивленію, узнаю, что онъ — мѣстный чиновникъ и даже, несмотря на молодость лѣтъ, коллежскій секретарь. Иду назадъ. Море плещетъ, луна свѣтитъ волшебнымъ блескомъ, горы величественно дымятся туманами. Начинаю примиряться съ Ялтой. Но лишь только вступаю подъ лавры и магноліи сада «Россіи», какъ слышу бѣшеные вопли:

— Подъ козырекъ, мерзавецъ! Руки по швамъ, ракалія! Пріѣхалъ изъ Петербурга, такъ думаетъ, что онъ фельдмаршалъ?! Молчать! Молча-а-ть?

Публика всѣмъ стадомъ шарахается туда, гдѣ раздаются бѣшеные вопли.

— Ужъ лучше уйти, сказали мнѣ спутницы.

Мы ушли. Море плещетъ, мѣсяцъ сіяетъ, горы дыматся, но, подъ впечатлѣніемъ русской прозы жизни, такъ и ждешь, что и море съ горами вдругъ возмутъ да и выкинутъ какое-нибудь совершенно неожиданное свинство.

Такова проза Ялты, заглушающая ея поэзію. Поэтому лучше подальше отъ нея. Зимнія квартиры для моихъ спутницъ ищу внѣ Ялты, и сначала я отправляюсь на западъ.

Крымская Сицилія.

Южный берегъ далеко не весь заслуживаетъ названія «южнаго». Въ однихъ мѣстахъ онъ смотритъ больше на востокъ и западъ, чѣмъ на югъ; въ другихъ—горы недостаточно велики, чтобы защитить его отъ сѣверныхъ и восточныхъ холодовъ. Горы, то выше, то ниже, тянутся отъ Теодосіи до монастыря св. Георгія, на протяженіи 170 верстъ. Эту береговую линію можно разбить по степени ея южности на шесть участковъ. Первый, отъ Теодосіи до мыса Чубанъ-Басты, въ 32 версты, берегъ котораго смотритъ почти на востокъ, а горы ничтожны,—холодень: средняя температура Теодосіи втеченіе января и февраля держится ниже нуля, причемъ наблюдаются морозы свыше 20°. Отъ мыса Чубанъ-Басты до Алушты 52 версты; горы становятся все выше, цѣпь ихъ принимаетъ направленіе съ

востока на западъ, берегъ обращенъ почти прямо на теплый югъ; тутъ очень тепло. Затѣмъ слѣдуетъ полоса въ 34 версты отъ Алушты до Ай-Тодора. Тутъ и береговая линія и горная цѣпь идутъ съ сѣверо-востока на юго-западъ. Несмотря на это, здѣсь расположены самыя извѣстныя и многочисленныя лечебныя станціи и дачи: Алушта, Гурзуфъ, Никита, Массандра, Ялта, Ливадія, Ореанда. Дѣло въ томъ, что всѣ эти мѣста лежатъ въ полукруглыхъ пазухахъ горъ и берега, обращенныхъ, несмотря на главное направленіе цѣпи, прямо на югъ. Наконецъ, еще два участка: отъ Ай-Тодора до мыса Фароса, 28 верстъ, и отъ Фароса до Георгіевскаго монастыря, 25 верстъ. Послѣдній обращенъ на юго-западъ и особой «южностью» похвалиться не можетъ; зато первый, берегъ и горы котораго идутъ почти по параллели, можетъ быть названъ самымъ теплымъ мѣстомъ нашей игрушечной Италіи. Это ея Сицилія. Изъ теплыхъ теплымъ считается знаменитая Алупка, крымское Палермо, куда мы и поѣдемъ изъ Ялты.

Туда велите везти себя по нижней дорогѣ, а назадъ возвращайтесь по верхней. Почти сейчасъ-же какъ вы оставите Ялту, горы, образующія у города просторный полукругъ, придвигаются къ берегу. Отдѣльныя вершины

уступаютъ мѣсто обрывистой каменной стѣнѣ. Каменная стѣна вросла въ болѣе богатый склонъ, покрытый густымъ лиственнымъ лѣсомъ. Этотъ лѣсъ отъ подножія камня сбѣгаетъ къ самому морю, и нижняя дорога прячется въ этомъ лѣсу. Лѣсъ сначала некрасивъ, — низкорослый, искривленный, хотя и густой. Далѣе чѣмъ ниже вы спускаетесь, тѣмъ деревья становятся стройнѣй и выше, и наконецъ вы попадаете въ величественный и великолѣпный лѣсъ-паркъ Ореанды. По ту сторону горъ, на сѣверѣ, такія деревья и лѣсные пейзажи можно видѣть только на столичныхъ сценахъ, когда декораторъ особенно постарается. Каменистыя, глубокія, узкія и крутыя ложи горныхъ ручьевъ, на днѣ которыхъ по голымъ или зеленѣющимъ бархатнымъ мхомъ огромнымъ камнямъ бѣгутъ серебристыя каскады. Громадныя темныя стволы: наклонившіеся надъ этими маленькими ущельями. Гигантскія, зеленыя вѣтви, сплетшіяся надъ ними живымъ потолкомъ. Колонны тополей, вершины которыхъ вырываются поверхъ лѣса точно зеленые водометы. Задумчивыя, широковерхіе осокори и орѣхи. Платаны, далеко отъ себя протянувшіе свои вѣтви-руки, облеченныя въ широкіе волнующіеся рукава звѣздчатыхъ листьевъ. И всѣ эти красавцы-деревья увиты темно-зеленымъ плющомъ, который покрываетъ

стволь и вѣтви, сохраняя ихъ формы, и лишь вверху располагается густыми клубами и шапками по всей кронѣ. Таковъ весь Ореандскій паркъ, въ сущности огромный лѣсъ. Искусство мало участвовало въ его созданіи, но тѣмъ онъ своеобразнѣй. Искусства и безъ Ореанды достаточно на Южномъ берегу, гдѣ чуть не на каждой верстѣ попадаются роскошные дворцы и дачи. Такъ-же простъ былъ и бѣлый Ореандскій дворецъ, выстроенный въ классическомъ стилѣ. Онъ сгорѣлъ 11 лѣтъ тому назадъ; его не возобновили, а превратили въ изящныя, хотя, и печальныя развалины. Покойный великій князь Константинъ Николаевичъ жилъ въ пяти комнаткахъ флигеля, гдѣ, по словамъ людей, имѣвшихъ честь посѣщать его, работалъ надъ приведеніемъ въ порядокъ своихъ записокъ, которыя онъ изодня въ день велъ съ самой ранней молодости. Въ виду выдающагося ума, образованія и положенія автора, эти записки исполнены огромнаго интереса, и когда придетъ время ихъ обнародованія, онѣ явятся историческимъ документомъ величайшей цѣнности.

Нетронутость парка, развалины дворца, воспоминанія о его умершемъ хозяинѣ навѣваютъ нѣчто печальное на Ореанду. Развалины стоятъ фасадомъ къ морю, которое видно съ крыльца поверхъ деревьевъ во всемъ его

просторѣ. Ступени лѣстницы и полы развалинъ заросли молодыми деревцами и яркой крупной львиной пастью. По наружнымъ стѣнамъ ползутъ розы и виноградъ. Тишина нарушается только шумомъ моря, слабо доносящимся снизу, да чириканьемъ птицъ, копошащихся въ вѣтвяхъ розъ и винограда.

Изъ Ореандскаго парка вы выѣзжаете изъ лѣса, и дорога идетъ въ виду моря, то садами богатыхъ винодѣловъ и дачевладѣльцевъ, то землями татарскихъ деревень. Последнія сейчасъ-же можно узнать по вырубленнымъ дочиста лѣсамъ. Голый камень, корявый кустарникъ, отсутствіе виноградниковъ. Теперь татарскіе лѣса подчинены охранительному закону и правильнымъ рубкамъ. Татары возроптали, а потомъ додумались жечь свои лѣса, такъ-какъ усохшій послѣ пожара лѣсъ продавать имъ разрѣшаютъ. Если выручаемыя отъ этого деньги не обратятъ на искусственное разведеніе лѣса на выгорѣвшихъ мѣстахъ, а будутъ отдавать татарамъ, они въ скоромъ времени не оставятъ ни одного деревца. За татарскими пустырями снова идутъ парки, съ плющемъ, кипарисами, каскадами, виноградниками. Потомъ опять пустыри. И, наконецъ, вы выѣзжаете по великолѣпнымъ широкимъ извилистымъ дорогамъ, среди обширныхъ зеленыхъ лужаекъ, по которымъ разбросаны

величественныя деревья, или между стѣнь стриженныхъ лавровъ и миртъ, въ Алупку. Въѣздъ обѣщаетъ нѣчто великолѣпное, исключительное, единственное. На самомъ дѣлѣ, вы нѣсколько разочаровываетесь.

Въ началѣ 40-хъ годовъ на мѣстѣ теперешней Алупки стояла татарская деревушка, приютившаяся подъ отвѣсными, изрытыми зубчатыми стѣнами Ай-Петри, возвышающагося на 600 сажень надъ моремъ. Склонъ горы былъ заваленъ камнями, которые мѣстами, нагроможденные горами, образовали цѣлые холмы разбитыхъ въ куски скалъ. Между камней расла скудная трава, на которой паслись овцы, сочилось нѣсколько ручьевъ и кое-гдѣ подымались черныя стволы дуба и кровавыя—арбутуса. У береговъ море было загромождено камнями и утесами, среди которыхъ бился и пѣнился прибой. Въ то время весь Крымъ былъ порядочной дичью, а Алупка была особенно пустынна. Но пустынность ея была великолѣпна. Еслибы тутъ создать зеленые парки, устроить пруды, каскады и лужайки, еслибы воздвигнуть фантастической архитектуры замокъ,—вышло-бы нѣчто сказочное тѣмъ больше, что тутъ-же, за стѣнной горь, начинались унылыя степи, безъ деревьевъ и воды. Изъ оконъ зámка виднѣлось бы играющее волшебными красками море. Каскады и

ручьи освѣжали-бы жгучій южный воздухъ. Лавры и мирты, платаны, кипарисы, пиніи, ливанскіе кедры дали-бы прохладную тѣнь; магноліи и розы наполнили-бы воздухъ благоуханіемъ. Но могутъ-ли расти здѣсь эти южные гости? Оказалось, что могутъ. Кое-гдѣ, между дубами, кизильникомъ и вязомъ, нашли нѣсколько кипарисовъ, лавровыхъ и фиговыхъ деревьевъ, гранату и маслины, — остатки древнихъ садовъ и плантацій, нѣкогда насажденныхъ греками и итальянцами. Почва и климатъ оказались, такимъ образомъ, совсѣмъ итальянскими. Оставалось призвать на помощь искусство и деньги и создать зданія и сады, не уступающіе настоящей Италіи. У извѣстнаго князя Воронцова, строителя Алупки, денегъ было много, и его милліоны, брошенные на каменистое овечье пастбище, взошли на этой почвѣ тою Алупкой, какою мы ее видимъ теперь.

Дворецъ стоитъ удивительно хорошо. Съ высоты двадцати-двухъ сажень онъ смотритъ прямо на море и прямо на солнце. Море предъ его балкономъ нигдѣ не ограничено землей, — просторъ необъятный. Если вы станете въ глубинѣ балкона, — въ его мавританской аркѣ море явится вамъ какъ картина въ причудливой рамѣ, — картина, на которой одно только море, внизу слегка подчеркнутое зеленью сбѣ-

гающего внизъ по горѣ парка. Дорожки парка зигзагами спускаются къ морю, и идя по нимъ, вы то попадаете въ аллеи темныхъ, почти черныхъ лавровъ, то входите подъ сѣнь какихъ-то южныхъ хвой, съ необычайно нѣжной и яркой зеленью, то переходите по мостикамъ чрезъ ручьи, то васъ охватываетъ прохладой въ темныхъ гротахъ, по чернымъ камнямъ которыхъ прыгаютъ каскады. На лужайкахъ вы изумляетесь разнымъ невиданнымъ деревьямъ, — магноліямъ, пробковымъ деревьямъ, — кустамъ, цвѣты которыхъ распускаются въ октябрѣ и пахнутъ гвоздикой, деревьямъ, на которыхъ висятъ ягоды клубники, маслинамъ, стволы которыхъ похожи на старую посѣрѣвшую кость какого-нибудь огромнаго допотопнаго звѣря. Число ботаническихъ видовъ, растущихъ на Южномъ берегу, на нѣсколько сотъ превосходитъ число ихъ во всей остальной Россіи. Паркъ кончается обрывомъ къ морю. Тутъ великолѣпіе растительности кончается, и начинается грандіозное, однообразное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безконечно разнообразное въ своихъ оттѣнкахъ великолѣпіе моря. Все это озарено яркимъ солнцемъ и согрѣто почти сицилійскимъ тепломъ: въ тѣ дни, когда въ сосѣдней Ялтѣ ѣздятъ на саняхъ, въ Алуштѣ выпавшій ночью снѣгъ не переживаетъ перваго полдня.

Великолѣпію Алупки, однако, чего-то не достаетъ. Въ немъ чувствуется что-то холодное, какимъ былъ и ея созидатель. Слишкомъ много чудесъ и красотъ, слишкомъ они сжаты, сжаты и нагромождены другъ на друга. Чувство мѣры нарушено какою-то жадностью, съ которой они собраны и втиснуты въ сравнительно небольшое пространство. Чувствуется, что Воронцовъ былъ не настоящій артистъ, а только очень умный человѣкъ, тонко сообразившій, что такое называютъ красотой и какъ ее создаютъ тѣ, кто это умѣетъ. Такое-же впечатлѣніе производитъ и прославленный дворецъ. Строилъ его англійскій архитекторъ въ мавританскомъ стилѣ. Стилъ соблюденъ, но отъ него несомнѣнно отдаетъ англичаниномъ. Въ Крыму есть виноградъ, Изабелла, родомъ изъ Америки. Хорошій виноградъ, вкусный, сладкій. Съѣдаете вы его съ удовольствіемъ; а проглотили — въ носу у васъ слегка отдаетъ мерзлой картофелью. Опять ѣдите, — опять хорошо. Снова съѣли, — снова картофель, который, какъ извѣстно, изъ той-же Америки. Таковъ и мавританскій стиль алупкинскаго дворца. Что-то холодное, педантичное, удивительно сокращающее даже его большіе размѣры, чувствуется въ огромномъ здакѣи о двухстахъ комнатахъ. Внутри дворца теперь осматривать нечего, кромѣ развѣ сто-

рожа-татарина, столь-же важнаго, сколько и забавнаго. Вся движимость вывезена въ Италію вдовой послѣдняго князя Воронцова. Его несчастный наслѣдникъ, свѣтлѣйшій князь Воронцовъ графъ Шуваловъ — слабоумный и поселенъ въ своемъ пензенскомъ имѣніи. Алушкой, какъ и всѣмъ его имуществомъ, завѣдуетъ опека.

Въ Ялту вы возвращаетесь по верхнему шоссе. Тутъ скаты оголены татарами, вырубившими свои лѣса. Зато все время, до Орандскихъ лѣсовъ, предъ вами—море. Въ Орандскомъ лѣсу васъ манитъ поворотъ шоссе, идущаго прямо черезъ горы въ Бахчисарай. Въ лѣсу Ливадіи васъ соблазнить дорога на водопадъ Учанъ-Су, который виденъ изъ Ялты въ видѣ серебристой ленточки, висящей на половинѣ высоты горнаго амфитеатра, окружающаго городъ. Но положимъ, вамъ некогда, какъ и мнѣ, и вы съ сожалѣніемъ старой дорогой возвращаетесь въ Ялту.

Крымская Сицилія оказалась непригодной для зимнихъ квартиръ: въ Алуцкѣ нѣтъ порядочныхъ гостинницъ, черезчуръ много татаръ и зимою слишкомъ вѣтрено. Пришлось направить поиски въ противоположную сторону, на востокъ.

Пушкинскій уголокъ.

«Изъ Феодосіи до самаго Гурзуфа ѣхаль

я моремъ. Всю ночь не спалъ; луны не было; звѣзды блистали; передо мною въ туманѣ тянулись полуденныя горы... Передъ свѣтомъ я заснулъ. Между тѣмъ корабль остановился въ виду Гурзуфа. Проснувшись, увидѣлъ я картину плѣнительную: разноцвѣтныя горы сіяли, плоскія кровли хижинъ татарскихъ издали казались ульями, прилѣпленными къ горамъ; тополи, какъ зеленыя колонны, стройно возвышались между ними. Справа огромный Аюдагъ. Кругомъ это синее, чистое небо, и свѣтлое море, и блескъ, и воздухъ полуденный...»

Это отрывокъ изъ письма Пушкина къ Дельвигу. Пушкинъ видѣлъ Южный берегъ семьдесятъ-два года тому назадъ. Пушкину было тогда двадцать лѣтъ. Молодость, геній, красота южныхъ горъ и моря, — съ трудомъ можно себѣ представить, что совершалось въ эти минуты въ великой и тогда еще свѣжей душѣ Пушкина. Съ трудомъ можно судить объ этомъ по стихамъ, посвященнымъ Крыму, чуднымъ, могучимъ, звенящимъ, точно отлитымъ изъ бронзы стихамъ, которые все-таки только слабое отраженіе того, что звучало и совершалось въ душѣ молодого генія.

«Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда васъ видишь съ корабля
При свѣтѣ утренней Киприды,

Какъ васъ впервой увидѣлъ я;
Вы мнѣ предсгали въ блескѣ брачномъ:
На небѣ синемъ и прозрачномъ
Сіяли груди вашихъ горъ:
Долинъ, деревьевъ, сель узоръ
Разостланъ былъ передо мною ..»

Надо видѣть Крымъ, чтобы оцѣнить эти стихи, нѣсколькими штрихами рисующіе его точнѣе и картиннѣе, чѣмъ длинныя и обстоятельныя современныя описанія. Горы дѣйствительно въ горахъ. Синее и прозрачное небо дѣйствительно обливаешь ихъ сіяніемъ. Долины, деревья и села дѣйствительно—узоръ, *разостланный* по горнымъ горахъ, по ихъ впадинамъ, ребрамъ и вершинамъ... И какъ этотъ 20-лѣтній мальчикъ, до тѣхъ поръ не видавшій ничего, кромѣ Петербурга да Псковской губерніи, сразу овладѣлъ впечатлѣніями, которыя всякаго другого подавили-бы, измучили, одурманили! А ему нипочемъ. Пришолъ сюда какъ хозяинъ домой и распорядился: невиданная красота еще не была занесена на страницы русскаго слова, — такъ занести ее въ стихи, такое добро не должно пропадать даромъ...

Вотъ въ этотъ-то Пушкинскій уголокъ я и направился въ моихъ дальнѣйшихъ поискахъ.

Двѣнадцать верстъ дороги между Ялтой и Гурзуфомъ, безпорно, самое красивое мѣсто Южнаго берега. Сначала дорога идетъ по

склону, обращенному къ амфитеатру горъ окружающихъ Ялту, и вы любуетесь съ разныхъ точекъ и этимъ амфитеатромъ, и полукруглою цвѣтущей долиною, которую горы обнимаютъ. Потомъ шоссе идетъ на полугорѣ, въ одинаковомъ разстояніи отъ моря, внизу, и отъ вершины горнаго хребта. Горы не круто обрываются къ дорогѣ, а поднимаются въ нѣкоторомъ отдаленіи. Онѣ то заслоняются садами, среди которыхъ вы ѣдете почти все время, то показываются во всей красѣ своихъ сѣро-желтыхъ и чисто-желтыхъ каменныхъ причудливыхъ массъ, необыкновенно «стильно» украшенныхъ темнозелеными, строгихъ очертаній, крымскими линиями. Море тоже почти ни на минуту не скрывается изъ виду. Весной и лѣтомъ оно играетъ дивными цвѣтами. Теперь на немъ производили чудеса туманы, полшіе по самой поверхности воды пеленою въ нѣсколько десятковъ саженой толщины. Поверхность пелены клубится правильными волканами, и когда такая туманная туча подходитъ съ моря, кажется, будто изъ его глубины бѣгутъ въ самомъ дѣлѣ водяные валы такой чудовищной величины. Иной разъ туманъ уходитъ на югъ и тамъ за нѣсколько десятковъ верстъ останавливается, — тогда представляется, будто вдали на морѣ выросли огромныя синія горы. Иной разъ туманъ до-

ходить до берега,—моря нѣтъ, на его мѣстѣ появилась безграничная бѣлая снѣжная равнина, въ легкихъ сугробахъ, медленно измѣняющихъ свои очертанія: точно на снѣжной равнинѣ метель. Чудеса, которыя дѣлаютъ осенніе и зимніе туманы на горахъ, тоже очень красивы, но не такія невиданныя, какъ на морѣ. На горахъ туманъ иногда громоздится на вершинахъ и, сливаясь съ ними, производитъ такое впечатлѣніе, будто горы выросли вдвое и покрыты снѣгомъ. Иногда, наоборотъ, туманъ скрадываетъ половину, двѣ трети горъ, и вы изъ горнаго пейзажа видите себя перенесеннымъ въ обыкновенную холмистую Россію. Интереснѣй всего, когда при чистомъ небѣ туманъ изъ степи переваливаетъ чрезъ горы къ морю. Сначала на вершинѣ показывается пушистый край туманной пелены. Нѣкоторое время онъ стоитъ неподвижно; потомъ медленно заворачивается книзу и медленно начинаетъ сваливаться внизъ, устилая собою ущелья и выступы горъ. Ниже, ниже, доходитъ до васъ; солнце скрывается; море вдали еще блещетъ, а васъ уже окуталь пасмурный день; въ воздухѣ носятся и пляшутъ крохотныя водяныя капельки. Съ деревьевъ начинаютъ падать крупныя капли. Такова зима Южнаго берега, за исключеніемъ десятка-другого—дней, когда морозитъ и иной разъ часокъ полежитъ снѣгъ.

Гурзуфъ — не самый красивый уголокъ Крыма, но одинъ изъ самыхъ теплыхъ и, безспорно, самая удобная и здоровая изъ зимовокъ. Владѣлецъ, извѣстный г. Губонинъ, выстроилъ шесть огромныхъ каменныхъ гостиницъ съ двумястами комнатъ. Комнаты прекрасныя, высокія, съ отличной вентиляціей, съ хорошими печами. Просторные коридоры, большія общія комнаты, мраморныя лѣстницы, расторопная и привѣтливая прислуга. Громадная зала ресторана стоитъ отдѣльно. Съ 1-го ноября пространство у гостиницъ, часть парка и крестъ церкви во время вечернихъ службъ освѣщаются электричествомъ. До 1-го же ноября играетъ оркестръ музыки. Море — въ нѣсколькихъ шагахъ отъ гостиницъ. Паркъ занимаетъ пятнадцать десятинъ, начинаясь у моря и кончаясь аллеей молодыхъ кипарисовъ на высотѣ 73 саженой. Сорокъ-семь десятинъ образцовыхъ виноградниковъ поднимаются на 130 саженой. Все имѣніе, считающееся на Южномъ берегу очень большимъ, занимаетъ сто десятинъ. Отъ сѣверныхъ вѣтровъ Гурзуфъ защищенъ Яйлой, отъ восточныхъ заставленъ Аюдагомъ, выдающимся въ море на двѣ версты и поднимающимся на триста саженой. Яйла и Аюдагъ образовали уголъ еще теплѣе Алупки: въ Артекѣ, имѣніи г. Первушина, лежащемъ въ вершинѣ этого угла,

зацвѣтають первые цвѣты и распускаются первыя деревья Южнаго берега. Въ сезонное время пользованіе всѣми этими сокровищами обходится тоже ой-ой какъ не дешево, но съ 1-го ноября цѣны божескія: комнату, лучше которой и желать нельзя, съ постельнымъ бѣльемъ и самоварами отдаютъ за 25 рублей въ мѣсяць; обѣдъ—рубель; булки можете покупать въ пекарнѣ г. Губонина, молоко и масло — на его фермѣ; закусками, свѣчами, чаемъ, сахаромъ запасайтесь въ Ялтѣ, и никто за это на васъ коситься не будетъ. Удивительно, что при этихъ условіяхъ зимою изъ шести гостинницъ занята только одна, изъ ста-пятидесяти-пяти номеровъ — только двадцать-восемь. Вѣроятно, отпугиваетъ сезонная такса. Отсюда прямой выводъ: — не вредить себѣ и сезонными цѣнами.

Пейзажъ Гурзуфа не такъ законченъ и цѣленъ, какъ Ялта или Алупка, но и крымскіе детали такъ хороши, что болѣе близкое знакомство съ ними доставитъ вамъ много удовольствія. Изъ оконъ гостинницы вы видите то море, съ его далью, съ дальними пароходами и кораблями, съ морскими птицами безконечной нитью пролетающими надъ самой водой; то горы, спускающіяся къ вашимъ ногамъ разноцвѣтнымъ, яркимъ, чистымъ, новымъ ковромъ: на самомъ верху—рябые камни

хребта, затѣмъ курчавые лѣса зеленыхъ дубовъ и лиловыхъ осенью вязовъ, затѣмъ шершавые блекнушіе разноцвѣтные виноградники,—золотые бронзовые, темномалиновые, пурпуровые. На яркомъ металлическомъ фонѣ виноградниковъ чернѣютъ точно чугуны отдѣльные кипарисы и линіи каменныхъ заборовъ. Иногда эта картина живописно перебивается точно газомъ лентами и вуалями легкихъ тумановъ. Около гостиницы паркъ. Онъ безъ особыхъ затѣй, но въ немъ много зеленыхъ лужаекъ, тѣнистыхъ аллей и великолѣпныхъ старыхъ деревьевъ. Между послѣдними первое мѣсто принадлежитъ кипарису, о которомъ Пушкинъ писалъ: «Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ молодой кипарисъ; каждое утро я посѣщаль его и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на дружество». Теперь молодой кипарисъ—огромное дерево. По годамъ онъ ровесникъ Пушкина и, быть можетъ, проживетъ еще не одну сотню лѣтъ, напоминая о томъ, что его касалась живая рука поэта. Другое дерево, помнящее Пушкина,—платанъ, поникшія вѣтви котораго образовали шатерь, гдѣ помѣщается обѣденный столъ на шестьдесятъ человѣкъ. Видѣли также и Пушкина (а Пушкинъ видѣлъ и, быть можетъ, касался ихъ) старый ливанскій кедръ, съ его великолѣпными слоистыми вѣтвями, окружаю-

шія его итальянскія пиніи и старая бѣлая акація, сажень въ обхватъ. Это старики, пушкинцы, деревья двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Представители позднѣйшихъ поколѣній очень разнообразны и очень интересны. Темныя аллеи лавровъ и лавровишенъ, живыя изгороди изъ миртъ, рощицы маслинъ, магноліи, итальянскій вѣчнозеленый дубъ, вавилонская ива, арбутусы, кавказскій надубъ, англійскій тисъ, гималайская *Lagerstroemia*, испанская пальма, каштанъ (настоящій, а не нашъ конскій), гранаты, акаціи *lulibrissin* (тоже настоящая, а не ложная, бѣлая или желтая), грецкіе орѣхи, миндаль, даже агавы, — все это растетъ на открытомъ воздухѣ. Впрочемъ, пальма *Chamaecyparis* и агавы на зиму зашиваются въ рогожи. О розахъ ужь и говорить нечего. тутъ ихъ полтора ста сортовъ, и всѣ онѣ чувствуютъ себя какъ дома.

Если васъ утомитъ паркъ, ступайте къ морю и послушайте, что оно говоритъ. Вы ничего не поймете, но оно все-таки что-то говоритъ, и вы все-таки долго не наслушаетесь досыта его ритмическаго рева, спокойнаго, необычайно могучаго, никогда не устающаго... Впрочемъ, прочтите пушкинское «Къ морю»: тамъ «бездны гласъ» переданъ человѣческимъ языкомъ.

Для тѣхъ, кому и этого мало, рекомендую прогулки въ окрестности Гурзуфа. Это не

наши деревенскія прогулки, въ оврагъ, въ рощу, на рѣку, гдѣ кромѣ оврага, рощи, рѣки ничего и нѣтъ. Вотъ, на примѣръ, прогулка «на горку», на Аюдагъ. На горкѣ вы найдете дремучіе лѣса, ручьи и каскады, найдете остатки циклопическихъ стѣнъ, остатки древнегреческой крѣпости Пареніона, развалины византійской церкви VIII вѣка. Съ вершины Аюдаго вы увидите на западѣ—мысъ Ай-Тодоръ, на востокѣ—Судакскія горы. Говорятъ, на черномъ морѣ есть пунктъ, откуда видны сразу крымскій Аюдагъ и Карамвизъ Малой Азіи.

День выѣзда, 31-ое октября, былъ холодный, — всего $+5^{\circ}$ R., и дождливый, но Крымъ все-таки былъ красивъ. По чернымъ шифернымъ горамъ, между Гурзуфомъ и Алуштой, серебряными ручьями и каскадами сбѣгала дождевая вода. На Аюдагѣ точно открыли фонтаны, и съ его круглаго тѣла тамъ и сямъ падали свѣтлые ручьи. Море бушевало, и извилистая линія берега была опущена бѣлой пѣной.

Въ Алушкѣ мы повернули на сѣверъ и черезъ часъ были уже въ другой странѣ, въ другомъ климатѣ. Лѣса голы, морозитъ, порхаетъ снѣжокъ. Ну, развѣ не чудо этотъ крохотный кусочекъ Италіи, прилипшій къ необъятной, холодной, однообразной русской рав-

нинѣ?! Какъ онъ малъ, судите по тому, что весь Крымскій полуостровъ меньше Ладожскаго озера, а Южный берегъ—менѣ чѣмъ пятая часть полуострова. Вдобавокъ, горы Южнаго берега «искусственныя»,—развалины плоской возвышенности, круто оборвавшейся къ морю. На сѣверъ это плато нечувствительно понижается и незамѣтно переходитъ въ степь. На югѣ море, ливни и ручьи превратили простой обрывъ въ живописныя горы,—нарыли ущелій, обнажили камень, обвалили скалы, выдвинули въ море мысы или наоборотъ, образовали заливы. Вышла Италія, искусственная крошечная Италія.

По красотѣ пейзажа Южный берегъ не уступитъ лучшимъ мѣстамъ Италіи; развѣ только верхняя линія горнаго хребта нѣсколько однообразна. По климату онъ не совсѣмъ то, что о немъ говорятъ. Правда, горы заслоняютъ его отъ сѣверныхъ и восточныхъ холодовъ; правда, незамерзающее море постоянно грѣетъ его. Но все-таки сѣверъ иногда одолѣваетъ. Побѣда его осенью и зимой выражается въ частыхъ густыхъ туманахъ, въ безпрестанныхъ перемѣнахъ погоды, а иногда и въ морозахъ, непродолжительныхъ, но въ инныя ночи достигающихъ— 12° R. Южный берегъ—не Сицилія и не Ривьера, гдѣ растутъ (хотя и не вызрѣваютъ) финики, даже не средняя Ита-

лія, гдѣ растутъ (и тоже плохо зрѣютъ) апель-
сины. Это, вѣрнѣе всего, нѣчто среднее между
Венеціей и Флоренціей, теплѣе первой и хо-
лоднѣе второй. Но и за то спасибо, и то уди-
вительно бываетъ, что въ Одессѣ замерзаетъ
портъ, а въ Ялтѣ въ тоже время, въ декабрѣ,
январѣ, на солнцѣ $+ 25^{\circ}$ R., и сидятъ съ
открытыми окнами.

VI.

Уголки Волги и Урала.

I.

Волга.

Великоруссы.

Россія — это, конечно, великоруссь. Всѣ русскія первостепенныя силы, въ искусствѣ-ли, въ политикѣ или въ наукѣ,—великоруссы. На второстепенныхъ мѣстахъ великоруссы уступаютъ малороссамъ, бѣлоруссамъ, обрусѣвшимъ иностранцамъ; но все, что національно, оригинально, велико, идетъ отъ «кацаповъ». Оно маленечко грубо, впадаетъ въ крайность, насильственно, но всетаки велико.

Въ страстную пятницу мой петербургскій поѣздъ въ Клину забралъ нѣсколько сотенъ великорусскихъ старухъ. Вагоны третьяго класса были въ хвостѣ громаднаго поѣзда, стояли позади платформы, и старухамъ надо было лѣзть по тремъ высокимъ ступенькамъ прямо съ земли.

Это было интересное зрѣлище. У каждой старухи — объемистые мѣшки, а у нѣкоторыхъ

въ придачу еще дѣвченки лѣтъ двѣнадцати, тринадцати. Извольте-ка при такихъ условіяхъ садиться. Но великорусскія старухи не робѣли.

— Веселѣй, бабушки! Веселѣй садитесь, веселѣе! покрикиваютъ кондуктора. — Трогаемся сейчасъ.

— И то, батюшка, веселыя.

— Веселѣй... красавицы! говоритъ едва сдерживающій улыбку, кондукторъ.

«Красавицы» сами улыбаются широкою улыбкой, которая морщитъ и безъ того морщинистую великорусскую кожу лица; свѣтлыя, бодрые глаза весело и добродушно смѣются.

— А что-же, и мы красавицы были! — съ усиліемъ поднимая свое грузное тѣло на послѣднюю ступеньку, говоритъ одна, и тутъ-же смѣняя шутку дѣломъ, улыбку на озабоченное выраженіе, принимаетъ узлы и дѣвченокъ, которыхъ ей передаютъ снизу.

Старухи все лѣзутъ и лѣзутъ. Худыя и толстыя, сухія и грузныя, голубоглазыя и черноглазыя, розовыя и желтыя, запыхавшіяся и задыхающіяся. Ростомъ все небольшія, приземистыя, широкоплечія, большеголовыя. Всѣ въ темныхъ длинныхъ кофтахъ и въ большихъ платкахъ. Лица все морщинистыя, черты лица энергичныя, но смягченныя выраженіемъ умнаго добродушія, какъ у большихъ собакъ. Глаза быстро мѣняютъ выраженіе: то лукаво

смѣются, то энергично озабочены. Старухи лѣзутъ и лѣзутъ.

— Лѣзь, Машутка, не бойся! Лѣзь, Машутка! говоритъ одна, уже взгромоздившаяся на площадку вагона, и, кряхтя, протягиваетъ руку стоящей на землѣ дѣвочки.

Правду говорятъ старухи, что и онѣ были красавицами. Машутка дѣйствительно красавица. Маленькая, тонкая и стройная какъ козочка. Овальное, блѣдное личико съ нѣжной кожей; черные глаза, большія черныя рѣсницы и густыя черныя брови. Издали скажете, что это еврейка, но у евреекъ взглядъ никогда не бываетъ такъ кротокъ, а выраженіе лица такъ трогательно добродушно. Дѣвочка испугалась. Влѣзть не можетъ, но видно, что она низачто не разожметъ худенькихъ рукъ, которыми такъ и вцѣпилась въ желѣзные прутья. Видно тоже, что она и не заплачетъ. Вцѣпилась великорусская дѣвочка, — и хоть вы ее убейте, не отстанетъ. Года чрезъ два-три эта черненькая, худенькая великорусская дѣвочка въ кого-нибудь вотъ такъ-же влюбитъ. Ея любовь описывали Островскій, Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ, Достоевскій. Объ этой дѣвочкѣ пишутъ теперь знаменитые европейскіе критики. Ей начинаютъ подражать европейскія дѣвицы.

Дѣвочка сдѣлала послѣднее усиліе и подня-

лась въ вагонъ. Поднялась и тотчасъ-же хлопотливо и озабочено стала размѣщать свои узлы.

— Восемьсотъ пудовъ старухъ нагрузили! сказалъ кондукторъ и подалъ свистокъ.

Поѣздъ тронулся, но старухи долго еще умѣщались, размѣщались и разбирались. Нѣкоторыя впопыхахъ забрались въ вагоны второго, даже перваго класса. Ихъ оттуда «попросили удалиться». Старухи удалялись очень податливо, не обижаясь и не сердясь, съ великорусской податливостью.

— Идемъ, милый, говорили онѣ, снова забирая свои узлы и своихъ дѣвченокъ.—Идемъ, идемъ! Сами видимъ, не туда зашли.

— Куда-же это вы, тетки, всѣ разомъ поднялись?

— Въ Москву, батюшка, къ родственникамъ, праздникъ встрѣчать..

Изъ Москвы я тронулся на второй день праздника, съ рязанскаго вокзала. Толпа каждаго вокзала имѣетъ свою особенную физиономію. Вокзалы—это этнографическая выставка. Хотя-бы въ Петербургѣ: на финляндскомъ—фины и шведы, на балтійскомъ—нѣмцы, на варшавскомъ—«лица польскаго и сѣверо-западнаго происхожденія», на николаевскомъ, при отправленіи пассажирскихъ, особенно товаро-пассажирскихъ—самая настоящая *рассея*.

Рязанскій вокзалъ въ Москвѣ даетъ зрителю коллекцію замосковскихъ типовъ. Тутъ уже начинается припахивать мордвой, татаринъ, черемисомъ. Общій типъ не выработался, не установился; не окрѣпли и культурныя привычки и инстинкты. Рядомъ съ красавчикомъ купеческимъ сыномъ, одѣтый англійскимъ велосипедистомъ, сидитъ касимовскій комерсантъ-татаринъ, обходящійся безъ посредства носового платка. Но погодите, и велосипедистъ тоже забудется и тоже обойдется посредствомъ пальцевъ. Черноземный степной помѣщикъ одѣтъ по послѣдней модѣ, въ рукахъ у него «Journal de Marie Baschkirtseff», но его скулы, черные глазки, широкій тазъ и кривыя ноги вполне соответствуютъ его фамиліи. А фамилія эта—или какой-нибудь Сюзюмовъ или въ лучшемъ случаѣ тоже Башкирцевъ.

Однако, люди, которыхъ видимъ изъ вагона до Рязани, пожалуй до Ряжска, все еще старые, болѣе культурные великоруссы. Страна отъ Москвы до Рязани—настоящая Великая Россія. Право, у нея есть что-то общее съ тѣми старухами, которыхъ мы посадили въ количествѣ восьмисотъ пудовъ въ Клину. Такая-же страна плотная, бодрая, если не веселая, но добродушная, небольшая и не красивая. Холмы, рѣчки, рѣчки, лѣса и поля неве-

лики, но ихъ немало. Невелики и деревни, но чистыя, и въ каждой непременно большая каменная церковь. Когда ни выгляните изъ окошка, всегда вы насчитаете четыре, пять церквей, которыя бодро поднимаются изъ-за рошъ и холмовъ. Подумаешь, попалъ къ нѣмцамъ, гдѣ въ каждой деревнѣ непременно своя славная и просторная церковь. На дворѣ весна, но не южная, не разнѣженная, не благоухающая. Нѣтъ, пахнетъ только чистымъ воздухомъ, который не цѣлуетъ, а съ грубоватымъ доброжелательствомъ гладитъ ваше лицо.

Народъ, который видишь на платформахъ и по проселочнымъ дорогамъ, одѣтъ по-городски: мужчины въ длиннополыхъ черныхъ сюртукахъ и съ фуражками на головѣ, женщины въ яркихъ платьяхъ въ талию. И тѣ, и другія не очень-то красивы, но манеры увѣренныя и спокойныя. Какіе-то отчетливые, законные люди. Такъ-же отчетливъ и пейзажъ, и прозрачный холодноватый воздухъ, и бѣлыя стволы и вѣтви березъ, рисующіяся на голубомъ небѣ. И въ особенности отчетливъ говоръ. Прислушайтесь, какъ маленькая дѣвочка на платформѣ говоритъ матери:

— А я отъ пряника-то ужъ чуточку откусила.

Все въ этихъ звукахъ отчетливо, отчеканено. Слова не сливаются, но и не ждутъ одно

другого. Каждое само по себѣ. Губы шевелятся съ тою-же отчетливостью, а когда онѣ произносятъ слово «чутьочку», такъ даже складываются хитрой трубочкой и выходитъ «чутьочку». Это «чутьочку» звучитъ удивительно ласково. Отчетливость рѣчи смягчается сильно выработанной, гибкой, выразительной интонаціей.

Ближе къ Волгѣ.

И пьеть-же этотъ отчетливый народъ! На второй день праздника было пьяно все: и публика поѣзда, и оберъ-кондукторъ, и кондуктора. Не знаю, былъ-ли пьянъ машинистъ, но паровозъ былъ сильно навеселѣнъ и везъ ужь слишкомъ лихо.

Миновали Коломну, миновали Рязань, чистые каменные, тоже отчетливые городки, съ кремлями и множествомъ церквей, и доѣхали до Ряжска. Тутъ опьяненіе полнѣйшее и къ вечеру отупѣвшее и злое. Изъ прислуги почти никто ничего не понимаетъ, носильщики еле держатся на ногахъ. Трогаемся въ путь ночью.

Когда мы просыпаемся поутру, мы видимъ, себя уже въ иной странѣ, среди иного пейзажа. Уже какъ будто начинаетъ обдавать Азіей, Сибирью. Черноземная, слегка взволнованная равнина, съ зеленѣющей озимью и взощедшимъ овсомъ, похожа на южную Россію, но

многое въ пейзажѣ говоритъ, что это не югъ. Не то солнце, не то небо, не тѣ облака, не тотъ туманъ далей. Въ особенности не тотъ туманъ. Здѣсь онъ тяжелъ и сѣроватъ. Высокіе берега рѣчекъ не такъ закруглены и мягки, какъ на югѣ; здѣсь они идутъ ломанными линиями, зигзагами, съ осыпями и жесткими ребрами. Не тѣ и попадающіеся рощи и лѣса. Это не дубъ и не берестъ, а осина, береза, сосна и ель.

Чѣмъ ближе къ Пензѣ, тѣмъ чаще и обширнѣй лѣса, тѣмъ чаще черноземъ прерывается пескомъ и болотами, да вѣдь какими болотами,—какимъ и въ Новгородской губерніи, гдѣ-нибудь между Чудовомъ и Старой Руссой, быть впору!

Отъ Пензы до Кузнецка, — лѣсъ, лѣсъ и лѣсъ, болота и пески, обширные, могучіе. Отсюда эта чушь и дичь по Сурѣ тянется на сѣверъ до Волги. Здѣсь въ этихъ лѣсахъ и болотахъ нашли себѣ послѣдній оплотъ мордва и чуваша, но и тутъ ихъ вытѣсняетъ отчетливый великоруссъ.

За Кузнецкомъ снова черноземъ и начинаютъ попадаться какіе-то странныя деревни. Избы такіе-же какъ и у русскихъ, но нигдѣ ни одного деревца, ни кустика, — точно деревню поставили только вчера. Посреди деревни—двухъэтажный деревянный домъ, а на

крышѣ осьмиугольная башенька съ высокимъ шпилемъ, крытымъ бѣлой жестью. Издали видно, что по улицамъ ходятъ бабы, всѣ въ красномъ, какъ и русскія бабы... Но вотъ попала деревня поближе къ полотну дороги. Изъ воротъ съ сохой выѣзжаетъ татаринъ. Сзади верхомъ на лошади, ѣдетъ татарченокъ. На татаринѣ мѣховая шапка, на татарченкѣ — ермолка; у обоихъ круглыя уши загнуты впередъ. Названія станцій становятся совсѣмъ подозрительными. Въмѣсто подмосковскихъ Перова, Раменскаго, Бронницы, Песковъ, пошли Пачелма, Адиқаевка, Чадаевка, Канаевка и наконецъ Сызрань. Тутъ уже приволжское царство, и сама Волга.

Какой гигантскій потокъ эта *Вола!* Впервые мы ознакомимся съ нимъ темной ночью около Батраковъ. Отъ Сызрани до Батраковъ дорога все время идетъ по высокому берегу рѣки, и все время Волга блеститъ въ полутьмѣ. Противоположная сторона скрыта ночью, и вода кажется безграничной, — точно море разстилается предъ вами. Тамъ и сямъ на водѣ огни судовъ, вдоль дороги непрерывно тянутся дома, избы и амбары. Надъ Сызранью, позади, стоитъ зарево огней. Глухо доносятся свистки пароходовъ. Все громадно, обильно, сильно, — и страннымъ кажется, что предъ глазами не портъ свободнаго моря, а рѣка, текущая изъ

тверскихъ болотъ въ наглухо запертый Каспій. Еще болѣе странно и внушительно, что великій потокъ обращенъ вспять и несетъ свои безчисленные суда съ юга на сѣверъ, желѣзными дорогами въ Москву, каналами—въ Петербургъ. Между отчетливымъ человѣкомъ, великоруссомъ, и величайшей въ Европѣ рѣкою идетъ давняя, постоянная и глухая борьба. Волга, кажется, все сдѣлала, чтобы уйти отъ русскаго человѣка, отъ Россіи, отъ Европы, но человѣкъ все-таки заставляетъ ее служить себѣ, идти не въ Астрахань, а въ Петербургъ. И какую жизнью кипятъ берега рѣки и ея воды! Днѣпръ—это ребенокъ въ сравненіи съ Волгой; его пароходы—игрушки въ сравненіи съ волжскими; днѣпровская торговля—мелочная лавочка, а волжская—колоссальный оптовый складъ.

И, должно быть, сердита-же Волга на отчетливаго человѣка. Она дѣлаетъ все, чтобы помѣшать ему. Рано замерзаетъ, поздно вскрывается, насыпаетъ мели и перекаты. Но сила фабрикъ и громадныхъ запасовъ сырья одолеваетъ ее. По берегамъ — богатые города и села, стоящія городовъ; на самой рѣкѣ колоссы-пароходы и барки, стекающіяся сюда изъ безчисленныхъ притоковъ Волги; отъ пристаней расходятся желѣзныя дороги. Жизнь кипитъ неудержимо; и наконецъ, человѣкъ

точно въ насмѣшку, перекинулъ черезъ великій потокъ желѣзныи мостъ и пустилъ по немъ поѣзда желѣзныхъ дорогъ въ уральскія горы, въ Сибирь и Азію.

По этому мосту, изъ Европы въ Азію, мы переѣзжали ровно въ полночь. Длина его семьсотъ сажень, высота отъ обыкновеннаго уровня воды одиннадцать сажень; обошелся мостъ, чтобы быть точнымъ, въ 7.022,698 р. 20 коп. Проектъ составлялъ Бѣлелюбскій, строилъ Березинъ.

Волга всѣми силами мѣшала этой постройкѣ, но и она не устояла противъ 7.022,698 р. 20 коп. Эти двадцать копѣекъ могутъ гордиться вѣчно: онѣ завершили покореніе Волги. А Волга боролась. Весною она подымала свои воды на шесть сажень надъ меженью и со скоростью шестидесяти сажень въ минуту несла льдины, площадью въ двѣ-три десятины и аршина въ два толщиною. Осенью опять шелъ ледъ, и бури подымали почти морскія волны. Зимой трещали тридцати-градусные морозы и свирѣпѣли снѣжные бураны. Работать можно было только четыре мѣсяца: съ половины іюня до половины октября. Мостъ построенъ въ три года и названъ въ честь покойнаго государя Александровскимъ.

Да, на Волгѣ слѣдуетъ узнавать этотъ великій, отчетливый и пока еще странный на-

родъ, великоруссовъ,—на Волгѣ и изъ произведеній его писателей. Архивы его новѣйшей политической исторіи до сихъ поръ остаются закрытыми. Когда они откроются, мы узнаемъ вещи не менѣе величественныя и можетъ быть, не менѣе странныя.

Волга громадна, богата, величественна, но и на ней, и на той жизни, которая кипитъ на ея берегахъ, лежитъ все тотъ-же странный отпечатокъ полу-Азіи, полу-Сибири. Представьте себѣ Петербургъ такимъ-же большимъ, богатымъ, каковъ онъ теперь, но видоизмѣните его такимъ образомъ. Выйдя на крыльце Николаевского вокзала, куда вы, положимъ, пріѣхали, вмѣсто пролетки вы садитесь на простую немазанную телѣгу. Медленнымъ шагомъ ѣдете вы по Невскому. Фонарей нѣтъ, троттуаровъ нѣтъ, вмѣсто торцовой мостовой—черная грязь, мѣстами лужи, мѣстами валяютсядохлыя кошки и собаки. Невскій кишитъ торговлей, но вмѣсто вывѣсокъ—елки у трактировъ и зазывающіе прикащики у Мелье, Берена и Ліонскаго магазина. Городовые сидятъ у дверей будокъ; одни дремлютъ, другіе играютъ въ шашки, третьи ногайками разгоняютъ публику при проѣздѣ градоначальника. Градоначальникъ ѣдетъ верхомъ на бѣломъ конѣ, а впереди его бѣгутъ скороходы. Вы подъѣзжаете къ Аничкову мосту,—моста нѣтъ:

подрядчикъ, взявшійся его ремонтировать, далъ головѣ взятку и не хочетъ ремонтировать. Переправившись черезъ Фонтанку въ бродъ, переѣхавъ чрезъ Екатерининскій каналъ на паромѣ, у Мойки вы останавливаетесь снова, потому-что тутъ новый ремонтъ, новый подрядчикъ и т. д. Пользуясь остановкой, вы оглядываетесь назадъ на перспективу Невскаго и видите, что въ окнахъ вывѣшено для просушки бѣлье, на крышахъ домовъ скупыхъ хозяевъ растетъ трава, помои отъ Доминика выливаютъ на улицу, а противъ Казанскаго собора, между Кутузовымъ и Барклаемъ, устроено кладбище,—правда, очень дорогое, гдѣ хоронятъ только очень богатыхъ и очень честолюбивыхъ купцовъ.

Такой воображаемый Петербургъ пожалуй, когда-то существовалъ и въ дѣйствительности, хоть при Аннѣ или Петрѣ Второмъ. Для Волги и Поволжья времена Анны или Петра Второго не прошли, и когда великая рѣка дождется культурности, которой пользуется Петербургомъ теперь, Богъ вѣсть. Должно быть, не скоро: отъ времени Петра Второго до сегодняшнаго дня дистанція огромнаго размѣра.

Начнемъ съ Волги. Какіе на ней ухабы! Напримѣръ, вотъ какъ везутъ по этимъ ухабамъ, перекатамъ, т. е. мелямъ, которыя позволяютъ переходить великую рѣку въ бродъ,—хлѣбъ.

«Изъ какого-нибудь хлѣбнаго центра, Самары, Саратова или Балакова идетъ въ Рыбинскъ караванъ изъ трехъ баржъ, нагруженныхъ каждая 20.000 пудовъ хлѣба и буксируемыхъ парохомъ въ 100 силъ. Фрахтъ 6 копѣекъ съ пуда; нагрузка и выгрузка за счетъ кладчика. Допустимъ, что караванъ шелъ благополучно до самаго устья Камы, а здѣсь, несмотря на всѣ предосторожности, засѣлъ на одномъ изъ многочисленныхъ перекатовъ. Надо паузиться, т. е. половину груза, 3000 пудовъ, переложить на другія суда, а для этого необходимо, во-первыхъ, отыскать и нанять три баржи и, во-вторыхъ, собрать массу грузчиковъ изъ окрестныхъ деревень. Наемъ баржъ — дѣло трудное, хлопотливое и дорого стоящее; трудное потому, что во время мелководья спросъ на суда громаденъ, а продолженія нѣтъ; приходится посылать телеграммы во всѣ концы, ѣздить за сотни верстъ. Приѣзжаетъ злополучный парходчикъ на ближайшую пристань, положимъ на Казань; видитъ тамъ много баржъ; обращается къ одному, къ другому судовладѣльцу, проситъ въ аренду три баржи всего на четыре дня, но вездѣ отказъ. И дѣйствительно, свободныхъ судовъ нѣтъ. Несчастный предлагаетъ баснословную цѣну и наконецъ получаетъ желаемое: онъ арендуетъ три баржи за 300 рублей въ сутки. Остается оты-

скать и нанять грузчиковъ; эта задача тоже нелегкая, въ особенности во время сѣнокоса или въ періодъ уборки хлѣбовъ; къ тому же требуется одновременно много рабочихъ, чтобы посредствомъ быстрой перегрузки освободить арендованныя баржи возможно скорѣе. Быстрота перегрузки нужна еще и потому, что подносимые теченіемъ пески, встрѣчая препятствіе у сидящихъ на мели судовъ, задерживаются и съ каждымъ часомъ все прочнѣе и прочнѣе усаживаютъ суда на мели; бывають случаи, что послѣ двухъ-трехъ дней остановки на мели, суда заносятся пескомъ почти до высоты бортовъ. Понятно, что засосанное такимъ образомъ судно снять невозможно; и при первомъ ледоходѣ оно погибаетъ. Допустимъ, что, при счастіи и расторопности, пароходчику удалось перегрузиться въ два дня,—посчитайте его расходы вызванные этимъ самымъ обыкновеннымъ на Волгѣ приключеніемъ. Аренда баржъ за четыре дня 1.200 рублей, рабочимъ по копейки съ пуда 225 рублей; итого 1.450 рублей, не считая расходовъ на разъѣзды, посылку телеграммъ и проч. Затѣмъ на разстояніи отъ устья Камы до Рыбинска, предстоитъ еще не одинъ десятокъ перекатовъ; предстоитъ путь опасный и тернистый. Но допустимъ, что молитвами Святыхъ Угодниковъ и при необыкновенно

счастливыхъ обстоятельствахъ нашъ караванъ достигъ Рыбинска безпрепятственно, — и все-таки пароходъ потерялъ при паузѣ въ одинъ рейсъ болѣе 17% своего валоваго дохода. Сколько-же, спрашивается, теряютъ ежегодно отъ мелководья 650 пароходовъ, плавающихъ по Волгѣ? Надо полагать, что прежніе разбойники не собирали столь значительной дани». *)

Теряютъ пароходчики, теряютъ купцы, теряютъ барочники. Однимъ ледоходомъ, вслѣдствіе отсутствія защищенныхъ портовъ, срѣзываетъ разныхъ судовъ на полмилліона ежегодно. Спрашивается, какъ-же пароходчики, барочники, въ особенности купцы, все-таки ухитряются богатѣть, да вѣдь какъ — въ милліонеры вылѣзаютъ, въ «чумазные лендлорды»! Вылѣзаютъ очень просто, — посредствомъ грабежа, обмана, мошенничества и неразлучной со всѣмъ этимъ взятки.

Поговорите съ купцомъ, который вылѣзаетъ въ люди. Это малый лѣтъ тридцати съ небольшимъ, сухощавый, красивый съ быстрымъ, довольно безстыжимъ, но наивнымъ въ то же время взглядомъ. Онъ носитъ усы, одѣтъ по европейски, изрѣдка читаетъ газету,

*) Иллюстрированный спутникъ по Волгѣ С. Монастырскаго. Казань 1884.

но убѣжденъ, что литераторы всѣ шантажи-сты, любить выпить и тогда становится порядочнымъ звѣремъ, любить ходить въ церковь ради торжественности службы, но о священникахъ мнѣнія презрительнаго. Онъ играетъ на гармоникѣ, изрѣдка поколачиваетъ жену и учитъ дѣтей въ классической гимназіи. Торгуетъ онъ съ киргизами, которые кое-какъ научились сѣять просо.

— Съ киргизами торговать можно, безстыже и наивно говорить нашъ полу-азіатъ.— Одно только нужно знать: по ихнему говорить и про Божество рассказывать умѣть. Соберешь это киргизцевъ вокругъ себя и начнешь: Богъ, моль, единъ, что у васъ что у насъ. Божество, моль, никого не забудеть, ни киргизца, ни русскаго, ни сарта, ни жида,—будь только житія благопотребнаго. Говоришь, а самъ примѣчаешь. Киргизцы страсть это любятъ, про Божество-то; сейчасъ уши развѣсятъ и рты разинутъ: всѣ зубы видать, а бороденки внизъ висятъ. Какъ разинули рты, сейчасъ и крякнешь этакимъ особеннымъ манеромъ. А ребята-то мои, которые просо насыпаютъ, ужъ и знаютъ. Ну, случается и возмешь вмѣсто ста пудовъ по сто двадцать.. Киргизецъ,— онъ хорошій человекъ, съ нимъ дѣло дѣлать вполне возможно.

— Какіе въ торговлѣ случаи бываютъ! раз-

сказывалъ намъ другой полу-азіатъ, скотопромышленникъ. — Года два тому назадъ продавалъ я четыреста головъ за Ураломъ петербургскому купцу. Сторговались съ нимъ предварительно и поѣхали къ гурту. Купецъ гуртъ осматриваетъ, а приказчикъ мой меня отвелъ къ сторонкѣ да и шепчетъ: — неблагополучно, моль. — «Что такое?» — Скотина одна наша вотъ тутъ въ оврагѣ околѣваетъ. — «Поди сію минуту прирѣжь». — Опасаюсь, говоритъ, чумовая. Нечего дѣлать, самъ ножъ взялъ, сошелъ въ оврагъ, перекрестился, и ножъ быку въ горло. А купецъ-то мой сверху смотритъ. — «Что это, говоритъ, вы сами?» — «Я всегда самъ, отвѣчаю: — мастеровъ-то у меня тутъ въ степи нѣтъ». Сходитъ купецъ ко мнѣ, смотритъ на скотину. — Ахъ, хорошая, говоритъ, скотина, пудовъ на двадцать будетъ. На базаръ отправите?» — «Обыкновенно на базаръ...» Ну-съ, купецъ скотину осмотрѣлъ, по рукамъ ударили, деньги семь тысячъ получилъ — и погнали скотину... До Самары не дошла, — ни единой живой не осталось!.. Такъ вотъ онъ случай-то какой! Вѣдь семь-то тысячъ не семь копѣекъ. Вылетѣли-бы изъ кармана, вотъ какъ почесался-бы!...

Это единичный случай, эффектное приключеніе, но и система того-же сорта. Систематически обираютъ и выжимаютъ мужика какъ

лимонъ. Мужикъ дѣйствительно, и легкомысленъ, и легковѣренъ, и пьянъ, и плутъ—но безсовѣстность и безжалостность купца не знаетъ никакихъ предѣловъ. Обмѣры, обвѣсы, жидовскіе проценты, спаиванье міра, подкупъ старость и старшинъ,—все это творится ежедневно и ежечасно. И нельзя не обманывать. Стань купецъ честенъ, его раззоритъ неустроенная Волга, раззорятъ тѣ-же мужики, которые тоже ежечасно и ежедневно обманываютъ купца. Купецъ богатѣетъ не оттого, что онъ обираетъ мужиковъ, а оттого, что онъ обираетъ ихъ въ большой мѣръ, чѣмъ они обираютъ его. Мужикъ не столько жертва сколько побѣжденная сторона. Надо, однако, сознаться, что мужикъ разбитъ на голову и растерялся до того, что придумалъ только одно средство избавиться отъ конечной гибели. Это средство бѣжать. И мужикъ бѣжитъ, безтолково, необдуманно, нелѣпо. Пензенскіе бѣгутъ въ Самару, самарцы въ Оренбургъ, оренбургскіе на «Семь рѣкъ»; а семирѣченцамъ тоже успѣли уже очертѣть ихъ семь рѣкъ, и они плетутся на своихъ скрипучихъ и дребежжащихъ телегахъ, набитыхъ трьяпьемъ, больными и умирающими стариками, куда то на «Китайскій клинъ» и на «Сурикову рѣку». Но никуда не уйдти мужику отъ бѣды, потому-что бѣда въ немъ самомъ. Непривычка къ бере-

жливости и непредусмотрительность, — вотъ главные враги мужика. Не будь ихъ не страшны были-бы ему никакіе кабатчики, кулаки и взяточники, которые не могутъ же помѣшать нашимъ нѣмецкимъ колонистамъ множиться и богатѣть съ поразительной быстротой.

Да, южное Поволжье — еще полудикая страна. Печать недавняго варварства лежитъ на всемъ. Послушайте рассказы о здѣшней общественной жизни—это интересно. Грубо, дико,—и все-таки рвется къ свѣту и культурѣ. Однимъ изъ интереснѣйшихъ явленій этой борьбы дикости съ культурой являются недавно народившіеся полу-азіатскіе меценаты, покровители и любители наукъ и искусствъ. Я говорю не о комическихъ честолюбцахъ изъ купцовъ, которые подъ предлогомъ «вопля къ просвѣщенію» «подражаютъ всякую моду», въ томъ числѣ и моду меценатства. Я говорю объ искреннихъ, увлеченныхъ наукой и искусствомъ людяхъ. Искренніе встрѣчаются чаще между женщинами, — и это не только трогательное, но иногда потрясающее зрѣлище, эти необыкновенно сильныя, почти отчаянныя попытки однимъ шагомъ вырваться изъ полудиной жизни и перейти на вершины культурности. Родилась такая меценатка отъ отцовъ, дѣдовъ и прадѣдовъ, которые разбойничали въ купцахъ, а то такъ и прямо въ

настоящихъ разбойникахъ; росла меценатка среди киргизовъ или бурятъ, въ азіатской степи или около Байкала. Казалось, вѣка пройдутъ прежде нежели полу-киркізская или полу-бурятская кровь претворится въ болѣе благородную, далѣе отстоящую отъ звѣря и ближе подходящую къ человѣку. Но Россія — страна чудесъ; въ крови русскаго человѣка заронена нѣкая искорка, которая если и рѣдко превращается въ свѣтлое пламя, то всегда гонитъ человѣка прочь отъ вѣковѣчнаго густого мрака, тяготѣющаго надъ нимъ цѣлые вѣка. Случайная встрѣча съ молодымъ врачомъ, случайно прочитанная старая книжка петербургскаго журнала, — русская искорка становится невыносимо жгучей, кровь и мозгъ загораются, нѣтъ больше покоя зажженной душѣ. Загорѣвшійся полу-варваръ, нетронутый культурой, никогда еще не горѣвшій благороднымъ пламенемъ, вспыхиваетъ весь, горитъ и часто сгораетъ бесплодно. Одинъ — день и ночь чахнетъ надъ философіей; другой — основываетъ политическую газету; третій — изнываетъ въ заграничныхъ галлерейхъ передъ Рафаэлемъ и Микель-Анджело. Вотъ, наши беллетристы жалуются, что нѣтъ темъ, нѣтъ типовъ. Чего-же лучше такой меценатки, родомъ съ озера Ханки, племенемъ полукамчадалки? Замужемъ она за чумазымъ лендлордомъ; жуеть

какую-то «сѣрку», которая для сибиряка тоже, что для американца табачная жвачка, — и несмотря на свой родъ, племя, мужа и жвачку, не досыпаетъ за Спенсеромъ или Шопенгауэромъ ночей и на яву бредитъ основаніемъ философскаго журнала.

Поволжье дико, но въ немъ совершается мощное культурное броженіе. Каждый городъ имѣетъ свою газету, въ каждомъ появляются книги; богатые классы выдвигаютъ меценатовъ; средніе — ученыхъ и литераторовъ, которые, конечно, уходятъ въ столицы; простонародье даетъ «русскихъ самоучекъ» или ересіарховъ. Броженіе трудно, болѣзненно, ему, не помогаютъ, но, чувствуется, что оно окончится побѣдой. Такой ужь это народъ.

Самара.

«Нынѣшняя Самара — роскошный цвѣтокъ, распустившійся на нашихъ глазахъ». (П. Алабинъ).

«Это городъ будущаго, это здоровый, кровь съ молокомъ юноша, предъ которымъ все розовѣетъ и золотится въ лучахъ восходящаго для него солнца». (В. Немировичъ-Данченко).

Самара — ни роскошный цвѣтокъ, ни юноша кровь съ молокомъ, а типичный, богатый и варварскій приволжскій городъ. Кто видѣлъ

Самару, тотъ видѣлъ всѣ ниже-волжскіе города средней руки.

Самара вытянулась вдоль Волги на протяженіи двухъ верстъ. Все это разстояніе занято у самой воды—пристанями пароходовъ, повыше — грудами тюковъ, бочекъ и кулей, еще выше — деревянными складочными магазинами. Это—первый берегъ, довольно отлогій. Выше его, на обрывѣ, стоитъ настоящій городъ и смотритъ на Волгу своими огромными каменными неоштукатуренными домами, которые биткомъ набиты трактирами, кабаками и банями.

Берегъ вдоль Волги буквально кипитъ людьми, воруаемыми тюками, телѣгами и лошадьми. Телѣги все крѣпкія, но неладно скроенныя; люди загорѣлые отъ солнца, красные отъ водки и почернѣвшіе отъ пыли и плохой пищи; лошади худыя и избитыя. Все это шумитъ, галдитъ, ругается и мѣситъ грязь, по которой текутъ необычайно зловонные ручьи изъ складовъ, изъ-за складовъ и съ верхнихъ улицъ и дворовъ. У пристаней и просто у берега на протяженіи двухъ верстъ кишатъ пароходы, волнуя воду своими колоссальными колесами, громадныя барки и безчисленныя парусныя лодки и лодченки. Все это тяжело нагружено, глубоко сидитъ въ водѣ, еле воруается и готово унести вверхъ и внизъ по

Волгѣ тысячи людей и миллионы пудовъ сала, шерсти, хлѣба, рыбы... Только одна Волга можетъ выдержать такую колоссальную тяжесть. Кажется, другая рѣка вышла-бы изъ береговъ подъ ея давленіемъ. Вотъ, взгляните, идетъ чудовищный американскій пароходъ. Ростомъ онъ съ двухъ-этажный домъ, въ длину вы насчитаете въ каждомъ этажѣ по тридцать два окна. Пароходъ — на серединѣ рѣки, и люди, которые его заполнили, представляются, по сравненію съ нимъ, не больше бутылокъ изъ-подъ сельтерской воды. Но сравните пароходъ съ рѣкою, — онъ меньше чѣмъ масляничный балаганъ въ сравненіи съ петербургскимъ Марсовымъ полемъ. Ему навстрѣчу идетъ такой-же гигантъ, также биткомъ набитый маленькими человѣчками. Кроме пароходовъ вы видите нѣсколько каравановъ громадныхъ барокъ; ихъ медленно и съ трудомъ тянутъ за собою черные какъ грачи, плоскіе, глубоко погруженные въ воду буксирные пароходы. Эти зачѣмъ-то непрерывно воютъ глухими, низкими голосами, звуки которыхъ далеко разносятся по рѣкѣ. Между этими громадами шныряютъ небольшія суда подъ грязными парусами, которые то надуваются и накреняютъ суда, то опадаютъ, начинаютъ болтаться и поспѣшно убираются. Это движеніе на рѣкѣ необыкновенно внушительно

и смѣло можетъ быть сравниваемо съ движеніемъ хорошаго морского порта.

Выйдите на одну изъ пловучихъ пристаней, чтобы взглянуть на самую воду великой рѣки. Сколько этой воды! До противоположнаго низкаго берега, заросшаго ивнякомъ, около двухъ верстъ. И вся эта громадная струя быстро несется мимо васъ. Сильный вѣтеръ развелъ волны, и Волга бурлитъ и плещетъ мутной желтой водой и пѣнится грязно-желтой пѣной. Колоссальные пароходы и барки слегка покачиваются на этихъ волнахъ, маленькія лодки прыгаютъ и мечутся, а громадная пловучая пристань подъ вашими ногами, крѣпко привязанная къ берегу и къ столбамъ цѣпями и канатами, вздрагиваетъ и шевелится; удерживающая ее цѣпь скрежещетъ.

Доѣхавъ до южнаго конца пристани, поворачиваемъ влѣво, взбираемся наверхъ, въ городъ, и ѣдемъ крутымъ и очень высокимъ берегомъ рѣки Самары. Эта рѣчка истинная кормилица города, населеніе котораго доходитъ теперь до ста тысячъ человѣкъ. Самара вскрывается двумя недѣлями раньше Волги, и на ея очистившейся отъ льда поверхности грузятся и готовятся къ отходу полчища барокъ. Эготъ самарскій «портъ» и есть причина сильнаго роста города.

Когда вы ѣдете вдоль Самары, вы видите

крыши какихъ-то почернѣвшихъ бревенчатыхъ избъ, подымающіяся вровень съ улицей. Вы заглядываете черезъ край обрыва и съ испугомъ и изумленіемъ невольно отшатываетесь. Избы оказываются громадными срубамн, подымающимися съ самаго дна очень глубокаго обрыва. Это хлѣбные амбары. Ихъ нагружаютъ отсюда, сверху, съ улицы; а разгружаютъ тамъ, внизу, у самой рѣки Самары прямо въ барки. Неуклюжія, необыкновенно высокія и узкія постройки эти срублены изъ толстѣйшихъ бревенъ; стѣны сверху донизу скрѣплены такими-же бревнами. Скрѣпы и стѣны кое-гдѣ выперло и погнуло; какъ видно, нерѣдко эти чудовищные закрома бываютъ полны. Сколько тутъ зерна, сколько денегъ, сколько труда, — и сколько плутенъ!

Поблизости этой утробы Самары тянется перпендикулярно къ Волгѣ улица, гдѣ живетъ купечество, наши лендлорды. Надо отдать имъ справедливость, ихъ улица красива. Двухъ-этажные дома-особняки элегантны и скромно-роскошны: чистые, безъ вычуръ, съ зеркальными стеклами, съ красивыми подъѣздами. За ихъ зеркальными стеклами «дремлютъ милліоны»; а передъ окнами — скверные троттуары и невозможная мостовая: это, молъ, не мое, а общественное.

Самарскія мостовыя невозможны до смѣш-

ного, до анекдота. Ёздить по нимъ можно только шагомъ, такъ-что и вашъ извощикъ, и вы спѣшите выбраться на немощенную улицу и примиряетесь съ ужасной ея пылью, лишь-бы не испытывать невозможныхъ толчковъ на исполинскихъ булыгахъ мостовой. Распланирована Самара, какъ и всѣ степные города, по линейкѣ. Широкія, прямыя, безконечныя улицы пересѣкаются подъ прямыми углами. Тѣ, которыя ближе къ Волгѣ, застроены каменными домами, дальнія — деревянными. Всѣ одинаково невзрачны; каменные еще хуже деревянныхъ, потому-что неоштукатурены. «Окрестностей» у Самары нѣтъ. Къ чему они? Былъ-бы черный бревенчатый амбаръ, лодка съ рогожнымъ парусомъ, неоштукатуренный кирпичный домъ, похожій на облупленную воблу, кабакъ для того чтобы напиться и кварталъ гдѣ-бы вытрезвляли, — и жизнь богатаго приволжскаго города полна. Жалкій театръ, жалкая библіотека и жалкая газетка еле дышатъ. По водопроводу идетъ такая вода, что даже цвѣты, поливаемые ею, желтѣютъ и засыхаютъ. Пыль на улицахъ, гдѣ живутъ миллионеры, можетъ поспорить съ пылью африканскихъ пустынь...

Пыль и вода, какъ говорятъ знающіе люди, дѣлаетъ населеніе Самары очень болѣзненнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, тѣ толпы, которыя каж-

дый вечеръ собираются въ Струковъ садъ, расположенный на склонѣ волжскаго берега, куда какъ непрезентабельны.

Изъ Струкова сада видны знаменитые Жегули. Это просто-напросто плоская возвышенность, нѣкогда преграждавшая Волгѣ путь на югъ. Нѣкогда съвернѣе Жегулей было огромное прѣсное озеро-море, куда вливались Волга и Кама. Вода долго искала въ Жегуляхъ слабаго мѣста, наконецъ нашла его и прорвала по огромной Самарской лукѣ. Дѣло было серьезное, но красоты вышло мало. Жегули, если на нихъ смотрѣть изъ Самары, — это разрубленный кусокъ ростбифа. Вообще не ищите на нижней Волгѣ красоты, — тутъ только сила; не ищите культуры, — тутъ царятъ деньги; не ищите церквей и монастырей верхней и средней Волги, — на первомъ планѣ тутъ кабакъ. Тутъ люди живутъ въ состояніи очень близкомъ къ варварству, не смотря на пароходы, паровозы и каменные дома городовъ. Но Богъ съ ней, съ Самарой. Садимся на пароходъ и ѣдемъ вверхъ по Волгѣ, смотрѣть Жегули, о которыхъ намъ столько наговорили, о которыхъ мы столько начитались.

Пароходъ — вполне культурный: большой, опрятный весь бѣлый, что при здѣшнемъ африканскомъ солнцѣ весьма благоразумно. Лакей — во фракѣ; горничныя — совсѣмъ швейцарки,

только безъ чепчиковъ; капитанъ вѣжливый. Палуба не перегружена человѣческимъ грузомъ, какъ это дѣлаютъ на Днѣпрѣ, на Днѣстрѣ, на морскихъ пароходахъ Русскаго Общества. Кухня отличная, освѣщеніе электрическое. Словомъ, Европа да и только. Въ первомъ классѣ пассажировъ немного: глупый гувернеръ съ глупымъ, длиннымъ и блѣднымъ питомцемъ; невропатъ—русскій интеллигентъ, такая-же его жена и того-же сорта барынька-одиночка. У троихъ послѣднихъ глаза блестятъ жидкимъ блескомъ и жадно бѣгаютъ по сторонамъ. Онъ хоть и измятъ какъ носовой платокъ, но, что называется, недурень собой. Его супруга непрезентабельна и посыпана пудрой. Одиночка—хоть куда, но въ волосахъ уже есть нездоровая сѣдина. Кто не видалъ этой тройки? У тройки все идетъ какъ по писанному. Жена смотритъ въ окно, а супругъ и одиночка за ея спиной пожимаютъ другъ другу руки и обжигаютъ другъ друга взглядами... Пойдемъ на палубу.

Черезъ какія-нибудь четверть часа мы приблизимся къ Жегулямъ. Жегули—это полуостровъ, образуемый Волгою, глядящій на востокъ, въ сто верстъ длиною и верстъ тридцать шириной. Внутренность его наполнена оврагами, обрывами, ручьями, рѣчками и лѣсомъ. Жегули—это Тироль, Швейцарія Россіи.

Россія, однако, такъ велика, Жегули такъ микроскопически малы, что жегулевскіе Телли вышли обыкновенными Булавиными и Шелудяками. Я знаю, что были не только публицисты, но и историки, пытавшіеся приравнять Шелудяка къ Теллю, но это и были Шелудяки публицистики и исторіи. Право-же, наша общественная мысль въ настоящее время переживаетъ до-Фонвизиновскія времена. Въ политической и въ общественной сферѣ мы и до сего дня сочиняемъ или «Россіады», или кантемировскія сатиры по иностраннымъ образцамъ. Политическая и общественная мысль нашей интеллегенціи теперь стоитъ на той степени развитія, на которой былъ эстетическій ея вкусъ во времена Хераскова и Кантемира. Многое множество образованныхъ людей серьезно увѣрены, что Жегули дѣствительно наша Швейцарія и что въ ихъ ущельяхъ вѣяло духомъ свободы, а не разбоя. Духа свободы я не видѣлъ на нашемъ востокѣ; разбоя-же, смѣшаннаго въ наши дни съ доведенною до послѣдней степени распущенностью, сколько угодно.

Мы уже въ Жигуляхъ. Когда русскій человекъ вамъ говоритъ, что онъ видѣлъ большую гору,—прежде чѣмъ ему повѣрить, спросите его, бывалъ-ли онъ на Кавказѣ, на Уралѣ, или хоть въ Крыму. Если онъ не былъ,

остерегайтесь вѣрить. Русскіе люди говорили мнѣ, что Жегули по величинѣ своей за поясъ заткнутъ Швейцарію, — оказалось, что самыя высокія вершины Жегулей на пятьдесятъ сажень ниже Эйфелевой башни. Изъ этого однако, не слѣдуетъ, что башня не безобразная труба, а Жегули не прелестнѣйшія горы. Среди необъятныхъ русскихъ равнинъ, изрѣдка прерываемыхъ пухлыми ковриго-подобными холмами да изорванными оврагами, Жегули представляются не то музейной копіей настоящихъ горъ, не то искусственной поддѣлкой подъ горы. И все, все въ нихъ какъ въ настоящихъ горахъ: и ущелья, и острия вершины, и камни, и лѣса, и горные ручьи, — конечно крохотные, — и горная рѣчка Уса, длиною всего въ 30 верстъ, и даже орлы. Немудрено, что Жегули поражаютъ воображеніе равниннаго русскаго человѣка, который насочинялъ о нихъ столько легендъ и окружаетъ ихъ такимъ-же уваженіемъ, смѣшаннымъ со страхомъ, какъ индусъ Гималаи. Кавказъ, Сибирскія горы, даже Уралъ еще не постигнуты русскимъ человѣкомъ; онъ косится на нихъ но проходитъ мимо; горы и русскій человѣкъ еще не научились говорить другъ съ другомъ. Сроднился русскій только съ Жегулями, славу о которыхъ ежегодно разносятъ сотни тысячъ людей пронывающихъ у ихъ миниатюрнаго

подножія. Вся огромная Россія знаетъ, что въ маленькихъ Жегуляхъ зарыты челоуѣкомъ и природой несмѣтныя богатства: и нефть, и драгоценные камни, серебро и золото, соль, сѣра, уголь. Всѣ, кто побывалъ тутъ, расскажутъ объ ущельяхъ - буеракахъ: Морквашинскомъ, Ширяевомъ, Жегулевской трубѣ, — о курганахъ: Молодецкомъ, Дѣвичьемъ, Караульномъ и Царскомъ. Царскій курганъ насыпало войско царя Ивана Грознаго. Всѣ будутъ рассказывать о селѣ Переволокѣ, которое стоитъ на верховьяхъ тридцативерстной Усы, прорѣзывающей съ юга на сѣверъ полуостровъ Луки. Здѣсь разбойники переволакивали свои лодки съ Волги на Усу и забѣгали впередъ торговымъ судамъ, огибавшимъ Луку волжскимъ двухсотверстнымъ путемъ. Всѣ расскажутъ о селахъ Ермаковѣ и Кольцовѣ, гдѣ побывали Ермакъ и Кольцо. Кромѣ этихъ атамановъ, вспомнятъ также Разина, Булавина, Шелудяка, Заметаева и прочихъ героевъ бердянскаго пошиба. Разбои въ Жегуляхъ прекратились недавно, на людской памяти. Въ двадцатыхъ годахъ они были еще такъ опасны, что въ 1829 году сформировали для охраненія судовъ «полубатальонъ военно-рабочаго № 9 баталіона»; чрезъ девять лѣтъ полубатальонъ переименованъ въ «гардноутный экипажъ». Экипажъ состоялъ изъ трехсотъ челоуѣкъ, дѣлился на

три эскадры и имѣлъ 28 шлюпокъ, вооруженныхъ пушками. Къ сожаленію, гартноуты грабили не хуже Шелудяка, — конечно, съ большимъ соблюденіемъ законныхъ формальностей... Исконное зло, съ которымъ безуспѣшно боролись начиная съ XVI столѣтія, было искоренено быстро и незамѣтно очень простымъ, но очень культурнымъ средствомъ, — пароходствомъ. Пароходы были заведены въ 1844 г.; въ 1846 ограблены послѣднія девять судовъ, а въ 1848 не было ни одного случая и разбоя, — «чему дотолѣ не было примѣра», какъ сказано въ отчетѣ министерства путей сообщенія.

Въ Жегуляхъ Волга нѣсколько стѣснена, но тѣмъ полнѣе и сильнѣе кажутся ея воды, тѣмъ быстрѣе стремленіе водной массы; уже всего Волга въ такъ называемыхъ Самарскихъ воротахъ, гдѣ гористы оба берега. Далѣе настоящія, красивыя горы — только по лѣвую руку; на правой сторонѣ онѣ отходятъ вдаль и тамъ тянутся неуклюжими грядами и горбами, покрытыми хвойнымъ лѣсомъ. Горы кое-гдѣ горятъ и дымятся, кое-гдѣ выгорѣли и лежатъ рыжими заплатами среди зелени уцѣлѣвшаго лѣса.

Быстро бѣжитъ нашъ бѣлый пароходъ, и мимо него съ такою-же быстротой проплываютъ колоссальныя широкія и пузатыя барки, многоярусныя плоты бревенъ, на которыхъ вы-

строены избы съ балконами и вышками, и красивый жегулевскій берегъ. Во многихъ мѣстахъ Жегули стоятъ отвѣсною стѣной, почти всегда опушенной кудрявымъ чернолѣсьемъ; только самые смѣлые выступы и обрывы голы и, сложенные изъ слоистыхъ каменныхъ глыбъ, представляются башнями, бастіонами, обломками зубчатыхъ крѣпостныхъ стѣнъ. Въ этихъ мѣстахъ берегъ рѣзко отражаетъ хлопотливый стукъ пароходныхъ колесъ и задорно играетъ пароходнымъ свисткомъ, разбрасывая его по ущельямъ, рощамъ и камнямъ. Сильный порывистый вѣтеръ дулъ поперекъ рѣки и въ его волнѣ неслись черезъ рѣку къ Жигулямъ два огромныхъ орла. Орлы дрались въ воздухѣ. Величественно дерутся орлы; ничего торопливаго и угловатаго, что всегда сопровождаетъ нашу земную борьбу, — напротивъ, все величественно и достойно. Одинъ взлетитъ выше; тогда нижній опрокидывается на спину, и птицы сшибаются клювами и когтями; падаетъ въ Волгу нѣсколько перьевъ. Орлы нѣкоторое время несутся рядомъ, и затѣмъ новая сшибка. Одна изъ нихъ произошла какъ разъ надъ нашей палубой: свистнули могучія крылья и раздался раздраженный клекотъ царственныхъ птицъ, не удостоившихъ своимъ вниманіемъ пробѣгавшій подъ ними пароходъ.

Отвѣсныя горы смѣняются менѣе крутыми, но хороши и эти. Всѣ въ зелени, съ граціозными линіями реберъ и острыхъ вершинъ, группирующіяся на нѣсколькихъ планахъ, ближе и дальше... Право, можно подумать, что вы на Эльбѣ или на Рейнѣ. Невольно ищешь виноградниковъ; но стоитъ только взглянуть направо, чтобы вспомнить, что вы на холодномъ полузіатскомъ востокѣ; тамъ пески, ивнякъ и вялые песчаные холмы, покрытые сосновыми лѣсами.

Особенно хороши были Жегули позднимъ вечеромъ въ Ставрополѣ, съ балкона заброшеннаго помѣщичьяго дома. Между домомъ и горами разстилалась версты на три песчаная отмель, заросшая ивнякомъ и освѣщенная почти полнымъ мѣсяцемъ. Въ концѣ отмели, затемняя своей тѣнью Волгу и сами темнѣя, подымались островерхія горы. Ихъ видъ опять обманывалъ, опять мы невольно переносились далеко изъ нашей полу-Азіи; и опять дѣйствительность, на этотъ разъ довольно невеселая, давала себя знать. Дѣйствительностью былъ домъ, гдѣ мы ночевали. Это былъ дряхлый, покинутый домъ. Огромный, въ три этажа онъ высоко подымался какимъ-то неуклюжимъ узкимъ шкапомъ. Каменный фундаментъ вы, крошился, деревянныя стѣны покоробились, деревянныя колонны изъ громаднхъ бревенъ

лиственницы подгнили, на балконы и балкончики нельзя было выходить. Нижние два этажа были пусты и заколочены. По безчисленнымъ лѣстницамъ и лѣсенкамъ, то широкимъ, то совсѣмъ узенькимъ, десятки разъ поворачиваясь, нѣсколько разъ заблудившись на галлереяхъ трехъ этажей, по стертымъ деревяннымъ ступенямъ и протоптаннымъ поламъ нужно было подняться на самый верхъ. Тутъ помѣщеніе было разбито на десятокъ маленькихъ, низенькихъ клѣтушекъ. Въ старину здѣсь была дѣвичья; теперь по зимамъ жила барыня-бабушка съ шестью внуками и внучками, которые ходили въ гимназію. Ввела насъ наверхъ пятидесятилѣтняя сухощавая женщина, съ манерами молоденькой горничной, господской фаворитки. Когда-то она такою и была. Послѣ освобожденія крестьянъ она не захотѣла оставить господъ, и вотъ уже тридцать лѣтъ живетъ не выходя изъ стараго дома. Домъ замариновалъ ее; ей до сихъ поръ двадцать лѣтъ; она до сихъ поръ не Авдотья а Дуняша; для нея ея господа до сихъ поръ первые дворяне въ губерніи.

Дуняша обвела насъ по комнатамъ. Жалкіе, полинялые остатки мебели двадцатыхъ годовъ и начала столѣтія были перемѣнены съ рыночною современною мебелью. Бабушка и внучата спали на дешевыхъ желѣзныхъ

кроватяхъ. На столахъ валялись учебники дѣтей,—географіи, арифметики, христоматіи. Въ углу бабушкиной комнаты висѣла въ серебряной ризѣ старинная икона Бога Вседержителя; на ризѣ была надпись: «сія риза сдѣлана іюня 21-го дня 1793 года». На столѣ стояла пара прекрасныхъ подсвѣчниковъ, Empire. Я спросилъ Дуняшу, не продадутъ-ли мнѣ ихъ, но она такъ достойно промолчала, что я смутился. На стѣнѣ надъ бабушкиной кроватью, висѣли два кабинетныхъ фотографическихъ портрета: молодого, красиваго офицера и молодой, еще болѣе красивой женщины. Это были дѣти бабушки: баринъ Аркадій Асинкритовичъ и барыня Нина Асинкритовна. Оба они—покойники. Молодой баринъ три года тому назадъ застрѣлился. Молодая барыня, очень любившая брата, послѣ этого стала задумываться. Когда ее спрашивали, о чемъ она думаетъ, она отвѣчала, что она не думаетъ, а разговариваетъ съ братомъ Аркадіемъ, который зоветъ ее къ себѣ, вмѣстѣ съ ея мужемъ и дѣтьми. Черезъ годъ послѣ смерти брата, однажды ночью кормилица младшаго ребенка проснувшись увидѣла, что надъ колыбелью наклонилась барыня.—«Что вы матушка барыня, дѣлаете?» спросила кормилица. «Какая ты странная, кормилица,—спокойно и привѣтливо отвѣтила барыня, — развѣ я не

мать! Спи, милая». Кормилица задремала, но сейчас-же снова проснулась отъ криковъ пятилѣтней дочери барыни: барыня хотѣла зарѣзать дочь и слегка ранила ее. Грудной ребенокъ былъ зарѣзанъ и уже мертвъ; уже остылъ и зарѣзанный мужъ барыни. Барыня спокойно отдала ножъ сбѣжавшимся людямъ, «Мнѣ это велѣлъ сдѣлать братъ Аркадій, сказала она, — онъ меня убѣдилъ, что всѣмъ намъ будетъ лучше у него, чѣмъ здѣсь. Онъ и помогаль мнѣ». Нину Асинкритовну повезли въ Казань, но дорогой она бросилась съ парохода въ Волгу и утонула. Дѣти обоихъ самоубійцъ живутъ теперь съ бабушкой.

Все это рассказала мнѣ Дуняша съ выраженіемъ печальной покорности судьбѣ на лицѣ и въ голосѣ. Я смотрѣлъ на черезчуръ правильныя лица красавчиковъ-дворянъ, вглядывался въ ихъ беспечно-растерянные глаза, въ горькую и вмѣстѣ съ тѣмъ самоувѣренную улыбку ихъ губъ, въ ихъ лица, выражавшія гордое сознаніе своего тогда еще назрѣвавшаго безумія, — и ясныѣ, чѣмъ когда либо, я понималъ, что старые порядки, старые люди роковымъ путемъ сходятъ одни за другими со сцены, что настаетъ нѣчто новое, и что всѣми силами нужно этому новому, пока оно еще не окрѣпло, дать возможно лучшія форму и содержаніе.

II.

Южный Уралъ.

Одинъ изъ моихъ хорошихъ пріятелей, художникъ-пейзажистъ, пріѣхалъ ко мнѣ въ Оренбургъ, чтобы пить кумысъ и «писать Уралъ». Изъ кумыса однако ничего не вышло: природа сразу же захватила моего пріятеля.

Я встрѣчалъ художника на вокзалѣ желѣзной дороги. Онъ бодро смотрѣлъ изъ окна подходившаго вагона. Обыкновенно опущенные усы бойкими кольцами закрутились вверхъ. Подъ одной мышкой художникъ держалъ гигантскій зонть для писанія этюдовъ на чистомъ воздухѣ; подъ другой—складной стулъ «Hercules», могущій умѣститься въ карманѣ пальто. Въ одной рукѣ — длиннѣйшій ящикъ съ холстами; въ другой—коротенькій этюдникъ.

— Я вамъ нашелъ отличнаго кумысника, сказалъ я художнику послѣ первыхъ привѣтствій.

— Кумысника? Да, да... Но вотъ что я вамъ скажу. Тутъ за двѣ, за три станціи до Оренбурга что за холмы, что за дали! Ничего подобнаго не ожидалъ! Соединеніе горъ и самой настоящей степи. Краски, оттѣнки, воздухъ, какихъ я не видывалъ. Тонъ травы,

какого я нигдѣ не наблюдалъ. Завтра-же поѣдемъ на эту станцію.

Ну, и слава Богу: и кумыса не нужно.

Гористая степь.

На другой же день, утромъ мы выѣхали въ «сырты», которые привлекли вниманіе художника изъ окна вагона. Оставивъ позади городъ, переѣхавъ мостъ на Сакмарѣ, мы сразу очутились среди оренбургской степи, покрытой матовою сѣро-зеленою травою. Чѣмъ дальше, тѣмъ волнистѣй становится степь; чѣмъ дальше, тѣмъ медленнѣй идетъ поѣздъ, и наконецъ мы замѣчаемъ, что полземъ на возвышенность, дѣлая хитрые зигзаги и извороты. Два паровоза, влекущіе поѣздъ, пыхтятъ все быстрѣй, озабоченнѣй и все болѣе запыхавшись; длинный поѣздъ изгибается такъ, что сразу видны его голова и хвостъ; рядъ телеграфныхъ столбовъ, обозначающій путь, идетъ не прямо впередъ, а вьется по склону отлогой, но безконечной гряды. Словомъ, мы переваливаемъ черезъ значительный по высотѣ, но расплывающійся отрогъ Урала, составляющій водораздѣлъ между Сакмарой, впадающей въ Уралъ у Оренбурга, и Самарой, соединяющійся съ Волгой у Самары.

На самомъ гребнѣ отрога поѣздъ останавливается у станціи, и мы покидаемъ вагонъ.

Наше появленіе производитъ нѣкоторую сенсацію на безлюдной станціи. Станціонныя дамы начинаютъ ходить бодрѣй. Сторожъ изгоняетъ изъ «зала I и II классовъ» собаку. Жандармъ косится на складной стулъ «Hercules», гигантскій складной зонть и этюдникъ, которые представляются ему чѣмъ-то по меньшей мѣрѣ непонятнымъ. Когда поѣздъ двигается дальше, машинистъ на паровозѣ оглядывается назадъ и не безъ удивленія смотритъ на насъ.

Признаться, я не совсѣмъ понималъ, зачѣмъ художникъ тащитъ меня за сто верстъ, на желѣзнодорожный полустанокъ, который я видѣлъ разъ десятокъ и мѣстоположеніе котораго ни мало меня не поражало. По моему, гораздо интереснѣй были виды съ высокихъ береговъ Урала и Сакмары, подъ Оренбургомъ, откуда можно любоваться рощами и водами. При нѣкоторомъ воображеніи въ рощахъ чувствовалось присутствіе птицъ, птичекъ и даже лѣшихъ; въ водахъ — рыбъ, рыбокъ и русалокъ. Художникъ согласился, что прирѣчные виды очень милы, но ничего особенно новаго и значительнаго не представляютъ. Я промолчалъ, но въ душѣ подумалъ, что у моего пріятеля, пожалуй, и нѣтъ настоящаго вкуса.

— Настоящее должно быть вонъ гдѣ, сказалъ художникъ, жмурясь отъ солнца и

зорко и старательно глядя куда-то на горизонтъ.

На горизонтъ чуть синѣли сырты.

— Что-же въ нихъ хорошаго! Сырты, и ничего больше!

— Не они хороши, а съ нихъ долженъ быть хорошій видъ,—и художникъ еще старательнѣй и пытливѣй вглядывался въ далекія очертанія холмовъ.

Теперь мы какъ-разъ на высшей точкѣ холмовъ, но я все-таки не вижу ничего интереснаго. Станція стоитъ въ котловинѣ. Во всѣ стороны поднимаются отлогіе склоны, безъ кустика и деревца.

— Ну-съ, идемте, говорю я художнику.

— Дайте сообразить.

И художникъ сталъ соображать. Дѣлалъ онъ это на манеръ почтоваго голубя. Сначала вышелъ на платформу и основательно оглядѣлся съ задумчивымъ видомъ, прищуривая то одинъ глазъ, то другой. Потомъ рѣшительно зашагалъ направо, но остановился: увидѣлъ скрытую до того станціей лошину. «Не то», сказалъ онъ и столь-же энергично пошелъ влѣво. Пошелъ и опять остановился: налѣво оказалась высокая казарма. Художникъ постоялъ, опять оглядѣлся, опять, жмурясь отъ солнца, обвелъ видимый кругозоръ ииквизиторскимъ взглядомъ.

— Надо сдѣлать кругъ, сказалъ онъ.

И мы сдѣлали кругъ около всей станціи. Мы перелѣзали черезъ заборы, перепрыгивали черезъ канавы, пробирались между дровъ, проходили мимо заднихъ крылецъ. Время отъ времени мы останавливались, то сидя на заборѣ или у какого-нибудь задняго крыльца, то высовывая головы изъ за дровъ. Все время молча, иной разъ продолжительно взглядывались мы въ небо и въ даль. Подъ мышками у насъ были стулъ Hercules, гигантскій зонтъ, ящикъ съ красками и газетный свертокъ съ красками и газетный свертокъ съ полудюжиной котлетъ. Не знаю, что думали о насъ обитатели станціи, но я видѣлъ, что они, отъ синяго жандарма, съ красными аксельбантами и въ бѣлыхъ перчаткахъ, и до чернаго сетера съ желтыми щеками, изгнаннаго при нашемъ появленіи изъ зала I и II классовъ, слѣдятъ за нами съ удивленіемъ.

— Идемте вонъ туда, рѣшительнымъ и увѣреннымъ тономъ сказалъ наконецъ художникъ.

И мы рѣшительно и увѣренно зашагали прочь отъ дороги прямо по травѣ, черезъ рытвины, къ крутой горѣ, конусомъ подымавшейся невдалекѣ отъ станціи. Населеніе станціи окончательно удивилось, да и я удивился бы, еслибы не зналъ, что это пейзажистъ идетъ на этюды степного Урала.

Пейзажистъ быстро шагаль и имѣль видѣ въполнѣ довольнаго человѣка. Онъ зорко вглядывался и въ «передніе планы», и въ «задніе», и въ «дали». Подъ ногами у насъ была рѣдкая степная сухая трава, съ красной землей, просвѣчивавшей сквозь нее. Къ этой красной глинѣ были примѣшаны камешки. Кое-гдѣ высывался толстый плитнякъ. Намъ то попадались полосы нетронутой, цѣлинной степи, гдѣ росъ ковыль, уже выпустившій свои шелковистые, еще зеленые, усы; то нога вязла въ рыхлой, недавно брошенной пахатной землѣ, покрытой рѣдкимъ пыреемъ. Время отъ времени мы пересѣкали полевья дорожки съ тремя красными колеями, по бокамъ заросшія ярко-зеленой муравой. Мнѣ удивительно нравилась ея зелень среди сѣдой степи.

— Какъ глупо зеленѣетъ эта мурава, про себя сказалъ пейзажистъ.

«А дѣйствительно-таки у него нѣтъ вкуса», подумалъ я.

Пошли дальше. Стали попадаться цвѣты, такіе-же сѣдые, какъ и трава, — розово-сѣдые, желто-сѣдые, сине-сѣдые, — небольшіе и приземистые. Кое-гдѣ попадались кусты — заросли таволги, дрока, чилиги и дикаго вишняка; потомъ опять шли пространства ничѣмъ не украшенныхъ зелено-сѣдыхъ злаковъ.

— Снѣгъ! воскликнулъ худошникъ, указывая впередъ.

— Богъ съ вами! Вѣдь на дворѣ вторая половина мая и $+ 23^{\circ}$ въ тѣни.

— Навѣрно снѣгъ. Это бѣлый цвѣтъ снѣга и ничего другого.

Впереди, въ лощинѣ, которая отдѣляла насъ отъ горы, куда мы стремились, при началѣ подъема на нее что-то бѣлѣло.

— И не только снѣгъ, но незабудки въ придачу! продолжалъ восклицать пейзажистъ

— До незабудокъ дошло! Сообразите, что тутъ мѣсяцами не бываетъ дождей, жара доходитъ до $+ 50^{\circ}$ по Реомюру, а незабудка — болотный цвѣтокъ.

— А все-таки это незабудка, потому-что другого такого «тона» нѣтъ.

Дѣйствительно, тонъ былъ незабудочный: бѣлое, что должно было быть снѣгомъ, было точно подчеркнуто снизу нѣжно-лазуревой краской.

Мы поспѣшили къ снѣгу и «незабудкамъ», и оказалось, что пейзажистъ правъ. Въ морщинѣ горки съ сѣверной стороны лежалъ солидный сугробъ снѣга. Изъ-подъ него по маленькой красной рытвинѣ бѣжалъ ручеекъ свѣтлой воды, которая ниже растекалась по травѣ. И тутъ-то, среди ковыля и пырея, ярко голубѣли крупныя незабудки. Недоставало

только блѣдной Снѣгурочки въ глубокомъ обморокѣ.

— Вотъ вамъ тема, сказалъ я пейзажисту, — смерть Снѣгурки.

— А въ самомъ дѣлѣ! отозвался тотъ. — Въ самомъ дѣлѣ. Посмотрите, по горамъ много такихъ снѣжковъ. И тамъ бѣлѣтъ, и тутъ. И все это послѣдніе обломки зимы, за которые ухватились утопающія въ теплѣ Снѣгурки.

Разговаривая, мы подымались на гору. Когда мы добрались до ея вершины, пейзажистъ сталъ похожъ на охотника, который въ виду дичи заряжаетъ ружье. Онъ торопливо составлялъ и втыкалъ въ землю зонты, расправлялъ стулъ Hercules, рылся въ краскахъ и кистяхъ и въ то-же время не спускалъ серьезныхъ, почти сердитыхъ глазъ съ того, что было передъ нимъ. Я тоже взглянулъ впередъ, увидѣлъ, что видать верстъ на сто слишкомъ, потому-что гораздо ближе горизонта бѣлѣлся Оренбургъ, до котораго считается семьдесятъ верстъ, но ничего особенно заманчиваго въ этомъ зрѣлищѣ не нашолъ.

Пейзажистъ принялся за работу. Возьметъ на кисточку одну краску, потомъ смѣшаетъ ее съ другой, прицѣлится глазомъ на разстилающійся предъ нимъ видъ, потомъ прицѣлится на полотно и, помахавъ передъ нимъ кисточкой, мазнетъ. Опять прицѣлится, опять

помахаетъ и опять мазнетъ. Такъ продолжалось около часа. Работа совсѣмъ легкая, но къ концу часа пейзажистъ поблѣднѣлъ, какъ-будто даже похудѣлъ, съ алчностью съѣлъ двѣ котлеты съ фунтовой французской булкой, попробовалъ прилечь, но, точно намагнитизированный пейзажемъ, снова примостился на своемъ геркулесѣ и снова началъ прицѣливаться и мазать.

Еще черезъ часъ этюдъ былъ конченъ.

— Разовой этюдъ но, кажется, мотивистъ, сказалъ пейзажистъ.

Я нѣсколько знакомъ съ языкомъ художниковъ, понялъ и прибавилъ:

— Да, и кромѣ того, съ характеромъ.

«Разовой,—значить: написанный сразу, въ одинъ присѣсть (если не считать ничтожнаго антракта, посвященнаго поглощенію двухъ котлетъ и фунтовой французской булки). «Мотивисты» художниками называютъ вещи съ настроеніемъ. Подъ «характеромъ» разумѣется типичность.

Я слѣдилъ за работой художника и убѣдился, что сакмарскія и уральскія роши дѣйствительно ничтожны и обыкновенны по сравненію съ той колоссальной панорамой, которая раскинулась передъ нами. Это былъ степной Уралъ, неизмѣримая горная степь. Не было ни скалъ, ни отвѣсныхъ крутизнь, ни

причудливыхъ очертаній, ни патетическихъ порываній «праха къ небесамъ». Все было спокойно и однообразно, но спокойно безконечнымъ покоемъ и однообразно въ подавляющихъ образахъ. Одна за другой стояли гряды холмовъ, одѣтыя сѣдою травой, съ коричневыми жилами и пятнами обнаженной земли, съ матовыми блестками уцѣлѣвшихъ сугробовъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше прибавлялось сѣдого серебра; чѣмъ дальше, тѣмъ меньше казались гряды. И сколько ихъ, этихъ грядъ! Одна за одной, безъ числа, какъ отраженіе зеркала въ зеркалѣ, идутъ онѣ до самаго горизонта. И какъ онѣ далеки, и какъ эти гряды громадны! Вонъ, чуть виднѣются бѣлыя церкви и зданія Оренбурга. Они представляются точками. А за этими точками еще цѣлое море горной степи. И нѣтъ ей конца, нѣтъ ей предѣловъ. То такая-же взволнованная, то ровная и спокойная, то покрытая серебристо-молочной зеленью травъ, то краснѣющая глиной, то сверкающая золотомъ песковъ, она тянется на двѣ тысячи верстъ, до Ташкента, до центральной Азіи. Просторъ, безлюдье, молчаніе, подавляющее молчаніе; безграничныя равнины, среди которыхъ большія рѣки кажутся не больше дождевой струи; громадныя холмы, на которыхъ города лежатъ точно брызги; горы, неощутимо переходящія

въ равнины; равнины, незамѣтно поднимающіяся на огромную высоту; раскаленное бѣлое солнце; изрѣдка синяя тучка, крылья которой покрываютъ тѣню необозримое пространство, — вотъ она, русская центральная Азія, монотонная какъ покорность, безконечная какъ небытіе!..

Пейзажистъ оказался правъ: *настоящее* было тутъ.

Предгорія.

Въ іюнѣ время стояло хорошее. Кругомъ по необразимой степи начинался сѣнокосъ, и Оренбургъ не только по ночамъ, но и днемъ былъ насквозь пропитанъ сильнымъ и нѣжнымъ ароматомъ степнаго сѣна. Оренбургское солнце вступило въ свои права, и градусникъ въ полдень подымался до 35—38°. Эта температура показалась сѣверянину-пейзажисту чѣмъ-то въ родѣ репетиціи неугасимаго адскаго огня, — и онъ рвался скорѣе вонъ изъ Оренбурга.

Мы и вырвались и направились, конечно, въ горы на востокъ отъ Оренбурга, чуть-чуть забирая на сѣверъ, туда, гдѣ находится бывшій мѣдный заводъ Преображенскій. На картахъ его положеніе обозначено очень заманчиво. Лежитъ онъ въ долинѣ горной рѣчки Зилаира, какъ-разъ у подножія главнаго хребта,

Уральскаго, съ котораго въ Преображенскій намъ придется спуститься. Карта обѣщала пейзажи грандіозные. Оренбуржцы сулили то-же:—Тамъ такія горы, что на сто версть по крайней мѣрѣ, кругомъ видно. Пейзажистъ насторожился, очинилъ карандаши, уложилъ красочные тыбики съ разными своими эльфе-бейншварцами, робертсонмедіумами, тердесіенами, синими марсами etc... etc., и мы двинулись.

Первыя четыре станціи: Нѣжинская, Каменноозерная, Студенецкая и Черный отрогъ, прошли знакомой дорогой *), Опять я въ плетеномъ черемуховомъ тарантасѣ, который ровно катится по гладкой степной дорогѣ, слабо гремя по сухому чернозему; опять на козлахъ ямщикъ татаринъ, который мяукаетъ и кричитъ, какъ котъ въ мартѣ; въ корню опять размѣтавшаяся, костистая, гривастая русская кобыла, видимо доведенная до экстаза колокольчикомъ, который съ подвизгиваньемъ звенитъ ей прямо въ уши; на пристяжкѣ опять киргизскій короткій и головастый конекъ, который галопируетъ, весь собравшись въ комокъ. Налѣво степь, направо заливные луга Урала. Ихъ я видѣлъ и прошлымъ лѣ-

*) Читателей, которые останутся недовольны оты-вочностью этихъ очерковъ восточной Россіи, я отсылаю къ моей книжкѣ «Переселенцы и Новыя мѣста».

томъ, но кака́я разни́ца! Въ прошломъ и годномъ году все это было выжжено. Теперь по Уралу травы стоятъ выше пояса, а въ степи по колѣно. Въ прошломъ году пахло сухою полынью, — теперь влажнымъ медомъ. Въ прошломъ году казаки и казачки угрюмо сидѣли по домамъ и ничего не дѣлали съ отчаянья. Теперь онѣ валяются на травѣ въ тѣни домовъ и ничего не дѣлаютъ отъ полного удовольствія. И великолѣпны-же эти лѣнтяи! Вонъ, на выѣздѣ изъ станицы, у завалины разлеглась дѣвка-казачка: могучія бѣлыя руки подъ головой; бѣлыя ноги открылись до колѣнъ; стройное тѣло вытянуто во весь богатырскій ростъ. Ямщикъ замѣтилъ ее издали и оказалъ ей любезность: проскакалъ, прогремѣлъ, прозвенѣлъ мимо самаго ея уха. Вы думаете, она испугалась? — Не таковская! Лѣниво приподнялась красивая голова, лѣниво открылись сѣрые глаза, презрительно и сердито посмотрѣли намъ вслѣдъ, повернулась на бокъ и снова спокойно заснула... Урожай!

До урожая, однако, еще, не близко: не меньше мѣсяца. Своего хлѣба ни у кого ни зерна, и питаются «способіемъ». Мы сдѣлали четыреста верстъ по Оренбургскому и Орскому уѣздамъ, и вездѣ по дорогамъ встрѣчали обозы, ѣдущіе за хлѣбомъ или уже везущіе его. Чѣмъ ближе къ пунктамъ, гдѣ

хлѣбъ раздается, тѣмъ обозы многочисленнѣе и длиннѣе. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше дробятся по проселкамъ. Въ города ѣдутъ не порожнемъ, а везутъ уголь, корье, луташки, оглобли, деготь въ особенныхъ уральскихъ бочкахъ, имѣющихъ форму усѣченного конуса. Назадъ везутъ хлѣбъ въ мѣшкахъ, а башкиры такъ и пласты соленой баранины, на которой сидятъ и даже спятъ въ растяжку. Лошади уже отъѣлись на травкѣ и имѣютъ видъ сытый. Изъ людей тѣ сытѣе, которые бойчѣе. Голодъ прошолъ какъ пожаръ. Работали второпяхъ. Нельзя было найти достаточно чиновниковъ, чтобы опредѣлять степень нужды. На само населеніе въ этомъ случаѣ положиться было нельзя: ввали-бы и обманывали. Удовлетворяли прежде всего тѣхъ, кто лѣзъ впередъ и кричалъ о себѣ громче. Кто помирнѣе, оставался позади. Самыми смиренными оказались чуваша, и мы видѣли чувашскую деревню, гдѣ призабытые смиренники вторую недѣлю жили вареными травой и кореньями. Русскій ящикъ этой деревни изумлялся, что отъ такой пищи чуваша не только не мрутъ, но даже и не пухнутъ. «Вотъ вѣдь человекъ какой—ровно скотина!» прибавилъ онъ. Неважно пришлось и башкирамъ, но они извернулись: ѣли своихъ лошадей и пріѣли ихъ, говорятъ на половину. О смертныхъ

случаяхъ отъ голода слышно, но какъ объ исключеніяхъ: тамъ умерла дурочка, тутъ старикъ нищій. Больше умерло отъ проголоди зимою по дорогамъ: шолъ полуголодный изъ деревни въ деревню, усталъ, прилегъ отдохнуть да и застылъ. Много помогала проголодь и тифу на сѣверѣ губерніи. Но чего-нибудь похожаго на «смертный голодъ», на современные индійскія или старыя русскія голодовки рѣшительно не было. Надо отдать Россіи справедливость; она вышла изъ бѣды, казавшейся неминуемой, особенно заграницею, молодцомъ. Правда, пожаръ былъ потушенъ примитивными способами, руками и брюхами; но гдѣ же было взять паровыя машины и искусныхъ пожарныхъ!

На перегонѣ отъ Каменноозерной къ Студенецкому мы перевалили изъ долины Урала въ долину Сакмары, изъ однихъ луговъ въ другіе. Уральскую долину отъ Сакмарской отдѣляетъ хоть и высокій, но отлогій сыртъ, приподнятая степь. И зеленѣла и цвѣла-же эта степь! На фонѣ матовыхъ, слегка бѣлесыхъ травъ разлиты были ручьями и озерами цвѣты,—синіе, фіолетовые, желтые, красные, мѣстами суровымъ шелкомъ бѣлѣлъ ковыль. Засѣянные нивы попадаются еще рѣдко, но хлѣба прекрасные. Когда мы доѣхали до гребня сырта, позади себя мы увидѣли ту-же карти-

ну, что и три недѣли тому назадъ, когда пейзажистъ дѣлалъ свои этюды, — ту-же страну волнообразныхъ сыртовъ; но впереди обрисовалось нѣчто новое: засинѣла коротенькая гряда зубчатыхъ горъ. Пейзажистъ при видѣ ея насторожился.

— Не хотите-ли остановится и зарисовать? спросилъ я его.

— Не стоитъ. Горы внушительныя. Подѣдемъ ближе, тогда и этюдъ можно будетъ сдѣлать.

— Смотрите! Когда подѣдемъ ближе, эффектъ исчезнетъ. Уралъ обманщикъ.

— Ну, вотъ еще!

Проѣхали Черный Острогъ, гдѣ переправлялись чрезъ Сакмару на крохотномъ паромѣ. По Сакмарѣ идетъ лѣсъ къ Оренбургу, отдѣльными деревьями. Каждое дерево и полѣно мѣчено: кому изъ лѣсопромышленниковъ оно принадлежитъ. Когда лѣсъ приходитъ на мѣсто, его разбираютъ по мѣткамъ, какъ прачки бѣлье. За рѣчкой опять стали взбираться на зеленый и раскрашенный цвѣтами сыртъ, потомъ опять стали спускаться и пріѣхали въ Булгаково, уже не казачье, а мужицкое поселеніе, бывшихъ крѣпостныхъ тамбовскаго помѣщика Ветчинина. Хорошее мѣсто выбралъ комѣщикъ, когда лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ купилъ эту землю у башкиръ и перевелъ сюда

своихъ тамбовскихъ мужиковъ. Онъ выбралъ неширокую долинку маленькой рѣчки. Весенія и подпочвенныя нагорныя воды стекаютъ явно и тайно, подъ землю, въ долинку, и мѣсто тутъ потное, не то что насквозь высушенная степь. Рѣченка никогда не изсякаетъ, и на ней стоятъ три мѣльницы. Хлѣба и травы здѣсь еще выше и гуще, чѣмъ въ степи. По ту сторону долинки мы увидѣли тѣ зубчатая горы, которыя за сорокъ верстъ отсюда заставили пейзажиста насторожиться. Но какое превращеніе! Вмѣсто грандіозныхъ скалъ предъ нами были зеленые холмы, на которыхъ косили траву. Вмѣсто отвѣсныхъ крутизнъ, чѣмъ горы представлялись издали, оказались отлогія горки, на которыя свободно можно было въѣхать полною рысью.

— Я говорилъ, что прозѣваете, сказалъ я пейзажисту.

— Ну, да это все предгорія, отвѣтилъ онъ.

— Кромѣ предгорій, въ южномъ Уралѣ ничего и нѣтъ. Повторяю, не зѣвайте.

Но пейзажистъ не повѣрилъ.

Подымаемся полною рысью на «предгорье». Травы и хлѣба, хлѣба и травы,—и ни души въ поляхъ, ни скотины. Булгаковскіе мужики сидятъ по домамъ, потому-что въ поляхъ дѣлать нечего. При освобожденіи они получили по семи десятинъ на душу, но съ тѣхъ поръ

они размножились; теперь на душу приходится полторы десятины, имъ стало тѣсно и надо выселяться къ киргизамъ. Говорятъ объ этомъ со скорбью, съ печалью въ голосѣ, съ покорностью судьбѣ въ душѣ. Вдобавокъ, за нѣсколько дней предъ тѣмъ пропалъ самый богатый мужикъ въ Булгаковѣ. Поѣхалъ въ Оренбургъ, получить деньги изъ банка, да кстати и за «способіемъ» на іюнь, и исчезъ. Ни денегъ, ни «способія», ни мужика. Родня ѣздила въ Оренбургъ, разыскивать его, и не нашла. Порѣшили, что его дорогой убили,— и отслужили панихидку. На всякій-же случай дали знать полиціи и та наряжаетъ облавы по степямъ: не найдутъ-ли убитаго. Подозрѣваютъ кто—башкирь, пріѣвшихъ свою «маханину», лошадей, кто—одного богатаго мужика изъ сосѣдней деревни, котораго видѣли въ послѣдній разъ съ пропавшимъ. Вокругъ, въ природѣ — обиліе, благодать; въ карманахъ очень часто деньги и не малыя. Но ни тѣмъ, ни другимъ, пользоваться не умѣютъ; вѣрнѣе, и природу и карманы умѣютъ только грабить.

Пріятнымъ исключеніемъ среди это нескладной дикости явились семь сѣнокосилокъ, новенькихъ, чистыхъ, культурныхъ. Три изъ нихъ были запряжены верблюдами, горбы которыхъ—признакъ сытости — круто торчали

вверхъ; остальные четыре везли такіе-же сытые кони.

— Чьи это косилки?

— Оренбургскаго купца Канитферштанова
А культурный хозяинъ, этотъ Канитферштановъ!

Немного дальше встрѣтился намъ гуртъ великолѣпно откормленныхъ воловъ.

— Чьи волы?

— Оренбургскаго купца Канитферштанова.
И богатъ-же этотъ Канитферштановъ!

Поднимаемся выше на горы, обманувшія ожиданія пейзажиста, и нагоняемъ длинный обозъ.

— Что везете?

— Патоку.

— Куда?

— На водочный заводъ Канитферштанова.
И предприимчивъ этотъ Канитферштановъ!
Хлѣбъ сталъ дорогъ, такъ онъ изъ патоки гонить водку.

Почти у самой вершины видимъ стадо жирныхъ свиней.

— Канитферштановы свиньи спрашиваемъ мы.

— Его.

На всѣ руки Канитферштановъ!

Вотъ мы на вершинѣ. Вечерь, солнце закатывается, а впереди и позади два уди-

вительно красивыхъ пейзажа, такъ - что не знаешь, на которой смотрѣть. Позади послѣдніе слабые отголоски степи, впереди—первыя рѣшительныя горы. Позади—медленныя, отлогія волны сыртовъ въ свѣтлой золотисто-серебряной пыли заката и безконечная, почти морская даль. Впереди, между двухъ высокихъ холмовъ, покрытыхъ первымъ встрѣченнымъ нами кустарникомъ, — извивающаяся, какъ рѣчка, долинка. По дну долинки вьется и настоящая рѣчка, путь которой обозначенъ темнозеленой ольхой, пушистыми ветлами и старыми осокорями. Невдалекѣ внизу виднѣется большая деревня, а за нею среди зелени обширная усадьба. Долинка замкнута еще болѣе высокими, синими, зубчатыми горами.

— Чья эта усадьба?

— Оренбургскаго купца Канитферштанова.

Счастливецъ этотъ Канитферштановъ! Вотъ кому позавидовать-то можно. И богатъ, и культуренъ, и усадьба въ такомъ раю уральскихъ предгорій. Говорите послѣ этого, что русскій человѣкъ не культуренъ!

Мы остановились и долго любовались двумя ликимъ пейзажемъ, впереди и сзади.

— Охъ, рисуйте! Охъ, дѣлайте этюдъ! говорю я пейзажисту.

— Полноте. Зачѣмъ я стану тратить время на пустыки. Смотрите, какіе зубцы тамъ впереди.

— Обмануть васъ и эти зубцы, говорю я еще разъ,

Но пейзажистъ не слушается.

Спускаемся внизъ съ холма и ѣдемъ вдоль рѣчки, берега которой заросли давно не виданной нами ольхой. Сначала миновали большую деревню, настоящую русскую и по населенію, и по постройкамъ, просторнымъ бревенчатымъ избамъ, съ крышами палаткой. Это тоже выведенные изъ внутреннихъ губерній бывшіе барскіе крестьяне. Въ концѣ деревни, тоже по русски, стоитъ барская усадьба. Домъ съ колоннами и мезониномъ, гѣнистый садъ, длинныя службы. Усадьба давно уже продана прежнимъ баринимъ и куплена купцомъ Канитферштановымъ. Счастливецъ Канитферштановъ, приобрѣвшій все это готовымъ: и старый садъ, и просторный свѣтлый домъ, хорошую землю, красивые виды!

За старой усадьбой стоитъ новая, въ нѣсколько разъ больше старой. Она тоже въ зелени, тоже омыта быстрымъ ручьемъ. Въ ея концѣ небольшой, но очень глубокій прудъ. Также красиво, также завидно,—но только до тѣхъ поръ, пока вѣтеръ дуетъ на усадьбу, а не отъ усадьбы. Вѣтеръ подулъ отъ нея, и мы чуть не задохлись отъ невыносимаго смрада. И что только тутъ не смердѣло! И барда съ завода, и разлагавшійся на дворѣ воловника

навозъ, и гнившая въ водѣ навозная плотина, и прудъ, насыщенный всей этой мерзостью. Нѣсколько времени тому назадъ прудъ спускали, и скотъ пившій воду внизу по теченію, сталъ околѣвать.

— Нѣтъ не стоитъ завидовать Канитферштанову! сказали мы.

И что эта за страна такая, этотъ востокъ, что въ ней царятъ или дикость, или-же такія культурность и богатство, что растутъ изъ водки и среди такого смрада, что отъ него даже скотина дохнетъ!

Горы.

Ночевали мы уже въ горахъ, хотя пейзажистъ утверждалъ, что и онѣ не настоящія и что настоящія—предъ самымъ Преображенскимъ заводомъ, до котораго оставалось еще почти сто верстъ, тамъ, гдѣ на нашей картѣ горы были изображены густой коричневой краской и украшены надписью: «Уральскій хребетъ».

Ночлегъ пришелся тоже въ бывшей барской деревнѣ, тоже въ рѣчной долинѣ, рѣки Ика. Въ старыя времена русскіе въ Башкиріи были тѣмъ - же чѣмъ теперь являются нѣмцы на западѣ и югѣ Россіи. Встарь башкиры, какъ теперь русскіе, очень удивлялись тому, что у нихъ изъ-подъ носа выхватываютъ

самые лучшіе куски земли. Удивлялись, какъ теперь удивляемся мы, богатству покушниковъ, позволяющему платить за землю сумасшедшія деньги, этакъ по четвертаку за сотенную десятину. Удивлялись культурности пришельцевъ: умѣютъ пахать землю и выращивать изъ нея хлѣбъ. Удивлялись трудолюбію: въ году праздновали всего дней двѣсти, тогда какъ башкиры не работаютъ втеченіи трехсотъ дней. Удивлялись, огорчались, давали слово не поддаваться соблазну сумасшедшихъ цѣнъ, даже слегка бунтовали, — но ничего не подѣлали. Русскіе оттѣснили башкиръ въ глубину горъ и заняли самыя жирныя горныя долинки до самаго Уральскаго хребта.

Деревня, гдѣ мы ночевали, очень большая и старая. Хозяйство тутъ уже не степное, не первобытное, состоящее единственно въ эксплуатаціи цѣлины для пастбищъ. Здѣсь уже трехполье, огороды, коноплянники. Изъ домашнихъ животныхъ не одинъ только рогатый скотъ да лошади, а и овцы, и свиньи, и куры, и гуси, — всего понемногу. Народъ работаетъ не урывками, а копошится среди болѣе сложнаго своего хозяйства все время. Печи топятъ не кизякомъ, а дровами. Словомъ, тутъ Русь, цѣликомъ перенесенная въ долину горной рѣчки. Русь не измѣнилась ни въ чемъ, кромѣ развѣ формы своихъ бочекъ,

которыя и тутъ имѣють видъ усѣченнаго конуса. Ночевали мы въ избѣ деревенскихъ богачей. Препротивные люди эти богачи, которыхъ никакъ не слѣдуетъ смѣшивать съ кулаками и мироѣдами. Это совсѣмъ разные типы. Богачъ—не кулакъ—обыкновенно получилъ богатство въ наслѣдство, а не самъ его нажилъ. Покойные тятенька съ маменькой держали его въ ежовыхъ рукавицахъ; и богачъ не только глупъ, но даже дурковать. вмѣстѣ съ тѣмъ богачъ важничаетъ: онъ богатъ, все у него есть. Жены такихъ богачей—бабы красивыя, но жадныя и хитрыя, съ встревоженнымъ взглядомъ. Подростающіе ребятишки обѣщаютъ пойти въ родителей. Дурковатость богача не мѣшаетъ ему поддерживать свое благосостояніе, потому что въ этомъ никакой хитрости нѣтъ: работай по заведенному порядку, копи, жадничай, нищимъ не подавай, самъ не доѣдай.

У такихъ-то уважаемыхъ сельчанъ мы и провели ночь. Дурковатыя и жадныя лица не внушали довѣрія и спалось плохо. У дверей не было крючка, но пейзажистъ ухитрился запереть ее нашимъ дорожнымъ штопоромъ. Спали мы на свѣжей травѣ, покрытой войлокомъ. Свѣжая, душистая трава была очень поэтична, но напустила на насъ кузнечиковъ, гусеницъ и жужелицъ. Сновидѣнія были без-

покойны, пейзажистъ бредилъ и въ бреду удивительно жалостливымъ и скрипучимъ голосомъ то-и-дѣло спрашивалъ: «хэдэрэ деберъ шэсъ?» На сонномъ воляпюкѣ это означало: который теперь часъ. Ему очень хотѣлось уѣхать, и когда настала третій шэсъ утра, мы тронулись дальше.

Утро было чудесное, солнечное, ясное, веселое. И мѣста пошли такія-же. Пейзажистъ торжествовалъ.

— Видите, я говорилъ! восклицалъ онъ. — Все лучше и лучше. Правда, все еще нѣтъ ничего грандіознаго, но грандіозное впереди, у Преображенскаго завода.

Грандіознаго, дѣйствительно, не было, но было нѣчто очень изящное, здоровое, свѣтлое. Тутъ-же за деревней мы въѣхали въ рощу осокорей и вязовъ, пронизанную золотыми лучами восходящаго солнца. Роща кончилась, и мы очутились на берегу Ика, рѣчки всего саженой въ пять ширины. Крохотный паромъ, поставленный на двѣ громадныя выдолбленныя тополевыя колоды, перевезъ насъ на ту сторону. На томъ берегу были заливные луга съ травой и цвѣтами выше пояса и кустарниками; на оставленномъ—старая роща, извилинами слѣдующая за прихотливо выющимся Икомъ. Эта веселая долина, версты въ двѣ шириною, окаймлялась зубчатыми горками.

Направо и налѣво вверхъ и внизъ по Ику синѣли дальнія горы, еще болѣе зубчатая и болѣе высокія. Чистое темноглубое небо и золотое солнце дѣлали пейзажъ совсѣмъ праздничнымъ: точно въ будни была Троица или Вознесенье. Воображаю, какъ весело было на душѣ у мирныхъ завоевателей этой долины, когда ихъ, съ купчей въ рукахъ, вводили во владѣніе башкирской землею. Эти веселыя минуты повторяются въ наши дни очень часто въ душахъ нѣмецкихъ въ Бессарабіи, въ Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерніяхъ, въ Кубанской области, въ Харьковской губерніи, въ Польшѣ и въ юго западномъ генераль - губернаторствѣ... Зато какъ должно быть скверно на душѣ у башкиръ.

Послѣ Ика началось путешествіе по долинамъ безыменныхъ рѣченокъ и ручьевъ. Рѣченки становятся все меньше и бойчѣе, долинки все уже, горы, ихъ окаймляющія, все круче и изящнѣй въ своихъ очертаніяхъ. Горы мало по малу начинаютъ одѣваться лѣсомъ, вдоль рѣченекъ узкой лентой тянутся тоже деревья. Большая часть долины состоитъ изъ тучнаго чернозема, распахана и засѣяна рожью, пшеницею и просомъ. Ближе къ рѣчкѣ между деревьями и кустовъ лужки и луговины, на которыхъ смѣшиваются степныя дебелия травы и цвѣты съ тонкими болѣе сѣверной по-

лосы. Степная жара смѣнилась пріятнымъ, нѣсколько влажнымъ тепломъ. Къ маслянымъ ароматамъ степи примѣшиваются болѣе острые эфирные запахи ольховыхъ и ивовыхъ листьевъ и лѣстныхъ злаковъ. Эти долинки— переходъ отъ жгучей степи къ прохладнымъ лѣсистымъ нагорьямъ. Въ долинахъ снѣгъ сходитъ почти мѣсяцемъ раньше, а выпадаетъ мѣсяцемъ позже, чѣмъ на горахъ, окаймляющихъ долину. Первые русскіе колонизаторы, конечно, все это основательно разузнали, и поселились въ долинахъ и долинкахъ. Этими первыми колонизаторами были помѣщики, выведившіе сюда крестьянъ. Теперь сюда пошли крестьяне самостоятельно и селятся большими деревнями на башкирскомъ черноземѣ долинъ. Къ сожалѣнію, крестьяне отчасти не умѣютъ покупать землю, а садятся въ качествѣ арендаторовъ. Кромѣ того, покупка обставлена послѣ извѣстныхъ уфимскихъ хищеній тяжелыми для крестьянъ условіями, объ отмѣнѣ которыхъ теперь идетъ рѣчь въ правительственныхъ учрежденіяхъ *).

*) Для того, чтобы купить башкирскую землю, крестьяне должны сначала осѣсть на ней въ качествѣ арендаторовъ, въ числѣ не менѣе сорока душъ, и образовать сельское общество. Образование Общества— процедура длинная и трудная, а продавцы - башкиры, пользуясь этой проволочкой, тянутъ съ переселенцевъ

— Ямщикъ, стой! приказываю я.

— Что случилось? спрашиваетъ пейзажистъ.

— А вы, господинъ пейзажистъ, извольте вынуть альбомъ и рисовать.

— Однако...

— Если вы не будете, такъ рисовать стану я. Но имѣйте въ виду, что я по части рисованія въ гимназій даже до профиля глаза не дошелъ, а такъ и кончилъ вертикальными линіями. И всетаки я не сойду съ мѣста, пока не срисую этихъ видовъ. Хотите ждать.

Пейзажистъ ждать не захотѣлъ и вылѣзъ изъ тарантаса. Вылѣзъ, однако, не безъ протеста.

— Красиво, очень красиво, говорилъ онъ, Даже интересно, но въ Преображенскомъ...

— Пожалуйте вотъ сюда на бугорокъ и рисуйте.

Мой спутникъ покорился. Пока онъ вынималъ альбомъ, пока чинилъ карандашъ, пока искалъ растушевку, онъ еще будировалъ. Но когда, усѣвшись по турецки и разложивъ на колѣняхъ тетрадь, онъ далъ себѣ трудъ художественно разсердиться на открывшіеся предъ нимъ пейзажи, дѣло пошло на ладъ.

деньги, угрожая несогласіемъ на продажу земли. Конечно и переселенцы не остаются въ долгу, мошенничая на разные манеры; но выходить изъ этого больше мошенничества чѣмъ колонизаціи.

— А вѣдь тутъ хорошо, сказалъ онъ и умолкъ, предавшись художническому негодованію. — Это ворота въ настоящій Уралъ, прибавилъ онъ, на мгновеніе отрываясь отъ карандаша.

Передъ нами въ самомъ дѣлѣ были ворота. Два огромныхъ бугра, снизу покатыхъ и зеленыхъ, сверху скалистыхъ и отвѣсныхъ, сошлись довольно близко и оставили узкій проходъ. Въ эти ворота видна была извилистая долина, рѣчка, кольцами бѣжавшая по ней, разсыпанная вдоль рѣчки деревенька и квадраты посѣвовъ и пашень. Долина замыкалась красивыми горами, съ острыми вершинами и ребрами. Небо было чистое, синее.

— Хорошо? спрашиваю я.

— Очень недурно, но миниатюрно.

— А горы?

— Ничего суроваго. Вглядитесь, онѣ плюшевыя.

Дѣйствительно, горы были покрыты точно свѣтло-зеленымъ плюшемъ. Это ковыль началъ выпускать свои усы, которые еще не побѣлѣли, а только приняли шелковистый, плюшевый оттѣнокъ.

— А дальнія горы съ лѣсомъ?

— Лѣсъ какой-то бельгійскій. Вязъ да Дубъ. Это не настоящій грозный Уралъ.

— Увѣряю васъ, грознаго Урала на Югѣ нѣтъ.

Пейзажистъ упрямо промолчалъ.

— А эти поля внизу? продолжалъ я.

— Слишкомъ культурны. Какая-то нѣмецчина.

Деревенька внизу, заведшая эту нѣмецчину, оказалась однако старовѣрческой.

Черезъ часъ рисунокъ былъ конченъ, и мы двинулись дальше, въ сердце Урала, гдѣ пейзажистъ думалъ встрѣтить нѣчто грандіозное. Уралъ пропускалъ насъ въ себя, но не безъ труда. Долины все тѣснѣе и тѣснѣе, горы сближаются все больше. Иной разъ дорога идетъ по боку горы, врѣзанная въ нее искусственно. Дѣлали ее тогда, когда былъ основанъ Преображенскій заводъ. Со стороны обрыва дорога огорожена первобытнымъ деревяннымъ заборомъ. Деревья все гуще покрываютъ горы, хотя и это не настоящій лѣсъ, а липовый, дубовый и вязовый кустарникъ. Все, что годилось на продажу, уже вырублено и сплавлено въ степь. Лѣсъ рубится и оставляется на два, на три года сохнуть. Когда онъ достаточно высохъ, его сбрасываютъ во время половодья въ горную рѣчку. Рѣченка, полная весенней водой, стремительно уноситъ его по теченію. Изъ Емашлы лѣсъ попадаетъ въ Суранъ, изъ Сурана въ Икъ, оттуда въ Сакмару, изъ Сакмары въ Уралъ. Много лѣса тонетъ. Тогда, по спадѣ водъ, его вытаски-

вають на берегъ, снова сушатъ и весною опять пускають по водѣ. Въ лѣсистыхъ долинахъ извилистыхъ рѣкъ дѣлають прямыя просѣки для пропуска лѣса и кромѣ того шестами отпихивають застрявшія въ кустахъ и рощахъ бревна и полѣнья.

Мѣняя лошадей въ башкирской деревнѣ Кугарчѣ, мы торжественно готовились къ восхожденію на главный хребетъ, на самый Уралъ. Вышло дѣйствительно торжественно и даже страшновато.

Сначала мы ѣхали долинкой Емашлы. Ёдемъ, а навстрѣчу намъ по горлу долины быстро бѣжить дымнаго цвѣта жидкая, очевидно очень мокрая туча. Мы вынули зонтики и дождевыя пальто, и храбримся. Туча ближе. Мы видимъ, что облака едва не касаются вершины горъ, видимъ, что дальныя горы задернулись дымкой дождя, и находимъ это красивымъ. Но едва мы обмѣнялись впечатлѣніями, какъ дымка прорѣзалась сверху внизъ почти вертикальной молніей, и мы ясно увидѣли, какъ золотая змѣйка ужалила, и должно быть, пребольно, лѣсъ на половинѣ горы, которая стояла версты на двѣ впереди.

— На эту гору будемъ мы подыматься? спрашиваемъ мы ямщика.

— Нѣтъ, это Лушкина гора, а мы будемъ подыматься на Семиколѣнную. Вотъ, налѣво.

Взглянули мы на Семиколѣнную, а золотая змѣйка, хватъ! и ее ужалила. И точно чтобы показать, что она вовсе не такая маленькая и тоненькая, какъ это кажется издали, каменный грохотъ громового удара лавиной обрушился въ долину. Упалъ, — и горы загрохотали протяжнымъ могучимъ звукомъ, перебрасывая эхо другъ другу черезъ долину, загоняя его въ глубь и даль и снова возвращая съ такой силой, что отдавалось въ груди. Стало жутко. Мы посматривали другъ на друга вопросительно.

— Эхъ, грязно будетъ! съ весьма обыкновенной досадой сказалъ ямщикъ, когда затихли отголоски удара и хлынулъ крупный дождь.

Мы приободрились и занялись устройствомъ изъ двухъ нашихъ зонтовъ одной общей крыши.

Вотъ и Семиколѣнная гора, которую мы видимъ плохо, потому-что дождь льетъ какъ изъ ведра, да и сами мы маленечко жмуримся, чтобы не очень ужъ отчетливо видѣть золотыя змѣйки, которыя такъ внушительно грохочутъ вдали и стрѣляютъ неподалеку. Лошади идутъ шагомъ, ямщикъ слѣзъ и идетъ сбоку. По дорогѣ, гдѣ тамъ и сямъ обнажился гранить главнаго хребта, стремглавъ несутся ручьи. Налѣво обрывъ, направо гора. По обѣимъ сторонамъ окарноушенные дубы и листвен-

ницы. Проѣхали одно колѣно, другое, тресте... Взобрались на половину горы, оглянулись, — и пейзажистъ съ непонятнымъ озлобленіемъ выбранилъ коньякъ, которымъ мы запаслись на дорогу и котораго только-что въ Кугарчѣ выпили по рюмочкѣ за завтракомъ,

— Мерзавецъ—коньякъ!

— А что;

— Да сухо во рту и солоно.

Да, коньякъ былъ премерзкій: верхи противоположныхъ горъ долины были закутаны тучей, той самой тучей, которая выпускала золотыя змѣйки; и мы ясно видѣли, что туча вытягиваетъ свои волокна и слои черезъ долину къ намъ; ясно можно было разсчитать и то, что она покроетъ насъ именно тогда, когда мы будемъ торчать на самой макушкѣ Семиколѣнной горы. Дрянъ былъ коньякъ, — какой-то очень сухой и очень соленый!

Мы отвернулись и съ неприятнымъ ощущеніемъ въ спинѣ продолжали отсчитывать колѣна горы. Вотъ и послѣднее, вотъ и макушка. Скверная макушка, — голый камень и ни одного деревца. Мы очутились на высшей точкой Урала. Въ спинѣ стало уже такъ нехорошо, что мы волей-неволей а оглянулись. Я замѣтилъ при этомъ, что у пейзажиста глаза были совершенно круглые. И вдругъ его глаза приняли нормальное очертаніе:—

тучу, которая дошла уже до половины долины, слегка потянуло, точно скатерть со стола, вправо. Она еще старалась протягивать къ намъ пряди облаковъ, но вѣтеръ отклонялъ ихъ и медленно несъ мимо. На минуту мы остановились, чтобы взглянуть въ картину «съ Уральскаго хребта». Дождь лилъ, по горамъ бродили тучи, время отъ времени падала внизъ золотая змѣйка, и долины, и горы наполнялись громовыми звуками. Пейзажъ былъ грандіозный, горы высокія, темныя...

— Предгорія кончены. Начинается настоящій Уралъ, не безъ торжественности сказалъ пейзажистъ.

И мы скорчились, закутались, закрылись пледами и зонтиками и тронулись дальше. Смотрѣть вдаль было нельзя, и мы видѣли только то, что было подъ носомъ. Видна была грязная дорога. Виденъ былъ деревянный измочалившійся ободъ колеса, немилосердно брызгавшій липкой черной грязью. Видны были рѣдкіе корявые дубы, провожавшіе дорогу, и высокія зеленыя лѣсныя травы. Дождь лилъ, дрянной тарантасъ залѣплялъ насъ грязью, и мы, съежившись, утѣшались только сознаніемъ, что мы на настоящемъ Уралѣ, на главномъ хребтѣ.

Такъ прошолъ добрый часъ. Дождь немногу утихъ, даже стало какъ-будто свѣтлѣе,

мы рѣшились раскутаться — глаза пейзажиста опять стали круглыми.

— Что это такое? воскликнулъ онъ.

— Предгорія кончены, начинался Уралъ, отвѣтилъ я.

— Да это даже не Валдай! Это Смоленская губернія!

О горахъ не было и помину. Узкій проселокъ, въ три грязныя колеи, вился по рѣдкому дубовому лѣсу. Подъ дубами росла высокая трава, намокшія метелки которой повалили ее на земь. Нетолько горъ, но и горокъ нѣтъ; есть только лощинки, по которымъ пресбираются болотныя ручьи. На ручьяхъ бревенчатые дырявые мостики. Изрѣдка лѣсъ разступается, и тогда открываются зеленыя травяныя равнины, замкнутыя отдаленными рощами. Иной разъ эта равнина отлого спускается внизъ и къ горизонту опять подымается. Вдали синѣютъ новые лѣса. Обыкновеннѣйшій пейзажъ средней Россіи. Обыкновенная среднерусская дождливая погода. Только на козлахъ сидитъ башкиръ, да не видно нигдѣ деревень, да иногда тарантасъ прогремитъ по обнажившемуся гранитному ребру. Мы дѣйствительно поднялись на Уралъ, но знаменитый хребетъ оказался тутъ огромнымъ плоскогоріемъ. Двадцать-двѣ версты проѣхали мы до слѣдующей станціи, послѣ того, какъ подня-

лись на Семиколѣнную гору и не разу пейзажъ не измѣнился.

— Я предупреждалъ васъ, что Уралъ— обманщикъ, сказалъ я пейзажисту.

Тотъ сердито промолчалъ.

Слѣдующей станціей была большая чувашская деревня. Это были новообращенные язычники. Я былъ удовлетворенъ: не каждый день приводится видѣть новообращенныхъ язычниковъ, — но пейзажистъ былъ пейзажистъ, а не жанристъ, и не повеселѣлъ. Жанристу была бы тутъ пожива. Это были тѣ самые смиренные чуваша, которые впродолженіи двухъ недѣль питались травой. И ничего, не пухли. Только поблѣднѣли немного, да говорили довольно тихо. Бабы, въ яркихъ платьяхъ и колпакахъ-чепцахъ, копались по огородамъ. Мужчины въ бѣлыхъ рубахахъ съ красными ластовицами, шевелились по дворамъ, чиня телѣги и оттачивая къ близкому сѣнокосу косы. Одинъ только-что сплutowалъ, но сплutowалъ хозяйственно: предъ самымъ нашимъ пріѣздомъ приманилъ жеребца нашего ямщика къ своему табуну. Ямщикъ, русскій старикъ изъ горнозаводскихъ, сердился.

— Сто-двадцать цѣлковыхъ за жеребчика отдалъ! говорилъ онъ. — Форменный жеребчикъ, какъ огурецъ! А онъ, чувашская морда, своими одрами прельщаетъ. Травоѣдъ! Тра-

воѣдъ, да и нехристь, продолжалъ старикъ, уже сидя на козлахъ. — Кресты только на прошлой недѣлѣ на шею надѣли. Иконы у нихъ подъ лавками валялись. Считались будто православные, а сами съ башкиришками байрамъ справляли. Съ дѣвками жили невѣнчанные, ни у попа, ни у муллы. Въмѣсто Бога, осинѣ какой-то кланялись. На будущей недѣлѣ ихъ всѣхъ гуртомъ обвиняютъ, которые спознались.

Оказалось, что деревня, считавшаяся православною, нѣсколько лѣтъ тому назадъ опять впала въ язычество, подъ тѣмъ предлогомъ, что ходить въ церковь очень далеко. Ихъ увѣщевали ходить далеко, но они не слушались. Наконецъ ихъ стали «тѣснить».

— Какъ-же ихъ тѣснили?

— Да какъ! Какъ ни проѣзжаетъ полиція, такъ сейчасъ и тѣснить: ступайте въ церковь! Чуваши и отяготились. Постройте, говорятъ, намъ церковь, тогда мы и вѣнчаться и креститься станемъ, и иконы повѣсимъ. Вотъ имъ теперь и строятъ церковь. А школу еще въ прошломъ году поставили; ужъ всѣ ребяташки выучились крестное знаменіе творить.

— А самъ ты, дѣдушка, православный? спросилъ я ямщика.

— Какъ тебѣ сказать? Теперь должно что православный. Прежде я дѣйствительно чаю

не пилъ и въ церковь не ходилъ. А теперь ничего, только табаку не курю. Сынъ у меня курить. Безъ табаку, говоритъ, батя, ровно скучно. Билъ я его даже: не ладно, что мы съ тобой разной вѣры, а потомъ бросилъ, некогда. Родня у меня все разныхъ вѣрь. Кто кержакъ, кто часовенникъ, кто водки не пьеть, кто для формы въ церкви вѣнчается, а потомъ у своего попа перевѣнчивается... У насъ на Уралѣ вѣрь не перечесть.

Пейзажистъ съ тревогой спрашивалъ старика, будутъ-ли впереди горы, но старикъ на пейзажъ смотрѣлъ съ точки зрѣнія ямщика. Если дорога шла ровной долиной, то какія-бы крутизны ни возвышались по сторонамъ, горъ не было. Валдайскіе отлогіе спуски и подъемы онъ называлъ большущими горами.

— Вишь ты какая! говорилъ онъ, показывая впередъ на глинистый размытый скатъ.—Послѣ дождя хуже быть не надо,—склизкая. Такія горы, что безъ острыхъ шиповъ и не взѣдешь!

Горы дѣйствительно были склизкія. Нашъ тарантасъ на косогорахъ такъ и плылъ то на одну, то на другую сторону. Но живописность уже совсѣмъ исчезла. Пошли сосняки и березняки, не старые, чистые, ровные.

— При барахъ поля были, сказалъ ямщикъ, указывая на молодья рощи.—Все тутъ распахано было.

— Отчего-же бросили пахать?

— Какъ воля вышла, тогда и бросили. Мы были заводскіе, генерала Пашкова. Трудная была работа. Положимъ, мы не совсѣмъ какъ крѣпостные были. Отъ завода продавать насъ не смѣли. Работа была урочная, платили задѣльно. Но куда поставятъ, туда и иди, то и дѣлай. Уголь жечь, — жги. Въ рудникъ, — въ рудникъ свой урокъ исполняй. Особенно одинъ водяной рудникъ былъ — смерть! Руки себѣ рубили, охотой въ солдаты шли, къ киргизамъ бѣгали. Вышла воля, господа и говорятъ: берите землю. А мы несогласны: опять изъ-за земли подъ заводъ подойдемъ. Баринъ говоритъ: «Глупцы! Хоть выгонъ-то возьмите, я вамъ его даромъ отдамъ!» И выгона не взяли: опасались. Что выгонъ, — съ чердаковъ барскую землю скидать хотѣли... А на заводъ ни одинъ не пошолъ, ни въ рудники, ни въ лѣсъ за дровами и углемъ. Хорошую цѣну сулили, — не пошли. Заводъ и прикончился баринъ его и продалъ нѣмцамъ.

«Нѣмцы», купившіе въ 1871 году Преображенскій и недалекій Воскресенскій мѣдные заводы, съ двумя-стами тысячъ десятинъ земли, лѣсовъ, рѣкъ, озеръ и горъ, за восемьсотъ тысячъ рублей, оказались англичанами. Мистеры Леббокъ, Бомонтъ и Бродгенъ составили «Компанію русской мѣди» и, конечно, меч-

тали разбогатѣть, купивъ этакое великое герцогство за какія-нибудь восемьдесятъ фунтовъ. Не тутъ-то было. Мистеры не знали, что на Уралѣ даже на казенныхъ, вдобавокъ оружейныхъ заводахъ, когда рабочимъ пора косить сѣно, работы пріостанавливаются. На Преображенскомъ и Воскресенскомъ работы и вовсе не пошли, вслѣдствіе нежеланія рабочихъ. «Компанія русской мѣди» стала отказывать рабочимъ въ землѣ, — они занялись извозомъ. Имъ не продавали лѣса и топлива, — они брали его даромъ у башкиръ. Ихъ стали тѣснить выгономъ, требуя по два рубля въ лѣто съ головы, — они купили у башкиръ землю чуть не по два-же рубля за десятину навѣчно и перенесли туда усадьбы. Мистеры Леббокъ, Бомонтъ и Броденъ плюнули и половину своего уральскаго герцогства съ Воскресенскимъ заводомъ продали, а Преображенскій застрялъ у нихъ на рукахъ. Что съ нимъ дѣлать, — неизвѣстно. Даже лѣсъ некуда сбывать. Аккуратные англичане его, однако, берегутъ, хотя уберечь трудно.

У самой дороги намъ попалась могила съ, хорошимъ крестомъ, тщательно огороженная.

— Кого это тутъ похоронили.

— Зятя моего, отвѣтилъ мужикъ. — Я же и хоронилъ. Ахъ, мужикъ былъ хорошій! Лицомъ чистый, умный. Полѣсовщикомъ у нѣм-

цевъ былъ. Ну, ужъ и полѣсовщикъ былъ! Ни хворостиночки у него не пропадало. Даже нѣмцы изъ Англіи управителю писали, что жалѣютъ объ немъ.

— Что-жъ, мужики его убили.

— Наши сосѣдскіе, хитрымъ манеромъ. Сдѣлалъ онъ неподалеку отъ этого мѣста на деревѣ полати, медвѣдя караулить. Ночь просидѣлъ, нѣтъ медвѣдя. Пришолъ на другую ночь, а полати-то тѣмъ временемъ съ одной стороны и подрѣзали. Взлѣзъ онъ на нихъ, а они и оборвись. А на грѣхъ тутъ-же о бокъ росли изъ одного пня три березы. Онъ между ними и попади. Самой головой! Такъ и нашли: виситъ на головѣ. Вынули, такъ голова и качается, какъ на ниткѣ... И полѣсовщикъ-же былъ! Теперь такихъ нѣтъ на заводѣ.

Едва-ли въ Англіи бывають такія чудеса, чтобы лѣснымъ сторожамъ отрывали головы такъ естественно, помощью трехъ березъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ необыкновенно.

Вотъ мы, наконецъ, и въ Преображенскомъ. Пейзажистъ отъ злости зажмурился и ни на что не хотѣлъ смотрѣть: мы очутились въ настоящей Финляндіи.

Покатая равнина, зеленѣвшая самой настоящей сѣверной муравой, медленно спускается къ горной рѣчкѣ, кольцами вьющейся въ каменной рывинѣ. Берега рывины отвѣсны и

скалисты. Ложе рѣки усыпано голышами. На одной сторонѣ рѣки вытянулись три параллельными улицами домики Преображенскаго, всѣ на одинъ манеръ. На краю обрыва стоитъ большая бѣлая каменная церковь казеннаго александровскаго стиля. На противоположномъ берегу—безконечный сосновый боръ, стоящій твердой и неподвижной щеткой, одно дерево какъ всѣ, всѣ какъ одно. Надъ этой картиной — сѣверное, блѣдное небо и сѣверная облачка, въ каждое время готовая изъ бѣлыхъ превратиться въ сѣрую дождливую тучку. Въ воздухѣ прохладно, сыровато. Въ лѣсной тѣни или на сѣверной сторонѣ скалистаго берега рѣки даже въ полдень не мѣшается слегка кутаться. Недостаетъ только моховаго болота съ клюквой. И это всего въ какихъ-нибудь сорока, пятидесяти верстахъ отъ раскаленной степи! Тамъ жара,—тутъ холодокъ. Тамъ сухо какъ на фортепьянной фабрикѣ, — тутъ сырость. Тамъ арбузы и дыни, — здѣсь не безъ труда выращиваютъ огурцы и редиску. Тамъ верблюды и ишаки; здѣсь маленькія лѣсныя лошадки. Тамъ киргизскія кибитки; здѣсь даже дворы крытые. Тамъ скотоводство,—тутъ рудничныя шахты. Только горы могутъ давать такіе контрасты, бокъ-о-бокъ. Это интересно для географа, но не для пейзажиста, который ищетъ грандіозный Уралъ.

Мы пробыли въ Преображенскомъ двое сутокъ, причемъ художникъ кое-какъ утѣшалъ себя «детальными» пейзажами. Такимъ именемъ пейзажисты называютъ маленькіе косогоры, живописно поросшіе мать-и-мачихой; уголки скалъ, изукрашенные слоями камня, мхами и повисшими кустарниками; изгибы рѣчки, бурлящей на каменной грядкѣ, преграждающей ей путь, или бьющейся о скалистый берегъ, который она ударяетъ прямо въ лобъ. Этихъ «детальныхъ» картинъ было много, и премилыхъ. Ими можно было любоваться съ большимъ удовольствіемъ и съ еще большей пользой практиковаться на нихъ въ рисунокѣ. Только не нужно смотрѣть въ стороны и вверхъ. По сторонамъ — самая ordinaria самая чухонская Финляндія, а вверху — небо чуть не петербургское. Пейзажистъ каждый разъ, когда не соблюдалъ этого правила, впадалъ въ глубокое уныніе и терялъ охоту практиковаться въ рисунокѣ.

На третьи сутки, рано утромъ, чуть свѣтъ, мы пустились въ обратный путь, съ тѣмъ, чтобы отъ Кугарчи повернуть на сѣверъ, добраться до почтоваго тракта, изъ Оренбурга въ Уфу, и по пути въ Уфу, на этомъ трактѣ, идущемъ вдоль знаменитой своей живописностью рѣчки Бѣлой, найти наконецъ, настоящій Уралъ, который, словно кладъ, не давался намъ въ руки.

На годъ въ степь.

Итакъ, послѣ двухъ сутокъ пребыванія среди «финляндской» природы Преображенскаго завода, мы тронулись въ обратный путь. Пейзажистъ, обманутый Ураломъ, уже не презиралъ предгорія, а мечталъ о «грандіозномъ», сравнительно съ окрестностями Преображенскаго, видѣ съ Семиколѣнной. На небо пейзажистъ поглядывалъ съ тревогой. Всѣ эти дни къ двумъ, тремъ часамъ набѣгали тучи и шолъ дождь,—и пейзажистъ боялся, что и на этотъ разъ ничего хорошенько не увидитъ на Семиколѣнной. Мы подгоняли ямщика, чтобы поспѣть туда къ двѣнадцати.

Быстро докатили мы молодымъ березовымъ лѣсомъ, который стоялъ въ обильной росѣ на всѣхъ его листьяхъ и травахъ, до знакомаго Бердяша, и завернули во дворъ къ знакомому старику-ямщику. Старикъ и его старуха почему-то были не въ духѣ и сильно ворчали, когда запрягали намъ лошадей. Имъ помогалъ сынъ, мужикъ лѣтъ подъ-пятьдесятъ, здоровенный и огромный, съ неприятнымъ лицомъ. Всѣ трое возились и хлопотали. Вдругъ старикъ остановился.

— Ты какъ сѣделку принесъ!? громко обратился онъ къ сыну.

— Какъ сказывали.

— А ты слушай ухомъ, когда отецъ говоритъ! И—разъ, разъ, разъ! — старикъ отпустилъ по широкой спинѣ сына три жестокихъ удара гибкимъ кнутовищемъ. Даже свистнуло въ воздухѣ. Сынъ, какъ будто ничего не случилось, взялъ принесенную сѣделку и пошелъ за другой.

— Высокоумствуешь, щенокъ! прокричалъ ему вслѣдъ отецъ.

— И часто ты сына бьешь? спросили мы старика, когда выѣхали изъ деревни.

— Еще такъ-ли учу! Иной разъ устанешь бить-то.

— Да ему пятьдесятъ лѣтъ.

— А мнѣ семьдесятъ-восемь. Должонъ почитать. Сравнить тоже мой умъ и его! Я сорокъ лѣтъ почтовую гоньбу держу. Разъ какъ-то не сдали мнѣ станцію, такъ черезъ полгода пришли, кланяются: возьми опять, говорятъ. Я одному сыну—еще старше есть—рекрутскую квитанцію купилъ. Я всѣмъ семеймъ башкирскую землю купилъ, двѣ тысячи отдалъ. У меня и окромѣ того деньги есть. Кто стараяся, умомъ доходилъ?—Я! Что они?—щенята слѣпые. Ну, и почитай.

Таковы порядки въ «патріархальныхъ» старозавѣтныхъ семьяхъ.

Дубрава отъ Бердяшъ до Семиколѣнной не показалась намъ такой безконечно длинной,

какъ прошлый разъ, въ дождь и слякоть. И глядѣла она при солнцѣ веселой, несмотря на то, что лѣсъ былъ безсмысленно опустошенъ его хозяевами, башкирами. Валежникъ, пни и изуродованные снизу стволы были скрыты гигантскими зелеными и сочными травами и цвѣтами. Изрѣдка попадались узкія дорожки, сворачивавшія въ далекія невѣдомыя башкирскія и чувашскія деревни. Чѣмъ ближе къ Семиколѣнной, у подножія которой течетъ сплавная рѣченка, тѣмъ чаще разступается лѣсъ, тѣмъ обширнѣй полянки, а на полянкахъ кое-гдѣ начинаютъ попадаться степныя травы и цвѣты, вышедшіе на плоскогорье снизу изъ долинъ, на смѣну исконнымъ лѣсамъ и лѣснымъ травамъ. Лѣсъ кончился совсѣмъ, — и мы у Семиколѣннаго спуска. Пейзажистъ продолжительно и въ высшей степени разочарованно свистнулъ.

— Семиколѣнная гора была на мѣстѣ; долина и противоположныя горы были на лицо. Но, Боже мой, это не тѣ горы и долины, которыя мы видѣли три дня тому назадъ! Пейзажистъ развернулъ альбомъ, куда онъ по памяти зарисовалъ тогдашній видъ. Чертовская память у этихъ живописцевъ! Линіи были точно тѣ, что и въ натурѣ, но размѣры совсѣмъ другіе, а въ настроеніи—ничего похожаго. На рисункѣ пропасть была бездонная, горы гроз-

ныя, тучи на цѣлую губернію. А теперь предъ нами кокетливо охорашивался подъ синимъ небомъ и въ яркомъ солнцѣ миленькій пейзажикъ, съ миниатюрной долиной и небольшими кудрявыми зелеными горками.

— Фю-фю... свисталь пейзажистъ, переводя глаза съ рисунка на видъ и обратно.— Вотъ такъ штука! Вотъ тебѣ и объективность въ искусствѣ! Набрался страху отъ грозы, дрянныя лошади везли на маленькую горку цѣлый часъ,—вотъ и нарисовалъ какіе-то монбланы и чортовы мосты! А на самомъ дѣлѣ онъ вонъ какой... цыпленокъ! Что-жъ дѣлать, со вздохомъ проговорилъ онъ, вылѣзъ изъ тарантаса, распростеръ неизмѣримый зонть, установилъ микроскопическій стулъ Hercules и сѣлъ за этюдъ.—Что подѣлаешь, когда настоящаго Урала нигдѣ нѣтъ, говорилъ онъ, хозяйничая своими эльфенбейншварцами, марсами и тердесіенами.—Нѣтъ на свѣтѣ настоящаго Урала, такъ приходится брать не настоящій, предгоріа...

Снова спустились мы съ Семиколѣнной горы, снова долго кружили узкими долинами-коридорчиками и снова за Кугарчей выбрались изъ послѣдняго коридора. Тутъ пошли *залы* предгорій, широкія, развалистыя долины большихъ рѣкъ. Это уже степь, и еще не степь. Деревьевъ мало, травы полустепныя,

но кое-гдѣ попадаются влажныя мочежинки, много быстрыхъ ручьевъ, катящихъ прозрачную воду по камнямъ и прикрытыхъ вѣтвями вязовъ и тополей. Земля тутъ благодатная, жирная, черная, и населеніе несравненно гуще, чѣмъ въ горахъ. Большинство деревень тутъ двойчатки: одна половина — башкирская, съ мечетью; другая—русская, съ церковью. На минаретѣ кричитъ мулла; на колокольнѣ звонитъ мелодическій колоколъ. Башкиры—собственники земли; русскіе—по-старому: припущенники, по-новому: переселенцы. Русская половина богаче и аккуратнѣй: дома больше, нѣсколько каменныхъ лавокъ, базаръ, огороды, хорошій домъ священника. У башкиръ хатенки крошечныя, слѣпыя, заборовъ не видать, улицы кривыя, на улицахъ пусто, народъ топчется безцѣльно. Словомъ, русакъ—чугунъ, а башкиръ—горшокъ. Но надо замѣтить, что эти русаки—переселенцы давніе, старой моды, когда на переселеніе шли тѣ, кто могъ дойти и устроиться, и на зѣмли заранѣе присмотрѣнныя и заарендованныя. Новомодный-же переселенецъ въ большинствѣ случаевъ движется по такому-же плану, какъ перекасти-поле, и съ такимъ-же запасомъ матерьяльныхъ средствъ и нравственныхъ качествъ. Оттого-то теперешніе переселенцы претерпѣваютъ только разочарованія, тогда-какъ старыя сами разоча-

ровываютъ—башкирь. Теперь башкирь хоть и хозяинъ земли, но никто изъ переселенцевъ на него и вниманія не обращаетъ, потому-что дуракъ-хозяинъ у толковаго арендатора въ долгу какъ въ петлѣ.

Въ глубокою старину башкиры населяли огромное пространство по обѣ стороны Уральскаго хребта между Волгою, Камою, Тоболомъ и верхнимъ теченіемъ Урала. Часть ихъ въ девятомъ вѣкѣ ушла въ Западную Европу и теперь живетъ тамъ подъ именемъ венгерцевъ. Уральскіе башкиры никогда не составляли самостоятельнаго цѣлаго государства, управлялись множествомъ маленькихъ хановъ, которые въ свой чередъ, платили дань сначала волжскимъ болгарамъ, потомъ казанскимъ татарамъ и, наконецъ, съ Ивана Грознаго — русскимъ. Начиная съ Ивана Грознаго, русскіе обходятъ башкирскую территорію кольцомъ, поселяясь по Волгѣ и Камѣ, перекинувшись за Уральскія горы въ Сибирь, въ Шадринскій и Челябинскій уѣзды, проводя линіи военныхъ колоній, гдѣ поселялись стрѣльцы, казаки, пѣхотные солдаты, рейтары и драгуны. Къ концу прошлаго столѣтія башкиры были «обойдены» и оттѣснены отъ рѣкъ, ограничивавшихъ ихъ территорію. Кромѣ того, внутри самихъ горъ взяты у нихъ громадныя земли подъ казенные и частныя заводы, ко-

торымъ нарѣзали по пятидесяти верстѣ во всѣ четыре стороны. Если вы взглянете на карту землевладѣнія Оренбургской или Уфимской губерній, вы увидите, что башкирская территорія внутри *на самомъ Уральскомъ хребтѣ* вся въ большихъ четырехугольныхъ заплатахъ: это заводскія земли. По склонамъ хребта, гдѣ нѣтъ ни особенныхъ лѣсныхъ богатствъ, ни почвенныхъ, башкирская земля мало прорвана. Но чѣмъ дальше на востокъ и западъ, тѣмъ обильнѣе клинья и зубцы русскаго землевладѣнія, и наконецъ, башкирскія земли сами превращаются въ заплаты на фонѣ русскихъ земель. На эту работу понадобилось больше трехъ столѣтій, и прошла она далеко не легко, сопровождаясь почти непрерывными бунтами башкиръ, которые подымались въ защиту земли, ускользавшей изъ ихъ рукъ. Такіе бунты были въ 1584, 1645, 1662, 1678—80, 1683, 1707; знамениты поголовное возстаніе 1736—40 годовъ, по поводу основанія Оренбурга, когда было убито, казнено и сослано болѣе тридцати тысячъ башкиръ, и бунтъ богатыря Соловата Юлаева, примкнувшаго къ Пугачеву. Башкиръ усмиряли оружіемъ и подтвержденіемъ грамоты Ивана Грознаго, которою царь въ 1576 году обѣщалъ неприкосновенность башкирскихъ земель. Въ соборномъ уложеніи царя Алексѣя, статьею 43,

глава XVI, прямо вопрещается переселяться изъ Россіи въ Башкирію и какими-бы то ни было путями приобрѣтать башкирскія земли. Но жизнь брала свое, сильный побѣждалъ, слабый уступалъ. Понадобились земли для горныхъ заводовъ, для военныхъ колоній, для вывода крестьянъ изъ Россіи; необходимо оказалось обезпечить существованіе огромнаго класса арендаторовъ башкирскихъ земель и они надѣлялись землею. И теперь башкирская территорія на картѣ имѣетъ видъ заплатаннаго рубища. Теперешніе слабые, бѣдные и явно вырождающіеся башкиры ничѣмъ не напоминаютъ воинственныхъ своихъ предковъ. И отучили ихъ отъ воинственности средствомъ, такъ-сказать, гомеопатическимъ. Въ 1798 году башкиры объявили военнымъ сословіемъ и подчинили военной дисциплинѣ. «Башкиромещерякское войско» упразднено только въ 1864 году.

Какая чисто-азиатская суета поднялась при нашемъ появленіи въ одной изъ башкирскихъ деревень, гдѣ мы остановились пить чай и перемѣнять лошадей! Насъ приняли за кого-то другого, и вся деревня забѣгала и захопотала. Босые, въ бѣлыхъ штанахъ и рубахахъ мужики, съ ермолками и тыквообразными теплыми шапками на затылкахъ; бабы въ ситцевыхъ красныхъ широчайшихъ блу-

захъ; дѣвченки и мальчишки, одѣтые до мельчайшихъ подробностей такъ-же, какъ и взрослые,—все это заходило по улицѣ, заныряло въ низенькія дверцы низенькихъ мазанокъ, перелѣзало черезъ заборы. Насъ направили къ почетнѣйшему лицу деревни, муллѣ.

Половина маленькой избы была занята широкими низкими нарами, застланными ковромъ. Шкафъ съ посудой и самоваромъ; тесовый столъ, тесовые стулья. На стѣнѣ гигантскіе дешевые часы, показывающіе совершенно фантастическое время. Картинъ, конечно, по мусульманскому обычаю никакихъ.

Мулла, толстый бритый мужикъ, со вздернутымъ носомъ и красноватыми бѣлками круглыхъ черныхъ глазъ, суетливо пожалъ намъ руки и сталъ вносить наши вещи. Къ нему тотчасъ-же присоединились тощій старичишка съ обиженнымъ лицомъ и мужикъ лѣтъ сорока съ толстымъ грушеподобнымъ носомъ и выпученными глазами.

Это мой двоюродный братъ, указалъ мулла на старичишку. — И это тоже двоюродный братъ, — указалъ онъ на грушевидный носъ. — Вмѣстѣ чай будемъ пить. Ты чай собой тащилъ?

— Привезъ...

— И сахаръ тащилъ?

— Сахаръ привезъ.

— Сичасъ самубаръ баба даетъ. Чай будемъ пить. Больно хорошъ у господъ чай!

Суета продолжалась. Въ сѣняхъ суетились бабы съ самоваромъ. Въ комнату набилось еще нѣсколько харь, тоже изъ почетныхъ, должно быть, лицъ. Въ дверяхъ густо стояли другія хари. Между ногъ у нихъ смотрѣли на насъ ребятишки. Самая настоящая Азія!

Въ нѣсколько минутъ мулла заварилъ мой чай, настоялъ и ловко разлилъ въ стаканы— намъ, себѣ и своимъ двоюроднымъ братцамъ. Выбравъ кусокъ сахара побольше, онъ сталъ пить чай. Послѣ второго стакана, отеревъ потъ и высморкавшись, онъ поговорилъ со своими кузенами, съ толпой въ дверяхъ, и указывая пальцемъ на художника, спросилъ:

— Межевщикъ?

— Нѣтъ.

Онъ указалъ на меня:

— Начальникъ баночный?

— Нѣтъ.

По толпѣ пробѣжалъ удивленный ропотъ.

— Кто-жь ты будешь.

Я сказалъ.

Толпа зашумѣла, загалдѣла. Одинъ старался перекричать другого. Одинъ укорялъ, другой защищался, третій во все горло мирилъ этихъ двухъ, четвертый съ размашистыми жестами, объяснялъ. Прямо восточный

базаръ, гдѣ-нибудь въ Яффѣ или Смирнѣ.

— Ишь ты дѣло какое? сказалъ, наконецъ, мулла и успокаиваясь, рѣшительно прибавилъ:—Ну, давай ишшо чай пилъ!

Оказалось, что башкиры продавали мужикамъ землю и ждали оцѣнщика крестьянскаго банка, «баночнаго начальника», за котораго меня и приняли. Когда эта ошибка обнаружилась, они стали обращать вниманіе больше на мой чай, чѣмъ на меня. Однако, бесѣдовали. Рѣчь шла о землѣ, которую они теперь продавали.

— Зачѣмъ продаете?

— Все одинъ чортъ. Аренды не платить.

— Почему-же?

— Не хочетъ. Лошадь даетъ, корова даетъ, деньги не даетъ: нѣту. Лошадь даетъ, онъ десять рублей стоитъ, старый, а мужикъ говоритъ: цѣна тридцать рублей, бери. Ну, беремъ. Зимой ѣсть нечего было,—беремъ. На базарѣ лавки построилъ; по контрактъ нельзя лавки строить, пошли ругаться а онъ насъ побилъ. По контрактъ нельзя новыхъ принимать, а онъ принимаетъ, всю площадь застроилъ... Ай-ай, беда! Все одинъ чортъ,—продавать!

Конечно, дѣло было не такъ просто, какъ говорилъ мулла. Въ настоящее время нельзя такъ нехитро отбивать чужую землю. Навѣрно, башкиры много стащили съ мужиковъ «тем-

ныхъ», прежде чѣмъ согласиться на продажу; навѣрно, цѣну имъ даютъ хорошую, если они ждутъ баночнаго «начальника» въ такомъ радостномъ возбужденіи; но все-таки видно было, что наболѣло башкирское сердце съ шестнадцатаго вѣка, когда были сдѣланы первые шаги русской колонизаціи въ Башкиріи. Три столѣтія подрядъ башкиры убѣждались все несомнѣннѣй и нагляднѣй, что они нищаютъ, уменьшаются въ числѣ, хилѣютъ тѣломъ, гибнутъ.

— Скажи пожалуйста, обратился ко мнѣ мулла, въ видимомъ волненіи, послѣ того какъ онъ о чемъ-то тревожномъ переговорилъ со своими кузенами и съ толпой въ дверяхъ:— Скажи пожалуйста, ваше высокоблагородіе, даромъ нашу землю мужикамъ не дадутъ?

Я отвѣтилъ, что не дадутъ. Мулла сообщилъ это своимъ, и тѣ слушали его съ лицами прямо страдальческими. Опять башкиры поговорили между собою и опять мулла обратился къ мнѣ.

— Мужики говорятъ, что отберутъ отъ насъ землю даромъ.

— Мужики врутъ.

Мулла опять перевелъ, и опять его слушали страдальчески.

Экипажъ, упряжь и лошади, на которыхъ мы поѣхали, оказались настоящими башкир-

скими. Лошади были порядочныя, экипажъ, дрянной, сбруя веревочная. Едва мы проѣхали нѣсколько шаговъ, какъ правая возжа у коренной отвязалась и мы хватились лбами нашихъ лошадей, разлетѣвшихся во всю рысь, налѣво въ заборъ, который при сей оказіи и сокрушили. Подвязали возжу; башкирь-возница, сконфуженный происшествіемъ, завизжалъ и замяукалъ на лошадей такъ страшно, что лошаденки помчались маршъ-маршемъ и летѣли такъ всю тридцативерстную станцію.

И мы опять были въ степи.

VI.

Въ Стокгольмъ чрезъ Финляндію.

I.

Финляндія съ палубы.

Norra Finland.

При моихъ довольно частыхъ экскурсіяхъ въ разныя любопытныя мѣста бѣлаго свѣта, я всегда былъ счастливъ на спутниковъ. Я говорю о живыхъ спутникахъ, а не о «Бедекерахъ». «Бедекеръ», какъ бы хорошо ни былъ онъ составленъ, все-таки мертвая книга. Не то живой человѣкъ. Онъ не только помогаетъ наблюдать, но и самъ служитъ предметомъ наблюденія, — наблюденія наблюдателя. Получается наблюдатель, такъ сказать, двойной силы, и замѣчаетъ то, чего въ одиночествѣ, пожалуй, и не доглядѣлъ бы.

Наблюдаемый наблюдатель, ѣздившій со мною въ Стокгольмъ, былъ драгоцѣннымъ спутникомъ. Во-первыхъ, онъ никогда еще не покидалъ отечества. Во-вторыхъ, родомъ онъ откуда-то изъ Вологды или Перми, а этотъ

народъ — «изъ перерусскихъ русскій», какъ говорилъ Пушкинъ о Фонвизинѣ. Вятича, вологжанина, костромича хоть въ семи водахъ мой, хоть сто лѣтъ въ Петербургѣ держи, — онъ все-таки будетъ говорить на о, Елабугу въ душѣ ставить выше Парижа, а въ минуты волненія раздражаться такими областными словечками, значенія которыхъ надо искать въ словарѣ Даля. Никакой печатный «бедекеръ» не могъ бы возвысится до такой оригинальной точки зрѣнія на вещи.

Въ пять часовъ вечера, я и мой спутникъ находились на палубѣ финляндскаго парохода «Norra Finland», капитанъ V. Norring, совершающаго рейсы между Петербургомъ и Стокгольмомъ. Спутникъ не успѣлъ пообѣдать и былъ голоденъ.

— Эй, человѣкъ! кричитъ онъ.

На зовъ вмѣсто «человѣка» появляется розовая, голубоглазая чухоночка, въ опрятномъ платицѣ.

— Это что за дѣвчурка?! удивляется спутникъ.

— У насъ прислуга женская, объявляетъ любезный капитанъ. — Это буфетная прислуга.

— Благодарю васъ, капитанъ. Ну, дѣвчурка, веди меня въ буфетъ и дай какой-нибудь пищи.

Но «дѣвчурка» выпучила глаза и отрицательно трясетъ розовой рожицей.

— Она по-русски не понимаетъ, говорить капитанъ.

— По-каковскому же она понимаетъ?

— По шведски.

— Только?

— Только.

Сангвиническій спутникъ сильно краснѣетъ и шепчетъ мнѣ:

— Понимаете-ли, только природная деликатность мѣшаетъ мнѣ сказать имъ, что это свинство, стоять у Николаевского моста и ни слова не знать по-русски.

— Капитанъ, обращается спутникъ къ капитану, — будьте любезны, переведите дѣвчуркѣ, чтобы она провела меня въ буфетъ.

Спутникъ ушелъ, но не прошло и двухъ минутъ, какъ онъ вернулся, весь багровый отъ негодованія.

— Ну, ужъ и ѣзда будетъ на этой лоханкѣ. Дóма сказать нельзя — засмѣютъ: на вотяцкомъ пароходѣ ѣздилъ. Тоже буфетомъ называютъ! Ни тебѣ стойки, ни тебѣ водки, ни зыкнуть на кого, ни посмѣяться съ кѣмъ. Каюта такая, что не повернуться, а вмѣсто буфетчика — толстая баба, которая тоже только по-ихнему, по-чухонски, понимаетъ.

И спутникъ сошелъ съ парохода на пристань.

— Куда вы! Куда вы?!

— Въ трактиръ, напротивъ. Послѣдній разъ, молъ, съ людьми, а не съ черемисами.

Спутникъ сердился. Неисправимая Елабуга столкнулась съ иностранными порядками и пришла въ раздраженіе. На самомъ дѣлѣ сердиться было нечего. Буфетная каюта была не велика потому, что и весь пароходъ невеликъ, вдвое меньше хорошаго волжскаго. Зато и пароходъ, и буфетъ были необыкновенно чисты. Капитанъ Norring съ пассажирами былъ сама вѣжливость и предупредительность. Какъ командиръ, — увѣренность въ себѣ, заботливость и твердость. Пароходъ тоже имѣлъ такой крѣпкій и надежный видъ, что я, далеко не любитель путешествій по водѣ, ввѣрялся ему съ полнымъ спокойствіемъ. Одно было, въ самомъ дѣлѣ, странно. Кромѣ русской рѣчи капитана, на всемъ пароходѣ — ни одного русскаго предмета, ни одной русской печатной строки, ни одного русскаго слова.

— Подзакусилъ, объявилъ мнѣ возвратившійся и повеселѣвшій спутникъ, — какъ быть слѣдуетъ: и на лакея зыкнулъ, и съ буфетчикомъ пошутилъ. Успокоилъ свою душеньку.

Ровно въ шесть часовъ мы отчалили, задомъ отошли на середину рѣки, тамъ повернулись вокругъ своей оси и двинулись въ путь.

— Дѣвчурка, хорошій городъ Петербургъ, а? Питербурхъ карошъ? спрашиваетъ спутникъ снова появившуюся на палубѣ служанку.

Но та таращитъ синіе глазки и трясетъ головой.

— Эхъ ты, головушка глупая!

Петербургъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ хорошъ въ этотъ самый вечеръ. Дворцы, громадныя верфи, у верфей огромныя броненосцы, которые окончательно отдѣляются уже на водѣ, у пристаней громады океанскихъ пароходовъ. И вездѣ люди, работа, говоръ, стукъ, лязгъ, суета. Одна лишь Нева тихо и величаво несетъ свою воду къ морю.

— Хороша рѣка, а все не Волга! говоритъ спутникъ.

Вотъ и взморье. Небо и море одного цвѣта, золотисто-молочнаго; только въ морѣ какъ будто чуточку золота больше. И въ глубинѣ этихъ удивительныхъ воздуха и воды тамъ и сямъ бѣлѣютъ, точно бабочки, паруса.

— А вотъ это и на Волгу похоже! восклицаетъ окончательно повеселѣвшій спутникъ. — Каково вольно, бѣско-то каково! Нѣтъ, ничего, стоило, стоило поѣхать. И чувашаи молодцы: смотри-ка, пароходъ-то какъ хорошо идетъ!

Поворачиваемъ слегка влѣво и входимъ въ морской каналъ, очень напоминающій зна-

комый мнѣ Суэзскій. Та же ширина, тѣ же по сторонамъ лагуны и низкая, плоская земля, такія же громады кораблей, такія же сторожки по берегу и проволока телеграфа. Только зелени больше. Берега засажены рядомъ ивъ и тополей, подъ которыми краснѣетъ своими цвѣтами сплошь засѣвшій иванъ-чай.

Кончился каналъ, и мы снова видимъ передъ собою золотистую бѣлизну неба и моря, а слѣва—высокій берегъ, въ зелени дворцовыхъ парковъ, Стрѣльна, Петергофъ, Ораніенбаумъ. Скоро въ золотистой мглѣ показываются туманные темные силуэты острововъ—не острововъ, мелей—не мелей. Ближе силуэты принимаютъ болѣе опредѣленные очертанія, и мы проходимъ мимо Кронштадта. Круглые форты, едва возвышающіеся надъ уровнемъ воды и разсыпанные по морю тамъ и сямъ, точно корабли безъ мачтъ. Дальше фортовъ—Кронштадтъ, его гавань, биткомъ набитая безчисленными судами, черная стѣнка его невысокой набережной, исписанная гигантскими цифрами—номерами; за гаванью—дома, церкви, зелень какого-то большого сада.

Кронштадтъ остался позади, солнце закатилось, на палубѣ начинаютъ накрывать къ ужину.

— Поди-ка, хорошо и на вотяцкомъ пароходѣ, окончательно становясь милостивымъ, говоритъ спутникъ.— Дѣвчурки-то буфетныя чистенькія какія, — розовыя, бѣлыя, умытыя. Ущипни ее за щеку, такъ, право слово, скрипнетъ. Ничего, ничего... А почему ужинъ тутъ?

— Двѣ марки.

— Значить, 76 копѣекъ. Яствѣй много?

— Одно.

— Одно-о?!

— Не пугайтесь. Кромѣ того, полагается смергосбродъ.

— Это что за штука?

— Закуска.

Спутникъ онѣмѣлъ и вдругъ радостно на весь пароходъ вскричалъ:

— И у нихъ насчетъ закуски законъ есть?!

— Да еще какой! Вотъ, смотрите на столъ, посерединѣ. Десять сортовъ холодной закуски, пять сортовъ горячей: почки, котлеты, яичница, печенка, телятина, и три сорта водки.

— Поди, дорого берутъ?

— Все за ту же цѣну.

Спутникъ изнемогъ отъ удивленія и удовольствія.

— Ой, батюшки! Ой, батюшки! со слабымъ стономъ повторялъ онъ, обходя столъ со смергосбродомъ.—Словно бы у насъ въ Ор-

ловѣ, въ клубѣ. Вотъ, это по-людски. Вотъ, и не скучно. А то, я смекалъ, что въ пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ попалъ.—И вдругъ, съ живостью обернувшись къ служанкѣ и милостиво потрепавъ ее по плечу, спутникъ произнесъ на языкѣ, который въ минуту восторженной разстроенности предполагалъ ей понятнымъ:

— Ой, хитра башка чухонскій человекъ!
Ой, больно якиши чухонскій башка!

День былъ законченъ ужиномъ и бесѣдой со спутниками. Спутникъ-военный вкратцѣ разсказалъ намъ исторію финляндской войны 1809 года, а сіявшая счастьемъ парочка новобрачныхъ, совершавшая свадебное путешествіе, трогательно уговаривала насъ, не теряя времени, жениться. Мы предпочли за позднимъ часомъ идти спать.

Гельсингфорсъ.

Мы вышли на палубу въ восемь часовъ утра. До Гельсингфорса оставалось еще два часа пути. Мы были въ шхерахъ. Что такое шхеры? Представьте себѣ страну, покрытую густою сѣтью переплетающихся между собою рѣкъ,—рѣкъ средней величины, большихъ и очень большихъ. Вотъ вамъ шхеры, — лабиринтъ воды и лабиринтъ острововъ. Вода тутъ уже морская, зеленая и прозрачная. Прѣсная

и мутная вода Финскаго залива окончилась на полпути между Петербургомъ и Гельсингфорсомъ, у острова Гохланда, на восточномъ берегу котораго жители пьютъ еще изъ моря. Здѣсь это уже невозможно, и потому острова, по большій части, необитаемы и невоздѣланы. Да и воздѣлывать тамъ ничего нельзя, потому что всѣ они скалисты. Скалы однако не живописны. Ледниковый періодъ, продолжавшійся въ Финляндіи и Сѣверной Сѣверной дольше, чѣмъ во всей остальной Европѣ, обточилъ и округлилъ острова такъ, что придалъ имъ форму хлѣбныхъ короваевъ, не высоко подымающихся надъ уровнемъ моря. Единственная краса острововъ — густой лѣсъ, почти вездѣ сосновый, изрѣдка березовый. Кустовъ травы нигдѣ не видно, — только стоитъ частый ровный, береженный лѣсъ. Картина не восхитительная, но пріятная. Плывешь не столько по морю, сколько среди лѣса, по просторной, прихотливо извивающейся, зеленой водяной дорогѣ. Да и какое же это море! На берегахъ стоятъ версты; фарфатеръ обозначенъ даже и не бакенами, а, просто, воткнутыми въ дно шестами; на прибрежныхъ скалахъ бѣлой краской написаны путеводные знаки. Плыдемъ, какъ по Екатерининскому каналу.

Острова становятся выше и круче, и на одномъ изъ нихъ, лишенномъ растительности,

на самомъ его гребнѣ, мы видимъ пушки. Это—обращенная къ морю сторона Свеаборга, батареи и казармы котораго построены на шести островахъ, лежащихъ предъ Гельсингфорсомъ. Это «сѣверный Гибралтаръ» въ глазахъ военныхъ. Это русскій городъ въ Финляндіи въ нашихъ глазахъ, съ десяти тысячнымъ, исключительно русскимъ, населеніемъ, съ русской церковью, въ которой теперь звонятъ къ ранней обѣднѣ. Острова Свеаборга разступаются, мы поворачиваемъ въ одинъ изъ раздѣляющихъ ихъ проливовъ и мимо Свеаборга - города, спрятаннаго за спинами девятисотъ пушекъ и мортиръ Свеаборга-крѣпости, направляемся къ Гельсингфорсу, который картинно расположился на высокомъ берегу со своими домами и церквами въ пяти верстахъ отъ насъ.

Кому не случалось бывать въ провинціальныхъ театрахъ средней руки! Приходите, занимаете мѣсто, разворачиваете афишу и читаете. Дѣйствіе происходитъ въ большомъ столичномъ городѣ. Сцена изображаетъ обширную площадь, окруженную роскошными дворцами. Въ глубинѣ перспектива великолѣпной улицы. Толпа народа, оживленно разговаривая, движется по площади»...

Будемте продолжать «своими словами».

Къ набережной обширной площади пристаёт пароходъ «Norra Finland», пристаёт медленно, безшумно, осторожно, чтобы не измять набережной.

— Скажите на милость, чистый какой городишко! Сколько въ немъ душъ-то? спрашивает меня спутникъ.

— Пятьдесятъ тысячъ.

— Ой-ли, въ три раза меньше, чѣмъ въ Самарѣ, а чистота какая! И дома со вкусомъ. Разъ, два, три, четыре, пять. Пять штукъ кругомъ площади, и всѣ хотъ куда; хотъ въ Питеръ на Пушкинскую поставь, такъ не стыдно. Вотъ только насчетъ народа жидко. На площади почти что и никого нѣтъ.

— Труппа... то, бишь, населеніе не велико, такъ откуда же и взятъя народу.

— И чудаки! подхватываетъ спутникъ, раздражаясь веселымъ смѣхомъ.

— Кто?

— Жители здѣшніе. Смотрите-ка. Вотъ, у самаго парохода, стоятъ пять человѣкъ. Вотъ, подалше, на площади, человѣкъ съ десятокъ...

— Это — «толпы большого столичнаго города».

— И стоятъ — не чукнуть. Ни слова не скажутъ, ни рукой не махнутъ. Только одинъ

жестъ и есть: моргаютъ, да и то рѣдко. Провинціальныя, гляди, статисты.

— Это ужъ такой финскій характеръ.

— Да что вы! И впрямь наши вотяки либо чуваша по характеру. Такъ это ихняя столица и есть?

— Столица.

— Да что вы? Только-то всего: пять домовъ вокругъ главной площади!

— Чего же вы требуете? Вѣдь, вся труппа... опять ошибаюсь! — все населеніе страны два милліона триста тысячъ. А валовой сборъ... виновать, годовой бюджетъ всего восемь милліоновъ рублей.

— Только-то! Ну если такъ, большаго отъ антрепренера и требовать нельзя. Пойдемте на сцену, посмотримъ декорации и труппу.

Все время нашего пребыванія въ Гельсингфорсѣ мы никакъ не могли отдѣлаться отъ сравненія города и его населенія съ декорациями и труппой добросовѣстнаго провинціального театра средней руки. Такое все это маленькое, тихое и скромное: и столица, и населеніе, и великолѣпіе и многолюдность. Когда мы побывали въ Стокгольмѣ и снова попали въ Финляндію на обратномъ пути, это впечатлѣніе усилилось еще больше. Финскіе города, вообще, а Гельсингфорсъ, въ особенности, оказались точнѣйшей рабской копіей Сток-

гольма, вчетверо меньшаго, чѣмъ Петербургъ, а Гельсингфорсъ въ пять разъ меньше Стокгольма. Можете судить, какое впечатлѣніе должны производить столичныя манеры малютки Гельсингфорса.

За всѣмъ тѣмъ Гельсингфорсъ красивый, нарядный и чистый городокъ. Его дворець, сенать, университетъ, зданія сейма не представляютъ ничего замѣчательнаго, — ординарные дома Николаевской эпохи или новѣйшія претензіи на ренессансъ и готику. Не интересенъ и большой лютеранскій соборъ въ псевдовизантійскомъ стилѣ, выкрашенный внутри мѣломъ, съ отсырѣвшими стѣнами и куполами, но хороши его загородные парки и новыя улицы. «Безконечныя перспективы» этихъ послѣднихъ, весьма коротенькіе, застроены высокими пятиэтажными домами, хорошей архитектуры, выкрашенными въ темные цвѣта. Внизу — просторные магазины съ зеркальными стеклами. По угламъ «фонари» и башенки со шпицами. Красивыя зданія музеевъ, библіотеки, театра, конечно шведскаго. Какъ ни мало въ странѣ шведовъ, они все-таки удерживаютъ первенствующее мѣсто, и въ то время, когда шведскій театръ занимаетъ хорошее каменное помѣщеніе, финскій ютится въ старомъ деревянномъ балаганѣ. Русскаго въ городѣ, конечно, ничего, кромѣ надписей названій улицъ,

сдѣланныхъ на трехъ языкахъ, — шведскомъ, финскомъ и русскомъ, — военныхъ, старенькой деревянной церковки и каменной.

За городомъ, который изъ конца въ конецъ можно проѣхать въ десять минутъ, начинаются дачи. Въ Финляндіи и Швеціи дачная жизнь развита еще больше, чѣмъ у насъ, и всѣ ихъ города двойные — зимніе и лѣтніе. За дачами парки: на одномъ концѣ города паркъ Теле, на другомъ Бруннъ. Въ первомъ тѣнистомъ и холмистомъ, нѣсколько скромныхъ ресторанчиковъ, гдѣ собираются тѣ, кто побогаче, а, главное, много — таки и травы, на которой семьями и компаніями по праздникамъ располагается простонародье. Теле, это нашъ Александровскій паркъ, съ тою разницею, что тутъ нѣтъ ни пьяныхъ, ни выпившихъ. Пьянство строго преслѣдуется въ Финляндіи, наказанія за безобразное опьяненіе въ публичномъ мѣстѣ доходятъ до трехъ лѣтъ тюрьмы, водка и пиво очень дороги, число кабаковъ въ городахъ очень ограничено, а въ деревняхъ ихъ и совсѣмъ нѣтъ. Волей-неволей, черная публика въ Теле, вмѣсто того, чтобы пьянствовать... читаетъ газеты!

Въ Бруннѣ, на берегу моря, собирается чистая публика. Тутъ «аркадіи—ливадіи» Гельсингфорса, представленныя всего однимъ учрежденіемъ этого сорта. «Столичные толпы»

всего въ двѣ-три сотни мужчинъ и дамъ слушаютъ маленькій оркестръ на маленькой эстрадѣ, менѣе цензурныя, чѣмъ у насъ, шансонетки и куплеты, исполняемые на маленькой сценѣ довольно захудалыми артистами—и пють пуншъ ромъ и хересь изъ большущихъ рюмокъ большущими глотками. Простому народу пить запрещено, но «правяшій классъ» пьетъ такъ сильно, что, не будь у финновъ такого флегматичнаго характера провинціальныхъ статистовъ, отъ скандаловъ, чинимыхъ пьяными, некуда было бы дѣваться. Характеръ спасаетъ: сначала раскраснѣются, потомъ совѣютъ и «тихо, благородно» идутъ спать.

Гельсингфорская «Аркадія» окончательно упрочила въ насъ театральное впечатлѣніе отъ города. Предъ нами была длинная и узкая прогалина, между деревьями парка, тянувшаяся до самаго моря. «Ночь», гласитъ афиша. Смотримъ, — настоящая театральная ночь, не похожая ни на день, ни на ночь, бѣлая, безъ звѣздъ и мѣсяца. «Направо и налево деревья» есть и это, деревья въ полумракѣ потеряли рельефы и превратились въ декорацию. «Вдаль уходитъ зеленая лужайка» и лужайка тщательно, точно подъ гребенку подстриженной травы — совсѣмъ декорациа, довольно удовлетворительно написанная. «Вдали море», есть и море, но его, какъ и слѣдуетъ на провинціаль-

номъ театрѣ, не видно: берегъ, на которомъ мы находимся, слишкомъ высокъ, а даль замкнута Свеаборгомъ. «По морю время отъ время проходятъ корабли» — проходятъ, съ надутыми парусами, но не качаясь, по невидному морю театральные кораблики, финскіе лайбы величиной съ лодку... Впрочемъ, это было очень мило, очень красиво.

Або.

На слѣдующій день около трехъ часовъ дня, когда мы сидѣли на палубѣ за обѣдомъ, мы подходили къ Або по узенькой, конечно, маленькой, но глубокой и благоустроенной рѣченкѣ Аурѣ. Вообще у Финляндіи всего немного, но это немного всегда отличнаго качества, — малъ золотникъ, да дорогъ. Обѣдъ былъ принесенъ очень не кстати. Ѣдимъ и вертимся на стулѣ, какъ не благовоспитанныя дѣти, рассматривая маленькія набережныя Ауры, маленькіе двухъэтажные абосскіе дома, зеленыя аллеи вдоль рѣки и каменныя громады стараго замка, новой центральной тюрьмы и древней церкви. Вертѣлись, вертѣлись и довертѣлись до интереснаго открытія. На противоположномъ концѣ стола видна чья-то очень знакомая голова. Моложавое лицо, пышная длинная борода, обильные волнистые волосы.

— Слушайте-ка, говорю я спутнику, — а, вѣдь, это нашъ беллетристъ Короленко, судя по его потретамъ.

Сангвиническій спутникъ, конечно, разразился выраженіями восторга на елабужскомъ діалектѣ и пошелъ знакомиться. Оказалось, дѣйствительно, В. Г. Короленко. Ёдетъ изъ Нижняго въ Аргентину, чрезъ Столькольмъ! Нижній, Аргентина, Петербургъ, что кажется общаго? А вотъ, угодно же было судьбѣ столкнуть насъ въ Або, на рѣкѣ Аурѣ, о которой мы до того и не слыхивали. Это то и представлялось моему спутнику въ высшей степени занимательнымъ, и елабужинскимъ восклицаніямъ не было конца.

— До чего братцы, занятно это путешествіе! воскликнулъ онъ. — И мѣстъ чудныхъ насмотришься, и людей милыхъ повстрѣчаешь! Куплю-ко-ся я себѣ шарманку, найму плясущую обезьяну, и пойду я по бѣлу-свѣту странствовать. Ой, хорошо путешествовать! Ой, дивно!

Во время короткой стоянки, мы прошлись по длиннымъ, но весьма немногочисленнымъ и скромнымъ улицамъ Або, посидѣли въ двухъ его садикахъ, содержимыхъ съ такою же ювелирною тщательностью, какъ и въ Гельсингфорсѣ, взглянули на монументы абосскихъ великихъ людей, размѣровъ огромныхъ, но ра-

боты аляповатой, и пришли къ знаменитому абосскому храму.

Какая великая сила—религія! Христіанство, родившись въ Палестинѣ, мощной волной залило все побережье Средиземнаго моря. Тутъ оно нашло высокую культуру, которая всѣми своими обширными средствами стала служить религіи. Быстро организуются религіозныя общины, возникаетъ церковная іерархія, вырастаютъ величественные храмы. Но это еще не такъ удивительно. Здѣсь былъ матеріаль, и подготовленные къ принятію новаго ученія люди, оставалось только усвоить новое содержаніе. Новая религія не остановила своего побѣднаго шествія тутъ, и ея приливъ сталъ разливаться дальше, глубже, къ варварамъ и дикарямъ. И всюду, куда онъ достигалъ, онъ несъ культуру, общественную организацію, науку и искусство. Все что до того тысячелѣтія пребывало въ хаотическомъ и бессмысленномъ состояніи, получило въ какіе-нибудь нѣсколько вѣковъ твердыя формы и ясное сознаніе. Этапы своего пути христіанство обозначало храмами, и вся Европа покрыта ими. Какое одушевленіе владѣло ихъ строителями, какую красоту сумѣли они вложить въ свои созданія! Ихъ формы стали закономъ и остаются до сихъ поръ. Для насъ онѣ теперь внѣшнее правило, *стиль*, стиль византій-

скій, готическій, ренессансъ; въ свое время это былъ чудный порывъ свободнаго вдохновенія, восторгъ художника. И этотъ поэтический восторгъ разлился всюду, до краевъ тогдашняго міра, до Волги, до порога Сибири, до болотъ Польши, до холодныхъ озеръ Финляндіи. Откуда *тутъ* брались духовныя силы художниковъ и физическія силы работниковъ, чтобы создавать храмы такой огромной величины и такой красоты? Я не разъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ, глядя на храмы сѣверной Волги, любуясь никому неизвѣстнымъ романо-готическимъ великаномъ XII вѣка, близъ глухого уѣзднаго городка Польши, наконецъ, теперь предъ величественной громадой абоскаго собора.

Какъ ни малъ Або, но книжныхъ магазиновъ въ немъ нѣсколько. Въ окнахъ, конечно, ни одного русскаго сочиненія; зато вездѣ, на нѣсколькихъ языкахъ, опять кромѣ русскаго, — послѣдняя брошюра г. Мехелина по «Финляндскому вопросу», въ формѣ письма къ редактору нашего «Journal de St.-Petersbourg». Заходимъ купить ее.

— А что, Короленко переводятъ на шведскій языкъ? спрашиваетъ меня спутникъ.

— Не знаю. Спросимъ.

И мы знаками и разными международными звуками начинаемъ расспрашивать объ этомъ

предметъ приказчиковъ, которые, конечно, говорятъ только по-шведски.

— Короленко? Э? Короленко? А?

— О! О!

И намъ подають книжечку. Заглавіе: Ку-окколекко, или что-то въ родѣ того. Оказывается, такъ называются дорожные финско-шведскіе разговоры.

— Мм! Мм! отрицательно трясемъ мы головой, точно глухонѣмые, задумываемся и изобрѣтаемъ способъ объясниться.

— Tol-stoi, на иностранный ладъ и вразумительно говоримъ мы.

Приказчикъ издаетъ утвердительное международное ржаніе и хочетъ бѣжать за переводами Толстого. Мы поспѣшно его останавливаемъ сердитымъ мычаніемъ глухонѣмого.

— Tur-ge-neff, по складамъ произносимъ мы.

Опять ржаніе приказчика и его прыжокъ къ полкамъ, и опять мычаніе съ нашей стороны и нашъ останавливающий прыжокъ по направленію къ приказчику.

— Ко-ro-len-ko, громогласно говоримъ мы.

Отвѣтное ржаніе приказчика на этотъ разъ звучитъ восторгомъ, ракетой взлетаетъ онъ по лѣсенкѣ къ верхней полкѣ, — и передъ нами шведскіе переводы «Слѣпого музыканта» и «Лѣсъ шумитъ».

Если финляндцы думаютъ, что такой способъ объясненія съ ними русскихъ, французовъ, нѣмцевъ и англичанъ (вмѣстѣ это составитъ милліоновъ триста душъ) пріятенъ и удобенъ, то пусть они продолжаютъ говорить только по-шведски (4½ милліона шведовъ).

В. Г. Короленко намъ удалось доставить удовольствіе: онъ не зналъ, что переведенъ на шведскій языкъ. Мало того, въ Або онъ спрашивалъ объ этомъ, но ему глухонѣмые приказчики вмѣсто Короленки подали упомянутую Куокколекку, а самъ онъ не былъ такъ настойчивъ, какъ мы.

Въ половинѣ седьмого вечера «Norra Finland» оставила Або. До поздней ночи мы проговорили, то за чайкомъ, то за шведскимъ пуншемъ, о Нижнемъ и минувшемъ голодѣ, объ Аргентинѣ и тамошнихъ польскихъ и еврейскихъ колоніяхъ, которыя ѣдетъ изучать В. Г. За полночь мы остановились у невѣдомаго городка, на невѣдомомъ Аландскомъ островкѣ. Подошла лодка, взяла полусонную дѣвушку и повезла ее въ невѣдомый городокъ. Было тихо, полутемно, на уходившей лодкѣ медленно развѣвался длинный бѣлый вуаль на соломенной шляпкѣ невѣдомой дѣвушки. Мы тронулись дальше.

II.

СТОКГОЛЬМЪ.

Мы ориентуемся.

Ночная бесѣда тянулась долго, спать легли поздно, и приближеніе къ Стокгольму мы проспали, проспали почти намѣренно. Съ одной стороны, нужно было беречь силы для самого Стокгольма. Съ другой, мы знали, что обратно уйдемъ вечеромъ и тогда успѣемъ отлично наглядѣться на его заливъ и острова.

— Штокгольмъ, herga! Штокгольмъ! раздается за дверью голосъ синеглазой горничной.

Пора подниматься.

На палубѣ мой спутникъ весело оглянулся на всѣ стороны и зычно воскликнулъ:

— А штука-то того, ловкая!

Подъ шукой онъ разумѣлъ Стокгольмъ. «Norra Finland» остановилась у каменной набережной, которая была развѣ немногимъ выше петербургской. Направо и налево въ одинъ рядъ, но густо, стояло множество такихъ же, какъ и «Finland», средней величины, длинныхъ и узкихъ пароходовъ, съ шведскими и финскими флагами. На берегу—сначала небольшіе желѣзные пакгаузы, за ними неши-

рокая улица, за улицей сплошною ровною стѣною поднимаются одноцвѣтные, сѣрые, высокіе дома. Набережная не велика: и направо, и налево она загибаетъ назадъ, и вмѣсто ея камней видна зеленоватая вода. На домахъ, противъ насъ, написанныя прямо на стѣнѣ вывѣски: все—торговья конторы, парходныя агенства и страховыя общества. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ дома раздѣляются переулками, которые заставляютъ спутника воскликнуть:

— Вотъ такъ переулки! Даже на-диво беретъ!

Дѣйствительно, переулки были шириною въ два, три аршина—не больше.

— А между тѣмъ, гляньте-ка, чистота тамъ какая! продолжалъ изумляться спутникъ, и вдругъ усиленно сталъ втягивать носомъ воздухъ.—И не пахнетъ ничѣмъ, а! Вѣтеръ, вѣдь, оттуда, а ничѣмъ не смердитъ! До чего дошли-то! Послѣднія времена: въ какой тѣснотѣ живутъ, а живымъ не пахнетъ!

Дѣйствительно, и «живымъ» не пахло, и чистота была образцовая. Не то, что въ Москвѣ, или въ ужасномъ старомъ кварталѣ Варшавы, гдѣ я однажды, въ наказаніе за мое туристское любопытство, чуть не поплатился обморокомъ отъ нестерпимаго зловонія.

Прямо передъ нами была «штука» порядка и чистоты. Позади, направо и налево—«шту-

ки» красоты. Тамъ разстилалась водная поверхность, не то озеро, не то рѣка, мѣстами шириною съ Неву въ Петербургѣ, мѣстами уже. Тамъ и сямъ видны были заливчики, то узкіе и острые, то полукруглые. Вода была чистая, зеленоватая. Надъ водою летали огромныя бѣлыя морскія чайки. Берега мѣстами отлого спускались къ водѣ, укрѣпленные невысокой набережной, мѣстами обрывались высокими сѣрыми скалами. И всюду—городъ и сады. Дома надъ домами, дома подъ домами, амфитеатрами взбирались на каменистые холмы. Налѣво эти дома были такіе же, какъ на нашей набережной, сѣрые, однообразные, съ гладкими стѣнами, — должно-быть, кварталъ средней руки. Направо — кварталъ богатый: дворцы хитрой, но изящной архитектуры, образчики которой мы уже видѣли въ Гельсингфорсѣ. Позади, насупротивъ нашей пристани,—сплошные зеленые сады, среди которыхъ возвышаются красивыя красныя башни и зданія. Среди застроенныхъ домами кварталовъ подымается два-три шпиля, очевидно—церкви, и огромная готическая башня; сквозная, сотканная изъ какихъ-то нитей башня не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ центральной телефонной станціей. Общее впечатлѣніе, которое производитъ эта оригинальная картина, не столько величественное, сколько изящное, хотя

и не лишенное нѣкоторой суровости и холода. На шхерахъ, однообразныхъ и немного угрюмыхъ, раскинулся изящный, смѣлый городъ, изукрашенный зеленью парковъ. Но сѣверъ все-таки даетъ себя знать блѣднымъ небомъ, а шхеры пепельно-сѣрыми скалами. Говорятъ, Стокгольмъ похожъ на Константинополь. Да, похожъ, какъ трехлѣтній ребенокъ на взрослога. Говорятъ, что онъ напоминаетъ Неаполь. Это уже смѣшно. Это все равно, что сравнивать рѣпу съ персикомъ. Конечно, и рѣпу иной разъ можно съѣсть съ удовольствіемъ, но никто не станетъ утверждать, что ея аромать, сокъ, нѣжность—такіе-же, какъ у персика. Неаполь, это — сладкій сонъ, сказка, дивная пѣсня, музыка; Стокгольмъ—дѣльная грамотная рѣчь, добропорядочная дѣйствительность. Неаполь создали, по крайней мѣрѣ, поэты. Стокгольмъ построилъ толковый и не лишенный вкуса архитекторъ. Неаполь—цѣлая страна. Стокгольмъ — городъ средней руки. Въ Неаполѣ солнце и скалы—золото, сады—изумрудъ, небо — лазурь. Въ Стокгольмѣ море—слегка полинявшій, зеленый коленкоръ, а скалы—окаменѣвшая зола. Однако, защитивъ Константинополь и Неаполь отъ излишнихъ притязаній Стокгольма, я все-таки долженъ сознаться, что Стокгольмъ очень красивый и оригинальный городъ. Послѣ Петербурга онъ

произведеть сильное и пріятное впечатлѣніе. Послѣ Петербурга, но не послѣ Москвы, которая несравненно величественнѣй, самобытнѣй и изящнѣй шведской столицы, несмотря даже на отсутствіе въ нашей первопрестольной воды и присутствіе «живого духа».

Выходя на берегъ, мы со спутникомъ дали другъ другу три торжественныя обѣщанія: не ѣздить на извозчикахъ, не брать проводниковъ и не осматривать музеевъ. Толпа и улица—вотъ что избрали мы предметомъ наблюдений. Пѣшкомъ, конка, пароходики омнибусы — вотъ средства передвиженія. Въ три неполные дня, которые мы можемъ подарить Стокгольму, все равно не изучишь музеевъ и древностей, тогда какъ проведя это короткое время въ толпѣ,—все-таки ознакомишься съ ея чуждой намъ, интересной жизнью. Первый нашъ шагъ на шведской землѣ былъ въ кафэ, какъ разъ противъ парохода.

— Слушайте-ка, хозяйскія дочки, должно-быть, сказалъ спутникъ, присматриваясь къ наряднымъ, голубоглазымъ и кроткаго вида дѣвицамъ, которыя подавали намъ чай и завтракъ.

— Просто служанки.

— О! А благородство какое! Смотрите, смотрите! Ну, конечно, хозяйскія дочки!

Въ это время вошелъ въ кафэ вѣжливый и голубоглазый мальчуганъ подростокъ, очевидно, посыльный, и кротко подалъ одной изъ «хозяйскихъ дочекъ» букетъ. Та кротко букетъ понюхала и нѣжно стала перебирать пальчиками отдѣльные цвѣтки, любовно вглядываясь въ нихъ.

— Букеты присылаютъ! Не служанкамъ же! продолжалъ спутникъ. — До чего все благородно! И глаза такіе невинные!

Въ дверяхъ появился штурманъ нашего парохода. Заинтересованный спутникъ устремился къ нему и быстро разговорился по шведски.

— Fröken? спросилъ онъ и указалъ на кроткихъ дѣвицъ.

Штурманъ недоумѣвалъ.

— Flicka? продолжалъ спутникъ.

Снова недоумѣніе.

— Эка, чудакъ! Вотъ это, вотъ: Fröken она хозяйская, или Flicka при ресторанѣ, Keller Flicka? А?

— Flicka, Flicka! воскликнулъ штурманъ, понявшій вопросъ, и послѣ того долго, оживленно и лукаво что-то объяснялъ намъ по шведски, чего мы совершенно не поняли. Но главное было понятно. Въ коротенькомъ словарикѣ, приложенномъ къ нашему путеводителю, подъ словомъ Fröken стояло барышня,

а подъ Flicca: — простая дѣвушка. Прислужницы оказались Flick'ами.

— Ну, скажите на милость, какое благородство! повторялъ мой спутникъ, и принялся за завтракъ, но, по свойственной ему сангвиничности, не успокоился.

— Стойте - ка. Какими же деньгами мы будемъ платить обратился онъ ко мнѣ.

— Въ Петербургѣ я намѣнялъ шведскихъ.

— Покажите, покажите.

Я далъ ему нѣсколько кронъ и нѣсколько оръ. Спутникъ внимательно сталъ ихъ разсматривать и вдругъ захохоталъ отъ всей души.

— Чему вы обрадовались?

— Да ужь больно чудно это: первый разъ попасть за границу. Дома другіе, девѣ въ трактирахъ другое, ни одинаго слова не понимаешь, и даже деньги и тѣ непонятныя. Ой, больно чудно, больно чудно!

И спутникъ продолжалъ хохотать, въ полномъ удовольствіи. Вслѣдъ затѣмъ онъ переименовалъ «для понятности и памяти» кроны въ коронки (какъ въ вингѣ) и оры въ еры, точно также, какъ во время пути, тоже «для понятности», Або превратилось у него въ Бабу, а Мариенгамнъ въ нѣчто ужь совсѣмъ непонятное.

Позавтракавъ, мы раскрыли нашъ путеводитель и, не торопясь, пошли куда глаза гля-

дять. Я изображалъ гида. Спутникъ съ безпечно-сіяющими глазами осматривался и каждый разъ примѣчалъ что-либо «чудное».

— Господи, да неужели это бутарь ихній!? воскликнулъ онъ. — Ровно бы нашъ полицмейстеръ.

Посреди улицы стоялъ, дѣйствительно, «ихній бутарь» и имѣлъ видъ, дѣйствительно, нашего полицмейстера. Статный, высокій, голубоглазый и свѣтлорусый, конечно, вѣжливый, одѣтый въ военный сюртукъ изъ тонкаго чернаго сукна съ большими золотыми пуговками. На головѣ—черная каска съ золотымъ шишакомъ; на рукахъ—бѣлая замшевая перчатки; при бедрѣ сабля. Стоитъ съ достоинствомъ и какъ будто ничего не видитъ и ничѣмъ не распоряжается. Среди проходящихъ и проѣзжающихъ у него, повидимому, много добрыхъ знакомыхъ, потому что съ нимъ часто раскланиваются, а онъ всѣмъ отвѣчаетъ, прикладывая руку къ каскѣ. Особенно удивляло моего спутника то, что въ числѣ добрыхъ знакомыхъ городского было много извозчиковъ, тогда какъ, по русскимъ нравамъ, городовому съ извозчикомъ полагается жить, какъ кошкѣ съ собакой.

Послѣ городскихъ спутникъ былъ пораженъ экипажами стокгольмскихъ ломовиковъ, Ни одного четырехколеснаго, а все двуколки!

Впрочемъ, два колеса еще куда ни шло, но конструкция повозокъ была, въ самомъ дѣлѣ, диковинная. Читатель; конечно, видѣлъ, какъ деревенскіе ребятишки качаются на доскѣ, положенной серединою на обрубокъ бревна. Вотъ, стокгольмская ломовая телега и имѣетъ видъ такихъ качелей. Роль обрубка играетъ ось на очень низкихъ колесахъ. Мѣсто доски занимаютъ два параллельные бруса. Вся ширина такой телѣги меньше аршина, а длиною аршина четыре, пять.

Примѣтивъ телѣги, спутникъ, конечно, примѣтилъ и лошадей, которыя оказались нимало не похожими на извѣстныхъ у насъ «шведокъ». Это были большіе, сильные, спокойные кони, большею частью, темногнѣдые, хорошо кормленные, хорошо вычищенные.

— И умные, должно-быть, скоты, говорилъ спутникъ.—Право, даже смотритъ она, скотина, по-человѣчески, прибавилъ онъ, вглядываясь въ морду привязанной къ тумбѣ лошади.

Конь, дѣйствительно, стоялъ съ такимъ же достоинствомъ и сознательностью, какъ «ихній бутарь». Спутникъ глядѣлъ на коня, а конь глядѣлъ на него. Спутникъ наблюдалъ новую для него лошадь, а конь разсматривалъ новаго для него человѣка. Когда они достаточно наглядѣлись, оба отвернулись и мысли ихъ приняли новое теченіе.

— Одно, тутъ будто и скучновато, заговорилъ спутникъ, — галды мало. Молчатъ, словно въ ротъ воды набрали. Ни галокъ, ни воронъ, ни разносчиковъ, не ругается никто, не зубоскалить никто. Спутникъ вдругъ обезпокоился. — Помните, въ прошломъ году у насъ, въ Самарѣ и въ Оренбургѣ, въ самую холеру, такъ же вотъ молчали. Ой, какъ это мрачно выходитъ у нихъ! даже вздрогнувъ прибавилъ онъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ Самарѣ и Оренбургѣ уличная толпа была такъ молчалива только въ разгаръ холеры. Точно такъ же, не оглядываясь по сторонамъ, шли одинокіе прохожіе. Такъ же шедшіе группами лишь изрѣдка обмѣнивались негромкими, отрывистыми фразами. Такъ же, слегка сторбившись и задумавшись, сидѣли на козлахъ извозчики и ломовики. Разница была только въ томъ, что здѣсь молчали спокойно, а тамъ, въ Россіи, на лицахъ была написана тяжелая, гнетущая забота. Въ остальномъ здоровая шведская толпа похожа на больную русскую. Когда русскій человекъ здоровъ, онъ непременно шумитъ. Извозчики огрызаются на городскихъ; городские воюютъ съ извозчиками, разносчики и торговки распѣваютъ свои припѣвы; идущая съ работы артель оживленно болтаетъ, несмотря на усталость; разныя мелкія уличныя прои-

сшествія непременно вызываютъ замѣчанія, остроты и смѣхъ. Это идущая толпа, а стоящую на мѣстѣ ужь и говорить нечего. Извозчичья биржа — клубъ, а базаръ, извѣстное дѣло — базаръ. Здѣсь же даже торговли овощами и фруктами, и тѣ ограничиваются или двумя-тремя словами, или просто молчаливымъ кивкомъ головы. Даже умныя стокгольмскія лошади, и тѣ не ржутъ и не пробуютъ подбрыкнуть. Такъ велика разница въ темпераментѣ двухъ странъ, и не мудрено, что мой «перерусскій» спутникъ, наблюдая тишину Стокгольма, до того живо вспомнилъ времена оренбургско-самарскаго мора, что даже вздрогнулъ.

Помаленьку двигаемся впередъ. Загнувъ по набережной влѣво, натыкаемся на подвальный этажъ какого-то громаднаго зданія. Двери въ подвалъ отворены, видна рѣшетка, а за нею навалено множество ящичковъ съ бутылками вина. Дверь окружена громадною аркой сложенной изъ колоссальныхъ закопченныхъ булыжниковъ. Справляемся съ путеводителемъ, — оказывается, мы наткнулись на уголь королевскаго дворца. Передъ нимъ набережная образуетъ цѣлую площадь, а вода разстилается большимъ озеромъ. Подходимъ къ самой водѣ и рассматриваемъ дворецъ издали.

Поистинѣ великолѣпное зданіе, одно изъ немногихъ которыя составляютъ художествен-

ное произведеніе, въ которое строителю удалось включить душу, придать индивидуальность, жизнь, заставить говорить. Дворецъ колоссаленъ, величествененъ и спокоенъ. Выстроенный въ стилѣ ранняго итальянскаго ренессанса, онъ напоминаетъ своей мужественной и простой красотой флорентійскій palazzo Pitti, но превосходитъ его размѣрами. Главное зданіе, въ шестьдесятъ сажень длиною и почти столько же шириною, стоитъ на вершинѣ холма. Отъ него къ набережной спускаются два крыла, между которыми заключенъ изящный садикъ, не закрывающій, а только веселящій собою главный фасадъ. Строился этотъ колоссъ, вмѣщающій восемьсотъ комнатъ, долго: начали его до Карла XII, потомъ по причинѣ войнъ этого безпокойнаго короля, поглощавшихъ всѣ средства, остановились и окончили уже послѣ Карла. Зато дворецъ вышелъ такой, какихъ на свѣтѣ мало. И видъ изъ него чудесный. У подножія — зеленый фьордъ, оживленный судами, а дальше — городъ на островахъ, новые заливы и заливчики, новые острова съ лѣсами и парками. И такъ до горизонта.

Загибаемъ опять влѣво, идемъ вдоль дворца и приходимъ къ высокому мосту, переброшенному черезъ неширокую воду. За мостомъ опять городъ. На той сторонѣ, справа, у са-

мой воды, небольшой густой садъ, среди деревьевъ котораго, къ нашему великому удивленію, поднимаются пирамидальные тополи, о которыхъ въ Петербургѣ, лежащемъ почти подъ тою же широтою, что и Стокгольмъ, и рѣчи быть не можетъ. Въ саду разставлены столики, настроены кіоски, мелькаютъ лакеи. Очевидно, это увеселительный садъ. Но какой? Что это за мостъ? Что за вода подъ нимъ: рѣка или море? Очевидно, мы на островѣ, но какъ его зовутъ? И что впереди, опять островъ или уже материкъ? Раскидываю на парапетѣ набережной планъ города и ориентируюсь.

— Неловко, говоритъ спутникъ — народъ соберется.

Но шведскій народъ вѣжливъ, и никто не только не остановился съ разинутымъ ртомъ, но даже не позволилъ себѣ взглянуть слишкомъ пристально. Поведутъ глазами и пройдутъ, словно бы ничего и не замѣтили. Мы могли заниматься нашимъ дѣломъ совершенно спокойно, и оказалось слѣдующее.

Мы въ самомъ сердцѣ Стокгольма и въ самой древней его части, на островѣ Штаденѣ (городъ), гдѣ въ половинѣ тринадцатаго столѣтія шведскій ярлъ (герцогъ) Биргеръ основалъ Стокгольмъ. Мостъ, по которому мы пришли, перекинутъ черезъ протокъ, соединяющій огромное озеро Меларъ съ морскимъ

фьордомъ. Но, оказывается, мостъ двойной; первая его часть ведетъ на маленькій островокъ, гдѣ и расположенъ видный намъ садъ съ тополями, и уже по второй его части переходятъ съ островка (Helgeands Holmen) на материковыя части Стокгольма, Norrmalm и Ostermalm, застроенныя великолѣпными домами-дворцами, въ особенности вдоль набережныхъ. Norrmalm и Ostermalm лежатъ на сѣверъ отъ центра острова Штадена. На югъ отъ послѣдняго, тоже за протокомъ Мелара, — Södermalm съ его кварталами средней руки. На востокъ за широкими морскими рукавами, — большой островъ Djurgården (Thiergarten, т.-е., Звѣринецъ), представляющій сплошной паркъ съ увеселительными заведеніями. Наконецъ, съ запада около самаго Штадена, за узенькимъ каналомъ, лежитъ маленькій островокъ Riddarholmen (Дворянскій), гдѣ во времена оны жила аристократія, тогда какъ въ щелеподобныхъ улочкахъ Штадена ютилась буржуазія. Въ общемъ, планъ Стокгольма изображаетъ двойной развернутый вѣеръ: общая ручка — Штаденъ, сѣверный вѣеръ — Norrmalm и Ostermalm, а южный Södermalm.

Планъ изучень — куда же, идти сначала? Съ набережныхъ Norr и Ostermalm'a на насъ смотрѣли такіе великолѣпные дома, а Djurgården такъ заманчиво зеленѣлъ своимъ пар-

комъ, что мы рѣшили идти этими набережными къ парку.

Идемъ и поминутно останавливаемся. Helgeands Holmen оказывается простой отмелью, чрезъ которую ведетъ къ обоимъ мостамъ высокая дамба. Справа внизу на отмели замѣченный нами садъ Strömparterren, гдѣ вечерами бываетъ музыка и гулянье. Слева, на самой дамбѣ — рядъ низкихъ одноэтажныхъ магазиновъ и кафэ. Въ магазинахъ цѣны на выставленный товаръ повергають моего спутника въ восторженное изумленіе своею дешевизною, и онъ долго стоитъ передъ окнами, не пропускаая ни одного. Осмотрѣлъ и изумился однимъ окномъ, пятымъ, десятымъ, заглядываетъ въ пятнадцатое и превращается въ соляной столбъ, съ тою лишь разницею, что столбъ, да еще соляной, не могъ бы изобразить на своемъ лицѣ такого восторга. Заглядываю въ окно и я, и вижу, что лицомъ къ лицу съ моимъ спутникомъ, отдѣленная только зеркальнымъ стекломъ, стоитъ, дѣйствительно, красавица-шведка, съ огромными голубыми глазами, которые смотрять, по шведскому обычаю, кротко до влюбленности, какъ у газели. Мгновеніе, другое — красавица отвернулась и отошла въ глубь помѣщенія, которое оказалось кофейной. И тотъ часъ же дамба Helgeands Holmen огла-

силась зычнымъ елабужскимъ голосомъ и такими удивительными вятскими идиотизмами, какихъ она, конечно, никогда не слыхала, да и не услышитъ:

— Ой, братцы, хохуля-то какая! То-есть до чего мурсыя башенькая! Вотъ такъ дѣвуля! Вотъ такъ краля!

Съ такими восклицаніями мы перешли на Norrmalm и долго не могли успокоиться и сосредоточиться на новыхъ стокгольмскихъ диковинахъ. Впрочемъ, диковины, которыя попались тотчасъ за мостомъ, были не перваго сорта. Это были: конная статуя одного изъ безчисленныхъ шведскихъ Густавовъ-Адольфовъ, весьма неуклюжая и аляповатая, и темный и тяжелый дворецъ наследника престола. На этой же площадкѣ строится оперный театръ. Постройка, огороженная заборомъ, разведена огромная, театръ будетъ великолѣпный, но и это большое дѣло работаетъ но шведскому обыкновенію безъ шума и пѣсенъ, безъ толпы и толкотни и безъ видимыхъ усилій. Такъ вырастаютъ у нихъ, точно сами собою, дома, набережныя, мосты, доки. Рабочіе имѣютъ видъ скорѣе надзирающихъ за этой работой. Впрочемъ, тишина и незамѣтность служатъ отличительными признаками всякой работы Западной Европы. Шумятъ и толпятся только у насъ, да на

Востокѣ. Различіе это зависитъ, вѣроятно, отъ того, что въ Европѣ больше напираютъ на машину, а у насъ на станovou жилу, да на селезенку, которыя и кряхтятъ и *екаютъ* отъ натуги. Въ Европѣ планъ работъ заранѣе разработанъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, а у насъ и важныя его части обсуждаются тогда, когда приходитъ пора приводить ихъ въ исполненіе. Наконецъ, въ Европѣ торопятся начать дѣло, а, начавши, исполняютъ его спокойно, тогда какъ мы торопимся поскорѣе его окончить. Всѣ эти соображенія я сообщилъ спутнику, но онъ, какъ извѣстно, въ тайникахъ души ставившій Елабугу выше Парижа, нашель, что это вздоръ, и что «родная Дубина» куда лучше «аглицкой машины». Я сталъ спорить, спутникъ тоже сталъ спорить. Я говорилъ, что русскаго надо учить, спутникъ говорилъ, что русскимъ надо восхищаться. Я утверждалъ, что уже достаточно имъ навосхищались, и пора заняться чѣмъ либо болѣе умнымъ и полезнымъ; спутникъ замѣтилъ, что это рабское поклоненіе Европѣ. Я отвѣтилъ, что рабскаго тутъ ничего нѣтъ, а, просто, я признаю заслуги Европы и ея достоинства... Заспоривъ—старый споръ западниковъ и славянофиловъ—мы прошли на набережной мимо какого-то сада и остановились около великолѣпнаго угольного дома. Въ

домъ — столь же великолѣпный магазинъ. За его громадными зеркальными стеклами, какъ водится, выставка. Спутникъ присмотрѣлся къ ней, прервалъ споръ и иронически посмотрѣлъ на меня. За стеклами стояли деревянные жбаны — совсѣмъ костромскіе, рѣзные ларчики — совсѣмъ вятскіе, берестяные кошели — точь-въ-точь тверскіе, вальки для бѣлья — совершенно вологодскіе, а фотографическіе снимки съ деревенскихъ церквей — ни-дать-ни-взять олонецкихъ.

— Вотъ, сказалъ спутникъ, — вотъ вамъ отвѣтъ: русскіе кустари и русская народная архитектура!

— А вотъ мой отвѣтъ, сказалъ я, и указалъ на вывѣску магазина.

Вывѣска гласила, что здѣсь продаются предметы шведскихъ и норвежскихъ кустарей, Folkskonst. Всѣ эти жбаны, ларцы и кошели, столь похожіе на костромскіе, вятскіе и тверскіе, оказались родомъ изъ разныхъ Далекарлій, Норландій, Зедерманландій и Остерготландій. Тамъ же была родина и «олонецкихъ» церквей, снимки съ которыхъ продавались въ магазинѣ.

— И знаете-ли, безжалостно продолжалъ я, — откуда происходитъ непонятное и нелѣпое слово: кустарь? Отъ нѣмецкаго Kunst а въфроятнѣе — отъ шведскаго Konst.

Должно-быть, спутникъ почувствовалъ, что онъ не правъ, потому что разсердился. Да и какъ было не разсердиться, когда вятскаго кустаря, который склоненъ думать, что чортъ, особенно изъ тѣхъ, что помоложе и мельче чиномъ, похожъ на нѣмца,—производятъ отъ того же нѣмца.

— Но утѣшьтеся, поспѣшилъ я разсѣять дурное настроеніе спутника.—Здѣсь народное искусство такъ и заглохло, оставшись простонароднымъ и несовершеннымъ, а мы изъ того же сѣмени, по всѣмъ вѣроятіямъ заимствованнаго, уже выростили нѣчто общечеловѣческое, что завоевываетъ себѣ міровую извѣстность подъ именемъ русскаго стиля. Таковы наши московскія церкви, наши серебряныя работы, нашъ рукодѣльный орнаментъ. Не нужно только важничать и забывать услуги другихъ.

Спутникъ удовлетворился такою «формулой перехода къ очереднымъ дѣламъ», и мы занялись тѣмъ, что попало на очередь, садомъ Kungsträdgården. Это—Александровскій садъ Стокгольма, по оживленію, но не по величинѣ и планировкѣ. Скверъ имѣетъ видъ удлиненаго четырехугольника, вдоль большихъ сторонъ котораго тянутся двойныя липовыя аллеи. Внутри—нѣсколько лужаекъ, съ цвѣтами, двѣ огромныя статуи двумъ Карламъ, двѣнадца-

тому и тринадцатому, и фонтанъ. Липы цвѣли и благоухали, гуляющихъ днемъ мало, и мы безъ помѣхи могли ориентироваться въ скверѣ. Наибольшее вниманіе было обращено, разумѣется, на Карла XII. Онъ угрожалъ навѣки погубить міровое значеніе Россіи, онъ навсегда погубилъ Швецію, какъ первоклассную державу, у него мы отняли «окно въ Европу», онъ выучилъ насъ воевать, изъ его страны заимствованы первые европейскіе административные и общественные порядки нашего отечества, онъ воспѣтъ Пушкинымъ, словомъ, онъ герой столько же русской исторіи сколько и шведской. Его имя въ Россіи возбуждаетъ несравненно болѣе отрадныя воспоминанія, чѣмъ въ сердцахъ шведовъ, такъ что, пожалуй, и не понятно, съ какой стати шведы поставили ему монументъ. Карлъ изображенъ въ простомъ походномъ сюртукѣ и страшилищныхъ сапогахъ на страшилищной толщине подошвахъ. Карлъ стоитъ съ открытой головой, съ неподвижнымъ и невыразительнымъ лицомъ маниака, чѣмъ онъ въ сильной степени и былъ, и показываетъ лѣвой рукой на востокъ,—на Россію. Что долженъ означать этотъ жестъ? Спутникъ объяснилъ его такъ: «тамъ, братцы, пропалъ я, какъ шведъ подъ Полтавой,—не суйтесь туда». Въ самомъ дѣлѣ, подписи подъ монументомъ

нѣтъ никакой, шведы—народъ благоразумный, и, можетъ быть, мой спутникъ и правъ.

Садъ, вокругъ Карла, полный контрастъ его черной бронзовой и грубовато моделированной и отлитой статуѣ. Позади, полукружіемъ, образуя живую зеленую нишу, высоко поднимаются старые итальянскіе тополи. За ними — ярко-зеленая, причесанная травинка къ травинкѣ и низко подстриженные лужайки рейграса. На нихъ точно разноцвѣтными шелками вышитые орнаменты узорчатыхъ цвѣтниковъ. Лужайки окаймлены кустами сирени, уже отцвѣтшей, и жасминомъ и розами (*rugosa rubiginosa*), стоявшими въ полномъ цвѣту. Дальше, вглубь, сквера — фонтанъ въ видѣ замысловатой и очень изящной огромной чаши, окруженный ивами. Затѣмъ новыя бархатныя лужайки, новыя цвѣтники и статуя Карла XIII. которую воздвигъ Карлъ XIV. У шведовъ всѣ короли были либо Карлы, либо Густавы. Отъ Карловъ мы пошли дальше.

Хорошій городъ Стокгольмъ! Вы не устанете ходить и смотрѣть. Наскучили чугунные Карлы и Густавы, смотрите на садики, которые не велики, но разбросаны повсюду между темно-кофейными и шоколадными фасадами красивыхъ домовъ. Приглядѣлись дома и сады, сдѣлайте нѣсколько шаговъ, — и передъ вами зеленые виды фьорда или Мелара, съ

извилистыми, холмистыми берегами. Мы такъ и сдѣлали: изъ сквера снова вышли на набережную и, любуясь видомъ, стали поджидать конку, которая должна была отвезти насъ въ отдаленный Djurgarden. Небольшой желтый вагонъ безъ имперіала, запряженный парюю большихъ лошадей, скоро насъ нагналъ, мы сѣли, и насъ повезли быстрой рысью по набережной, гдѣ справа зеленѣлъ фьордъ, а слѣва возвышались дома, одинъ красивѣе другого. Наше вниманіе раздѣлилось между городомъ и порядками конки.

Кучеръ—джентльменъ, почти такой же величественный, какъ и «ихніе бутари». Кондукторъ—тоже джентльменъ. Ёдутъ и, то и дѣло, отдають честь. Идетъ встрѣчный вагонъ — непременно подъ козырекъ. Ёдутъ мимо городского — честь. Встрѣчаютъ знакомаго — честь. А сами голубоглазые, свѣтлоусые и высокіе. Все поклоны и поклоны, и ни одного слова, а такъ только какіе-то шведскія гласныя, среднія между *a*, *o* и *e*, и на письмѣ изображаемыя хитрыми знаками, въ видѣ *a*, *ö*, *oae*, *aео*,

Голубоглазый джентльменъ-кондукторъ протягиваетъ намъ какую-то стеклянную копилку. На всѣхъ языкахъ, кромѣ шведскаго, мы спрашиваемъ, что это значитъ, и получаемъ длинное и обстоятельное разъясненіе, изъ кото-

раго ровно ничего не понимаемъ, ибо оно дается именно на шведскомъ языкѣ. Тогда, догадываясь, что это съ насъ требуютъ плату за проѣздъ, протягиваемъ кондуктору крону. Кондукторъ киваетъ головой, лѣзетъ къ себѣ въ сумку и подаетъ намъ бумажный пакетикъ такого вида, въ какіе аптеки завертываютъ порошки.

— Не продаютъ-ли кондуктора какія-нибудь шведскія лакомства? догадывается спутникъ.— Чудно!

— Что намъ съ этимъ дѣлать? знаками спрашиваемъ мы кондуктора.

— Разломать, тоже знаками отвѣчаетъ тотъ.

— И съѣсть?

— Не ѣсть, а разломать! Разломать!

Покорно разламываемъ,—и изъ пакета сыплются крохотныя монетки, по десяти öр. Оказывается, это кондукторъ размѣнялъ намъ нашу крону. Копилка снова настойчиво протягиваетъ къ намъ. Очевидно, туда опускается плата за проѣздъ. Опускаемъ одни десять öр—мало. Еще десять—довольно. Монетки лежатъ на первомъ днѣ стеклянной копилки, кондукторъ смотритъ, положено-ли все, что слѣдуетъ, надавливаетъ пружинку, и деньги проваливаются внизъ, въ темное отдѣленіе кружки.

— А билеты?

— Нѣтъ билетовъ.

Ни билетовъ, ни контролеровъ. Мало того, на нѣкоторыхъ линіяхъ приходится пересаживаться въ другіе вагоны, и тогда кондукторъ вручаетъ вамъ контрмарку, которая даетъ право ѣхать дальше безъ новой платы. Рѣдко когда васъ просятъ предъявить контрмарку, и никто у васъ ея не отбираетъ, а вы сами бросаете ее въ вагонъ въ особый ящикъ. Это было такъ удивительно, что мостъ Djurgardsbron, который мы переѣзжали, огласился столь же зычнымъ голосомъ, какъ недавно дамба Norrbro:

— Ахъ ты, дьяволы, честные какіе! У насъ при такихъ порядкахъ, ей-Богу, и я бы испытался: только бы на шармака и ѣздить. До чего честны, будь они неладны.

Пока происходила и разъяснялась исторія съ копилкой, мы проѣхали набережную Strandvägen, переѣхали черезъ мостъ и быстрой рысью катили по парку: это уже начался Djurgarden. Проѣхавъ саженой двѣсти, повернули вправо и стали.

— Разъѣздъ?

— Нѣтъ, конецъ линіи.

Вотъ тебѣ и на! Нашъ планъ Стокгольма на такомъ огромномъ листѣ, сами мы такъ привыкли къ большимъ петербургскимъ разстояніямъ, что линія въ Звѣринецъ представ-

лялась намъ чѣмъ-то въ родѣ поѣздки въ Новую Деревню съ Михайловской площади. На самомъ дѣлѣ, мы едва-ли проѣхали разстояніе, равно разстоянію отъ Николаевского моста до Адмиралтейства. Мы продолжали такъ же обманываться до конца нашего пребыванія въ маленькой сѣверной столицѣ маленькаго по населенію сѣвернаго государства. Думаешь, проѣхалъ четверть пути, глядь ужь и за городомъ, за городской стѣной, въ настоящей деревнѣ и въ настоящемъ лѣсу. Правда и то, что здѣсь конки ходятъ гораздо быстрѣе нашихъ.

Мы кончили ориентироваться. Планъ Стокгольма изученъ; какъ ведутъ себя шведы мы знаемъ; какъ вести себя намъ, мы сообразимъ — и можно оставить черепашую манеру записывать каждый шагъ нашихъ прогулокъ.

Городъ.

Въ Staden за покупками или Riddar Holmen, взглянуть на старину? Старины въ Стокгольмѣ такъ немного, что съ нею раздѣлаться можно быстро, и затѣмъ на свободѣ заняться покупками и новыми прогулками по городу.

Не великъ современный Стокгольмъ, не велики и его древности, сосредоточенныя на крохотномъ Дворянскомъ островѣ, на которомъ для частныхъ зданій мѣста не осталось. Весь

островокъ занять стариной, кофейнаго и шоколаднаго цвѣта. Архитектурныхъ красотъ нѣтъ: все гладкія стѣны и четырехугольныя окна. Размѣры самые скромныя. Число старыхъ зданій не велико: Riddar Kyrkan, дворянская церковь, зданіе парламента, зданіе апелляціоннаго суда и еще кое-какіе присутственныя мѣста. Все это—обыкновенныя кирпичныя, оштукатуренныя дома. Старая Швеція много воевала, на войны тратила всѣ свои небольшія средства, а строила, какъ видно, очень мало. Зато сколько военныхъ трофеевъ! Кто хочетъ ихъ видѣть, долженъ зайти въ Riddarholms Kyrkan.

Дворянская церковь — самая обыкновенная, длинная и приземистая, небольшая кирка Абосскій соборъ безъ всякаго сравненія грандіознѣй и внушительнѣй этого важнѣйшаго памятника Швеціи. А дворянская церковь—Успенскій соборъ Стокгольма, усыпальница шведскихъ конунговъ, королей и хранилище безчисленныхъ знаменъ, отбитыхъ во времена оны этими конунгами у непріятеля.

Стучимся у дверей, и намъ отворяетъ женщина, имѣющая видъ пожилой бонны. Бонна покойныхъ головорѣзовъ-конунговъ. Теперь, когда они лежатъ въ гробахъ, имъ не нужны ни войска, ни пушки, ни свита, нужна одна аккуратная бонна, которая стирала бы съ ихъ

гробовъ пыль и водила по склепамъ поспитителей.

— Riddarholms Kyrkan, почтительнымъ полушопотомъ говорить бонна, указывая рукою, въ коричневой вязанной перчаткѣ, на перспективу церкви. Построена въ половинѣ тринадцатаго столѣтія.

Предъ нами большой продолговатый залъ покрытый готическимъ сводомъ, необыкновенно унылаго вида. Стѣны и своды выбѣлены известкой и покрыты пятнами сырости. Скупо, некрасиво, неопрятно. Въ концѣ зала— алтарь, и надъ нимъ плохой работы образъ, единственный въ церкви, какъ то и полагается въ лютеранскихъ киркахъ.

— Направо и налево отъ средней части церкви, говорить бонна, указывая рукою, въ коричневой перчаткѣ направо и налево,—находятся капеллы, а подъ ними могильные склепы нашихъ конунговъ. Пожалуйте.

Идемъ. Надъ нами унылый бѣлый сводъ. Подъ нами такой же бѣлый полъ, но еще болѣе унылый; весь онъ испещренъ могильными знаками и надписями. Знаки и надписи изгладились,—тутъ не только смерть, но и забвеніе.

— Обратите вниманіе на стѣны, прежнимъ почтительнымъ и печальнымъ полушопотомъ говорить бонна,—на нихъ гербы всѣхъ кавалеровъ ордена Серафима.

На стѣнахъ прибиты вплотную, одинъ около другого, жестяные щитки, величиной съ развернутый листъ писчей бумаги. На нихъ красками изображены гербы кавалеровъ, окруженные орденскою цѣпью, надписаны имена и означено время пожалованья ордена. Безчисленные звучныя имена скандинавской знати, иностранные государи, наши государи. На нѣсколькихъ щитахъ гербъ замѣненъ пустымъ бѣлымъ полемъ. Это — не дворяне, удостоенные высшаго отличія: нѣсколько шведскихъ ученыхъ и президентъ французской республики Гриви. Спящіе въ склепахъ конунги едва-ли одобрили бы такую профанацію рыцарскаго ордена. Даже ихъ бонна, и та пожимаетъ плечами, указывая на пустыя поля, рѣзко бросающіяся въ глаза среди сложныхъ, цвѣтистыхъ и древнихъ гербовъ разныхъ Ското, Горновъ, Деллагарди и Тоттовъ.

Бонна подводитъ насъ къ алтарю и показываетъ своихъ самыхъ старшихъ питомцевъ.

— Конунги XV вѣка: Магнусъ Ладулосъ и Карль VIII Кнутсонъ, шепчетъ она.

Это — мраморные саркофаги съ изображеніемъ на крышкахъ мертвыхъ конунговъ. Смотримъ на нихъ. Конунги застыли и лежатъ неподвижно съ молитвенно сложенными у груди ладонями. Быть-можетъ, они замаливаютъ

грѣхъ ваятеля, сдѣлавшаго ихъ саркофаги очень плохо.

— Теперь не угодно-ли оглянуться и взглянуть вверхъ, говорить бонна.

Оглядываемся на церковь по направленію ко входу, смотримъ вверхъ и видимъ, что у каждаго столба подъ сводомъ прикрѣплена груда старыхъ тряпокъ, полинялыхъ изорванныхъ, запыленныхъ, гадкихъ.

— Трофеи, выпрямляясь шепчетъ бонна, — непріятельскія знамена, которыя отняли они. — И бонна съ гордостью указываетъ на склепы, на саркофаги Магнуса и Кнутсона и на щиты кавалеровъ ордена Серафима. — Пойдемте къ нимъ.

Началось путешествіе по склепамъ. Склепы расположены подъ боковыми капеллами. Ходъ въ каждый изъ нихъ отдѣльно, тутъ же изъ церкви. Стѣны капеллъ сплошь увѣшаны тряпками знаменъ, военными трубами и барабанами. Въ склепахъ другъ на другѣ гробы конунговъ, ихъ дроттинговъ (королевъ), ихъ дѣтей и родственниковъ. Безчисленные Адольфы, Густавы, Густавы-Адольфы и Карлы. Жены ихъ все — Фредерики и Элеоноры. Склепы мрачны, тѣсны, пыльны. Конунги точно забыты. Ни лампадъ, ни стражи, ни цвѣтовъ, — одна только бонна стережетъ и заботится о бывшихъ короляхъ Швеціи и Норвегіи.

Нѣкоторые короли лежатъ веселѣе, — наверху, въ капеллахъ, въ громадныхъ каменныхъ гробахъ. Въ Саркофагѣ изъ порфира покоится первый Бернадотъ, Карль XIV. Черный финляндскій мраморъ хранитъ «полтавскаго шведа», Карла XII. Въ его капеллѣ трофеевъ больше, чѣмъ въ остальныхъ. Много русскихъ знаменъ: стрѣлецкихъ, солдатскихъ, калмыцкихъ. На полу у стѣнъ разставлены барабаны. Мы ударили въ одинъ изъ нихъ, — и онъ громко и звучно откликнулся.

— А Карль молчитъ, сказали мы боннѣ.

— Молчитъ, отвѣтила она, печально кивая головою и почтительно взглядывая на мрачный черный саркофагъ, украшенный львиной головой изъ поблѣднѣвшей бронзы.

Когда мы вышли изъ этой некрасивой обители смерти, молчанія, пыли и давно пережитой славы, ставшей забытымъ анахронизмомъ, у самыхъ дверей мы наткнулись на кучку веселыхъ, хорошенькихъ дѣтей, блестящими глазками смотрѣвшихъ на иностранцевъ.

— А я васъ съѣмъ! зычно крикнулъ на нихъ спутникъ по-русски:— Амъ!

Ребятишки поняли, не испугались, но все-таки, для забавы, со смѣхомъ прыснули во всѣ стороны.

— Амъ, амъ! грозились и они.

Глазки блестѣли, появлялись и исчезали

ямочки на розовыхъ щечкахъ. Невдалекѣ стоялъ часовой и плутовалъ: сталъ такъ, чтобы его тяжелый ранецъ опирался о высокую тумбу и не давилъ ему плечъ. Улыбался и часовой. Вдоль пустыхъ улицъ летали ласточки и взвизгивали такъ, точно и имъ было смѣшно и весело.

— Не пойду я больше по древностямъ! рѣшительно заявилъ спутникъ. Айдаге въ городъ за покупками. Ишь, вѣдь, весело каково!

Я вполне сочувствовалъ спутнику. Ужь если шведскій «Успенскій соборъ» такъ неинтересенъ и нехудожествененъ, то чего же ждать отъ остального. И съ виду другія зданія Дворянскаго острова были безхарактерны и незначительны. Единственное исключеніе составляетъ только Дворянскій домъ (Riddarhuset) построенный въ XVII столѣтіи, на берегу Штадена, обращенномъ къ Риддаргольмену. Но и тутъ мало красоты и изящества. Стилъ—ренессансъ, и довольно слабый. Цвѣтъ стѣнъ красный. Архитектурныя украшенія выкрашены фисташковой краской. Просторная каменная хоромина, съ нѣкоторыми претензіями,—и ничего больше. Вообще, въ Стокгольмѣ нѣтъ никакихъ мало-мальски замѣчательныхъ памятниковъ архитектуры, не только самобытной, но и подражательной. Кто ѣдетъ сюда, долженъ имѣть въ виду, что новое онъ

найдеть только въ городскихъ пейзажахъ и бытъ. Художественнаго Стокгольма не существуетъ. Исключеніе—королевскій дворецъ, но исключенія подтверждаютъ правила.

— Вотъ это мало-мало повеселѣе будетъ, сказалъ спутникъ, когда мы вступили въ Штаденъ. Staden inom broarne, то-есть, городъ между мостовъ.

Riddarholmen былъ некогда дворянскимъ кварталомъ, Staden—старина бюргеровъ. И онъ тоже не великъ. Старые кварталы Парижа и Вѣны—гиганты по сравненію съ нимъ. По размѣрамъ своимъ Штаденъ равенъ старой Варшавѣ и немного больше старой Вильны. Но, конечно, дома гораздо выше и древнѣе. Четыре болѣе широкія, но извилистыя улицы дѣлятъ Штаденъ вдоль, а поперекъ тянется безчисленное количество Gränd, улочки въ три и даже въ два аршина шириною. Встарь, когда мирный купецъ долженъ былъ прятаться за городскими стѣнами, безопасное мѣсто цѣнилось необыкновенно высоко, и подъ улицы отдавали какъ можно меньшее пространство. Дома тѣснились до невозможности и лѣзли вверхъ все выше и выше. Отсюда и пошла дурная привычка громоздить этажъ на этажъ и строить дома плечо къ плечу, отъ которой только въ послѣднее время, подъ вліяніемъ требованій гигиены, начинаютъ отвыкать въ

Европѣ и въ особенности въ Америкѣ. Городская тѣснота опасна въ санитарномъ отношеніи теперь, но можно себѣ представить, что дѣлалось хотъ бы въ такомъ вотъ стокгольмскомъ Штаденѣ двѣсти, триста лѣтъ тому назадъ, когда не знали ни водопроводовъ, ни стоковъ нечистотъ, ни дезинфекціи, ни солнца, ни воздуха, ни движенія вѣтра. При взглядѣ на такія вотъ грэндъ, въ два аршина шириной, на дворики, имѣющіе видъ колодцевъ, на темныя, узкія лѣстницы и крохотныя комнатки, понимаешь, что встарь въ такихъ ядовитыхъ трушобахъ не могли не зарождаться повальные горячки и прочіе «язвы» и «моры», отъ которыхъ въ нѣсколько мѣсяцевъ вымирали цѣлые города. Теперь Штаденъ содержится въ образцовой чистотѣ, какъ и старыя Парижъ и Вѣна.

Грэндъ объяснили намъ «происхожденіе вида» стокгольмскихъ ломовыхъ телѣгъ. Въ самомъ дѣлѣ, ни въ какомъ иномъ экипажѣ нельзя пробраться по двухаршинной уличкѣ. А движеніе тутъ большое, возить приходится много. Весь Штаденъ — сплошной магазинъ и сплошной складъ. Тутъ же и банки: государственный и частные, тутъ почтамтъ, биржа, рынки: мясной, рыбный, зеленой.

— А, знаете-ли, прерываю я мое повѣствованіе, обращаясь къ спутнику, — знае-

те ли, откуда идетъ русское слово «торговать»?

— Ужь, конечно, отъ поганого чего-нибудь, какъ и кустарь, отвѣчаетъ тотъ, не теряя, однако, хорошаго расположенія духа, приобрѣтеннаго имъ послѣ выхода изъ церкви.

— Къ сожалѣнію, да. По-шведски рынокъ называется *torg*. *Köttorg* — мясной рынокъ; *Smörtorg* — масляный рынокъ. *Mälaretorg* — рынокъ у озера Мелара. Вотъ, смотрите на планъ. Отсюда и пошли наши торговцы, какъ отъ *Kunst* — кустари.

— Ну, и чортъ съ ними! равнодушно отвѣтилъ спутникъ, занятый созерцаніемъ магазинныхъ выставокъ, гдѣ цѣны, по русскому масштабу, были одна другой дешевле.

Движеніе въ Штаденѣ очень велико, но это исключительно пѣшеходы и ломовые извозчики. Экипажи не могутъ сюда проникнуть, и ихъ оставляютъ на *torg*'ахъ, гдѣ все-таки повернуться можно, а сами пѣшкомъ идутъ въ банкъ, на биржу, въ склады, но главнымъ образомъ, въ магазины.

Я уже сказалъ, что Штаденъ сплошной магазинъ. Штаденъ замѣняетъ Стокгольму наши гостинные дворы, съ тою только разницей, что петербургскій гостинный дворъ, не говоря уже о новомъ московскомъ, образецъ простора и великолѣпія по сравненію со Штаденомъ. Тутъ

помѣщенія крохотныя, а окошки узенькія, хотя, конечно, зеркальныя. Это не мѣшаетъ публикѣ, особенно дамской, гипнотизироваться магазинными выставками и проводить часы въ странствованіяхъ отъ окна къ окну. Съ дамами конкурируютъ въ этомъ отношеніи иностранцы, съ тою разницею, что первыя любятъся товарами, а вторыя, главнымъ образомъ, цѣнами. Въ самомъ дѣлѣ, все тутъ необыкновенно дешево, дешевле русскихъ цѣнъ процентовъ на сто, на полтараста, и шерстяныя и суконныя матеріи, и сигары, и вина, и металлическія издѣлія.

— Ей же, ей, не понимаю, какъ они тутъ живутъ! воскликнулъ мой спутникъ, никогда не покидавшій отечества, гдѣ купцы и фабриканты 18% чистаго барыша считаютъ «плохими дѣлами». — Правительство имъ помогаетъ, что-ли? прибавилъ онъ и, разумѣется, самъ же разсмѣялся такому, тоже чисто-отечественному, предположенію.

Наши хожденія по магазинамъ были на стоящимъ мимическимъ представленіемъ. Сейчасъ видно, что маленькая Швеція живетъ глухо, на краю Европы. Почти вездѣ говорятъ только по-шведски, не ощущая надобности въ знаніи какого-либо изъ всемірныхъ языковъ. Deutsch? Français? По-Русски? — на все отрицательно качаютъ головою. Чаще всего утверди-

тельный кивокъ слѣдовалъ за вопросомъ: по-русски? Мы радовались, спутникъ преисполнялся народной гордости, но вслѣдъ затѣмъ наступало разочарованіе. Приказчикъ-шведъ вызывалъ къ намъ приказчика русскаго, но тотъ оказывался чухонцемъ изъ Финляндіи, и начиналъ съ нами разговаривать по-фински, то-есть уже окончательно непонятно. Приходилось самимъ рыться въ товарахъ, выбирать, что нужно, и затѣмъ съ помощью двухъ словъ: kropa и ög, да съ помощью вопросительнаго знака, изображеннаго карандашемъ на бумагѣ или мимической игрой мускуловъ на лицѣ, освѣдомляться о цѣнѣ. Цѣны были все самыя пріятныя, и мы покинули темный и узкій Штаденъ, несмотря на чувствительное облегченіе кармановъ, въ наилучшемъ настроеніи.

Штаденъ наполненъ gränd'ами — двухаршинными улочками. Остальныя части Стокгольма отличаются Brink'ами, т.-е. подъемами на крутые скалистые холмы. Эти холмы придаютъ городу живописный видъ, но дѣлаютъ прогулки пѣшкомъ очень утомительными. Иной Brink такъ крутъ, что на него ведетъ, лѣстница. На скалу, гдѣ расположенъ Södermalm, со стороны Мелара, васъ поднимаютъ на огромную высоту въ элеваторѣ. Norrmalm отъ Oestermalm'a отдѣляется цѣлымъ горнымъ кря-

жемъ, по хребту котораго идетъ, однако, хорошая улица, Regerings gatan. Чтобы устранить неудобства перевала черезъ гору, сквозь нее пробить туннель, въ четверть версты длиною. За удовольствіе пройти по туннелю вы платите два öра, за подъемъ на элеваторъ, стоившемъ огромныхъ денегъ, берутъ пять öръ. По курсу это составитъ копейку и двѣ съ половиной копейки.

— По курсу! прерываетъ меня спутникъ.— Нашъ курсъ имъ не указъ. По-ихнему, это выйдетъ полкопейки и копейка съ четвертью! То-есть разрази меня на мѣстѣ, если я понимаю, какъ они жить могутъ! Возьмите опять конки. Десять öръ, т.-е. двѣ копейки за конецъ. И везутъ во всю рысь, вагонъ чистый, публикѣ довѣріе: хошь плати, хошь, если ты жуликъ,—ничего не давай, подавись, значитъ! А у насъ и благороднаго человѣка контролируютъ, какъ послѣдняго мазуру, и везутъ чуть не шагомъ, и вагоны разваленные,—а отдай шесть копеечекъ серебромъ. Нечистотуть. Прости меня, Мать Честная, если тутъ фортеля какого-нибудь экономическаго нѣтъ. Либо рабочій у нихъ въ кабалѣ и стоитъ ломанный грошъ, либо... либо и, въ самомъ дѣлѣ, умны они и бережливы до отврата. Спутникъ всматривался въ хорошо одѣтыхъ кондукторовъ и кучеровъ конокъ, въ плотныхъ ломо-

виговъ, въ великолѣпныхъ городскихъ, и прибавлялъ:—Нѣтъ, сыты, ишь, морды какія себѣ наѣли. Неужто же и впрямь все это культура, чортъ ее дери, дѣлаетъ?

Ходить по Brink'амъ при двадцати градусахъ въ тѣни было невозможно, и мы ѣздили по городу въ конкахъ, въ паровыхъ и въ подлинныхъ—конныхъ. Здѣшнія паровыя конки не то, что наши петербургскія, представляющія изъ себя цѣлые желѣзнодорожные поѣзда въ миниатюрѣ. Здѣсь это небольшой вагончикъ, на одномъ концѣ котораго поставленъ паровикъ, величиной со среднюю желѣзную печь. Но возитъ эта печурка отлично; съ горы на гору, съ одного Brink'a на другой, и очень быстро. Только успѣвайте оглядываться и разсматривать улицы и улочки, среди которыхъ вы пробираетесь, какъ по лѣсу, между кустовъ и деревьевъ. Конныя дороги возятъ такъ же быстро и, несмотря на тѣсноту улицъ, никого не боятся задавить, быть-можетъ, потому, что движеніе въ городѣ не велико, — не такъ, какъ въ Петербургѣ, гдѣ на нѣкоторыхъ перекресткахъ толпа кишмя кишитъ.

Съ паровыхъ конокъ вы можете осматривать южную часть города, съ лошадиныхъ — сѣверную.

Элегантная часть Стокгольма—на сѣверѣ,

въ особенности, по набережнымъ и близъ нихъ. Тутъ всѣ дома новые, построенные за послѣднія двадцать, тридцать лѣтъ, всѣ красивые и художественно задуманные. Элегантность и эффектность новѣйшей Европы, пожалуй, нѣсколько крикливая и нескромная — отличительный признакъ этихъ богатыхъ кварталовъ. Все пятиэтажныя громады, все зеркальныя окна, сложныя архитектурныя украшенія и свѣжехонькая окраска. Стилъ — современный готическій ренессансъ, съ башнями, шпилями и стрѣльчатыми сводами. Строгой красоты тутъ нѣтъ, да и быть не можетъ, потому что нельзя приспособить кельнскій соборъ или Notre-Dame подъ гостиницу для проѣзжающихъ, безъ оскорбленія стариковъ, но все же получается впечатлѣнiе болѣе выгодное, чѣмъ при созерцанiи нашихъ Семеновскихъ казармъ или тѣхъ ужасныхъ зданiй, въ которыхъ помѣщаются петербургскiя полицейскiя части. Все опрятно, чисто, отчетливо сработано и не лишено привлекательности. А ужъ порядокъ и стройность достигнуты полные. Дома стоятъ, подобранные подъ одинъ ростъ, плечо къ плечу, точно бравые и нарядные солдаты. Въ узкихъ улицахъ и на небольшихъ *torg*'ахъ, площадкахъ, эти темныя готическiя зданiя неприятны, какъ наша Пушкинская улица: въ домахъ и самимъ домамъ недостаетъ воздуха и

свѣта,—но у воды или вокругъ скверовъ они очень хороши, именно своимъ контрастомъ съ гладью воды и зеленью садовъ.

Садовъ въ сѣверной части Стокгольма не мало, хотя почти всѣ они очень не велики. Въ каждомъ непременно зеленая лужайка, съ безукоризненнымъ газономъ и цвѣтами, а посреди лужайки — неизбѣжная статуя шведскаго великаго человѣка. По большей части это воинственные конунги, кунги и ярлы: Биргеры, Густавы и Карлы,—но есть и штатскіе герои, каковы всемірно извѣстные Линней и Берцелліусъ, и мѣстная знаменитость, народный поэтъ прошлаго столѣтія, Бельманъ. Последний стоитъ, впрочемъ, за городомъ, въ паркѣ звѣринца, но зато въ двухъ видахъ.

По части пластическихъ искусствъ шведы, если судить по Стокгольму, слабы. Народное искусство забыто, архитектура церквей ничтожна, королевскій дворецъ прекрасенъ, но не самобытенъ, никакихъ *articles de Stockholm*, хотя бы въ родѣ нашихъ лукутинскихъ издѣлій, не говоря уже о чеканкѣ золота и серебра, нѣтъ. Наконецъ, монументы великимъ шведамъ непонятно грубой работы. Рѣзкія, угловатыя линіи, жесткость деталей заставляютъ думать, что ихъ дѣлали кузнецы, а не художники. Эти недостатки выступаютъ еще ярче среди мягкихъ очертаній деревъ и ря-

домъ съ изящными формами и красками цвѣтниковъ. Но деревья и цвѣты, это дѣло природы, а у самого шведа, повидимому, мало развито чувство изящнаго. Встарь онъ былъ мастеръ по части штыковъ и пушекъ; теперь дѣлаетъ отличные вилки, ножи, косы и машины. Въ наше время появляются хорошіе живописцы изъ шведовъ, но это продуктъ уже международной всеевропейской жизни, а не національной шведской.

Новый Стокгольмъ, Стокгольмъ послѣднихъ двухъ, трехъ десятилѣтій, Стокгольмъ—узловая станція недавно развившихся желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, увеличившихъ его населеніе до двухсотъ тысячъ съ лишнимъ, находится на сѣверѣ отъ Штадена. Если вы хотите видѣть остатки Стокгольма до-желѣзнодорожной эпохи, пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, когда въ немъ было 90—100 тысячъ, поѣзжайте въ Södermalm. Проѣхавъ нѣсколько улицъ, застроенныхъ скромными трехъэтажными кофейными и коричневыми домами, съ гладкими стѣнами—это «роскошные» дома пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ—вы попадете въ окраины. Тутъ дома въ одинъ, два этажа. Кровли черепичатая, крутая, съ мансардами, и чуть-ли не больше самого дома. Построенъ домъ изъ дерева и, подъ тяжестью крыши и отъ времени, слегка покоробился,

горизонтально и вертикально. Онъ или оштукатурень, или обшитъ узкими дощечками, стоймя. Штукатурка окрашена въ обычный кофейный или шоколадный цвѣтъ, а дощатая обшивка всегда въ цвѣтъ запекшейся крови. Все это маленькое, скромное, тихое, мѣщанское, какъ наши дореформенныя мѣщанскія слободки и предмѣстья, въ описаніяхъ Успенскихъ и Левитовыхъ. Натискъ международной культуры, ея большіе размѣры, элегантная внѣшность и шумная жизнь уничтожаютъ послѣдніе тихіе и скромные уголки Стокгольма, а тѣ, которые еще упрямо держатся, беретъ въ тиски: на голыхъ скалахъ, на самой окраинѣ вырастаютъ новые огромные дома, котсырымъ некогда ждать, пока старозавѣтныя лачужки уступятъ имъ свое мѣсто. Старики окруженные со всѣхъ сторонъ молодыми великанами, теряются, конфузятся и добровольно идутъ на сломъ.

Таковъ Стокгольмъ, нашъ ближайшій и, несмотря на то, совсѣмъ незнакомый сосѣдъ. Прежде всего, онъ городъ очень красивый, благодаря своимъ водамъ и скалистымъ холмамъ. Затѣмъ, онъ городъ безукоризненно европейскій, по постройкамъ, садамъ, чистотѣ и нравамъ толпы. Наконецъ, онъ, какъ городъ, не великъ, а какъ столица и совсѣмъ малъ. Все въ немъ невелико: и разстоянія,

и ширина улицъ, и сады, и число великихъ людей, и конки, и даже, что совершенно неожиданно, морскія суда. Ихъ множество, но все небольшихъ. Нѣтъ того укромнаго уголка на набережныхъ, гдѣ бы корабли и пароходы не набились, какъ мухи въ банку съ вареньемъ, но все это суденышки величиною съ чухонскую лайбу. Наша «Norra-Finland» была между ними великаномъ и образцомъ роскоши, тѣмъ, чѣмъ на Средиземномъ морѣ являются океанскія колоссы «Messagerie maritime», ходящіе въ Индію и Австралію. Торговые пароходы Петербурга и Одессы—это сомы по сравненію съ карасями.

— Экіе михрютки! И чѣмъ они живутъ? повторялъ мой спутникъ.

— А тѣмъ, что у нихъ парходишки, хоть маленькіе, да свои. А у насъ парходищи, хоть большіе, да чужіе, — англичане, нѣмцы, французы, итальянцы, только не русскіе.

— Да, хитрыя башки: хоть по зернышку, да себѣ въ карманъ, а мы пригоршней, да чужому за пазуху!..

Спутникъ даже закручинился, но вдругъ оживился:

— Плевать! Зато любая волжская баржа сравняется съ океанскимъ парходомъ.

Тѣмъ болѣе причинъ заводитъ намъ подлинныхъ океанійцевъ.

Люди.

Люди со временъ Адама дѣлятся на мужчинъ и женщинъ, а дни, съ перваго же дня творенія, начинаются утромъ и кончаются вечеромъ. Весь день до вечера потомки Адама заняты дѣломъ, а вечеромъ отдыхаютъ. Совершенно тѣ же порядки и подраздѣленія приняты и въ Стокгольмѣ, при чемъ существуютъ, однако, значительныя отличія отъ другихъ мѣстъ, напримѣръ, отъ Петербурга, отъ Россіи.

Въ Россіи, какъ всѣмъ извѣстно, тоже есть женщины, но еще въ недавнее сравнительно время наши дамы и дѣвицы стремились походить на мужчинъ, главнымъ образомъ, на студентовъ, въ частности—на студентовъ медицины, которымъ приходится рѣзать трупы, чтобы заглушить трупный запахъ—курить папиросы, чтобы замаскировать свою чувствительность—напускать на себя грубость. Подражаніе студентамъ медицины и хирургіи было источникомъ короткихъ волосъ, невѣроятно крѣпкихъ рукопожатій при здравствованіи и прощаньи, сидѣнія, положивъ ногу на ногу, и куренія закушенныхъ угломъ рта папиросъ. Дамы мужей своихъ называли по фамиліямъ: «Петровъ я чувствую къ тебѣ симпатію»; «Ивановъ, ты поступилъ сегодня нечестно, выкуривъ мои папиросы». Дѣвицы передавая подругамъ свои сердечныя тайны, именовали сво-

ихъ рыцарей не «идеалами», не «богами», не «душками», какъ это дѣлали ихъ институтки-мамаша, а «честными господами» и «свѣтлыми личностями».

Ничего подобнаго въ Стокгольмѣ не было и нѣтъ. Германская раса, послѣдовательная во всемъ, разъ признавъ, что люди дѣлятся на мужчинъ и женщинъ, требовала, чтобы мужчина былъ возможно мужественнѣй, а женщина, пожалуй, даже до невозможности женственна. Женщина слабое созданіе, она нуждается въ защитѣ мужчины, — потому она должна быть предана мужчинѣ. Женщина слабое созданіе, ее всякій можетъ обидѣть, — поэтому она стыдлива, робка и кротка. Женщина слабое созданіе, силой она ничего не подѣлаетъ, поэтому ея сила въ таинственной прелести. Умъ женщины тоже слабый, — и взамѣнъ его ей дана добродѣтель. Таковы цѣли, которыя поставилъ себѣ германскій воспитатель женщины, такъ сказать, германскій женщиноводъ, и достигъ ихъ съ блестящимъ успѣхомъ.

Въ Стокгольмѣ нѣтъ женщинъ, а все ангелы. Вначалѣ мой спутникъ думалъ, что всѣ стокгольмскія женщины влюблены въ него чистой любовью. На лицѣ небесная улыбка неизъяснимой кротости и сладости, голубые глаза смотрятъ съ преданной симпатіей, жесты и движенія наивны до такой степени,

что даже представляют опасность для до-
вѣрчиваго чистаго созданія. Примѣряетъ, на-
примѣръ, вамъ приказчица перчатку, сіяетъ
кроткой любовью и такъ неосторожно пожи-
маетъ и гладитъ вашу руку, какъ ребенокъ
играетъ съ огнемъ. Или возьмемъ красавицу
въ кафэ, заставившую спутника разразиться
вятскими идиотизмами на всю улицу.

— Двѣ чашки чая, заказываемъ мы ей.

— Ю, ю, стонетъ она въ отвѣтъ, какъ еги-
петскій голубокъ.

— Къ нимъ масла и хлѣба.

— Ю, ю

И красавица довѣрчиво опирается рукой
о спинку вашего стула, при чемъ ея глаза
голубоокой газели смотрятъ ясно-ясно.

— Больше ничего.

— А двѣ рюмки батавскаго арака вор-
куетъ египетскій голубокъ.

— Тащи, дѣвуля и аракъ! Для тебя! зычно
воскликаетъ спутникъ, окончательно увлечен-
ный прелестью небеснаго созданія.

А небесное созданіе обходитъ залу, всѣмъ
кротко улыбается, на каждую спинку стула
невинно кладетъ руку и всѣмъ воркуетъ «два
арака? Кружку францисканскаго? Еще бу-
тылку пунша?»

— Да, вѣдь, братецъ ты мой, она, выхо-
дитъ, выжига! вдругъ взревѣлъ спутникъ,

послѣ того какъ мы съ полчаса просидѣли въ кафэ, приглядываясь къ продѣлкамъ голубою газели.

Кто ее знаетъ.

Однако, было ясно, что предложенія газелью пунша, арака и францисканскаго исправно спаивали публику кафэ. Подъ конецъ эта публика стала оказывать газели не совсѣмъ скромныя любезности. Газель, конечно и не подозрѣвала ихъ дурнаго значенія.

И вездѣ, вездѣ — невинность, голубиное воркованье, дѣтскій взглядъ и женственная прелесть. Ступайте вечеромъ въ садъ Ström-parterren у дамбы Norrbo. «Это демократическое» гулянье. Должно - быть, тутъ не все и не всегда благополучно, потому что двѣ пары величественныхъ городскихъ постоянно присутствуютъ въ саду, еще пара стоитъ у входа, а великолѣпный околочный пристально смотритъ на садъ сверху изъ-за каменнаго парапета дамбы. Садъ наполненъ сотнями женщинъ, репутація которыхъ внѣ всякихъ сомнѣній, въ виду зоркихъ взглядовъ, которые бросаютъ на нихъ городовые. А между тѣмъ эта ватага волчицъ имѣетъ видъ стада агнцевъ. Кроткій видъ, женственность, стыдливость, скромность и невинное кокетство. Попробуй кто - нибудь изъ агнцевъ отступить отъ этихъ правилъ германскаго «женщиноводства», женщиноводъ-

городовой сейчасъ же посадить ослушника въ часть.

Изъ Ström-parterren отправьтесь въ театръ, или въ лучшій загородный садъ или присмотритесь къ пассажирамъ перваго класса на пароходахъ. Тутъ публика самая почтенная и воспитанная, но и здѣсь вы не найдете у женщинъ ни французской живости, ни английской естественности, дѣйствительно, неподражаемой. Респектабельныя дамы и дѣвицы Швеціи тоже изображаютъ изъ себя тѣхъ же кокетливыхъ агнцевъ. Смотрятъ въ глаза какъ будто наивно, улыбаются преданно, а мужчинъ совсѣмъ «не понимаютъ». Да что, женщины свѣта и полусвѣта! У первыхъ агнцевъ подобный видъ отчасти можетъ быть и натуральнымъ, у вторыхъ онъ — объяснимое притворство. Но возьмите стокгольмскихъ посыльныхъ - женщинъ, снующихъ по улицамъ въ національныхъ костюмахъ и съ зонтикомъ въ рукахъ. Ужъ на что занятый и дѣловой народъ, притомъ весьма корпулентный, а и эти ходятъ барашками, улыбаются херувимчиками и какъ будто вѣчно влюблены чистою любовью.

Таковы стокгольмскія женщины. Мужчины держатъ себя тоже сообразно германскому кодексу мужественности. Мужчина — царь земли, вѣнцомъ которому служить женщина. И вотъ каждый мужчина - германецъ, кто бы

онъ ни былъ, хотъ бы даже городской или кучеръ на конкѣ, всегда держать себя, если не царемъ, то метрдотелемъ хорошей гостиницы. Женщина жизнерадостна: увидить на улицѣ воробушка и сейчасъ же должна широко раскрыть голубые глазки и весело заблестать ими. Мужчина обдуманъ: не только на воробья, но и на монументы великихъ людей онъ обязанъ смотрѣть съ видомъ безстрастнаго судьи. Женщина встрѣтится съ подругой—вспыхнетъ, начнетъ часто дышать, улыбаться и цѣловаться. Мужчина, даже при встрѣчѣ съ начальникомъ, котораго онъ въ душѣ и боится долженъ съ достоинствомъ отдать честь и сквозь зубы пробормотать «добрый день». Когда сойдется нѣсколько женщинъ, онѣ обязаны затѣять легкую и легкомысленную болтовню. Мужчины, сошедшись, начинаютъ глубокомысленно резонировать. Мужская любовь тоже совсѣмъ въ другомъ стилѣ, чѣмъ женская. Женщина, если любить ужъ очень пламенно, можетъ дойти до того, что позволить себя поцѣловать, но во время поцѣлуя должна закрыть глаза рукою, а послѣ поцѣлуя убѣжать домой и плакать такъ, чтобы всѣ это видѣли. Пламенно влюбленный мужчина обязанъ при поцѣлуѣ обнять предметъ своей страсти такъ крѣпко, чтобы у того затрещали кости корсета, а послѣ поцѣлуя считать его

своей неотъемлемой собственностью, звать въ его присутвіи и въ случаѣ нужды покрывать на него, — вѣдь, мужчина царь земли.

Такова схема мужественности и женственности германскаго племени. На практикѣ существуютъ, конечно, видоизмѣненія. У неуклюжихъ сѣверныхъ нѣмцевъ, это выходитъ тоже грубо. У южанъ — поискуснѣй. У шведовъ — изящнѣй и мягче всѣхъ остальныхъ ихъ родственниковъ по крови, какъ и самъ шведъ, въ свою очередь, самый симпатичный и мягкій изъ германцевъ. Такова его наружность: стройный ростъ, скорѣе худощавость, чѣмъ полнота. Такова манера держать себя, въ высшей степени достойная, но безъ всякой напыщенности. Таковы мягкія и вѣжливыя интонаціи пріятнаго голоса, безъ слѣдовъ нѣмецкой пивной хрипоты.

Но все-таки отъ шведской мужественности и въ особенности отъ женственности прекраснаго пола отдаетъ провинціализмомъ и анахронизмомъ. Старыя традиціи, выработанныя совсѣмъ инымъ, патріархальнымъ, скромнымъ, деревенскимъ бытомъ, въ своей правдѣ сохранились только въ захолустьяхъ, въ Тиролѣ, въ горахъ Баваріи, въ глухихъ уголкахъ скандинавскихъ провинцій; въ городахъ же, подобныхъ Стокгольму, особенно въ увеселительныхъ заведеніяхъ, въ родѣ Ström-parterren,

анакронизмъ превращается въ фальшь и лицемѣріе. А если спросить себя, что лучше: благообразное лицемѣріе, или безхитростная распушенность, — такъ, пожалуй, придется отдать предпочтеніе второй, такъ какъ распушенность — рана открытая, доступная лѣченію, а подъ лицемѣріемъ можетъ незамѣтно таиться смертельная язва. Шведъ или норвежець — безупречный мужчина, его жена и сестра безукоризненно женственны, но, скажите, въ чемъ же находятъ себѣ почву проповѣди и успѣхъ Бьернсоновъ, Ибсеновъ и иныхъ скандинавскихъ писателей, которые въ ужасѣ пророчатъ своимъ соотечественникамъ, а заодно ужъ и всему человѣчеству, конечную гибель отъ плотскихъ пороковъ, а спасенія ищутъ въ такихъ героическихъ лѣкарствахъ, какъ платоническіе браки, вегетаріанство, абсолютная трезвость. Откуда требованія діеты и гигиены, какія предписываются только въ сумасшедшихъ домахъ, водолѣчебницахъ да больницахъ для алкоголиковъ? И почему человѣческое благополучіе сводится къ соблюденію правилъ, не столько высшей нравственности, сколько элементарныхъ заповѣдей, почти граничащихъ съ предписаніями санитарной полиціи? И, знаете-ли, Бьернсоны и Ибсены, Якобсены и Гарборги, пожалуй, и правы, насколько можно судить по мимолетнымъ впе-

чатлѣніямъ случайнаго туриста. Шведъ несомнѣнно честенъ, несомнѣнно уменъ; онъ не художникъ, это правда, за то онъ отличный техникъ,—но едва-ли онъ не вырождается физически. А, вѣдь, съ тѣломъ связанъ и духъ.

Днемъ шведъ работаетъ и ходитъ по дѣламъ, вечеромъ онъ отдыхаетъ въ городскихъ садахъ и въ загородныхъ паркахъ. Мы наблюдали его и днемъ, въ трудѣ, и вечеромъ, на отдыхѣ.

Уже дѣловой шведъ производитъ неожиданно невыгодное впечатлѣніе своимъ физическимъ видомъ. У насъ составилось понятіе, что шведка, это—роза, шведъ—піонъ. Ничуть не бывало. Молчаливые, двигающіеся скорѣе медленно, чѣмъ быстро, мужчины и женщины. Всѣ молчатъ и никто не спѣшитъ; и пѣшеходы, и извозчики, и даже женщины-посыльные,—далекарлійская артель въ монашескихъ шлыкахъ изъ чернаго плиса и содерманландская въ розовыхъ тюрбанахъ. Ничего жизнерадостнаго, кромѣ заученнаго выраженія женскихъ лицъ, никакой энергіи, ни капли воодушевленія. Затѣмъ полное отсутствіе розовой краски. Огромное большинство мужчинъ и женщинъ блѣдны и малокровны. Румяны только городовые да служанки въ кафѣ, подобранныя, видимо, не безъ труда и за большія деньги. Нѣтъ румянца, нѣтъ и вообще и свѣ-

жести. Рѣдко когда встрѣтишь крѣпкое тѣло и ядреное лицо. Изъ десяти девять лицъ измятыя, преждевременно сморщившіяся, съ тѣнью подъ глазами, точно у русскаго «интеллигента». Изъ девяти такихъ «интеллигентовъ» одинъ навѣрное съ признаками серьезныхъ нервныхъ страданій. Въ скверахъ, на улицахъ, въ конкахъ, то и дѣло встрѣчаешь мужчинъ и женщинъ съ болѣзненной сѣдиной въ сухихъ разсыпающихся волосахъ, со страннымъ блескомъ въ растерянныхъ глазахъ, со сведенными ногами или съ колеблющейся, разбитой походкой. На скамейкахъ садовъ и у перилъ набережныхъ, то и дѣло видишь «чудаковъ», и «оригиналовъ», въ странной безпорядочной одеждѣ, съ чудаческими собаченками на вервочкахъ, съ книжками, которыя чудаки читаютъ совсѣмъ не на мѣстѣ и съ ненормальной внимательностью, съ курьезными зонтиками подъ мышкой, съ орденами, некстати вывѣшенными въ петлицахъ сюртуковъ. Есть такіе чудаки и въ Петербургѣ, но тамъ они рѣдки, и за ними бѣгають мальчишки. Здѣсь же на нихъ никто не обращаетъ вниманія, но только потому, что чудаковъ много и они приглядѣлись. Присматривались мы и къ дѣтямъ. Тѣ, которыя бѣгають, — жиденькія, нервныя, а которыхъ еще носятъ или возятъ, блѣдныя и либо вялыя, либо нездорово воз-

бужденныя. Нѣтъ, что-то неладно въ скандинавскихъ королевствахъ, — мы продолжали приглядываться къ шведамъ.

Подъ вечеръ мы отправились въ Djurgården. Это большой полуостровъ, отрѣзанный отъ материка каналомъ, сплошь занятый стариннымъ, даже древнимъ паркомъ, наполовину искусственнымъ, на половину естественнымъ.

— Сколько возьмете, чтобы объѣхать Djurgården кругомъ? спрашиваемъ мы извозчика, конечно, помощью пантомимъ. — Двѣ кроны?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ тоже пантомимами, одну марку съ половиной.

— Ой, вздоръ какой! Ой, какой вздоръ-то! на весь звѣринецъ начинаетъ причитать спутникъ, на языкѣ котораго вздоръ означаетъ: несообразность, недоразумѣніе. Несообразнымъ спутнику предоставляется то, что шведскій извозчикъ требуетъ не больше, а меньше, чѣмъ ему предлагаютъ.

Садимся и ѣдемъ. Хорошій паркъ, — не то чтобы невиданный, безпримѣрный, а хорошій. Дороги, довольно пыльные и неакуратно поливаемые шоссе, расположены, однако, довольно искусно, но только въ очень рѣдкихъ мѣстахъ подходя къ морю, которое со всѣхъ сторонъ окружаетъ звѣринецъ. Зато много камня, все того же сглаженнаго финляндскаго камня, образующаго булкообразные холмы,

наполовну покрытые землей. Обрывовъ и скалъ нѣтъ нигдѣ. Средина звѣринца занята естественными рощами, дороги обсажены искусственно. Рощи состоятъ изъ дуба и сосны, пополамъ. Сочетаніе этихъ деревьевъ всегда прекрасно: черные, чугунные стволы дуба и оранжевыя сосны, матовая хвоя и блестящій зеленый листъ, прозрачныя кружевыя вершины сосны и массивныя, непроницаемыя крыши дубовъ, сочетаясь и перемежаясь, образуютъ величественныя и красивыя эффекты. Къ сожалѣнію, рощи звѣринца слишкомъ стары. Много деревьевъ усохло, и роща рѣдка. Недолговѣчный и приземистый сѣверный дубъ отживаеетъ свой вѣкъ, усохшія вѣтви отрублены, и потерпѣвшія многочисленныя ампутаціи деревья смотрятъ калѣками. Да и каменная почва не даетъ растительности развернуться съ полной силой. Гораздо пышнѣй искусственныя аллеи и рощи и дороги, ближе къ морю, у подошвы холмовъ, гдѣ и растительный слой толще, и влаги больше. Особенно изящнаго и тутъ ничего нѣтъ, но интересны породы деревьевъ. Преобладаютъ знакомыя намъ по Петербургу кленъ, липа, ясень, дубъ, ольха, каштаны, такіе-же незавидные, какъ и у насъ, ильмы и вязы. Но, всматриваясь внимательнѣй, начинаешь замѣчать деревья, которыя у насъ невозможны: грабъ, черный и

сѣрый орѣхи, пирамидальный тополь, наконецъ что уже совсѣмъ удивительно,—букъ. Въ садикахъ дачъ, которыя отрѣзали дорогу отъ моря, много яблонь, грушъ, даже сливъ, даже черешень, — а у насъ черешни начинаются только съ половины Черниговской губерніи! Въ городскихъ скверахъ Стокгольма я два раза встрѣтилъ доцвѣтавшую бѣлую акацію, растущую здѣсь, правда, не деревомъ, а высокимъ древовиднымъ кустомъ! Такая бѣлая акація у насъ начинается на Западѣ съ Гродно, а на Востокѣ только съ Саратова. Стокгольмъ же лежитъ чуть южнѣе Петербурга, подъ одной широтой съ Вологдой и значительно сѣвернѣе Вятки и Перми. Житье, право, этимъ западнымъ европейцамъ! Сторона теплая, хоть ты подъ самый полюсъ, куда нибудь въ Бергенъ забирайся. Пути сообщенія отъ самаго сотворенія міра — готовые и удобные: моря, заливы, фіорды и рѣки, ведущія къ морямъ. Отъ варваровъ, разныхъ печенеговъ, половцевъ, татаръ и калмыковъ, отдѣлены нашей матушкой - Россіей. Живи себѣ въ полное удовольствіе, путешествуй, торгуй, учись, воюй безъ опасности для существованія, а можно сказать, для удовольствія, потому что твои силы и силы сосѣдей равны,—наконецъ разбойничай. До сосѣда всего какихъ - нибудь сто, двѣсти верстъ,—ну и съѣздилъ пограбилъ

(чужого обидѣть не грѣхъ!), вернулся домой, женѣ, дѣтямъ подарки привезъ; жена улыбается тебѣ, какъ херувимчикъ, а ты—добродѣтельный человѣкъ и царь земли. Хорошо было на Западѣ развивать предприимчивость, добродѣтели, знанія и искусства. Не то у насъ. Моря все ледовитыя. Рѣки текутъ въ эти ледники. Благородно грабить некого, потому что на тысячи верстъ все свой братъ, русскій, и свой мировой судья: по неволѣ героическій разбой пришлось замѣнить презрѣннымъ жульничествомъ. Торговать, кромѣ чувашей и черемисъ, не съ кѣмъ. Выѣздъ на югъ отрѣзали турки, которые и Европѣ чуть не надѣлали большихъ непріятностей. Окно на Западъ заколотили шведы. А тутъ еще вся Азія, въ татарскомъ образѣ, навалилась на насъ тяжкимъ брюхомъ и держала подъ собой двѣсти лѣтъ. А кромѣ того жесткій климатъ, отъ котораго, того и гляди, впадешь въ умоизступленіе, какъ шаманъ. Нѣтъ попробовала бы Западная Европа нашего горькаго житія, подумала бы, чего намъ стоило выбиться въ люди, хоть мало-мальски приличные, не стала бы она корить насъ отсталостью и варварствомъ.

— Вотъ видите, говоритъ мнѣ спутникъ,— а сами злорадствуете, что кустарь происходитъ отъ Kunst, а торговецъ отъ Torg!

Но я вовсе не злорадствую, а только желаю, чтобы мы не опочили на лаврахъ. Если хватило силъ совершить почти невозможное и невѣроятное, — изъ народа, обреченнаго быть азіатомъ, превратиться въ европейца, правда, далеко не совершеннаго, то что же мѣшаетъ совершенствоваться дальше, что мѣшаетъ наконецъ создать новую культуру, европейско-русскую? Начало положено, путь начатъ, — надо идти впередъ и впередъ.

Однако, мы зафилософствовались. Этому способствуетъ тихая ѣзда въ удобномъ экипажѣ по зеленому и тѣнистому парку. Чтобы объѣхать его кругомъ, понадобился часъ. Аллеи смѣняются аллеями, рощи лужайками и камнями, лужайки снова рощами. Лужайки въ наше посѣщеніе были некрасивы. Вотъ уже два мѣсяца, какъ въ Стокгольмѣ не было дождя, трава пожелтѣла и высохла, хлѣба, которые видны на противоположномъ берегу узкаго фьорда, отдѣляющаго звѣринець отъ материка, плохи.

Обогнувъ звѣринець кругомъ, мы остановились у цѣлаго ряда загородныхъ увеселительныхъ заведеній, стокгольмскихъ «аркадій-ливадій», помѣстившихся бокъ-о-бокъ. Такое близкое сосѣдство не мѣшаетъ каждому изъ нихъ преуспѣвать, потому что конкуренты очень умно подѣлили между собою публику,

принявъ разные программы увеселеній. Въ одномъ—шансонетки и водевили, въ другомъ—танцы и фокусы. Въ самомъ элегантномъ—только оркестровая музыка. Но во всѣхъ непремѣнныя Schweizeri, кафэ съ продажей спиртныхъ напитковъ. Построены заведенія не по нашему, не въ видѣ сколоченныхъ на живую нитку бараковъ довольно безобразнаго вида. Все сдѣлано основательно и изящно. Лѣстницы и террасы каменные, перила изъ художественнаго желѣза, стѣны выложены красивыми и дорогими изразцами, въ садикахъ неподражаемые газоны, чудесныя холеныя деревья и великолѣпныя цвѣтники. И садики, и зданія не велики, но такіе размѣры и соотвѣтствуютъ небольшой столицѣ маленькаго государства, насчитывающаго всего четыре съ половиною милліона жителей. Да и то удивительно, какъ существуютъ заведенія и какъ они успѣваютъ поддерживать свою роскошную обстановку при скромныхъ цѣнахъ и доходахъ. У насъ обстановки никакой, городъ милліонный, страна стомилліонная, цѣны разбойничьи, а «ливадіи-аркадіи» то и дѣло прогораютъ.

Обѣдали мы въ лучшемъ изъ садовъ, въ Hasselbacken'ѣ. Прежде чѣмъ сѣсть за столъ, мы зашли къ швейцару стряхнуть пыль. Швейцаръ вычистилъ насъ съ ногъ до головы, выколотилъ наши пальто, вычистилъ даже

зонтики. Получивъ за это 25 öръ, т.-е. тринадцатъ копѣекъ, онъ принялъ насъ за путешествующихъ принцевъ, бросился отыскивать намъ хорошій столъ, нашелъ лакея, понимающаго по-нѣмецки, и все время, пока мы обѣдали, ѣлъ насъ глазами, ожидая, не понадобится-ли намъ еще его услуги, которыя до сихъ поръ, по его мнѣнiю, все еще были ниже тринадцати копѣекъ.

— Чудеса! говорилъ на это спутникъ.— Чудеса! еще громче воскликнулъ онъ, когда, заглянувъ въ путеводитель, конечно, нѣмецкiй, узналъ, что Hasselbachen «ist das vornehmste von den im Thiergarten liegenden vielen Etablissementen».— А у насъ-то, послѣднiй извозчикъ гривенникъ и за деньги не считаетъ.

Пообѣдали мы прекрасно, закусили передъ обѣдомъ за непремѣннымъ Smörgäsbord'омъ основательно, пили вкусно и вволю курили сигары, и за все вдвоемъ заплатили десять кронъ съ небольшимъ.

— Обидно! Просто обидно, до чего тутъ копейка дорога! воскликнулъ спутникъ.— Теперь въ Питерѣ хоть ты и не живи, въ грабителѣ! До чрезвычайности обидно. И не то, что тамъ Kunst, или Torg, чортъ ихъ возьми, а порядокъ и цѣны божескiя. У насъ, вѣдь, прямо до полоумiя деньгой соряютъ, словно щепой. Дурьи головы соряютъ, а кулацкiя руки,

понятно, пользуются, доятъ дураковъ... И, знаете, одно меня утѣшаетъ, однимъ они тутъ противъ насъ хвастаться не могутъ.

— Чѣмъ же?

— Пьютъ они еще пуще нашего, понизивъ голосъ и улыбаясь отъ не совсѣмъ добраго удовольствія, отвѣтилъ спутникъ. — Не всѣмъ же взяли! На-ко!

Дѣйствительно, публика пила, какъ корова пойло. Коньяки и пунши, очищенные и помегранцевая, портеры и хересы исчезали на столахъ обѣдающихъ несравненно скорѣе, чѣмъ кушанья. За вторымъ блюдомъ ужъ были подъ хмѣлькомъ. За третьимъ лица багровѣли. За ликерами, которые пились, какъ вода, уже начинали сопѣть и отдуваться. И публика была не какіе-нибудь сапожники, а первостатейная. Направо отъ насъ сидѣлъ великолѣпный старикъ, который оказался, по справкѣ у лакея, представителемъ одного изъ самыхъ аристократическихъ домовъ Швеціи. Налѣво обѣдало семейство не менѣе знатное. Остальные, по манерамъ и одеждѣ, мало чѣмъ уступали въ воспитаніи и средствахъ первымъ. Но всѣ не то что пили, а хлестали разные спирты, — даже дамы, даже дѣвушки. Женщины пьютъ «легонькое», — хересы и портвейны, но пьянѣютъ не хуже мужчинъ. Конечно, они не перестаютъ стараться быть

англичанками, но щеки покрываются нездоровымъ румянцемъ, движенія дѣлаются невѣрны, а взглядъ или мутенъ, или ненормально блестящъ. Нехороши, должно быть, и мысли и желанія въ такомъ состояніи, насколько можно судить по неосторожнымъ взглядамъ и движеніямъ этихъ царей земли и вѣнцовъ творенія. Не можетъ быть, чтобы на слѣдующее утро и головы были свѣжи, чтобы и ночь была проведена въ здоровомъ снѣ. Конечно, воспитанные шведы не позволяютъ себѣ вести себя неприлично, возвышать голосъ, кричать, буйнить, быть дерзкими съ женщинами, — но это уже такая манера пить, такъ сказать шепоткомъ, — а пьяны всѣ.

Вечеромъ мы обошли остальные увеселительныя мѣста Hasselbacken'a. Нехорошо и тамъ. Къ пьянству прибавляются зрѣлища, гораздо болѣе безнравственныя, чѣмъ у насъ. Всѣ эти танцы живота, серпантины, канканы, скабрёзныя шансонетки производятся совсѣмъ откровенно, съ нескрываемымъ расчетомъ подѣйствовать на самые низменные инстинкты. И тутъ шведъ остается сдержаннымъ, а «шведка ничего не понимаетъ», но и въ этомъ случаѣ хмѣль выдаетъ лицомѣровъ, и видно, что и смотритъ, и слушаетъ публика куда какъ плохо. Увеселительныя заведенія въ звѣринцѣ закрываются въ одиннадцать часовъ

и мы еще успѣли заглянуть въ Strömparterren, открытый до двѣнадцати. И здѣсь нѣтъ криковъ, драки или скандаловъ, но и здѣсь все пьяно сосредоточеннымъ, на видъ будто и слабымъ, но на самомъ дѣлѣ самымъ опаснымъ и самымъ болѣзненнымъ опьянѣніемъ хроническаго алкоголика. Пробило двѣнадцать, спустили флаги, городовые заходили по саду съ видомъ, который безмолвно, но сурово приглашалъ расходиться,—и отупѣвшая толпа мужчинъ и женщинъ тугой и нерѣшительной походкой разбрелась по домамъ.

Заглянули мы и въ нѣсколько кафэ, освѣщенныхъ до часа. И тамъ та же печальная картина. Группы хорошо одѣтыхъ мужчинъ, съ багровыми лицами, заплетающимся языкомъ вели пьяныя рѣчи, а наша красавица-газель предлагала имъ новые и новые пунши и францисканеры.

— Это будто бы ужъ и не того, не ладно! съ оттѣнкомъ сожалѣнія сказалъ спутникъ, когда мы возвращались къ себѣ на ночлегъ. — Это, по-нашему, ужъ не выпивка, а пропойство.

И дѣйствительно, въ Швеціи по этой части совсѣмъ «неладно». Вотъ что говорятъ объ этомъ ученые:

«Около половины текущаго столѣтія пьянство сдѣлалось бичомъ, грозившимъ большей

части населенія полнымъ вырожденіемъ. Въ 1855 году работало въ Швеціи болѣе сорока тысячъ водочныхъ заводовъ и производило ежегодно чудовищное количество bränvin, водки. Въ это время винокурение ужъ централизовалось, а около 1830 года, когда курилъ вино каждый сельскій хозяинъ и каждый мужикъ, въ королевствѣ насчитывалось 170,000 винокурень» *). Такой порядокъ существовалъ до семидесятыхъ годовъ, когда стали принимать рѣшительныя мѣры къ уменьшенію производства спирта, но разумѣется, ужасныя послѣдствія пьянства обнаруживаются во всей силѣ именно въ наше время, на поколѣніи, теперь вступающемъ въ жизнь и рожденномъ отъ отцовъ и матерей-алкоголиковъ. Пьянство, роковымъ образомъ, ведетъ за собою распущенность. И дѣйствительно, нигдѣ нѣтъ столько незаконныхъ дѣтей, какъ въ Швеціи, вообще, и въ Стокгольмѣ въ особенности **). Вотъ вамъ и агнецподобныя шведки!

Послѣ сказаннаго понятно, почему Бьернсоны, Ибсены, Якобсоны, Стриндберги, Гарборги и проч., боятся рюмки водки, какъ чорта, а за поцѣлуй, не совершенно братскій, сулятъ геенну огненную. По-нашему, они—

*) Reclus. Nouv. Geographie Universelle. V, 228.

***) Въ Швеціи 10,8 на сто, въ Стокгольмѣ 37 на сто (тамъ-же).

чудаки (да и по-нашему-то чудаки-ли?), а Швеціи рюмка и поцѣлуй грозятъ почти гибелью.

Подъ этимъ непріятнымъ, но не для одной только Швеціи поучительнымъ впечатлѣніемъ мы оставили красивый и оригинальный Стокгольмъ.

III.

Финляндія изъ окна вагона.

Въ шесть часовъ вечера мы тронулись въ обратный путь на той же «Norra Finland». Тотъ же любезный капитанъ, тѣ же улыбающіяся овечки горничныя; но публика измѣнилась. Русскихъ уже никого, а все шведы, да ошведившіеся финляндцы. Нашлась пара французовъ, мужъ съ женой, и компанія англичанъ изъ двухъ дамъ и трехъ мужчинъ. Шведы и финны сейчасъ же засѣли за выпивку и вскорѣ и напились, какъ слѣдуетъ. Французы съ опасеніемъ посматривали на поведеніе шведовъ и тщетно старались завязать съ ними разговоръ. Англичане держали себя, какъ дома, — болтали, хохотали, дурачились, играли на піанино и распѣвали пѣсни. Впослѣдствіи нашлись и русскіе, но сначала они искусно притворялись шведами, финнами, нѣм-

цами, чѣмъ угодно, но только не русскими. Чудаки!

Пароходъ шелъ заливомъ, который сравниваютъ съ Босфоромъ. Согласенъ и на это сравненіе, но тоже съ ограниченіями. Паркъ помѣщичьей усадьбы средней руки тоже напоминаетъ паркъ въ Петергофѣ, но равняться они не могутъ. Такъ и стокгольмскій фьордъ. Не та вода, не то небо, не та растительность. Вмѣсто кипарисовъ и платановъ—невзрачная сосна. Вмѣсто великолѣпныхъ и громадныхъ дворцовъ—дачки, точь-въ-точь такія, какія настроены въ Шуваловѣ и Озеркахъ. Вмѣсто океанскихъ пароходовъ, цѣлыми стадами проходящихъ Босфоръ, скромныя лайбы, нагруженныя дровами, да такія суденышки, какъ наша «Норга». Красиво, изящно, и на Босфоръ похоже, но еще болѣе похоже на наши петербургскіе острова. Последнее сравненіе будетъ ближе къ правдѣ.

Плывемъ мимо дачныхъ деревенекъ, проходимъ мимо стокгольмскаго Кронштадта — Кексгольма. Этотъ Кронштадтъ потерялъ всякое значеніе, послѣ того, какъ мы овладѣли Аландскими островами, и крохотная его крѣпостца, больше похожая на каменный домъ, чѣмъ на крѣпость, поддерживается только въ качествѣ историческаго памятника. Дальше пошли опять воды узкаго фьорда, шхеры и

сосны. Когда кончится заливъ, все-таки не будетъ моря, оно вплоть до Або усыпано островами. Отъ Або до Гельсингфорса опять моря нѣтъ, потому что и тамъ путь идетъ шхерами. Половина дороги дальше, въ Петербургъ, снова проходитъ въ виду береговъ и среди острововъ. Такимъ образомъ, изъ нашей столицы до шведской можно добраться, чуть не прыгая съ камешка на камешекъ. Между камешками есть и водяная дорога, безопасная и хорошо содержимая, обставленная вѣхами на берегахъ и красными палками, воткнутыми въ дно. Выходитъ путешествіе совсѣмъ не морское, а какое-то полусухопутное. Немудрено, что зимою 1809 года наши войска перешли въ Швецію подъ Стокгольмъ пѣшкомъ, частью по островамъ, частью по льду.

Однако, между Стокгольмомъ и Аландскими островами, есть кусочекъ открытаго моря. День былъ очень вѣтрный.

— Сегодня ужинать будемъ немного раньше, сказалъ нашъ любезный капитанъ. — Въ морѣ немножко покачаетъ, а дамы этого почему-то не любятъ и, когда качаетъ, не только не кушаютъ, но дѣлаютъ совсѣмъ наоборотъ.

Качки мы ждали съ нетерпѣніемъ: что же за морское путешествіе безъ качки! Поужинали, за ужиномъ шведская публика, муж-

чины и дамы, выпили. Дамы, съ раскраснѣвшимися щеками пошли спать, но кавалеры остались допивать сегодняшнюю порцію, которая была окончена лишь тогда, когда спустаться въ каюту пришлось съ такими усиліями, будто на морѣ сильная буря. Иллюзія полная, но только иллюзія: мы въ открытомъ морѣ, а качки нѣтъ, какъ нѣтъ. Часъ ночи, два часа, чрезъ двадцать минутъ пристанемъ къ Маріенгамну, столицѣ Аландскихъ острововъ, съ населеніемъ въ восемьсотъ душъ, а море все тише и глаже. Хоть на эту курьезную столицу взглянуть!

— Капитанъ, скоро Маріенгамнъ?

— Да-а, скоро, но, видите-ли, можно иногда и опоздать, иногда можно очень много запоздать...

И капитанъ внимательно осматриваетъ горизонтъ. Приглядываемся и мы къ нему. Тамъ и сямъ темнѣютъ острова, но съ островами что-то неладно: они шевелятся.

— Капитанъ, а, вѣдь, это не острова, а туманъ?

— Да-а, туманъ, и очень густой. Хотя въ это время года не долженъ быть туманъ, но онъ есть. Онъ теперь далеко, но, когда придетъ къ намъ, мы остановимся. Однако, я не думаю. До Маріенгамна всего двадцать минутъ, и туманъ, можетъ-быть, насъ не догонитъ.

Но злодѣй догналъ-таки насъ.

Уже разсвѣло, и стало ясно видно, что предполагаемые острова—тучи, опустившіяся до морской поверхности и громадными валами ползшія по ней. Стоявшія между нами и солнцемъ были молочнаго цвѣта; уходившія на западъ были черны, какъ дымъ. Бѣлая туча медленно надвигалась на насъ и, когда до Маріенгамна оставалось всего пять, десять минутъ, надвинулась, и мы точно окунулись въ мутную, бѣлесую воду. Сажений на тридцать еще видно, а дальше—какое-то молоко, какъ будто и прозрачное, но и не пропускающее сквозь себя взгляда. Прошли нѣсколько сажений ощупью. Раздался сигнальный звонокъ—и машина остановилась. Раздался другой сигналъ—спустили якорь. И мы стали. Чуть плещется вода у бортовъ парохода. На снасти садится туманъ и падаетъ оттуда крупными каплями. Платье отсырѣло. Время отъ времени жалобно воетъ пароходный свистокъ.

— Да-а, когда такой туманъ, нельзя плыть, говоритъ капитанъ.

— У насъ на Волгѣ плыли бы, говоритъ мой спутникъ.

— Да, это дѣлается, но это не хорошо, когда такъ дѣлается. Желаю вамъ, господа, спокойной ночи.

И капитанъ пошелъ спать. Мы послѣдовали его примѣру. Когда мы проснулись, то узнали, что простояли, совсѣмъ въ виду Мариенгамна, цѣлыхъ семь часовъ; Аландскіе острова были уже далеко. Опять пошли шхеры, опять шведы пили, англичане дурачились, и всѣ неуклонно ѣли. Къ вечеру мы подошли къ Або и, чтобы по причинѣ возможныхъ тумановъ не опоздать въ Петербургъ, рѣшились изъ Або ѣхать не моремъ, а по желѣзной дорогѣ.

— Все одно срамиться, шутилъ спутникъ. — На чувашскомъ пароходѣ плавали, по чувашской дорогѣ поѣдемъ.

Послѣ Стокгольма и его окрестностей Финляндія кажется еще миниатюрнѣй, чѣмъ послѣ Петербурга. Послѣ нашей столицы впечатлѣніе миниатюрности скрадывается новизною: въ Финляндіи все иначе, чѣмъ у насъ. Когда же попадаешь въ страну изъ Швеціи и видишь, что финляндскіе порядки и обычаи — рабское подражаніе шведскимъ, замѣчаешь, что эта копія со Швеціи чуть не модельныхъ размѣровъ. Въ Або тоже есть фьордъ, но крохотный; есть рѣка, но узенькая, съ Екатерининскій каналъ. Набережная тѣмъ не менѣе одѣта гранитомъ, въ камни вдѣланы огромныя желѣзныя кольца, а къ огромнымъ кольцамъ привязаны крохотные кораблики.

Вдоль рѣки и залива настроены маленькіе фабрики, заводики и верфи. Въ маленькихъ скверахъ, содержимыхъ строго на шведскій ладъ, стоятъ памятники маленькимъ великимъ людямъ. На тихихъ улицахъ, для сходства со Стокгольмомъ, поставлены два-три извозчика, одѣтые на шведскій манеръ. Для того же сходства была устроена въ Або даже конка, но, такъ какъ по ней ѣздить было некому, конка упразднена. Крошечная, тихая, смиренная копія! Одно только въ Финляндіи больше и внушительнѣй. Это — люди. Присматриваясь къ нимъ послѣ Стокгольма, я понялъ, откуда у насъ появился предрассудокъ, будто шведы и шведки — народъ крѣпкій и здоровенный. За шведовъ мы въ С.-Петербургѣ принимаемъ обшведенныхъ финновъ. Каждому петербуржцу знакомъ этотъ типъ. Хорошій ростъ, широкія и полныя плечи, свѣтлые волосы и нѣжная бѣлизна и румянецъ лица. Въ Швеціи такихъ здоровяковъ нѣтъ, въ Финляндіи они и онѣ — на каждомъ шагу; слѣдовательно, это финны. Такъ оно и есть. Вглядитесь въ такого «шведа» внимательнѣй, и вы убѣдитесь, что это тотъ же знакомый вамъ вейка, только сытый и хорошо содержанный. Глаза его стали свѣтлѣе и болѣе синими, морщины расправились жиромъ, спина выпрямилась, волосы сдѣлались шелковисты. Но форма глазъ

осталась попрежнему небольшой и круглой, лицо все-таки широковаато, голова круглая, а ноги уже и совсѣмъ не шведскія, не длинныя и сухія, а короткія и мускулистыя, какъ у гимнаста. Это — раскрашенный хорошей жизнью до неузнаваемости вейка. Можно прослѣдить постепенность этой метаморфозы. Голодный торпакъ или батракъ ничѣмъ не отличается отъ парголовскаго чухонца. Абосскій извозчикъ, или лакей въ ресторанѣ, или матросъ на нашей «*Norra Finland*», которые ѣдятъ лучше и живутъ гигиеничнѣй, уже не имѣютъ морщинъ и держатся прямѣе, а лицо ихъ, хотя и не приобрѣло еще розъ и лилій, но сбросило землистую окраску. На лицахъ городскихъ служанокъ уже зацвѣтаютъ розы и лиліи. Приказчики и приказчицы въ магазинахъ почти приближаются къ «шведскому» типу. Купцы и купчихи, пасторы, пасторши и ихъ маленькіе пасторята—совсѣмъ «шведы». На графахъ, баронахъ и рыцаряхъ снова замѣтенъ упадокъ расы: должно-быть, живутъ слишкомъ по-шведски.

Очевидно, финляндскіе финны—раса жизнеспособная, не потерявшая здоровыхъ силъ за долгое время пребыванія въ болотахъ и голоданія среди камней своей страны.

Очевидно, они принадлежатъ къ лучшимъ вѣтвямъ племени, подобно мордвѣ, которая

поражала меня на Востокѣ Россіи могучимъ тѣлосложеніемъ, цвѣтушимъ здоровьемъ, смышленостью и даже красотой. Мордва расцвѣла такъ на черноземѣ. Финляндцы превращаются въ «шведовъ» съ успѣхами бытовой культуры. Дай имъ Богъ и дальнѣйшаго преуспѣянія. Это поведетъ къ смягченію нравовъ. Теперь же въ финляндцѣ, даже въ цвѣтущемъ розами и лиліями финскомъ «шведѣ», еще порядочная доза дикаря. Настоящій шведъ въ обращеніи всегда джентльменъ; въ «шведѣ» финскомъ есть что-то напоминающее разбогатѣвшаго мужика. Говоритъ онъ грубовато, движется угловато, слишкомъ доволенъ собой и невѣжливо выражаетъ недовольство другими. Финнъ-матросъ, извозчикъ, мастеровой, фабричный, крестьянинъ-собственникъ первобытно золъ и упрямъ. Бѣда, если онъ пьянъ, — изъ-за вздора пускаются въ ходъ ножи. Нехорошъ онъ и тогда, когда всего лишь подопьетъ. Я наблюдалъ компанію молодежи изъ низшаго класса въ вагонѣ. Народъ все приземистый, могучій, мускулистый. Подпили, — и сидятъ, молча. Молчатъ, но видно, что внутри у нихъ сильно бурлитъ ихъ финская дикость. Глаза побѣлѣли и смотрятъ съ наглою злостью. Лица поблѣднѣли и напряженно разгладились. Разсѣлись въ такихъ позахъ, что, молъ, лучше не подходи. Курили

и отплевывались какъ-то демонстративно. Даже другъ на друга, на свою же компанію, посматривали по-волчьи. Кондукторъ ходилъ около нихъ опасно и облегченно вздохнулъ, когда это пріятное общество вышло на одной изъ станцій и направилось на фабрику, куда пріѣхало на работу.

Образчикъ своего упрямства «шведы» показали намъ ночью. У окна вагона сидѣли пожилая дама и мужчина среднихъ лѣтъ. Дамѣ стало душно, и она опустила окно. Мужчина спалъ, но, когда его стало продувать холоднымъ ночнымъ вѣтромъ и обдавать дымомъ и искрами, онъ проснулся.

— Окно надо закрыть, говоритъ онъ дамѣ.

— Мнѣ душно, отвѣчаетъ она.

«Шведъ» рѣшительно встаетъ и запираетъ окно. «Шведка» въ это время смотритъ въ сторону и молчитъ. Но, едва ея vis-à-vis опустил на свой диванъ, дама поднимается не менѣе рѣшительно и снова открываетъ окно. На этотъ разъ молчитъ и смотритъ вбокъ мужчина. Проходитъ секунда, другая, — мужчина встаетъ и поднимаетъ стекло. Мой спутникъ, смотрѣвшій на эту сцену, не выдерживаетъ и прыскаетъ отъ смѣха. «Шведы» даже не взглянули на него, но дама ухитряется опять опустить окно, на этотъ разъ не вставая съ мѣста. Въ это время проходитъ кон-

дукторъ и по просьбѣ мужчины затворяетъ окно. Но, скрылся кондукторъ,—дама тотчасъ же дѣлаетъ по своему.

— Слушайте-ка, говоритъ мнѣ спутникъ, не сумасшедшіе-ли они? А?

Но «шведы» не были сумасшедшими. Это была лишь финская «настойчивость», та же настойчивость, которая заставляетъ мордовскаго финна вѣшаться на воротахъ врага, которому онъ настойчиво хочетъ насолить, но иначе этого сдѣлать не можетъ.

Окно подымалось и опускалось все время, пока ѣхала дама. Когда она вышла, мужчина въ послѣдній разъ со стукомъ хлопнулъ окномъ, безмолвно легъ на освободившійся диванъ и тотчасъ же безмятежно заснулъ. Очевидно, на его взглядъ, все происшествіе не представляло ничего особеннаго.

Такую же смѣсь культурности и первобытной дикости носить и финляндская природа. Отъ Або мы направились внутрь страны, по направленію къ узловой станціи Тойола. Скорый поѣздъ, идущій въ Гельсингфорсъ, былъ тоже крохотный, всего четыре вагона, но бѣжалъ онъ съ образцовой быстротой. Предъ нашими окнами быстро замелькали лѣса, рѣки, озера, поля, хутора. Лѣса дикіе, однообразные, неустроенные. Рѣки маленькія. За то огромны озера, занимающія 20% по-

верхности Финляндіи. Необработанныхъ земель, заваленныхъ камнями или заболоченныхъ, множество, но попадающіяся поля отличаются высокою культурой. Вообще, прибрежная полоса Финляндіи совсѣмъ не то, что знакомая петербуржцамъ восточная ея окраина, до Выборга и до Иматры. Разница между культурностью Абосской губерніи и окрестностями какого-нибудь Нейшлота, пожалуй, такая же, какъ между подгороднымъ русскимъ огородникомъ и уфимскимъ башкириномъ. Отъ Або до Тойола и дальше, до Тавастгуса и Рихимякъ, гдѣ наступившая ночь помѣшала видѣть окрестности, намъ, то и дѣло, попадались фабрики и заводы, — конечно маленькіе, финляндскіе, но основательно и даже красиво построенные и устроенные. Болотистыя и каменистыя пространства смѣнялись полями помѣщиковъ и пасторовъ. Помѣщичьи усадьбы тоже маленькія. Маленькій домъ безъ всякихъ архитектурныхъ притязаній, передъ нимъ дворикъ, съ боковъ двора маленькія службы. Садовъ и цвѣтниковъ не видно. Сады обыкновенно замѣнены подчищенными рошицами, неподалеку отъ усадьбы. Поля сравнительно съ усадьбами обширны. при чемъ первое мѣсто принадлежитъ травосѣянію. Какъ видно, земля обрабатывается и удобряется прекрасно, потому что клевера

пополамъ съ тимофеевкой, были чудесные, высокіе и густые. Ихъ косили—и необыкновеннымъ способомъ. Коса насажена на короткую ручку, которую работникъ держитъ обѣими руками на вѣсу. Работая, онъ съ размаху ударяетъ справа налѣво и потомъ слѣва направо, дѣлая сразу два прокоса и не теряя времени на пустой обратный отводъ косы. Каторжная, должно быть, работа и нужно быть крѣпко сколоченнымъ западнымъ финномъ-тавастомъ, чтобы косить такимъ манеромъ. Болѣе жидкій западный карелль коситъ обыкновеннымъ способомъ. Сушатъ сѣно тоже не по-нашему. По всему полю разставлены воткнутые въ землю колья съ крестообразной перекладиной, немного выше земли. На эти колья накладывается трава и сохнетъ такимъ образомъ на вѣсу и на вѣтеркѣ. Отлично придумано, но какая съ этимъ возня. Такія церемоніи съ сѣномъ происходятъ, очевидно, не спроста; очевидно, оно очень нужно и его производство очень выгодно. И дѣйствительно, хлѣбопашество не можетъ много дать въ Финляндіи, она живетъ молочными продуктами, которые вывозитъ въ Россію и Швецію; поэтому, главная ея забота обращена на молочный скотъ. Рядомъ съ полями, занятыми клеверомъ, видны выгоны, тоже сѣянные. На выгонахъ—чудесный скотъ.

— И этого я не понимаю, говоритъ спутникъ.— Вѣдь, какихъ деньжищъ стоитъ экая полевая культура! Аптека, а не хозяйство! Химія, а не пахота! На-ко-ся, изобрази на такомъ моховомъ болотѣ клеверный газонъ. Не луга, а цвѣтники: хоть букеты на немъ составляй. А коровы-то, коровы! Чай, по утрамъ не поило, а кофеи пьютъ! У шведовъ не чисто, а тутъ еще того неладнѣй, потому что шведъ все-таки крону беретъ, полтинникъ, а чуваша эти за то же вдвое меньше—марку.

«Нечистаго» въ финской сельско-хозяйственной культурѣ, смѣю завѣрить, ничего нѣтъ. Вечеромъ мы стояли на станціи Рихимяки три часа. Чтобы сократить время скучнаго ожиданія, мы прошлись по окрестностямъ станціи. Обычный финскій пейзажъ. Ложбина, занятая полями. Ложбина окаймлена холмами, заваленными камнями и заросшими сосной и березой. Обычная финская тишина: ни птицъ, ни стрекотанья и жужжанья насѣкомыхъ. Вдали, надъ болотцами бѣлесый туманъ. Всюду пронизывающая сырость и роса, покрывающая травы, деревья, камни, даже дорожную пыль. Встрѣчаются крестьяне и вѣжливо раскланиваются. За углами избъ стыдливо, на шведскій манеръ и съ тѣми же результатами, любезничаютъ дѣвки, въ платьяхъ, шитыхъ въ талію, съ парнями въ пиджакахъ. Узкая до-

рога, высыпанная гравіемъ, какъ и всѣ финляндскія дороги. По дорогѣ мчатся финскія таратайки, запряженныя знакомыми Петербургу «американскими шведками». Впереди по дорогѣ виднѣтся рядъ какихъ-то не то шалашей, не то домиковъ.

— Что за штука такая? говоритъ, глядя на нихъ, спутникъ. — Подойдемъ-ка, посмотримъ.

Мы подошли. Шалашаи оказались избушками, величиною не больше одноконнаго вагона конножелѣзной дороги.

— И забавно же! воскликнулъ спутникъ. — Точно кукольные!

Каждая кукольная избушка стоитъ на половинѣ подъема каменистаго холма; около нея — жалкіе, разваленные хлѣвушки и сарайчики; противъ каждой — длинная полевая «полоса», тянущаяся черезъ всю ложбину и составляющая часть общаго поля, занимающаго долину.

— Полосы! Ровно бы и у насъ! говоритъ спутникъ.

Но полосы оказались не «наши». Въ избушкахъ поселены помѣщичьи наемные батраки и торпали-барщинники. Противъ каждой избушки полоса, которую торпали и батраки должны помѣщику обработать. А барщинниковъ въ Финляндіи много. Когда про-

дается имѣніе, всегда упоминается въ числѣ доходныхъ статей, что къ имѣнію принадлежитъ столько-то барщинныхъ дней. Барщина даровая, батраки дешевые,—и въ этомъ загадка высокой культуры полей, состоящихъ изъ камня, песка и торфа.

Загадка разгадывается просто.

Въ десять часовъ утра слѣдующаго дня, на девятый день нашей экскурсіи, мы были уже въ Петербургѣ.

— Ахъ ты, батюшка! Ахъ ты, чортушка! Да какая же ты махинища, да какой же ты русскій! умиленно говорилъ спутникъ, обращаясь къ Петербургу и обрадованный возвращенію подъ русское небо,—и спѣшилъ до сыта по-русски наговориться съ извозчикомъ

— И съ чего это тебя по-нѣмецки зовутъ— Петербургомъ! прибавлялъ онъ и снова утолялъ жажду русскаго языка въ задушевной бесѣдѣ съ извозчикомъ.

— Вѣдь ты не Густавъ-Адольфъ, а Сидоръ? спрашиваетъ спутникъ извозчика.

— Понятно, Пантелей, отвѣчалъ тотъ.

— Ну, вотъ, видишь!

Послѣ скромнаго Стокгольма и крохотной Финляндіи Петербургъ представляется, въ самомъ дѣлѣ, колосомъ, «чортушкой». Рѣка—равная морскому заливу. Александровскій

мость—больше всѣхъ стокгольмскихъ мостовъ, взятыхъ вмѣстѣ. Громадный Лѣтній садъ—ростомъ чуть-ли не съ Або. Исаакіевской соборъ—величиной съ Гельсингфорсъ. Безконечная перспектива Невы, съ непрерывной линіей дворцовъ на лѣвомъ берегу и рядомъ дворцовъ науки и искусствъ—на правомъ. А дальше—громадный городъ, цѣлый лѣсъ зданій, церквей и монументовъ. Утро было ясное, теплое, и городъ жилъ полною жизнью: по рѣкѣ быстро двигались крупные, сильные пароходы; по улицѣ сплошной массой ѣхали отъ вокзала экипажи и шли толпы пѣшеходовъ; окна дворцовъ и купола церквей сверкали, отражая солнце. И весь городъ тихо, но мощно гудѣлъ отъ кипѣвшаго въ немъ движенія,—какъ пчелиный улей, въ которомъ работаетъ «сильный» рой.

УШ.

Въ Нижнемъ на ярмаркѣ.

Въ Бологомъ сворачиваемъ на Рыбинскъ.

Въ Бологомъ проститесь съ удобствомъ росписанія желѣзнодорожнаго движенія и съ точностью его выполненія. Тутъ мы ждемъ поѣзда четыре часа и не спѣша, съ опозданіями и задержками, пока еще незначительными, ѣдемъ въ «провинцію». Первыя впечатлѣнія скрыты подъ покрываломъ ночи, ибо мы трогаемся въ путь около четырехъ часовъ утра. Наблюдать мы начинаемъ лишь на слѣдующее утро, когда движемся, и довольно медленно, по восточной части Тверской губерніи, уже недалеко отъ Рыбинска.

Пассажировъ въ нашемъ поѣздѣ, какъ и во всякомъ поѣздѣ второстепенныхъ желѣзныхъ дорогъ, мало. Въ первомъ и во второмъ классахъ—почти никого. Въ третьемъ—много средней руки купцовъ и приказчиковъ. Прислушиваемся, не слыхатъ-ли чего про ярмарку?—Нѣтъ, не слыхатъ. За то толкуютъ о Германіи и таможенной войнѣ.

— Яичко какъ?

— Требуютъ. На Англию, но одно крупное. А гдѣ-жъ его возьмешь, крупное? Вотъ и сейчасъ въ двухъ кладовыхъ десять вагоновъ яйца лежить, да что проку! Мелкое яйцо германская пошлина остановила.

— Масло что?

— Низкіе сорта стали, потому только въ Германію шли. Хорошіе на Лондонъ, идутъ.

Должно быть, Германія у насъ брала то, что похуже. Стало-быть, надо производить лучше.

Странно слышать изъ устъ обыкновеннаго мелкаго купца, въ картузѣ и длиннополомъ «пальтѣ», эти соображенія насчетъ Англии Германіи, заграничныхъ пошлинъ. вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаемъ, что купецъ нашего поѣзда отличается отъ купца нижней Волги, Самары, Оренбурга, Урала. Какъ-то онъ мягче, трезвѣе, менѣе засаленный, менѣе размашистый и ухарскій. Тамъ — воплощенные Колупаевы и Разуваевы: тутъ — на людей похожи.

То, что видно изъ окна вагона, гармонируетъ съ человѣкообразнымъ купцомъ. Мѣстность никоимъ образомъ не пустынные лѣса и унылыя болота первой отъ Петербурга половины Николаевской дороги. Лѣсовъ далеко не такъ много, и они далеко не въ такомъ безпорядкѣ, какъ тамъ. Между рощъ и лѣ-

совъ много полей, много луговъ. На поляхъ сжатая рожь въ снопахъ, ленъ и овесъ. Села и деревни попадаются часто. Постройки въ нихъ крѣпкія и просторныя, и почти въ каждой славная бѣлая каменная церковь. Однѣ церкви старыя, прошлаго, запрошлаго столѣтія; другія — новѣе, начала текущаго вѣка. Это то-же, что я видѣлъ подь Москвой и за нею, по направленію къ Серпухову, Тулѣ и Рязани. Очевидно, тутъ—коренная, старая Русь, оставившая по себѣ слѣды въ видѣ этихъ веселыхъ, свѣтлыхъ церквей. Народъ имѣетъ хорошій видъ. Не очень свѣжій, но рослый, стройный, спокойный и, съ виду, зажиточный. Его нарядъ—не «шикозный» пиджаки фабричнаго изъ-подь Москвы и Владиміра, а чуйки и армяки, опрятные и ужь не слишкомъ грубаго матерьяла. Видно, какъ народъ пашетъ. Лошадь у него хорошая, рослая и въ тѣлѣ. По скошеннымъ лугамъ и на выгонахъ пасутся коровы; это прямо завидныя, настоящія ярославки.

Чѣмъ ближе къ Волгѣ, тѣмъ замѣтнѣй всѣ эти отличія отъ другихъ сторонъ отечества, которыя мнѣ приходилось видѣть. Все сильнѣе чувствуется нѣчто порядочное, довольное и даже изящное. Берега Волги, которую мы переѣзжаемъ за двадцать-пять верстъ до Рыбинска, уставлены частыми селами, такъ

что изъ одного видна церковная колокольня слѣдующаго села. У береговъ стоятъ барки и баржи. Недалеко отъ моста дымить труба какого-то завода, и на его стѣнѣ можно прочесть: «фабрика костяной муки».

Черезъ полчаса мы въ Рыбинскѣ, гдѣ садимся на парходъ. Парходы верхней Волги далеко не тѣ, что ходятъ за Нижнимъ. Тѣ—дворцы; здѣшніе — обыкновенные парходы, не тѣсные, но и не просторные, не плохіе, но и не великолѣпные. Не та тутъ и Волга. Въ Самарѣ она если не простой заливъ, то хорошій морской фьордъ; здѣсь она еще сохраняетъ фізіономію рѣки, хотя мой случайный спутникъ, молодой нѣмецъ изъ Гамбурга, говоритъ, что устья Эльбы не шире, и что при видѣ Волги ему чудится, что гдѣ-то неподалеку должно быть море, куда вливается эта огромная рѣка.

Трогаемся въ путь. Рѣка заставлена колоссальными баржами, величиной съ хорошій океанскій парходъ, приводящими моего нѣмецкаго спутника въ изумленіе. По большей части—это нефтянки. По берегамъ снова частымъ рядомъ идутъ села, съ непремѣнными въ нихъ церквами, которыя здѣсь еще старѣйшей постройки и хорошаго, изящнаго, старо-русскаго стіля. Чувствуется, что мы приближаемся къ Ярославлю и находимся въ

сердцѣ исторической Россіи, въ мѣстности, гдѣ зародились всѣ оригинальныя особенности русской культуры, гдѣ эта культура, не смогшая развиться въ должной мѣрѣ, все-таки насчитываетъ себѣ многія сотни лѣтъ и все-таки не могла не оставить послѣ себя слѣдовъ. Густое населеніе, обиліе архитектурныхъ памятниковъ въ видѣ церквей, обиліе двигателей старинной культуры — монастырей, спокойствіе и изящество манеръ народа, самая его внѣшность, красивая и интеллигентная. Народъ этотъ не полудикій, не стихійный землелашецъ окраинъ Россіи, а предприимчивый и развитой промышленникъ. Между селъ и въ селахъ то-и-дѣло попадаются фабрики и заводы, то небольшія, то колоссальныхъ размѣровъ, съ гигантскими трубами, чудовищными паровиками, помѣщающіеся въ изящныхъ зданіяхъ. Принадлежатъ они все русскимъ людямъ, вышедшимъ изъ среды здѣшняго простонародья.

— Кто-бы повѣрилъ, что это Волга! восклицалъ мой спутникъ нѣмецъ. — Это почти что Эльба, почти Рейнъ! И потомъ... потомъ, простите меня, на пароходѣ горитъ электричество, и меня не укусила ни одна блоха, не нагрубилъ ни одинъ русскій мужикъ. А я, наслышавшись о Россіи дома, купилъ противъ гостиничныхъ и пароходныхъ клоповъ фунтъ

персидскаго порошка, а на случай нападенія фанатическихъ мужиковъ запасся кастетомъ! Удивительно все чисто. А что до вѣжливости, то право, въ сѣверной Германіи, особенно въ Пруссіи, народъ и вообще публика — дикари въ сравненіи съ вашей публикой. Тамъ васъ третируютъ какъ раба, wie einen Slaven.

Не менѣе удивлялся спутникъ и тому, что фамиліи фабрикантовъ почти исключительно русскія. Фарфорово - фаянсовую посуду дѣлаютъ Карякинъ и Рахмановъ; нефтяной заводъ—Рогозина, купоросъ—Дунаева; бумаго- и льнопрядильня Хлудова и Прохорова и т. д. Спутникъ думалъ, что въ Россіи только и есть фабрикъ, что въ Лодзи, Озоркувѣ и Згержѣ, гдѣ и рабочіе и хозяева почти исключительно нѣмцы.

Поражала спутника своей неожиданной красотой и природа береговъ Волги. Рѣка тутъ въ самомъ дѣлѣ очень изящна. Рѣка уже широка, съ Неву. Плоской и широкой заливной долины еще нѣтъ — она начинается еще ниже, — но нѣтъ и обрывистыхъ высокихъ береговъ, которые на большемъ разстояніи начинаютъ непріятно тѣснить взглядъ. Берега поднимаются отлогими, мягкими скатами, по которымъ стелятся, точно разложенныя полотна, полосы посѣвовъ, темнозеленые луга и стоятъ лиственные лѣса. Берега то низкіе, то

образуютъ высокіе холмы и, въ соединеніи съ рощами, селами, бѣлоснѣжными церквами и пасущимися стадами, даютъ эффектные, изящные пейзажи. Не будь растительность по-Сѣверному однообразна — только вытянутыя въ струнку береза да осина, да мрачная ель, — въ самомъ дѣлѣ можно было бы подумать, что мы на Эльбѣ или на Рейнѣ.

Солнце закатилось. Пурпурная, цвѣта разгорѣвшагося угля, заря озарила небо и воду. Въ небѣ заря была разубрана грядками и прядями темныхъ облаковъ, въ водѣ она отливала темными складками волны, шедшей за пароходомъ.

— Совсѣмъ таковъ Нилъ на картинахъ, сказалъ спутникъ.

Положимъ, не совсѣмъ таковъ. Пурпуръ зари на Нилѣ менѣе красенъ; облака и волны не сѣрыя, а фіолетовыя; берега ниже, а вмѣсто сплошной темной стѣны густого лѣса на нихъ красовались бы сквозные узоры пальмовыхъ рощъ. Однако, въ самомъ дѣлѣ, похоже. Для того, кто не освоился съ оттѣнками сѣвера, трудно уловимыми, но вмѣстѣ съ тѣмъ составляющими суть пейзажа — и совсѣмъ похоже.

Мой спутникъ не улавливалъ ихъ. Не замѣчала ихъ до послѣдняго времени и русская пейзажная живопись, неволью писавшая рус-

скій воздухъ и свѣтъ на манеръ французскаго, нѣмецкаго, даже итальянскаго. Въ послѣднее время начинаютъ угадывать въ чемъ дѣло, но, по новизнѣ, пересаливаютъ, придаютъ пейзажу угрюмость, которой въ немъ нѣтъ. Въ немъ просто сѣверный холодокъ, сѣверная обильная роса и сѣверный кристально-прозрачный воздухъ, безъ свѣтовой пыли, скрадывающей контуры и смягчающей краски.

Въ такомъ - то вечернемъ свѣтѣ увидѣли мы двойной городокъ, Романовъ - Борисоглѣбскъ, — первый на лѣвомъ берегу Волги, второй — на правомъ. Городки, взбирающіеся отъ Волги на высокіе холмы ея береговъ, стоятъ точно новенькая лакированная игрушка. Небольшіе дома и небольшіе церкви стоятъ среди густыхъ зеленыхъ садовъ, разумѣется, не фруктовыхъ, потому что тутъ для фруктовъ еще слишкомъ сѣверно. Церкви, конечно, всѣ старинныя и необыкновенно причудливыхъ формъ и причудливыхъ красокъ. Поддерживаются онѣ, не смотря на то, что церквей чуть не больше, чѣмъ домовъ ихъ прихожанъ, въ полномъ порядкѣ и свѣжести. Очевидно, народъ по-прежнему не только чтитъ въ нихъ святыню, но и любитъ ихъ какъ художественное произведеніе. Славный народъ: въ немъ есть художникъ, поэтъ! Воображеніе не мѣшаетъ практической работѣ ума:

вокругъ изящныхъ храмовъ разсыпались дома, домишки и лачуги, гдѣ на всю Россію выдѣлываются знаменитые романовскіе полушубки. Подите-ка, выдѣлайте ихъ такъ, какъ въ Романовѣ! Лондонъ обладаетъ секретомъ выдѣлки котика, — ну, а для Романова и секрета насчетъ овчины достаточно... Крохотные городки Романовъ и Борисоглѣбскъ, но между ними существуетъ паровой перевозъ.

— Скажите! говорилъ спутникъ, — а я признаться, думалъ, что тутъ переѣзжаютъ на какихъ нибудь надутыхъ воздухомъ буйволовыхъ шкурахъ!

За Романовомъ совсѣмъ стемнѣло, и поднялся золотой мѣсяцъ. Берега рѣки стали черно-синими; только иногда вода, то столбомъ, то колеблющимися пятнами, отражала золото мѣсяца. Жаль, что мѣсяцъ скоро закатился. Въ темнотѣ и уже въ сильномъ холодкѣ плыли мы дальше, мимо селъ, гдѣ маленькими точками свѣтились огни, остановились у огромной норской прядильни, жужжавшей нѣсколькими тысячами веретенъ и ярко горѣвшей большими окнами, и подошли къ древнему монастырю Толгской Божіей Матери, бѣлыя стѣны и церкви котораго чуть виднѣлись въ ночной темнотѣ. Пассажиры всей толпой повалили въ часовню, устроенную тутъ-же на плавучей пароходной пристани.

— Какая дисциплинированная толпа! опять удивился мой спутникъ.

Признаться, удивился и я. До сихъ поръ я зналъ русскую толпу, которая мечется какъ стадо, — сопя, выпуча глаза, толкаясь и давя другъ друга, точно она спасается отъ пожара или рвется послѣ жестокаго голода къ хлѣбу, котораго на всѣхъ не хватитъ. Здѣсь ничего подобнаго не было. Въ Норской садились фабричные и шли на пароходъ «тихо, благородно». Въ Толгѣ времени, чтобы зайти въ часовню, было очень мало, но и тутъ никто не суетился, не напиралъ, не работалъ локтями. вмѣстѣ съ простымъ народомъ шли женщины изъ второго и перваго классовъ. Онѣ вернулись изъ толпы въ такихъ-же не измятыхъ платьяхъ и шляпкахъ, въ какихъ и ушли. Даже вскрикнуть никому изъ нихъ не пришлось, что для нѣжныхъ и слабыхъ созданий, пожалуй, немножко и обидно. Въ самомъ дѣлѣ, здѣшній русскій народъ — не совсѣмъ обыкновенный народъ. Какъ видно, старая культура нигдѣ даромъ не пропадаетъ.

Ярославль отъ Толги всего въ восьми верстахъ. Когда мы подплывали къ нему, было уже совсѣмъ темно. Ни города, ни береговъ не было видно. Только свѣтились ряды огоньковъ внизу, у воды, и наверху. Вѣжливый и неторопливый носильщикъ отнесъ наши вещи

на такого-же вѣжливаго извозчика, который отвезъ насъ въ вѣжливую-же гостиницу, гдѣ моему спутнику не пришлось откупоривать персидскій порошокъ.

Ярославль.

Ярославль считается самымъ старымъ русскимъ городомъ на Волгѣ. Каковы были пришедшіе туда съ Ярославомъ русскіе, которые его основали, — похожіе-ли на теперешнихъ малороссовъ, или это были полу-варяги, — покрыто мракомъ неизвѣстности. Теперешній-же народъ — очень видный и, къ удивленію моего нѣмецкаго спутника, очень культурный въ обращеніи. По внѣшности, это — извѣстные «ярославцы - красавцы», бѣлотѣлые, румяные, съ бѣлокурыми бородками, отливающими золотистыми искорками. Конечно, «черный» народъ не такой холеный и крупчатый, какъ прикащики въ петербургскихъ фруктовыхъ магазинахъ, но видно, что темный цвѣтъ лица происходитъ отъ загара, а сравнительная худоба — отъ тяжелой работы, а не отъ свойствъ плохой расы. Если отмыть и откормить любого ярославца, онъ всегда оправдаетъ репутацію «красавца».

Ярославскій типъ въ самомъ дѣлѣ интересенъ. Сравнить его съ какой-либо другой народностью нельзя. Ярославецъ не такъ вы-

сокъ и не такъ костистъ, какъ полякъ или малороссъ; онъ не жиренъ, какъ нѣмецъ, а въ мѣру полонъ. Среди ярославцевъ половина—блондины и блондинки, но темпераментъ ихъ, сказывающійся въ движеніяхъ и блескѣ глазъ, обнаруживаетъ несомнѣнно меньше лимфы, чѣмъ у нѣмецкихъ, шведскихъ, финскихъ блондиновъ. Брюнеты и брюнетки не слишкомъ ужь черны; черты ихъ лица не такъ рѣзки, какъ у южныхъ славянъ, у румынъ, у грековъ. Все въ мѣру, смягчено, уравновѣшено и изящно. Даже у явно деревенскихъ людей попадаются прекрасной формы тонкіе носы съ изящно очерченными ноздрями и замѣчательно маленькія руки и ноги. Лица—овальные, брови—то тонкія, какъ шнурочки, то густыя, «соболиныя». Темная бровь нерѣдко оттѣняетъ синій глазъ; попадаются черноглазые блондины. Держать себя спокойно, съ достоинствомъ, но и не дичатся. Глядя на этихъ людей, я удивлялся, почему наши художники, изображая деревню, берутъ такіе «типы», что святыхъ выноси: носы—луковками, глаза—оловянными пуговицами, фигура—тумбой. Я думаю, ярославецъ, созерцая эти картины, увѣренъ, что онѣ пишутся «для смѣха», веселыми людьми, «чудилами».

Въ манерѣ держать себя явно проглядываетъ старая культурность, старѣйшая въ Рос-

си. Въ то время, когда Западная Русь до Смоленска и Новгорода, тянула къ заграницѣ и къ Польшѣ, а на востокъ Россію не пускали азіатскіе народы, Русь свернулась въ комокъ на сѣверной Волгѣ, выработала свой собственный оригинальный физическій типъ и свою собственную культуру. Раса изъ смѣси славянъ и хорошихъ финскихъ племенъ получила прекрасная: крѣпкая, умная, красивая, спокойная. Культура не успѣла достигнуть мірового значенія, внѣшнія причины задержали и остановили ея развитіе, но черты самобытности въ ней несомнѣнно были и въ области искусства сохранились до сихъ поръ. Отъ насъ зависитъ вернуться къ ихъ началамъ и развить ихъ въ такой-же мѣрѣ, какъ мы развили изящную литературу. Я говорю объ архитектурныхъ памятникахъ Ярославля.

Это памятники, — конечно, церкви, описаніемъ которыхъ я не стану, однако, утомлять читателя. Очень древнихъ церквей нѣтъ; всѣ построены или перестроены въ концѣ семнадцатаго вѣка; но и между ними попадаются чрезвычайно оригинальныя и изящныя. Удивленію моего нѣмецкаго спутника не было конца.

— Помилуйте, — древности, старина! А я былъ увѣренъ, что вся Россія — деревянная и каждая десять лѣтъ выгораетъ до-тла.

Мы заходимъ въ монастыри и приходскія церкви. Монастыри невелики, но дворики ихъ безукоризненно чисты, сады и цвѣтники въ полномъ порядкѣ, на окнахъ келій видны «ерани» и «бальзамины». Водившіе насъ монахи были тѣ-же ярославцы, — приличные, спокойные и представительные.

Это и есть монахи? Фанатическіе русскіе монахи? удивлялся спутникъ.

Когда мы подъѣзжали къ одной изъ приходскихъ церквей, извозчикъ посовѣтывалъ намъ обратить вниманіе на миниатюру «бѣгства въ Египетъ».

— Величиной съ ладонь, а все какъ есть выписано. Подкова у осла, и та обозначена. Живописецъ, господинъ Верещагинъ, все любовался и срисовывалъ.

— Какой Верещагинъ?

— Василій Васильевичъ. Серьезный такой, бравый. Отличный живописецъ.

Спутникъ опять изумился.

— Да вѣдь это совсѣмъ интеллигентный человекъ! говорилъ онъ про извозчика.

Такъ-же удивилъ его и сторожъ церкви, который началъ съ заявленія, что церковь находится подъ охраной археологическаго общества, при чемъ это трудное слово выговорилъ какъ нельзя правильнѣй.

— Я тутъ за все отвѣчаю, говорилъ онъ, — да не убережешь всего. Вотъ, не угодно-ли взглянуть: на паперти изображены муки Христовы. Такъ у мучителей у всѣхъ глаза выколоты. Ребята:—зачѣмъ Христа мучать.

Попадались намъ и ребятишки у церквей и церковныхъ домовъ. Все хорошенькія личики, съ ясными спокойными глазами; все толковая, незастѣнчивая рѣчь. Чудный матеріаль для культуры! Съ такими глазами много можно увидѣть; съ такими бойкими головами много можно понять. Сѣверное Поволжье мы знаемъ все еще только по Островскому; но, должно быть, строй жизни и нравы теперь значительно измѣнились. Промышленность разрослась, передвиженіе усилилось, образованность проникаетъ все глубже и шире въ торгующую и производящую массу. Не можетъ быть, чтобы и теперь нравы стояли на томъ-же уровнѣ, какъ во времена «Грозы». То, что видитъ глазъ туриста, что слышитъ отъ случайныхъ спутниковъ, говоритъ, что жизнь шагнула впередъ, старая полуазіатская шелуха спадаетъ съ даровитаго народа, и можетъ быть, уже спала.

Съ виду, по крайней мѣрѣ, этотъ народъ смотритъ совсѣмъ культурнымъ. Здѣшнія мѣста и нижняя Волга, это—небо и земля. Тамъ земледѣльческая пустыня,—здѣсь на каждомъ

шагу фабрики. Тамъ живутъ въ какихъ-то норахъ, на которыя навалена вмѣсто крыши куча гнилой соломы,—тутъ не избы, а дома. Тамъ кочующія толпы полуголодныхъ, испуганныхъ, сбитыхъ съ толку невѣрнымъ заработкомъ сельскихъ рабочихъ, здѣсь—мѣрное, обдуманное, спокойное передвиженіе торговцевъ, кустарей и фабричныхъ. Тамъ купецъ, кабатчикъ, «чумазый лэнд-лордъ» звѣрь, грабитель; здѣшній купецъ тамошняго самъ называетъ «каторжникомъ», укоряетъ въ отсутствіи порядочности и хорошихъ комерсантскихъ правилъ и традицій. Тамъ, «внизу», еще хищничаютъ, выжимаютъ сокъ, грабятъ запасы естественныхъ силъ земли, рассчитываютъ на «простоту» неповоротливаго земляпашца и полудикаго киргиза или башкира; здѣсь на старомъ культурномъ мѣстѣ, естественныя силы природы давно уже исчерпаны, «простоты» нѣтъ, и надо превращаться въ человека. Контрастъ такъ великъ, притомъ въ пользу здѣшнихъ мѣстъ, что я отдыхалъ душою послѣ двухлѣтняго проживанія на восточной окраинѣ. «Великая Русь», закваска и строительница *Россіи*, именно здѣсь и нигдѣ въ иномъ мѣстѣ. Даже не въ Москвѣ, потому-что Москва—ярмарка, вродѣ нижегородской, гдѣ своего меньше, чѣмъ чужого, случайнаго больше, чѣмъ постояннаго.

Говорятъ, сѣвернѣе, въ Вологдѣ, въ Вяткѣ, въ Архангельской губерніи, можно найти великую Русь въ еще болѣе привлекательной, еще болѣе духовной формѣ. Говорятъ, простонародье тамъ еще мягче, не затронутое черствыми и жесткими сторонами новѣйшей культуры. Быть можетъ, удастся когда-нибудь попасть и туда, но пока я доволенъ и впечатлѣніями отъ Ярославля до Рыбинска. Еще болѣе доволенъ ими мой нѣмецкій спутникъ, отправлявшійся въ Россію съ такими чувствами, съ какими встарь выѣзжалъ спѣшащій дорожный человѣкъ со станціи, не смотря на предупрежденіе, что на десятой верстѣ въ лѣсу, а на двадцатой на деревянной гати «шалютъ».

— Позвольте спросить господина иностранца, изъ какихъ именно мѣстъ они будутъ? обратился ко мнѣ сторожъ одной изъ ярославскихъ церквей, которыя мы со спутникомъ осматривали.

— Изъ Гамбурга.

— Отъ Цюриха это далеко?

— Очень далеко. А зачѣмъ тебѣ Цюрихъ?

— Туда со здѣшнимъ бывшимъ пасторомъ уѣхала моя сестра. Такъ вотъ, я думалъ не изъ Цюриха-ли господинъ, не знаютъ-ли пастора?

— Спросите его, что пишетъ ему сестра о Цюрихѣ, сказалъ мнѣ спутникъ.

— Да что пишеть?—Хвалить. Всѣмъ, пишеть, хорошо. Дѣти ее любятъ: она ихъ вынянчила,—по-русски говорить съ нею не забываютъ. Народъ чистый, аккуратный, ситець дешевый, пища не хуже нашей. Однимъ огорчается: нашей церкви нѣтъ поблизости. Просить тутъ за нее у Иоанна Предтечи помолиться.

Спутникъ не уставалъ изумляться: онъ думалъ, что вывезенная пасторомъ въ Цюрихъ ярославка будетъ чувствовать себя тамъ въ положеніи бушменки, попавшей въ Европу.

Изъ Ярославля—въ Нижній. Въ Нижнемъ, говорятъ, смѣсь Европы и Азіи, — Азіи русской и настоящей азіатской,—хивинской, бухарской, татарской, китайской, персидской.

Письмо I.

Въ Нижній я долженъ былъ попасть непременно въ назначенный день. Наканунѣ этого крайняго срока, въ Ярославлѣ, иду на пароходную пристань и застаю ее въ безмятежномъ спокойствіи: парохода, который долженъ былъ придти сверху въ четыре часа, нѣтъ еще до сихъ поръ, до пяти. Беру, однако, билетъ и жду. Пять часовъ, шесть, половина седьмого.

— Когда-же придетъ пароходъ?

— По росписанію, — въ четыре часа-съ.

Семь часовъ. Начало восьмого.

— Что-же пароходъ?

— По росписанію всегда долженъ приходить около четырехъ-съ.

— Вотъ вашъ билетъ. Возвратите мнѣ деньги.

— Помилуйте-съ! Сами изволили купить, никто васъ не принуждалъ.

Видъ отвѣчающаго настолько непоколебимъ, что, нѣтъ сомнѣній, вернуть за билетъ деньги безъ воплей, шума и скандала — невозможно. Я не охотникъ до воплей, шума и скандала и потому рѣшаюсь подождать еще немного и пораспросить публику о томъ, какъ ходятъ пароходы отъ Ярославля до Нижняго. Полученныя свѣдѣнія оказываются самыми скверными. Оказывается, — вмѣсто двадцати семи часовъ «по росписанію», до Нижняго мы рискуемъ протащиться двое, двое съ половиной сутокъ. Вода спала и спадаетъ съ каждымъ днемъ все больше и больше. Плесо отъ Рыбинска до Нижняго самое ненадежное во время мелководья. Перекатовъ съ мелей цѣлый «прейскурантъ»: тридцать-семь первыхъ и четыре вторыхъ. Поэтому почти нѣтъ надежды добраться до Нижняго въ назначенное время, и я рѣшаюсь ѣхать по желѣзной дорогѣ.

— Купите у меня билетъ, обращаюсь я къ публикѣ, которая рѣшилась дожидаться парохода и выражаетъ это настроеніе въ несомнѣнной формѣ, залегши спать на огромныхъ ситцевыхъ подушкахъ явно купческаго происхожденія.

— Какого-съ класса? спрашиваетъ меня бойкая купческаго голова, приподнимаясь съ ситцевой подушки.

— Перваго.

— Уступите по цѣнѣ второго класса.

— Не все-ли равно: въ кассѣ вы купите, или у меня, протестую я.

— Что-жъ, обратитесь въ кассу. И бойкая голова падаетъ на ситцевую подушку и моментально засыпаетъ.

Я молчу—голова спитъ. Я еще молчу—голова всхрапываетъ.

— Берите по второклассной цѣнѣ.

Бойкая голова такъ же моментально просыпается и отсчитываетъ мнѣ бумажки, выбирая тѣ, что поизорваннѣй. Я терплю рубль семь гривенъ убытка: мой первый ярмарочный дебютъ въ финансовомъ отношеніи проходитъ безъ особаго блеска.

Съ десяти вечера до восьми утра я ѣду въ Москву по ярославской дорогѣ и, съ досады крѣпко сплю. Въ Москвѣ въ четырехъ часа сажусь на почтовый поѣздъ нижегородской дороги.

Мѣстность, по которой проходитъ нижегородская дорога, куда какъ непривѣтлива. Плоскія песчанья поля, унылыя, ровныя какъ столъ торфяники, медленныя, какъ-то болѣзненно и преувеличенно извивающіяся рѣки. Однако, эти рѣки, судоходныя по веснамъ, стоявшіе тутъ въ старину лѣса, а въ наше время громадныя торфяныя залежи, — вызвали въ этой мѣстности сильное развитіе фабричной дѣятельности. То и дѣло проѣзжаемъ мимо фабричныхъ городковъ, — настоящихъ, каменныхъ, двухъэтажныхъ, съ мостовыми и фонарями. Надъ ними возвышаются фабричныя трубы. Это — царство хлопчато-бумажной мануфактуры, резиденція хлопчато-бумажныхъ королей. У станцій — нескончаемые ряды скирдъ торфа. Пассажиры — фабричныя и разнообразныя «служащія» на фабрикахъ.

Невеселая мѣстность казалась еще болѣе унылой при дождѣ, который сѣялся весь день, а къ вечеру усилился еще больше. Передъ Нижнимъ мѣстность, если возможно, еще безотраднѣй. Послѣднюю станцію мы ѣдемъ выгорѣвшимъ и усохшимъ сосновымъ лѣсомъ. Между лѣсомъ — песчанья поля, вѣчно и ненасытно жаждущія дождя. Ночью былъ дождь, а теперь, чуть пригрѣло солнце, изъ-подъ боронъ уже идетъ пыль. Не вѣрится, чтобы въ нѣсколькихъ верстахъ отсюда сотни десятинъ

такого-же песочка были завалены товарами знаменитой Нижегородской ярмарки на многие миллионы рублей. Но оно такъ, и такое чудо произвела матушка-Волга, которую мы такъ мало бережемъ и допускаемъ все сильнѣе и сильнѣе хворать мелями, перекатами и перевалами.

Кончаются горѣлые лѣса, и вдали на очень высокихъ берегахъ Оки и Волги, по ту сторону Оки, но по сю сторону Волги, показывается Нижній. Онъ съ виду невеликъ: видны нѣсколько колоколенъ, нѣсколько церквей и нѣсколько большихъ каменныхъ домовъ, очевидно казенныхъ, раздѣленныхъ зелеными садами. Гдѣ-же ярмарка?

Поѣздъ идетъ между какихъ-то пакгаузовъ и сараевъ и останавливается. Съ платформы вокзала видно, что и дальше идутъ пакгаузы и сараи. Дальше они становятся выше и помѣстительнѣй, потомъ превращаются въ «ряды» и «гостиные дворы»; проѣзды между ними принимаютъ видъ улицъ.

По проѣздамъ и улицамъ тянутся вереницы ломовиковъ, подъ колоннадами «рядовъ» стоятъ прикащики и ходятъ покупатели. Ряды, дворы, пакгаузы и сараи вмѣщаютъ въ себѣ около 400 тысячъ торговцевъ, прикащиковъ и рабочихъ. Этотъ-то колоссальный дворъ и есть Нижегородская ярмарка.

С. Т. Морозовъ и Н. М. Барановъ.

Ключи отъ познанія ярмарки находятся въ рукахъ двухъ людей: Николая Михайловича Баранова, нижегородскаго губернатора, управляющаго ярмаркою, и Саввы Тимофеевича Морозова, предсѣдателя ярмарочнаго комитета, избираемаго «всероссійскимъ купечествомъ», стекающимся на ярмарку. Первый — администраторъ ярмарочной территоріи, съ правами генераль-губернатора. Второй — хозяинъ ярмарки и представитель торгующей на ней Россіи. Министерство полиціи и министерство финансовъ. При ихъ содѣйствіи вы всюду пройдете и все, что пожелаете, увидите и узнаете. Безъ нихъ — вамъ никто не помѣшаетъ гулять по «рядамъ», обѣдать въ трактирахъ, смотрѣть фокусы въ балаганахъ да переписывать «путеводители» и старые ярмарочные отчеты. Съ запиской или провожатымъ отъ нихъ васъ всюду примутъ, посадятъ и привѣтливо разговариваются, — безъ того, по русской мнительности, будутъ «опасаться».

Первый визитъ — къ г. Морозову.

Я никогда не стѣснялся въ моихъ корреспонденціяхъ давать «портреты» людей, которыхъ «интервьюировалъ». Я не вижу причинъ такой сдержанности. Выставляютъ же художники портреты своей работы на выставкахъ, публикуя ихъ такимъ образомъ во все-

общее свѣдѣніе; печатаютъ-же иллюстрированные изданія, изображающія общественныхъ дѣятелей; чѣмъ-же перо хуже кисти или цинкографіи?

Относительно г. Морозова есть затрудненіе другого рода. Дѣло въ томъ, что я знаю его довольно давно, еще со студенческихъ его временъ, и боюсь, что прежнее впечатлѣніе отъ молодого студента помѣшаетъ мнѣ дать портретъ господина предсѣдателя нижегородскаго ярмарочнаго комитета. Однако попробую.

Когда я вошелъ въ помѣщеніе предсѣдателя въ ярмарочномъ «Главномъ домѣ» (къ слову сказать, болѣе чѣмъ скромное, состоящее всего изъ двухъ небольшихъ комнатъ), я увидѣлъ того-же знакомаго мнѣ студента-естественника, котораго знавалъ лѣтъ десять тому назадъ. Тогда молодой студентъ ходилъ въ весьма пожиломъ черномъ сюртукѣ, изукрашенномъ разноцвѣтными пятнами, слѣдами химическихъ опытовъ,—теперь на «студентѣ» былъ пиджакъ, модность котораго не спасала его отъ «жестокаго обращенія» со стороны хозяина. Тогда оригиналъ моего портрета всегда былъ въ хорошемъ расположеніи духа,—всегда въ хорошемъ настроеніи онъ и теперь. Тогда, если онъ не участвовалъ въ разговорѣ, онъ все что-то «думалъ», что было замѣтно

по нервной, но бодрой игрѣ лица и глазъ;— теперь думать ему приходится неизмѣримо больше: онъ уже не студентъ, а хозяинъ полумилліоннаго города. Тогда онъ всегда былъ занятъ, всегда спѣшилъ, — готовиться къ экзаменамъ, слѣлать работу по фабрикѣ, сразиться на студенческой сходкѣ, велѣть перековать лошадь. Теперь онъ занятъ во сто разъ больше: послѣ-завтра пріѣзжаетъ министръ финансовъ; его надо принять какъ министра и, какъ представителю «всероссійскаго купечества», съ нимъ надо говорить отъ лица всероссійскаго купечества (а времена, по случаю таможеннаго столкновенія съ Германіей, серьезныя), надо просмотрѣть десятки докладныхъ записокъ, которыя разныя группы купечества собираются представить министру etc., etc. Въ комнатки предсѣдателя то и дѣло входятъ и уходятъ члены комитета, авторы докладныхъ записокъ, административныя лица, рассыльные, посыльные, купцы, наконецъ, корреспонденты. Ужъ самимъ Богомъ такъ устроено, — что передъ интервьюеромъ не грѣхъ и попозировать маленько. Не знаю, какъ находятъ г. предсѣдателя ярмарочнаго комитета мои коллеги, но я увидѣлъ все того-же знакомаго мнѣ бодрого студента, выше средняго роста, плотнаго и крѣпкаго какъ гуттаперча,

съ глазами веселаго и добродушнаго ястреба подъ широкимъ лбомъ.

Представиться г. управляющему ярмаркой я опоздалъ, и г. предсѣдатель передалъ мнѣ приглашеніе перваго къ нему на обѣдъ въ тотъ-же день.

На моемъ корреспондентскомъ вѣку мнѣ нерѣдко приходилось представляться высокопоставленнымъ особамъ, но всегда это было сущимъ наказаніемъ. Во-первыхъ, — фракъ, къ которому я никакъ не могу привыкнуть; во вторыхъ, скучная банальность этой церемоніи.

«Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и искреннемъ уваженіи такого-то», на что слѣдуетъ отвѣтъ:—«А, какъ-же-съ, знаю, весьма радъ!», протягиваніе руки «такому-то», «гриммированная» улыбка и продолженіе оживленнаго разговора съ привычнымъ собесѣдникомъ. Г-нъ «такой-то» дѣлаетъ налѣво кругомъ и силится завязать оживленный разговоръ о погодѣ съ мимоходомъ представленнымъ ему господиномъ, — церемоніймейстеромъ, чиновникомъ особыхъ порученій или просто самоотверженнымъ молодымъ человѣкомъ, на обязанности котораго лежатъ бесѣды съ представляющимися особѣ.

— Гдѣ господинъ губернаторъ обѣдаетъ?

— Въ канцеляріи-съ.

Это что-то не по обыкновенному. Иду и прихожу действительно въ канцелярію, гдѣ все какъ слѣдуетъ: дежурные городовые, писцы, песочницы, чернильницы, «книги», «дѣла». Нѣтъ только канцелярскаго запаха. Поворачиваю направо, въ слѣдующую комнату, гдѣ находится телефонъ. Тамъ—накрытъ обѣденный столъ. У окна столикъ съ закусками. Спиной ко мнѣ—высокій, стройный, худошавый генералъ въ сѣрой тужуркѣ. По формѣ головы узнаю Н. М. Баранова. Въ комнатѣ человѣкъ десять молодыхъ людей. Первымъ входитъ въ столовую г. Морозовъ, съ которымъ я пришелъ, и что-то говоритъ генералу. Тотъ сейчасъ-же быстро поворачивается и идетъ мнѣ навстрѣчу.

— Честь имѣю представиться вашему превосходительству, говорю я.

— Позвольте и мнѣ вамъ представиться. Что такое! Я сбить съ толку. Согласно моему опыту, я ждалъ небрежнаго вопроса: «когда вы пріѣхали въ Нижній?», сопровождаемаго ничего невидящимъ взглядомъ, а тутъ—на меня пристально смотрятъ два черныхъ, желчныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣющихся глаза, и говорятся слова, не принятые въ церемоніальнѣ официальныхъ свиданій. Генералъ не даетъ мнѣ долго думать. Черные желчные и смѣющіеся глаза устремляются на мой фракъ.

— Зачѣмъ такой парадъ! Видите я въ курткѣ. Всѣ мы тутъ на бивакахъ, въ палаткѣ, и никакихъ церемоній не соблюдаемъ.

Я сбить съ толку окончательно. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ ничего невидящій взглядъ смотритъ на галстукъ: бѣлый-ли онъ,—и во внутренность складной шляпы:— торчатъ-ли оттуда перчатки. Генераль продолжаетъ говорить и, съ манерой нервнаго человека, въ разговорѣ наступаетъ на меня. Я пачусь. Генераль вдругъ беретъ меня за рукавъ.

— Не прислоняйтесь мой другъ къ стѣнѣ— выпачкаетесь. Ну-съ, знакомьтесь со всѣми сами, а главное, —закусывайте.

Подчиненные губернатора держатъ себя совершенно непринужденно. Кто хочетъ,—закусываетъ; кто хочетъ—выпиваетъ; остальные болтаютъ и смѣются. Но въ cadaго точно положена какая-то пружина, и пружина эта туго заведена Николаемъ Михайловичемъ, какъ всѣ они зовутъ своего начальника,—и ключи отъ нея у Николая Михайловича. Всѣ держатся прямо и бодро, движутся быстро, глаза блестятъ,—у всѣхъ «ушки на макушкѣ». Начальникъ дѣйствуетъ на нихъ, какъ электрическая машина, которая накаливаетъ лампы,—и лампы горятъ. Пиджаки—пиджаками, закуска, болтовня, и смѣхъ сами

собой, но повиновение, оказываемое электрическому генералу, — полное.

Трещитъ звонокъ телефона.

— Голубчики, будьте добры, помолчите немножко, меня зовутъ къ телефону, говоритъ начальникъ.

Голубчики, повидимому, тронуты до чрезвычайности, потому-что въ ту же секунду среди двухъ десятковъ непринужденныхъ людей воцаряется гробовая тишина и только слышно. «Кто?—Хорошо. Что съ нимъ дѣлать?—По этапу. — Что? Что? Что?» — Кто-то стукнулъ стуломъ, и въ то же мгновение раздался громовой командирскій голосъ:

— Да тише-же, ради всего святого!!

Все какъ-будто замерло. Повидимому командирскій голосъ долетѣлъ по телефону за пять верстъ, и тамъ произвелъ такое-же дѣйствіе, потому что Николай Михайловичъ долженъ былъ смягчить произведенный эффектъ, необыкновенно ласково произнеся въ трубу телефона:

— Ничего, ничего, продолжайте. У меня обѣдаетъ большое общество и немножко шумятъ, а я... Ну, однимъ словомъ, продолжайте.

Лишь только разговоръ кончился, все опять непринужденно заговорило и задвигалось.

Юношески подвижному и живому Н. М. Баранову уже пятьдесятъ шесть лѣтъ. Проис-

ходитъ онъ изъ дворянъ сѣвѣрной Волги, а дворяне эти, пожалуй, потомки старыхъ новгородцевъ и псковичей, если судить по тому, что они дали много людей типа генерала Баранова. Стройный ростъ, черные волосы, изящная небольшая голова, черные глаза. Люди этого типа нервны, и движенія ихъ быстры и порывисты. Нервы всегда приподняты, и потому ихъ энергія никогда не ослабѣваетъ. Складъ ума практическій, и о теоретикахъ изъ ихъ среды мало слышно. Промышленники, предприниматели, практическіе администраторы,—вотъ ихъ сфера. У нихъ сильное воображеніе, и это ихъ большое преимущество: они не засасываются рутинной практики и не остаются недоступными широтѣ и смѣлости взглядовъ. Нервная энергія съ годами принимаетъ нѣсколько желчный оттѣнокъ. Нѣтъ человѣка, у котораго не было бы неудачъ. Человѣкъ заурядный мирится съ ними, но выдающійся сердится на нихъ и слегка разстраиваетъ себѣ печень. Кромѣ того, въ людяхъ такого пошиба лежитъ элементъ удалства, стариннаго новгородскаго богатрства. Энергія и сила есть,—что, чортъ возьми, поищука я въ придачу счастья и удачи! А удача дается тому, кто ея ищетъ. Къ энергіи присоединяется удалость, талантливость—и получается замѣчательный человѣкъ.

Н. М. Барановъ, когда сѣлъ за столъ, превратился въ радушнѣйшаго хозяина. Старый морякъ проглядываетъ во всей манерѣ держать себя,—въ оживленной бесѣдѣ, въ подкладываніи кушаній и въ подливаніи вина, наконецъ, въ томъ, что онъ держитъ руки на столѣ, скрестивъ пальцы и широко разставивъ локти. Иначе моряку сидѣть неудобно: качаетъ, и не держатся-же руками за край стола, когда въ нихъ папираса, и кромѣ того время отъ времени приходится братья за стаканъ съ виномъ.

— Г-нъ Дѣдловъ! обращается ко мнѣ генераль.

— Что прикажете?

— Если вамъ что-нибудь понадобится узнать при моемъ содѣйствіи,—я къ вашимъ услугамъ. Вы о чемъ собственно хотите писать?

— Не о дѣловой сторонѣ ярмарки, которую нужно изучать годами. Мой предметъ, такъ сказать, живописная сторона, быть, нравы.

— Нравы? Господа, обратился генераль къ молодымъ людямъ, сидѣвшимъ на противоположномъ концѣ стола,—кого изъ васъ надняхъ разбудилъ человекъ, просившій, чтобы ему дали триста розогъ?

— Меня.

— Вотъ вамъ черта нравовъ. Приходитъ, ломится въ мою канцелярію и приноситъ мнѣ такую странную просьбу. Что мы съ нимъ сдѣлали?

— Отвезли въ часть.

— Это былъ, кажется, крестьянинъ?

— Мѣщанинъ.

— Да, помню, мѣщанинъ. Но и другія сословія не отстаютъ. Пять дней тому назядъ на улицѣ меня останавливаетъ какой-то растерянный субъектъ. «Если у тебя пожаръ, голубчикъ, говорю я,—готовъ тебя выслушать, говори скорѣй».—Падаетъ на колѣни и слезно проситъ себя высѣчь.—«Если есть за что, непременно высѣку. Въ чемъ виновать?»—Ваше превосходительство, пятыя сутки пью и остановиться не могу. Измаялся, образумьте чѣмъ хотите.—Велѣлъ посадить его на трое сутокъ. Отсидѣлъ, опять приходитъ ко мнѣ, уже въ совершенномъ порядкѣ, и искренно благодаритъ. Претензій на замѣну тѣлеснаго наказанія арестомъ, конечно, никакихъ. И, знаете, кто это былъ? Почтенный купецъ Н.,—вы, господа, всѣ его знаете.

— Я выражаю мнѣніе, что съ такими нравами управляться трудно.

— Загляните въ наши судебныя дѣла, сказалъ Н. М.—Я говорю не про общіе суды, а про нашу, такъ сказать, домашнюю юстицію,

про полицейское разбирательство. Повторяю, вы получите доступъ всюду, насколько это зависитъ отъ меня.

Н. М. занялся разговоромъ съ другими.

Обѣдали не торопясь, не торопясь пили кофе и курили. Телефонъ больше не звонилъ. Наконецъ, хозяинъ всталъ, и гости разошлись.

Ждутъ министра.

Министръ финансовъ долженъ пріѣхать завтра. Онъ вызываетъ предсѣдателя ярмарки въ Москву для предварительнаго совѣщанія, но тотъ рѣшительно не въ состояніи оставить дѣловыя и хозяйственныя приготовленія къ встрѣчѣ и приему и телеграфируетъ, что можетъ встрѣтить г. министра только на пути. Отвѣтъ г. Ковалевскаго, директора департамента мануфактуръ и торговли, сопровождающаго С. Ю. Витте:—«Выѣзжайте хотя-бы въ Гороховецъ». Это въ двухъ часахъ пути отъ Нижняго. Поѣздъ приходитъ въ Гороховецъ въ семь часовъ утра. Предсѣдателю предстоитъ работа до поздней ночи и выѣздъ около двухъ часовъ, за неимѣніемъ въ это время поѣзда, на локомотивѣ. Пребезпокойная должность — представлять всероссійское купечество.

Всероссійское купечество волнуется. Краснонорѣчьемъ оно не отличается, но свое дѣло

знаетъ твердо и свою линію ведетъ правильно. Злоба дня—торговый разрывъ съ Германіей. Страдаютъ отъ него сельскіе хозяева и нѣкоторыя группы торговцевъ. Сельскихъ хозяевъ на ярмаркѣ нѣтъ, торговцевъ, связанныхъ съ Германіей,—мало, и сцена занята фабрикантами.

— Что вы думаете о таможенной войнѣ?

— Дай-то, Господи, чтобы она никогда не окончилась миромъ.

— А убытки, которые подсчитываютъ газеты?

— Временные. Перетерпимъ—вдвое получимъ. Россія это—вселенная-съ! Отъ Ледовитаго океана до центральной Азіи, отъ Сахалина до Калиша! Неужто не можетъ такая машина прокормить, одѣть и обусть сама себя?! Неужто ей кто-нибудь посторонній для этого необходимъ? Да знаете-ли, будемъ говорить просто: слѣдуетъ безусловно запретить границы для иностранной промышленности, и черезъ пять лѣтъ вы не узнаете Россіи.

— А заграница не пуститъ ни зерна нашего хлѣба къ себѣ.

— Сами съѣдимъ. Дайте развиться обрабатывающей промышленности. Фабричный дастъ земледѣльцу товаръ, земледѣлецъ фабричному—хлѣбъ, и будутъ кормить другъ друга. Плевать намъ тогда на остальной земной шаръ!

— Но, вѣдь, пока установится такое равновѣсіе, наше земледѣліе будетъ подорвано въ корень.

— Пустое! Это аграріи говорятъ.

— Аграріи?!

— Да, наши аграріи.

— Въ Россіи есть аграріи?!

— А какъ-же, — помѣщики.

— Первый разъ слышу, чтобы у насъ были не задолженные выше головы помѣщики, которымъ и безъ таможенной войны круто приходится, а какіе-то аграріи. Аграріи есть въ Англіи, аграріи имѣются въ Пруссіи, а у насъ до сихъ поръ были недоимщики поземельныхъ банковъ.

— Не говорите!.. Сильная партія, чрезвычайно сильная! Напримѣръ, — что вы скажете объ интригѣ противъ переселеній?

— Первый разъ слышу о такой интригѣ.

— Помилуйте, весь свѣтъ это знаетъ. Переселенія запрещены.

— Запрещены переселенія наугадъ; но тому, кто идетъ на готовую землю, — скатертью дорога.

— Полноте, никого не пускаютъ.

— Да черезъ одну Тюмень прошло въ прошломъ году сто тысячъ душъ, а въ этомъ году навѣрно пройдетъ еще больше.

Но собесѣдникъ недовѣрчиво качаетъ головой и продолжаетъ утверждать, что *аграріи*

мужика хотятъ удержать въ кабалѣ и нищетѣ. Мужикъ-же главный потребитель и покупатель. Слѣдовательно, «интрига аграріевъ» направлена прямо противъ промышленности и во вредъ массѣ населенія.

— Ну, хорошо, пусть аграріи и ихъ интриги существуютъ въ дѣйствительности. Но при чемъ они въ таможенной войнѣ съ Германіей?

— Въ ихъ интересахъ добиться вывоза ихъ хлѣба за границу.

— Значитъ, прекращеніе вывоза для нихъ невыгодно?

— Да.

— Но въ такомъ случаѣ аграріи разорятся!

— И земля перейдетъ въ руки мужика, которому и должна принадлежать.

— Однако, и мужикъ нуждается въ выгодной продажѣ хлѣба. Кто-же будетъ покупать хлѣбъ до того времени, когда его потребителемъ сдѣлается имѣющая расцвѣсть обрабатывающая промышленность?

— Тутъ должна помочь казна. Пусть она покупаетъ хлѣбъ для запасныхъ магазиновъ на случай голода.

— На какую - же сумму, полагаете вы, нужно сдѣлать закупокъ въ нынѣшнемъ году?

— Пусть казна купитъ сто милліоновъ пудовъ, по полтинѣ за пудъ; это составитъ пятьдесятъ милліоновъ рублей. Эти пятьдесятъ милліоновъ, пущенные въ народъ, явятся сильной закваской, бродильнымъ началомъ и, повѣрьте, съ лихвой вернутся въ казну въ видѣ налоговъ, пошлинъ и податей. Кромѣ того, у казны останется огромный запасъ хлѣба на случай голода, и въ случаѣ таковой, Боже упаси, разразится, она не очутится въ такомъ тяжеломъ положеніи, какъ это было въ 1891 году. А что до выпущенныхъ денегъ, то вѣдь это — бумажки.

Такія рѣчи слышались всюду, такъ думала и говорила толпа. Какое разнообразіе типовъ, какіе интересные типы! Бодрые небольшіе старички, съ пріятнымъ теноркомъ и влажными черными глазами. Благообразные сѣдые старцы, съ высокими лбами и бородами какъ бы изъ бѣлаго шелка. Видные и бравые люди среднихъ лѣтъ, безукоризненно одѣтые, по одеждѣ совершенно англичане. Коммерсанты въ очкахъ и съ длинными волосами, которыхъ по виду не отличить отъ «интеллигента шестидесятыхъ годовъ». Оригиналы, намѣренно не оставляющіе сапоговъ бутылками и чучекъ, несмотря на свои милліоны. Люди съ нѣмецкимъ и еврейскимъ выговоромъ или съ восточной фізіономіей. Люди въ прекрасныхъ

сюртукахъ, но въ татарской ермолкѣ на макушкѣ. Наконецъ, чловѣки въ бухарскихъ халатахъ и чалмахъ. «Интеллигентъ шестидесятихъ годовъ» ссылался на Европу и политическую экономію. Маленькій старичекъ, съ сладкими глазами, въ воинственномъ азартѣ желалъ «показать нѣмцу кулакъ». Господинъ съ нѣмецкимъ выговоромъ съ жаромъ поддерживалъ это предложеніе. Татарскія ермолки и бухарскія чалмы сочувственно сопѣли и утвердительно помахивали чалмами. Оригиналы въ чуйкахъ и благобратые старцы вздыхали, играли перстами и выражали надежду, что господинъ министръ пожалѣетъ землю русскую. Видные и бравые люди среднихъ лѣтъ, одѣтые и расчесанные на англійскій манеръ, молчали, презрительно поглядывая на остальныхъ, — и на вздыхающихъ, и на кивающихъ, и на грозящихся показать кулакъ, и на ссылающихся на политическую экономію. Видъ ихъ былъ такой увѣренный, что я подумалъ — не въ нихъ-ли вся суть, не они-ли могутъ коротко и ясно формулировать нѣсколько смутныя идеи, владѣвшія толпою, которыхъ я не понималъ.

— Скажите, пожалуйста, обратился я къ одному изъ нихъ, — чего собственно хочетъ русское купечество?

Собесѣдникъ молчалъ.

— Финансовые и экономическіе вопросы такіе мудреные, продолжалъ я,—что въ нихъ не разобратъся профану безъ помощи знающаго человѣка.

— А вы смотрите на эти вопросы просто.

— Именно?

— Хочетъ человѣкъ ѣсть?

— Хочетъ.

— Любитъ человѣкъ деньги?

— Любитъ.

— Знаетъ-ли деньга сытость?

— Нѣтъ.

— Всероссійскій купецъ—человѣкъ?

— Несомнѣнно.

— Вотъ и все. Вотъ и весь экономическій вопросъ.

— Да, но тутъ говорятъ о теоріяхъ, о практическихъ мѣрахъ, о благѣ народа, объ аграріяхъ...

— Аграрій такой-же человѣкъ. Аграрій хлѣбъ и деньги тянетъ къ себѣ, а фабрикантъ—къ себѣ.

Неужели все на свѣтѣ происходитъ такъ просто? Должно быть, что такъ, потому что, кромѣ какъ съ этой точки зрѣнія, ничего не поймешь во всѣхъ этихъ финансовыхъ и экономическихъ мѣропріятіяхъ.

— Съ кѣмъ имѣю удовольствіе бесѣдовать? обратился я къ моему оракулу.

— Вамъ угодно знать мое имя? Зачѣмъ оно вамъ? Вы, кажется, пописываете? Такъ пропишите, что «имѣлъ удовольствіе бесѣдовать» съ дѣльцомъ новѣйшей формациі. Повѣрьте, патриотизмъ сладкаго старичка, преданность чуйки, образованность «интеллигента шестидесятихъ годовъ», сапъ татарской тюбетейки и бухарской чалмы, — все это аксессуары.

— Какъ?!

— Аксессуары. Я говорю по французски, по нѣмецки и по англійски. Я купецъ и фабрикантъ. Фамилія моя — ужь такъ и быть «объявлюсь», — Нехорошевъ.

— Весьма пріятно...

— Чрезвычайно радъ... Итакъ, все это — аксессуары. Суть же — въ дѣлѣ и приобрѣтеніи. На всемъ свѣтѣ такъ. Человѣкъ — есть человекъ, народъ — есть народъ, континентъ жретъ континентъ. Номо homini iurus...

— Какъ!

— Я получилъ «классическое образованіе». Номо homini iurus, сказалъ я, — такъ оно и есть. Но только старичье говоритъ о теоріяхъ, о наукѣ, о Европѣ. Разныя есть Европы, какъ есть разныя Палестины... Старомодная Европа говорила и то, и се, рождала Галилеевъ и Лютеровъ, а теперь тамъ настала эпоха Бисмарковъ. Сила есть право, это по-

слѣднее слово житейской, политической и философской мудрости. Бисмаркъ — великій политическій человѣкъ. Ницше...

— Кто?!

— Я слѣжу за европейской мыслью... Ницше—его бисмарковско-волчья философія выдерживаетъ десятки изданій, имѣетъ среди публики, и не какой-нибудь, а среди интеллигенціи, огромный успѣхъ. Чего-же послѣ этого вы требуете отъ всероссійскаго купечества, среди котораго вы встрѣтите и чуйку, и тюбетейку, и бухарскую чалму?

— Но чѣмъ-же это кончится?!

— Гдѣ?

— Вездѣ. И въ Европѣ, и у насъ?

— Чѣмъ кончится у насъ, не знаю: мы не Европа, а я, хотя и не европеецъ, но Европу знаю лучше отечества, о которомъ нѣтъ готовенькой «литературы». Въ Европѣ-же, повидимому, homo lupus объѣстся до того, что лопнетъ.

— И тогда?

— Околѣетъ.

— А дальше?

— Начнетъ разлагаться.

— А потомъ?

— Далѣе заглянуть въ будущее я не могу.

— Ну, а вы, г. Нехорошевъ, что намѣрены дѣлать въ своемъ отечествѣ.

— Въ настоящую минуту я хочу ужинать. Мое почтеніе. весьма пріятно...

Министръ пріѣхаль.

Министръ пріѣхаль. «Главный домъ» оживился... Но прежде, — что такое «Главный домъ»?

Это — «присутственныя мѣста» ярмарки. Зимомъ онъ пустъ, лѣтомъ въ немъ помѣщаются не только всѣ ярмарочныя комитеты и комиссіи, не только губернаторъ и полиція, но и прочія казенныя учрежденія: почта, телеграфъ, отдѣленіе государственнаго банка, казенная палата, контрольная палата и проч., и проч. Все это размѣщено во второмъ этажѣ громаднаго зданія; тутъ-же квартира губернатора и большой залъ, гдѣ задаются пиры и дѣлаются приемы. Третій этажъ биткомъ набитъ служащими и чиновниками, которымъ при ярмарочной дороговизнѣ было-бы совершенно невозможно нанимать квартиры; а ходить изъ города далеко, нѣсколько верстъ, и кромѣ того, подъемъ на крутую и очень высокую гору, на которой стоитъ Нижній.

Внутри зданія, во всю его длину и во всю вышину, проходитъ «пассажъ», крытый подъ одну крышу съ домомъ. Здѣсь помѣщаются 75 магазиновъ и 48 кіосковъ, торгующихъ въ розницу. Днемъ тутъ толпятся покупатели, а

вечеромъ сходятся слушать музыку, играющую на мостикахъ, перекинутыхъ на уровнѣ второго этажа съ одной стороны зданія на другую. Весь домъ освѣщенъ электричествомъ.

До 1885 года на мѣстѣ теперешняго великолѣпнаго дома стоялъ Главный домъ, принадлежащій казнѣ и построенный въ началѣ столѣтія. Этотъ домъ достоялся до того, что командированные министерствомъ внутреннихъ дѣлъ техники нашли, что «трещины въ стѣнахъ представляютъ большую опасность, и что части зданія *могутъ упасть*». Тогда зданіе, со всѣми его трещинами, было передано въ собственность ярмарочнаго купечества, которое, отчаявшись починить домъ, рѣшилось разобрать старое зданіе до основанія и выстроить новое. Объявленъ былъ конкурсъ, на которомъ первую премію получилъ проектъ г.г. Треймана, фонъ - Гогена и Грамбицкаго. По плану и замыслу этихъ талантливыхъ архитекторовъ и выстроенъ въ теченіе только одного года Главный домъ, обошедшійся купечеству въ 650 тысячъ. Домъ приноситъ значительный убытокъ, но за то дѣйствительно красивъ и внушителенъ. Построенъ онъ въ извѣстномъ стилѣ русскаго ренессанса, каковы, на примѣръ, московскіе новая дума, новый гостиный дворъ и историческій музей. По изяществу и легкости Главный домъ стоитъ выше московской

думы и, конечно, выше историческаго музея и приближается къ московскому гостиному двору, несмотря на то, что орнаментація дома сложнѣе и дробнѣе. Въ цѣломъ, громадное зданіе, въ восемьдесятъ сажень длины и двадцать ширины, съ его русскими окнами, вышками и гребешками, выступами и колонками, производитъ стройное и легкое впечатлѣніе. Внутри много простора и свѣта, высокія комнаты, широкіе корридоры, отлогія лѣстницы. Словомъ — Европа, да еще стилизованная въ русскомъ духѣ, чего не только на ярмаркѣ, но и вообще въ отечествѣ не много.

Главный домъ стоитъ въ центральной части ярмарки, помѣщающейся внутри огромнаго рытаго пруда, имѣющаго видъ правильной подковы. Прудъ зовутъ здѣсь каналомъ, но значенія его я еще не постигъ. Отверстіе подковы обращено къ Окѣ, но каналъ не соединенъ съ нею. Главный домъ находится между ножекъ подковы, главнымъ фасадомъ обращенъ тоже къ Окѣ, но Оки не видитъ, потому что между нимъ и рѣкой стоятъ какіе-то весьма невзрачные «ряды» и пакгаузы.

Главный домъ — культурный центръ ярмарки, культурная закваска, которая неустанно и безуспѣшно борется съ старыми полуазіатскими нравами и фізіономіей ярмарки. От-

сюда исходятъ крутыя «обязательныя постановленія» губернатора; здѣсь тянуть ярмарку къ Европѣ ярмарочный биржевой и ярмарочный просто комитеты; тутъ впервые завели электрическое освѣщеніе, которымъ съ будущаго года замѣнятъ керосинъ по всей ярмаркѣ.

Главный фасадъ дома смотритъ на большую продолговатую площадь. Понятно, что такой европеецъ, какъ Главный домъ, не могъ-бы терпѣть зрѣлища какой-нибудь неприличной площади, — съ лужами, а въ лужахъ съ утками, съ возами сѣна, съ пылью и соромъ. И дѣйствительно, Главный домъ распорядился превратить площадь въ изящный узорчатый цвѣтникъ, съ хорошими дорожками, зелеными газонами и большимъ красивымъ и дорогимъ фонтаномъ въ центрѣ. Словомъ, Европа. Въ такой Европѣ нестыдно принять и министра, даже такого, который рѣшился сказать заграницѣ, что она намъ не указъ, и что мы сами Европа. Вотъ она, налицо, — и домъ, и фонтанъ, и дорожки, и электричество.

Итакъ, министръ пріѣхалъ и остановился въ Главномъ домѣ. Въ большомъ «гербовомъ» залѣ ему представились нижегородское и ярмарочное російское купечество. Купечеству г. министръ привезъ цѣнный и пріятный подарокъ: въ 1896-мъ году въ Нижнемъ будетъ всероссийская промышленная выставка.

Послѣ короткой рѣчи г. министра послѣдовала рѣчь предсѣдателя ярмарочнаго комитета, г. Морозова. Лишь только онъ заговорилъ, всероссійское купечество затаило дыханіе,—и сладкіе старички, и благобратые старцы, франты и тубетейки, оригиналы въ чуйкахъ и патриоты съ нѣмецкимъ и еврейскимъ акцентомъ. Я увѣренъ, что они были нѣсколько разочарованы рѣчью г. Морозова.

Г. Морозовъ, конечно, протекціонистъ, несмотря на то, что его собственное дѣло, хлопчатобумажное, уже настолько твердо основалось въ Россіи, что не нуждается въ покровительствѣ. Но тѣмъ сильнѣе долженъ онъ быть убѣжденъ въ полезности разумнаго протекціонизма. Въ этомъ смыслѣ онъ и говорилъ, и масса, конечно, нашла его рѣчь слишкомъ умеренной. Масса, какъ я открылъ, вдохновляется «экономическими правилами» Кокорева. Это очень интересная и очень умная книжка, но, даже на взглядъ профана, смотрящая на вещи ужъ слишкомъ просто. Россія велика по пространству,—значить, она велика и по силамъ; а того, что вывозъ всей Россіи меньше вывоза одного Ньюйорка, Кокоревъ какъ-будто и не знаетъ. Если увеличить монетную единицу, все сейчасъ вздорожаетъ. Если вмѣсто рубля единицей сдѣлать четвертакъ,—завтра же то, что вчера стоило

рубль, будетъ стоить двадцать пять копѣекъ. Замѣна въ Россіи ассигнаціоннаго рубля серебрянымъ, который втрое дороже перваго, на гибель Россіи была сдѣлана «польскою интригой», проникшей въ государственный совѣтъ. Все это ужь слишкомъ просто.

Г-нъ Морозовъ—человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ и не могъ пойти по стопамъ Кокорева. Суть длинной и хорошо сказанной рѣчи г. Морозова заключалась въ томъ, что Россіи необходимо создать равновѣсіе между земледѣліемъ и обрабатывающею промышленностью, обезпечить нашему хлѣбу внутренній сбытъ и ослабить тяжелую зависимость земледѣлія отъ иностранныхъ рынковъ и иноземнаго давленія. Эта мысль была подкрѣплена и иллюстрирована картиной голода 1891 года, когда земледѣльцы, сбывшіе предыдущіе урожаи за безцѣнокъ за границу, въ трудныя минуты остались безъ запаса и потребовали огромныхъ денежныхъ жертвъ со стороны казны. Въ то же время населеніе промышленныхъ мѣстностей, обезпеченное заработной платой, которая, по словамъ оратора, «въ громадномъ большинствѣ случаевъ не испытала никакихъ перемѣнъ», перенесло страшный 91-ый годъ сравнительно благополучно. Объ «интригахъ»—ни слова. Это взгляды не Кокорева, а Менделеева.

Г-нъ Морозовъ кончилъ. Что отвѣтитъ министр? Какъ хотите, а эти минуты были не изъ обыкновенныхъ; эти рѣчи были не шутка. Къ словамъ нашего министра финансовъ, произносимымъ разъ въ годъ предъ лицомъ всероссійскаго купечества, прислушивается не только Россія, но и Европа. При теперешнихъ же обстоятельствахъ то, что происходитъ теперь въ Гербовомъ залѣ Главнаго дома, приобретаетъ особенный интересъ.

Просто и естественно, съ самыми обыкновенными *разговорными* жестами, мимикой и интонаціями, отвѣчалъ министръ. Г. Витте — не ораторъ, да, повидимому, вовсе не желаетъ имъ быть. Постройка его рѣчей неправильна, иногда представляется въ чтеніи запутанной. Но для слушателей она очень ясна: ее дополняютъ интонація, мимика, жесты. Вотъ что говорили мимика и жесты:

— Ахъ, Боже мой, кому охота ссориться! Но вѣдь нельзя-же иной разъ и не разсердиться! Мы съ Германіей и такъ, и сякъ, и почтенная, и многоуважаемая, а она только пуще надувается. Ненужно намъ никакихъ нѣжностей и поощреній, относись къ намъ только какъ ко всему свѣту. Не хочешь, — такъ и мы не хотимъ: не хуже людей. Угодно уравнивать насъ съ остальными, — хоть сейчасъ

пойдемъ на мировую. Не угодно, — перетерпимъ съ Божьей помощью.

Надежда на мировую тоже не могла понравиться протекціонистамъ кокоревскаго пошиба.

— Ну, а вы, г. Нехорошевъ, что обо всемъ этомъ думаете?

— Я выразился-бы проще. Германіи нужно поле для колонизаціи и рынокъ для фабрикатовъ. Эмигрировать въ Америку — далеко, сбывать товаръ въ Камерунъ — немного сбудешь. А тутъ подъ-бокомъ Россія, куда эмигрантовъ и товаровъ можно впереть сколько угодно. Германія жива быть не хочетъ, а желаетъ выпустить намъ кишки. Ну, а мы своихъ кишокъ, конечно, жалѣемъ и предпочтемъ, чтобы Германія жива не была... Дѣло просто.

— Очень ужъ какъ-то не цивилизованно оно выходитъ.

— *Ното homini lupus...*

Обѣдъ министру.

Обѣдъ, данный 13-го августа всероссійскимъ ярмарочнымъ купечествомъ г-ну министру финансовъ, стоилъ 6,000 рублей. Уже по одному этому онъ заслуживалъ-бы описанія.

Изящный, съ темной отдѣлкой стѣнъ, съ балкономъ вмѣсто хоръ, съ разноцвѣтными

гербами губерній и областей на желѣзныхъ перилахъ хоръ-балкона, залъ полонъ. Представители администраціи, въ вицмундирахъ и при орденахъ, генеральскіе эполеты губернатора, цѣпь нижегородскаго городского головы, великолѣпные фраки купечества, скромные фракки представителей печати и кафтанъ-чуйка г. Бугрова, первостатейнаго поволжскаго мучника.

— Гдѣ же министр? Гдѣ министр? спрашиваютъ тѣ, кто не имѣлъ случая его видѣть.

Въ толпѣ ходитъ, широко шагая, огромнаго роста темноволосый мужчина, съ небольшою окладистой бородой и короткими волнистыми волосами, зачесанными назадъ. Несмотря на то, что онъ выше всѣхъ въ залѣ, онъ какъ-то незамѣтенъ. То его кто-нибудь остановитъ, то онъ съ кѣмъ-нибудь заговоритъ. То онъ стоитъ на мѣстѣ и, нагнувъ голову, самымъ обыкновеннымъ образомъ слушаетъ. То идетъ къ кому-то, кого онъ увидѣлъ въ толпѣ и съ кѣмъ ему нужно переговорить,—идетъ тоже «по-обыкновенному» гдѣ тѣсно, немного бокомъ, гдѣ просторно,—шагая быстро. Никто его не водитъ, ни предъ кѣмъ онъ не «предстаетъ», никто предъ нимъ не склоняется. Замѣтно, что всѣмъ онъ подаетъ руку, а не два пальца.

Вотъ это и есть министръ.

Сначала любопытствующій сильно удивленъ, потомъ онъ слѣдитъ за министромъ опытнымъ, наметавшимся на изученіи покупателя взглядомъ, и, послѣ минуты—другой зоркаго наблюденія, трясеть головой съ выраженіемъ удовольствія.

— Этотъ — повоюетъ! говоритъ онъ. — Этотъ... Скажите, какіе теперь сановники пошли! восклицаетъ онъ.

Закуска кончена; разсѣлись у столовъ, украшенныхъ великолѣпными цвѣтами, вспыхнуло электричество, загремѣла музыка, всѣ склонились надъ тарелками ухи съ такимъ кусищемъ стерляди, что имъ однимъ можно бы насытиться до слѣдующаго дня. Всѣ молчатъ. Знаете-ли, сколько тутъ молчало денегъ? Старожилы, которымъ все извѣстно, сдѣлали легкій подсчетъ, и оказалось, что въ молчаніи склонилось надъ ухой по меньшей мѣрѣ *полмилліарда* рублей! Грандіозное молчаніе!

За шампанскимъ начались тосты. Гость г. министра за управляющаго ярмаркой. Короткій спичъ, которымъ министръ сопровождалъ тостъ, по обыкновенію оратора, былъ простъ. «Мнѣ нечего распространяться о заслугахъ генерала Баранова,—сказалъ министръ,—потому что они извѣстны всей Россіи». Просто, но сильно.

Отвѣчаетъ генераль Барановъ. Говорить онъ, по военному, по-командирски, очень громко и нѣсколько отрывисто: видно, что ораторскому искусству онъ учился не въ декламаторскомъ классѣ, а на «Вестѣ», на «Россіи», на площадяхъ ярмарки во время холеры, на сельскихъ сходахъ во время голода. Энергіи въ его рѣчи больше, чѣмъ искусства. вмѣстѣ съ тѣмъ Н. М., принадлежа къ поколѣнію болѣе старшему, не прочь и отъ нѣкоторыхъ цвѣтовъ краснорѣчія. Россію онъ называетъ Русью. Крестьянина зоветъ пахаремъ—титаномъ земли русской. Село—весь. Смыслъ его рѣчи былъ тотъ, что г. министръ угадалъ потребности Россіи и твердо идетъ по намѣченному пути.

— Здоровье Сергѣя Юльевича! раздается въ заключеніе командирскій голосъ.

Собраніе, увлеченное рѣчью отвѣчаетъ и на нее, и на предложенный тостъ громкимъ ура,—кричатъ полмилліарда рублей.

Встаетъ представитель этого полумилліарда, г. Морозовъ. Онъ самый молодой изъ ораторовъ: ему всего тридцать лѣтъ. Онъ утомленъ бессонной ночью съ хлопотливымъ днемъ; вначалѣ его голосъ срывается, но скоро ораторъ овладѣваетъ собой и звонкимъ молодымъ голосомъ предлагаетъ тостъ за г. министра, какъ за покровителя русской торговли.

Не знаю, по поводу-ли этого тоста, или вслѣдствіе бесѣдъ, которыя велъ министръ въ этотъ день, онъ говоритъ нѣсколько словъ о направленіи своей дѣятельности. Рѣчь, по обыкновенію, простая, разговорная. Мало того, министръ *оправдывается*, — оправдывается отъ обвиненій печати и общества, будто онъ покровительствуетъ торговлѣ въ ущербъ промышленности. «Мнѣ это непріятно», говоритъ онъ, и его жестъ и лицо выражаютъ, что ему это дѣйствительно непріятно, очень непріятно, — «да и какъ можно поощрять торговлю, обмѣнъ, не поощряя тѣмъ самымъ производства?!»

Еще нѣсколько тостовъ, еще нѣсколько рѣчей, подають чудные персики и ананасы, и на эстраду, противъ министра, всходитъ женскій хоръ.

— Это зачѣмъ? Развѣ недостаточно оркестра?

— Это — для «заткнутія фонтана». Минуты фруктовъ и кофе — самыя опасныя минуты обѣда. Кое-кто уже разнѣжился, но еще не ослабѣлъ и чувствуетъ «воплъ» къ ораторству. Начнутъ объявлять войну иностраннымъ царствамъ, лобызать отечественныхъ сановниковъ, провозглашать тосты за самихъ себя, потому что «хорошій я человекъ». Хоръ отвлечетъ вниманіе экспансивныхъ душъ въ другую сторону.

Письмо II.

Обширные горизонты и внушительныя цифры.

Если вы хотите взглянуть на ярмарку *à vol d'oiseau*, отправляйтесь на противоположный берег Оки, въ Нижній; велите везти себя въ Кремль или въ мѣстность у Крестовоздвиженскаго монастыря. Съ послѣдняго пункта вы увидите всю ярмарку. Съ низенькихъ стѣнъ Кремля, вѣнчающихъ нагорный берегъ, полюбуйтесь удивительнымъ видомъ, подобнаго которому мнѣ еще не приходилось встрѣчать. Картина, открывающаяся съ высокаго берега Кіева, напоминаетъ нижегородскій видъ, но далеко не можетъ съ нимъ равняться. Въ Кіевѣ горизонтъ на западѣ и востокѣ ограниченъ возвышенностями. Въ Нижнемъ—просторъ безграниченъ. Съ высоты пятидесяти сажень ничтожныя неровности почвы сглаживаются, и передъ вами—совершенно морской видъ, съ необозримымъ горизонтомъ и абсолютной гладью. Это такъ же величественно, какъ море, но еще внушительнѣй, потому-что вы знаете, что передъ вами море земли, море пашень, море богатѣйшихъ сель, фабрикъ и усадебъ. Это—море русскихъ людей, море, называемое Россіей. Тутъ вы почувствуете и «любовь къ

отечеству» и «народную гордость» съ такой силой, какую до того вамъ не могли внушить ни хрестоматіи, ни гимназическія сочиненія на эту тему.

Лежащія у подножія нижегородскаго берега Ока и Волга усиливають величавость и мощную ширь вида. Обѣ рѣки шире, чѣмъ кіевскій Днѣпръ. Вызванная ими жизнь неизмѣримо полнѣе. Ширина Оки у Нижняго 650 саженой; ея длина — полторы тысячи верстъ; ея бассейнъ обнимаетъ пространство, равное Италіи. Плотность населенія по Окѣ и Волгѣ мѣстами столь-же велика, какъ и въ населеннѣйшихъ мѣстностяхъ Западной Европы. Такова Ока. О Волгѣ, великой Волгѣ, ужь и говорить нечего. Она замѣняетъ Россіи моря, къ которымъ мы не можемъ привыкнуть, — быть можетъ главнымъ образомъ потому, что у насъ есть Волга. Взгляните внизъ на Волгу и Оку. У пристаней — нескончаемые ряды барокъ и париходовъ, величинной съ океанскія суда. Они отовсюду: изъ Петербурга и Астрахани, изъ Уфы и изъ-подъ Тамбова, съ Камы и изъ Твери. Уралъ шлетъ желѣзо, Орелъ — хлѣбъ, Владиміръ — мануфактуру, Астрахань — рыбу и фрукты. Чѣмъ Волга и Ока не море, а Нижній — не морской портъ, привлекающій въ разгаръ навигаціи на свою ярмарку 400,000 торговцевъ,

нагрузчиковъ и матросовъ? Оживленіе на водѣ необыкновенное. Суда, стоящія у берега, кишать рабочими, нагружающими или разгружающими товары. Приходящія и уходящія суда бороздятъ Оку и Волгу по всѣмъ направленіямъ. Даже отсюда, съ пятидесяти-саженной высоты, видно, какія волны поднимаютъ колеса громадныхъ трехъ-этажныхъ пароходовъ, переполненныхъ людьми. Пароходы воютъ своими громадными двойными, подобранными въ октаву свистками, и даже тутъ, на высотѣ, васъ поражаетъ сила этихъ зычныхъ голосовъ. Я часто слышалъ этотъ вой въ Самарѣ, но тамъ онъ производитъ мрачное и непріятное впечатлѣніе; тамъ Волга стѣснена высокими неуклюжими берегами, между которыхъ свистки звучали глухо, которые еще глуше повторяли ихъ отрывистыми, близкими отголосками. Здѣсь-же, среди необъятной равнины, зычные паровые голоса раскатывались на полномъ просторѣ, свободно, весело. Отголоски не отскакивали отъ стѣны берега, точно пребольно ушибившись, а приходили откуда-то издалека-далека смягченными, веселыми, довольными. Да, величественная картина, величественные звуки, величавыя движенія! Велико и вмѣстѣ съ тѣмъ привѣтливо, ласково, спокойно и изящно, — изящно съ своеобразнымъ оттѣнкомъ просто-

ты формъ и скромности красокъ. Нигдѣ, кромѣ этого сердца Россіи, на Окѣ и Волгѣ, вы не увидите ничего подобнаго.

Съ высокаго берега, по близости Крестовоздвиженскаго монастыря, видна ярмарка.

1-го ноября 1816 года нижегородскій губернаторъ Быховецъ получилъ слѣдующее письмо графа Аракчеева отъ 31-го сентября того-же года:

«Милостивый Государь мой
Степанъ Антоновичъ!

Послѣ случившагося въ Макарьевѣ пожара, Государь Императоръ, предполагая на будущій годъ, по большей удобности сей ярмарки быть въ Нижнемъ-Новгородѣ, повелѣтъ мнѣ соизволилъ сообщить Вашему Превосходительству, дабы Вы по мѣстному пребыванію вошли немедленно въ соображеніе: можно-ли учредить на будущій годъ въ Нижнемъ ярмарку, и, снабдивъ себя полными о семъ свѣдѣніями, равно и подробнымъ планомъ города Нижняго съ окрестностями, прибыли для рѣшительнаго о томъ постановленія, и чтобы къ своему времени успѣть построить на томъ же мѣстѣ временные балаганы.

Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ

Вашего превосходительства

Покорнымъ слугою

Графъ Аракчеевъ».

Это письмо, по обыкновению Аракчеева, неособенно грамотное, положило начало величайшей не только въ Россіи, но и во всемъ мірѣ ярмарки. Первая ярмарка открылась противъ Нижняго, по сосѣдству съ селомъ Кунавинымъ, на заливномъ берегу Оки, 20-го іюля 1817 года въ нѣсколькихъ тысячахъ деревянныхъ балагановъ и лавокъ. Въ теченіе 1818—1820 годовъ деревянныя сооруженія замѣняются каменными, стоимыми казнѣ три съ половиною милліона рублей серебромъ. Въ нижнемъ «макарьевская» ярмарка развивается съ изумительнымъ успѣхомъ. Въ Макарьевѣ на послѣднюю ярмарку, въ 1815 году, товаровъ было привезено на $58\frac{1}{2}$ милліон. р. ассигнаціями. Въ 1816 году въ Нижній сразу привезли на $91\frac{1}{2}$ милліонъ. Въ 1881 году, въ годъ наибольшаго развитія ярмарки, въ привозѣ было товара на 246 милліоновъ рублей серебромъ. Чтобы читатель могъ составить понятіе объ этомъ гигантскомъ «торжищѣ» и о томъ, чѣмъ только тутъ ни торгуютъ, привожу слѣдующія цифры, которыя очень интересны, если въ нихъ вдуматься.

Въ 1881-мъ году на ярмарку было привезено товара

Бумажнаго и полу-бумажнаго на . . .	63,4	милл.	р.
Шерстянаго	25	»	»
Лянянаго и пеньковаго	4,6	»	»
Шелковаго	9,6	»	»

Мягкой рухляди	12	милл.	р
Кожевенного товара и кожъ	7,9	»	»
Металловъ и издѣлій изъ нихъ	15,4	»	»
Стекл., фарфор., хрустальн. и глинян.	8,2	»	»
Хлѣба, соли, спирта	6,4	»	»
Рыбныхъ товаровъ	6,1	»	»
Разныхъ напитковъ	1,7	»	»
Лѣсныхъ издѣлій, бакалеи, моднаго и галантерейнаго товара	37,1	»	»
Иностранныхъ европейскихъ товаровъ	3,3	»	»
Чая	27,8	»	»
Средне-азиатскихъ товаровъ	5,7	»	»
Персидскихъ товаровъ	4,4	»	»
Кавказскихъ	1,2	»	»
Москательныхъ	5,4	»	»
Лошадей	324	тыс.	

Все это чудовищное количество товаровъ привозится болѣе чѣмъ тремя тысячами торговцевъ и торговыхъ фирмъ и раскладывается на семистахъ десятинахъ, не считая слившихся съ ярмаркѣй сель, Гордѣевки и Кунавина, переименованнаго въ Макарьевскую часть Нижняго-Новгорода.

Я уже говорилъ, что ярмарка не отвѣчаетъ обычному представлению о ярмаркѣ какъ о базарѣ, о толкучкѣ, съ толпами по праздничному разодѣтаго народа, съ крикомъ торговокъ и разнощиковъ, съ площадями, заставленными телѣгами и лошадьми, съ деревянными балаганами и бараками. Въ старину, въ XV вѣкѣ, когда ярмарка собиралась

на Арскомъ полѣ, подѣ Казанью, въ XVII и XVIII столѣтїяхъ, когда она была у Макарьевскаго монастыря, верстѣ на девяносто ниже по теченію Волги,—тогда она и была такимъ базаромъ. Теперь-же это—огромный каменный городъ, съ двумя прекрасными соборами, армянской церковью и мечетью, съ правильно проведенными, довольно широкими, мощеными улицами, съ фонарями, тротуарами, тумбами, водопроводами, стоками и городовыми. Базаръ, толкучка, праздничная толпа собирается только на окраинахъ, отведенныхъ для веселья. Въ остальныхъ частяхъ этого города течетъ размѣренная неостанавливающаяся дѣловая жизнь. Тянутся безконечные ряды ломовиковъ, снуютъ пѣшкомъ и на извозникахъ дѣловые люди, бѣгутъ съ навѣшенными на коромыслахъ безчисленными судками расторопныя бабенки, разносящїя по лавкамъ обѣды купцамъ и прикащикамъ; купцы и прикащики въ магазинахъ день - деньской заняты продажей и счетами. Обычную ярмарку напоминаетъ только мелочной торгъ въ Главномъ домѣ и въ нѣсколькихъ другихъ пассажахъ, но и здѣсь это не русскій базаръ, а европейскій пассажъ, несмотря на то, что главными покупателями являются бабенки въ красныхъ платкахъ и мужики въ праздничныхъ сапогахъ.

Центръ ярмарки находится въ пространствѣ того подковообразнаго пруда, о которомъ я упоминалъ выше, вырытаго въ 1817 году для «питанія» свай, служащихъ основаніемъ построекъ «гостинаго двора». Длина пруда четыреста саженей, а ширина тридцать саженей. Внутри этой огромной подковы выстроено шестьдесятъ отдѣльныхъ каменныхъ корпусовъ, — гостинный дворъ, — въ которомъ помѣщаются двѣ съ половиною тысячи лавокъ. По внѣшнему виду это самая интересная часть ярмарки. Низкіе, въ два этажа, узкіе и длинные корпуса похожи одинъ на другой какъ двѣ капли воды. Между ними тянутся прямыя улицы, параллельныя и перпендикулярныя. Надъ тротуарами—непрерывныя навѣсы, полезныя во время дождя, но затемняющіе и тротуары, и магазины. Вдоль гостинный дворъ разсѣкается бульваромъ, — аллеей изъ осокорей, узкой и плохо содержимой. Все это съ виду некрасиво и скромно. За то торговля гостинаго двора поражаетъ своимъ разнообразіемъ. Чего, чего тутъ нѣтъ, и кого только тутъ нѣтъ! Чай Кузнецова изъ Москвы, «азіатскій» товаръ Хакима Бакирова изъ Ташкента, холсты Калинина изъ Галича, калмыцкіе лоскутки (!) Сайфулма Девеева изъ Касимова, мельхіоръ Людвигъ Норблина изъ Варшавы, хлопокъ Мамеда

Юсупова изъ Хивы, каракуль Касомши Мурзамедова изъ Бухары, часы Мозера изъ Петербурга, самовары Баташова изъ Тулы, иконы Шахова изъ села Холуй, игрушки Гирши Бидермана изъ Гродна, фрукты Бабахана Бабаева изъ Тавриза, желѣзо французской компаніи въ Ліонѣ. Товары, кажется, всѣ, какіе только бываютъ на свѣтѣ: нитки на катушкахъ, оптическіе и хирургическіе инструменты, мѣха, книги, аптекарскіе товары, лампы, механическая обувь, шерсть, шляпы, морскіе коты, тюленьи шкурки, жемчугъ, ленъ, дамскіе наряды, сбруя, пояса, брезенты, ювелирныя вещи, искусственные цвѣты, сукна, золото, кружевной товаръ, офицерскія вещи, парча, иголки, бахрома, писчая бумага, конфекты, индиго, пробки, табакъ, музыкальные ящики, персидскіе фрукты и т. д., и т. д. до головокруженія и пестроты въ глазахъ. Но все это подавляется хлопчато-бумажной мануфактурой, получившей въ Россіи колоссальное развитіе за послѣднія тридцать лѣтъ. Производятся всѣ эти безчисленные товары отчасти въ Петербургѣ, но главнымъ образомъ въ Москвѣ и центральномъ фабричномъ районѣ. Мы не имѣемъ понятія о томъ, какъ сильна и разнообразна производительность населенія нашихъ центральныхъ губерній. Мы привыкли думать, что нашъ му-

жикъ повсюду только пашеть, при чемъ даже жнетъ мало по причинѣ хроническихъ неурожаевъ. На самомъ дѣлѣ, огромная область по Окѣ и сѣверной Волгѣ, величиной съ Германію живетъ не землей, а обрабатывающей промышленностью. Какойнибудь Чувиловъ изъ села Краснаго, Костромской губерніи, торгуетъ оптомъ издѣліями изъ бронзы. Москвичъ Дунашевъ изъ деревни Турыгиной продаетъ фарфоровую посуду. Серебряникъ Грибковъ работаетъ въ селѣ Костинѣ Московской губерніи. Восковые свѣчи выдѣлываются Захаровымъ въ селѣ Выѣздномъ, Архангельскаго уѣзда. Сотни селъ и деревень этихъ губерній давно уже превратились въ огромныя фабрики. Нѣсколько милліоновъ, въ качествѣ кустарей или фабричныхъ рабочихъ, кормятся этими производствами, и одно уже это дѣлаетъ совершенно невыносимой фритредерскую политику, о которой часто слышишь въ публикѣ. Устраните пошлины, поддерживающія нашу промышленность,—и эти кустари и фабричные умрутъ съ голода. Разъ завели обрабатывающую промышленность,—волей-неволей надо ее поддерживать. Возврата нѣтъ, спастись можно только идя впередъ, до тѣхъ поръ, пока мы не станемъ въ уровень съ нашими западными сосѣдями

Иначе русская область, величиною съ Германію, погибнетъ.

Я сказалъ, что среди безчисленнаго множества торговцевъ царятъ крупные хлопчатобумажники, Цандель, Гюбнеръ, Куваевъ, Павловъ, Барановъ, Рабинекъ и нѣсколько Морозовыхъ: Захаръ, Викулъ, Савва, тверскіе Морозовы. Эти и устроились въ сторонкѣ отъ «мелкоты», не въ гостиномъ дворѣ, а внѣ канала, въ собственныхъ складахъ. Такой складъ представляетъ собою солидный каменный двухъэтажный домъ, построенный хорошимъ архитекторомъ, преимущественно въ русскомъ стилѣ, и стоившій тысячъ полтора. Занять онъ только въ теченіе шести-восьми недѣль; остальное время въ году пустуетъ, при чемъ весной заливается аршина на два водоподемъ. Домъ выстроенъ на славу, крѣпко, прочно просторно, не жалѣя средствъ, какъ умѣютъ строить только богатые купцы. Стекла въ большихъ окнахъ богемскія, фабрикуемая, какъ оказывается, не въ Богеміи, а у насъ въ Меленковскомъ уѣздѣ, Владимірской губерніи; двери дубовыя; мѣдный приборъ на нихъ первый сортъ и горитъ какъ жаръ. Полы внизу отличные асфальтовые, а вверху солидный паркетъ. Нижній этажъ занятъ огромной залой магазина, съ полками отъ пола до потолка. Окна, разумѣется, зеркальныя и на

ночь защищаются толстыми желѣзными што-рами. За прилавками стоятъ и движутся тридцать человѣкъ прикащиковъ, молодецъ къ молодцу, рослые, сытые, расчесанные, отлично одѣтые, съ чарующими покупателя манерами. Помѣщаются эти гвардейцы тутъ-же въ домѣ, во второмъ этажѣ, на молодцовской половинѣ, по два, по три человѣка въ комнату. Особые повара готовятъ имъ пищу, особые люди, одѣтые дворниками, убираютъ ихъ комнаты. Въ восемь часовъ утра ихъ будятъ. Со двора, не спросившись, уходить они не смѣютъ. Выпивать строжайше воспрещено: за обѣдомъ и завтракомъ имъ полагается по двѣ рюмки водки—и баста. На другой половинѣ второго этажа помѣщается или самъ хозяинъ, или управляющій складомъ, величественный джентльменъ, предъ которымъ трепещутъ тридцать гвардейскихъ молодцовъ. Здѣсь — рядъ просторныхъ, богатыхъ, солидныхъ комнатъ: залъ, столовая, гостиная, спальня и нѣсколько кабинетовъ, для хозяина и прѣзжающихъ главныхъ администраторовъ фабрики и торговаго дома. Тутъ прислуга одѣта уже въ сюртуки, а корридоръ и лѣстница устланы коврами. Изъ оконъ хозяйской половины виденъ дворъ, величиной въ десятину, залитый асфальтомъ и окруженный каменными сараями и навѣсами, съ безукоризненно выкрашенными же-

лѣзными крышами. Въ сараяхъ и подъ навѣсами лежатъ кипы и ящики товара, на два милліона рублей. Шестьдесятъ человѣкъ постоянныхъ рабочихъ въ продолженіе всей ярмарки ворочаютъ и возятъ на прочныхъ тачкахъ эти кипы и ящики, сдавая ихъ крупнымъ перекупщикамъ. Эти послѣдніе развезутъ ихъ по всему востоку: Стахеевъ, Кузьминъ и Даровъ—въ Сибирь и на сѣверо-востокъ, Шмидтъ — на южное Поволжье, Сивиргановъ—на Донъ, Давыдовъ и Шахъ-Назаровъ—на Кавказъ, въ Персію—Ашимовъ, а въ Среднюю Азію — Яушевъ. И все это изъ Нижняго пойдетъ по матушкѣ Волгѣ и ея дѣткамъ-притокамъ. Въ Сибирь и на Волгу идетъ «одежный» товаръ, т.-е. одноцвѣтный и безъ узоровъ. Бѣльевая бумага требуется южной и западной Россіей. Средняя Азія покупаетъ «подкладку», изъ которой, ничтоже сумняшеся, шьютъ себѣ халаты. Ситцы и «пунцовый товаръ» идутъ всюду. Въ послѣднее время подмосковные хлопчато-бумажники, въ виду конкуренціи Лодзи, по ихъ собственному выраженію, подтянулись и успѣшно конкурируютъ съ лодзинскими фабрикантами на ихъ собственномъ рынкѣ; такъ, напримѣръ, Никольская мануфактура Морозовыхъ сбываетъ черезъ Варшаву въ польскія губерніи бѣльевого товара на четыреста тысячъ рублей.

Хлопчатобумажники сбываютъ на нижегородской ярмаркѣ приблизительно пятую часть своего производства. Если грандіозны обороты ярмарочнаго склада, о которомъ я говорю, то дѣятельность фабрики, представителемъ которой на ярмаркѣ является складъ, впятеро грандіознѣй. Въ прядильнѣ фабрики вертятся полтора ста тысячъ веретенъ и ежегодно вырабатываютъ около 400,000 пудовъ пряжи. Пять тысячъ ткацкихъ станковъ изготовляютъ тридцать два милліона аршинъ бумажныхъ матерій. Въ красильной красится сорокъ милліоновъ аршинъ тканей и пятьдесятъ-тысячъ пудовъ пряжи.

Ярмарка, прежде занимавшая одинъ гостиный дворъ, давно уже вышла за предѣлы подковообразнаго канала и по одну сторону дошла до Волги, а по другую—до Кунавина, переименованнаго, въ виду его старой репутаціи распутнѣйшаго мѣста во Всероссійской Имперіи, въ Макарьевскую часть города Нижняго-Новгорода,—такъ гласитъ и доска, прибитая къ дому полицейской части: «по распоряженію начальства Кунавино переименовано» и т. д. Старожилы говорятъ, что мѣсто это было дѣйствительно умопомрачительное. Теперешнее Кунавино, очищенное отъ притоновъ разврата и кутежей—очень представительный городъ.

Ярмарка, внѣ канала, — тоже настоящій городъ, гдѣ склады чередуются съ церквами, гостиницами, театрами, банями, народными харчевнями, меблированными комнатами и «нумерами» самаго разнообразнаго назначенія. Склады и дома здѣсь гораздо крупнѣе и внушительнѣй, чѣмъ внутри канала. Торговыхъ помѣщеній считается 1870 каменныхъ и 2000 деревянныхъ, 88 «нумеровъ» и 16 трактировъ. Въ нѣкоторыхъ нумерахъ живутъ отъ трехъ до пяти тысячъ душъ.

Къ сѣверу отъ дуги канала расположены «Самокаты», сохранившееся до сихъ поръ во всей первобытности простонародное Кунавино, съ деревянными зданіями бань, нумеровъ (20), трактировъ (5), безчисленныхъ харчевенъ и увеселительныхъ балагановъ.

Берега Волги и Оки на мысу, образованномъ ихъ сліяніемъ, заняты парходными пристанями и складами лѣсныхъ матеріаловъ, сырыхъ кожъ и чая. Противъ Главнаго дома, на Окѣ, на мели-островѣ, длиною въ 600 сажень и шириной въ 40—60,—склады желѣза и рыбы. Наконецъ, ниже по Волгѣ, довольно далеко отъ ярмарки, противъ города, на такой-же мели-островѣ разложили свои соблазнительные товары торгующіе мочалой и рогожами.

Таковъ, въ цифрахъ, этотъ странный огромный городъ съ четырехсотъ-тысячнымъ

населеніемъ, съ громадными торговыми оборотами, съ каменными домами, храмами, газомъ и электричествомъ, театрами и библіотеками, адвокатами, нотаріусами и чиновниками, живущій только полтора-два мѣсяца въ году, словно вымирающій на все остальное время и вдобавокъ весною въ теченіе мѣсяца глубоко залитый водою.

Прогулка по ярмаркѣ.

Итакъ, нижегородская ярмарка—большой и хорошій городъ, хорошій, конечно, по русскому масштабу. Достаточно въ немъ и грязцы. и запашковъ, и рваной толпы. Мостовая не безъ выбоинъ. Бульвары не безъ сухихъ деревьевъ и поломанныхъ заборовъ. Но въ общемъ—ничего напоминающаго восточный базаръ или караванъ-сарай, ничего общаго ни съ Каиромъ, ни съ Дамаскомъ, ни даже съ Константинополемъ. Связь съ варварствомъ безвозвратно порвана, и вопросъ только въ томъ, чтобы подальше и поскорѣй уйти отъ этого варварства. Отголоски прежней азіатчины можно наблюдать только на пристаняхъ ярмарки да на Самокатахъ.

И Волга, и Ока текутъ на полной волѣ, какъ текли онѣ отъ сотворенія міра. Насыпаетъ рѣка мель, — что-жъ, ничего не подѣлаешь, пусть насыпаетъ. Рветъ вода берега,—

надо отодвигаться отъ воды вмѣстѣ съ берегомъ. Божьи рѣки не стѣснены людскими набережными, и суда пристають прямо къ желтому песочку и обрывистой глинѣ. У этихъ песковъ и глины, у Сибирской пристани по Окѣ, у Петербургской по Волгѣ, и у мели на Окѣ, гдѣ торгуютъ желѣзомъ и рыбой, нагружаются и разгружаются сотни барокъ и пароходовъ. Рѣдко-рѣдко гдѣ увидите въ культурный подъемный кранъ. Его замѣняютъ прочные хребты крючниковъ, татаръ и русскихъ. Рѣдко попадетса каменное или желѣзное зданіе: вездѣ досчатые балаганы и бревенчатая избы. Тутъ еще сохранилась старая неизящная, сколоченная на живую нитку ярмарка, но и тутъ элегантные пароходы, рельсы и вагоны желѣзнодорожныхъ путей, производящіе впечатлѣніе американскаго благодотворителя въ голодной Самарской губерніи, вносятъ европейскій, культурный элементъ. Вдобавокъ эти американцы только по виду заморскіе господа, а на самомъ дѣлѣ самыя настоящіе русаки, конечно, съ сѣверной Волги, изъ старой культурной Россіи. Всѣхъ пароходныхъ пристаней больше тридцати. Большинство пароходовладѣльцевъ — съ русскими именами: Иона-Бай-Бородинъ, ярославскій купецъ, Данило Гусевъ, купецъ свѣяжскій, Иванъ Стахѣевъ изъ Елабуги, Василій Мензелинцевъ,

нижегородскій купецъ, Михаилъ Зарубинъ изъ Пучежа и т. д. Тутъ по улицѣ, между двухъ рядовъ складовъ, едва можно проѣхать. По рельсамъ нескончаемыми рядами тянутся товарные вагоны, движимые лошадьми. Вдоль рельсъ тянутся безконечныя вереницы пустыхъ и нагруженныхъ ломовиковъ. Черезъ улицу, чуть не попадая подъ вагоны и ругаясь съ ломовиками, идутъ съ тяжестями на спинѣ крчючки. Какія рожи у большинства этихъ господъ, какая небезопасная внѣшность! Костюмъ состоитъ изъ опорковъ на босу ногу, сѣрыхъ штановъ изъ какой-то удивительно жидкой матеріи и никогда не мытой, но совершенно полинявшей розовой ситцевой рубахи. Пояса нѣтъ — для прохлады; а штаны и рубаха непременно прорваны во многихъ, иногда совсѣмъ неподобающихъ мѣстахъ, и непременно въ видѣ форточекъ, о гвозди. Дуетъ вѣтеръ, и эти форточки то затворяются, то отворяются и показываютъ здоровенные мускулы. На плечахъ у такого господина восемь пудовъ, но идетъ господинъ какъ ни въ чемъ не бывало; даже его длиннобородое лицо чистопороднаго «ракла» не измѣнило своего обычнаго выраженія: въ жидкихъ стальнаго цвѣта большихъ глазахъ виденъ вчерашній хмѣль, а лицо красно не отъ натуги, а отъ загара и затаянаго пьян-

ства. Большинство крючниковъ—великіе жуиры. Съ утра до ночи онъ таскаетъ свои восьми-пудовые кули и ящики и считаетъ, сколько прибываетъ у него денегъ, на которыя онъ чудно проведетъ ночь на Самокатахъ. Приходитъ ночь,— и жуиръ ходитъ изъ харчевни въ харчевню, изъ кабака въ кабакъ, изъ однихъ «нумеровъ» въ другіе и наслаждается жизнью во всю. Въ пріятныхъ компаньонахъ нѣтъ недостатка. На завтра опять автоматическое тасканіе кулей, а къ вечеру опять наслажденіе жизнью. Хорошо, очень хорошо, но и хорошее пріѣдается, если оно однообразно. Поэтому господамъ «ракламъ», «горчичникамъ», «золоторотцамъ» и «босьякамъ» иной разъ хочется чего-нибудь особеннаго, необычайнаго, доводящаго до восторга, уносящаго въ эмпиреи. Таковую штуку выдумать трудно, но иной разъ помогаетъ судьба. Напримѣръ, холера. Стоитъ крикнуть: доктора морять народъ, идемъ, братцы, разбивать холерные бараки,—какой выйдетъ дивный пикникъ! Бой—смертный. Подожди баракъ, лѣсъ сухой,—загорится что твой фейерверкъ. Господинъ городской ужь не «господинъ» городской, а улепетываетъ какъ заяцъ. Тысячная толпа участниковъ въ пикникъ гикаетъ и улюлюкаетъ ему вслѣдъ и пьетъ вволю въ кстати разбитомъ кабакѣ. Такъ начались хо-

лерные «беспорядки» въ Астрахани, въ Саратовѣ, въ Вольскѣ. Счастье, что ничего не произошло въ Нижнемъ, гдѣ такихъ жуировъ многіе десятки тысячъ. И странно человѣку, знающему толпу Поволжья, слышать осужденія крутыхъ административныхъ мѣръ, которыми подавлялись или предупреждались такіе «пикники» хоть-бы въ Нижнемъ. Когда Нижегородка превратится въ Лейпцигскую ярмарку, тогда крутыя мѣры сдѣлаются сами по себѣ излишними, а до тѣхъ поръ поневолѣ нужна достаточная доля брандъ-маіора или укротителя звѣрей.

Поѣзжайте по Волгѣ дальше,—и культуры все убываетъ. Пароходныя пристани кончились, и берегъ заваленъ горами тряпья. За нимъ начинается безконечный рядъ лѣсныхъ товаровъ. Горы лубка, горы ободья, десятки тысячъ дугъ, ступицы, спицы, полозья, доски, бревна, наконецъ, всевозможные сорта столярнаго дерева, привезенные отовсюду, изъ Бразиліи и Индіи, Кавказа и Средней Азіи. Русское дерево все бѣлое. Заморское—самыхъ фантастическихъ цвѣтовъ. За деревомъ пойдутъ сырыя кожи. Тутъ ужь совсѣмъ Азія. Изъ двадцати шести только два русскихъ торговца, остальные—татары и киргизы. Товаръ—тоже киргизскій. Воздухъ тутъ тоже азіатскій, то-есть, смраднѣй. Огромные шта-

пеля шкуръ, съ лошадиными хвостами или съ бычачьими рогами, сильно припахиваютъ падалю. Если прибавить дыма отъ кизяка, можно-бы вообразить себя гдѣ-нибудь на оренбургскомъ или троицкомъ мѣновомъ дворѣ или въ Кустонаѣ. Кончатся кожи, и если вѣтеръ вамъ навстрѣчу, вы почувствуете разлитое въ воздухѣ тонкое благоуханіе, особенно пріятное послѣ атмосферы кожанныхъ складовъ. Нѣсколько въ сторонкѣ вы замѣчаете большія скирды, прикрытыя брезентами. Это — чай въ цибикахъ, привезенный изъ Кяхты. Скирды многочисленны; не во всякомъ даже большомъ черноземномъ имѣніи ставятъ столько скирдъ хлѣба и при хорошемъ урожаѣ. Чайныя скирды нижегородской ярмарки оцѣниваются ни болѣе ни менѣе какъ въ четырнадцать милліоновъ рублей. Недурно пахнутъ эти четырнадцать милліоновъ!

Чаемъ эффектно кончается ярмарка въ этомъ направленіи.

— Что-же дальше?

— Сормово.

— Поѣзжай въ Сормово.

Обыкновенно ѣдутъ въ Сормово или по желѣзной дорогѣ, построенной сормовскимъ заводомъ, или на особомъ парходикѣ, но мы ѣдемъ на извожикѣ. Направо широкая Волга, налѣво зеленая отава заливныхъ луговъ,

озера и дубовыя рощи. Это и есть то море земли, которое видно съ нагорнаго берега Оки. Пріятно проѣхать по его глади.

Воздухъ чистъ и прозраченъ, луга безграничны, пахнетъ, то сѣномъ, сложеннымъ въ стога, то немного прянымъ, сладкимъ и крѣпкимъ благоуханіемъ дубоваго листа. Солнце горитъ свѣтло, небо чисто, а Волга бѣлѣетъ гладкимъ, ничего неотражающимъ зеркаломъ. За то дорога убійственная. Грязь и колеи по ступицу, а мѣстами лужи разлились настоящими озерами. Долго тащимся мы по этому головоломному пути и, наконецъ, выѣзжаемъ въ знаменитый Сормовскій нефтяной городокъ выросшій въ послѣднее десятилѣтіе на берегу Волги. Съ виду это — разрытые песчаные бугры, на которыхъ въ безпорядкѣ стоятъ колоссальныя круглыя желѣзныя цистерны для нефти и керосина. Рядомъ съ ними — маленькіе дома. Отъ цистернъ то подъ землю, то на подпоркахъ тянутся чугунныя трубы однѣ — къ Волгѣ, другія — къ желѣзнодорожнымъ рельсамъ. На Волгѣ стоятъ громадныя наливныя баржи — нефтянки, привезшія сюда кавказскую нефть, и изъ нихъ выкачиваютъ ихъ грузъ въ цистерны. Затѣмъ подѣзжаютъ цистерны-вагоны, ихъ наливаютъ и разсылаютъ во всѣ концы Россіи. Такимъ образомъ чрезъ Сормово проходитъ милліоновъ пятнадцать

пудовъ нефти и керосина. Кажется, зачѣмъ понадобилось для этого именно Сормово, и какое дѣло бакинскому товару до нижегородскаго Сормова! Сормово съ Баку связала все та же матушка Волга, замѣняющая Россіи моря, несущая суда океанійской величины въ самое сердце Россіи.

Изъ нефтяного Сормова мы попадемъ въ село Сормово. Впервые приходится видѣть мнѣ такое село. Нѣсколько тысячъ жителей, прямыя и широкія улицы, каменные, крытые желѣзомъ дома, въ два и три этажа, старинныя церкви, окруженныя зелеными садами. Есть и тутъ грязца, и тутъ маленько попахиваетъ несовсѣмъ пріятно, но въ русскихъ земледѣльческихъ селахъ грязь невылазная, а о довольствѣ, даже богатствѣ, видно здѣсь не можетъ быть и помина. Тамъ во всемъ—что-то полукочевое, временное, случайное. Здѣсь—каменные дома и каменные церкви пустили крѣпкіе корни и основались на-вѣки. Приходилось спрашивать дорогу, и тѣ, къ кому обращались, отвѣчали привѣтливо и вѣжливо, культурными голосами, смотрѣли интеллигентными глазами. Мой пиджакъ и зонтикъ не заставляли публику отъ изумленія раскрывать ротъ, точно при видѣ центавра или лѣшаго,—потому что публика была сама въ пиджакахъ и съ зонтами. Когда я гово-

рилъ имъ «вы», они не думали, что я обращаюсь съ ними такъ вѣжливо, потому что боюсь, какъ-бы меня не побили, а находили эту вѣжливость вполне естественной, и сами были со мною съ достоинствомъ вѣжливы. Таковы говорятъ, и всѣ большія села верхней Волги, таковы и всѣ ихъ «мужики». Ниже Нижняго культурности убываетъ, и чѣмъ дальше внизъ по Волгѣ, тѣмъ ея меньше.

По всему Сормову временами разносится какой-то неистовый, нечеловѣческій визгъ и скрежетъ. Это рѣжутъ желѣзо на сормовскомъ судо-строительномъ заводѣ. Заводъ основанъ въ 1849 году. Вотъ откуда пошла культурность Сормова. Она привилась до такой степени солидно, что Сормово соединено съ Нижнимъ желѣзной дорогой. Конечно, первоначально дорога построена заводомъ для своихъ нуждъ, но теперь по ней ходитъ несколько пассажирскихъ поѣздовъ въ день, состоящихъ изъ двухъ-трехъ всегда полныхъ вагоновъ. На одномъ изъ этихъ поѣздовъ мы и вернулись на ярмарку.

Посреди Оки лежитъ длинная песчаная мель. Я уже говорилъ, что здѣсь находятся склады желѣза. Вы ѣдете по деревянной настилкѣ больше версты, и направо, и налѣво, подъ навѣсами и просто подъ открытымъ небомъ, на желтомъ пескѣ лежатъ груды

железа, стали и чугуна, — в полосахъ, листахъ и брускахъ, круглякахъ, болванкахъ. Мѣстами громадныя склады чугуновъ, тазовъ, подковъ, втулокъ, ухватовъ, сошниковъ, вилъ, шкворней, ведеръ, ковшей, гвоздей и т. д., и т. д. Эта масса тяжкаго металла производитъ почти удручающее впечатлѣніе, — точно смотришь на Бисмарка, железнаго канцлера. Вмѣстѣ съ тѣмъ желѣзная пристань — самое аристократическое мѣсто на ярмаркѣ. Здѣсь торгуютъ произведеніями своихъ уральскихъ заводовъ графы Шуваловы (двое), Всеволожскіе, Стенбокъ-Ферморы, князя Бѣлосельскіе-Бѣлозерскіе, князя Демидовы-Сандonato и Абамеликъ-Лазаревы, графы Строгановы, торгуютъ бокъ-о-бокъ съ Салазкиными, Расторгуевыми и Криворотовыми.

Къ той-же мели, выше по Окѣ, пристають рыбныя караваны и привлекають... нищихъ, которымъ перепадаетъ иной разъ селедка или вобла изъ тѣхъ, что похудошавѣи и попахучѣи. «Удивительно зажиточный видъ у русскихъ нищихъ», говорилъ мнѣ въ Ярославлѣ мой случайный спутникъ-нѣмецъ. И дѣйствительно, нищіе, разгуливающіе по рыбной пристани, одѣты во все чистое, крѣпкое и новое. Куда до нихъ крючникамъ! Выпрашиваютъ мастерски, голосомъ, въ которомъ слезъ больше, чѣмъ у г-жи Дюжиковой въ самыхъ «мокрыхъ»

ея роляхъ. Лицо и глаза изображаютъ не только печаль, но скорбь, ужасъ, отчаяніе: всѣ они «двое сутокъ не ѣли», у всѣхъ двое сутокъ «грошица въ рукахъ не было». Вы подаете, уѣзжаете, чрезъ часъ на возвратномъ пути встрѣчаете того-же нищаго, и онъ снова, съ божбой и слезами, увѣряетъ васъ, что третій день онъ копѣчки не видалъ. Иногда на половинѣ рѣчи онъ узнаетъ васъ, отворачивается и недовольно передергиваетъ плечами, почесывая спину о рубашку. Говорятъ, что на ярмаркѣ нищенство является отхожимъ промысломъ. Рассказываютъ, что есть цѣлыя деревни, которыя живутъ этимъ ремесломъ и довели его до высокой степени совершенства. Стекаются на ярмарку и калѣки. Благообразные нищіе изображаютъ изъ себя якобы случайно впавшихъ въ нищету: погорѣли, хлѣбъ не уродился, семья вымерла отъ холеры, а самъ остался какъ перстъ, одинъ, хозяйства не одолѣть. Калѣки, тѣ такъ калѣки и есть и возводятъ свое уродство въ перлъ созданія. Однажды я долго слѣдилъ за какимъ-то фантастическимъ существомъ, быстро двигавшимся по тротуарамъ и грязнымъ улицамъ на правой ногѣ и *лѣвой рукѣ*; сведенная лѣвая нога оставалась на вѣсу. Я нагналъ это существо, оказавшееся благообразнымъ съ лица татарченкомъ лѣтъ восемнадцати.

- И много за день собираешь?
- Когда полтинникъ, когда рубль.
- Гдѣ-же ты живешь?
- Въ «нумерахъ» живу.
- И платишь за постой?
- Плачу.
- Что-же ты зимой дѣлаешь?
- Наберу тутъ денегъ, и дома живу, въ Симбирской губерніи.
- А сюда какъ попалъ?
- Пароходомъ пріѣхалъ.
- Даромъ?
- Зачѣмъ даромъ! Билетъ покупалъ.
- Что же ты такъ на-карачкахъ ходишь? Ты бы костыль завелъ, отлично-бы ходилъ.
- Расчета нѣтъ: народъ меньше жалѣть будетъ.

Нѣтъ, можно еще жить на русскомъ свѣтѣ.

Ярмарочное веселье.

Лѣтъ двадцать-пятнадцать тому-назадъ ярмарочное веселье было похоже на сумасшедшій домъ. Кунавино было сплошнымъ притонномъ извѣстнаго сорта. Трактиры были наполнены «арфистками», съѣзжавшимися сюда изъ всѣхъ концовъ Россіи и Европы. Эти дамы бродили по заламъ и отдѣльнымъ кабинетамъ, присаживались къ гостямъ и способствовали кутежамъ самыхъ гомерическихъ размѣровъ. На Самокатахъ тогда дѣйствительно были са-

мокаты: полы въ трактирахъ были устроены такъ, что кружились со всѣми гостями и артистками. Надо сознаться, что это была коварная выдумка. Вино, водка, женщины, оглушительная музыка и гипнотизирующее круговращеніе: можно было «очумѣть». Для публики побогаче — трактиры и самокаты. Для чернаго народа — кабаки, харчевни и «нумера», биткомъ набитые сиренами, слетѣвшимися сюда тоже на отхожіи промыселъ изъ селъ и деревень сосѣднихъ губерній, разодѣтыми въ кумачовые сарафаны, бѣлыми и румяными, востроглазыми и ласковыми. Все бывало пьяно до безпамятства, а обезпамятѣвшихъ не щадили. Мертвыя тѣла, находимыя на выгонахъ и всплывавшія на поверхность Мещерскаго озера, никого не удивляли. Ограбленные благодарили небеса, что съ ними поступили такъ гуманно, — только ограбили, тогда какъ могли бы съ большимъ удобствомъ для себя убить. Жаловаться въ полицію не ходили. Почему? — «Да что-жъ жаловаться. Придешь туда съ жалобой, а тебя тамъ изувѣчатъ. Полиція-то тогда была — казачки, народъ умный, въ походахъ бывавшій». Русскій человекъ всегда не прочь выпить, а въ обстановкѣ ярмарки, при пикантномъ сознаніи, что кутежъ можетъ кончиться ограбленіемъ или насильственной смертью, съ большими барышами въ карманѣ,

вдали отъ семьи и своего круга, русакъ входилъ въ ражъ, переселялся изъ обыденной среды на фантастическій и блаженный островъ, гдѣ растеть волшебная трынъ-трава, и на этомъ островѣ иной разъ спускалъ всѣ ярмарочные барыши или даже попадалъ на дно Мещерскаго озера.

Говорять, нельзя исправить нравы внѣшними, принудительными мѣрами. Можетъ быть, оно и такъ, относительно высшихъ добродѣтелей, но уменьшить пьянство, грабежи и убійства вполнѣ удастся и путемъ полицейскихъ мѣръ. Надо набрать полицію не изъ жуликовъ, надо приискать хорошаго полицеймейстера, надо, чтобы губернаторъ не только губернаторствовалъ, но и управлялъ. Конечно, это не легко. Губернатору и полицеймейстеру приходится мало спать, цѣлый день, а иногда и ночью, быть на ногахъ и много шумѣть и сердиться. Хорошихъ городовыхъ тоже въ одинъ день не подберешь. Но пять-десять лѣтъ такихъ усилій,—и нравы замѣтно улучшаются. Самокаты запрещены, рулетки тоже; арфисткамъ запрещено подсаживаться къ трактирнымъ гостямъ и выпрашивать «на ноты»; «нумера» и гостиницы тщательно и часто осматриваются; по улицамъ, на границѣ выгона и на берегахъ Мещерскаго озера, стоитъ полиція. Ни хитростью не вытянуть денегъ,

ни ограбить, ни утопить. Въ настоящее время мертвое тѣло производитъ сенсацію.

Нравы улучшаются, но все еще сохраняютъ старыя, азіатско-русскія черты. Хмѣль и загуль все еще производятъ чудеса, которыхъ, кромѣ Россіи, пожалуй, нигдѣ не увидишь. Въ каждомъ номерѣ «Волгаря» и «Нижегородской Почты» вы найдете двѣ-три такія исторіи, что только диву дадитесь. «Гуляетъ», на примѣръ, сарапульскій мѣщанинъ, Федоръ Липатовъ. Сначала гулялъ въ гостиницѣ «Германія» и вышелъ оттуда въ памяти. Потомъ гулялъ въ гостиницѣ Баракова и, вѣроятно, оттуда вышелъ, потому-что твердо помнитъ очаровательный будуаръ крестьянки Анны Базаровой, гдѣ онъ весело проводилъ время. Послѣ этого Липатовъ, *кажется*, гулялъ въ какой-то комнатѣ на какой-то улицѣ, среди приличной обстановки, и какія-то приличныя женщины подавали ему пиво. Затѣмъ Липатовъ ничего не помнитъ и возвращается къ сознанію въ шесть часовъ утра, лежа на тротуарѣ. Липатовъ вынимаетъ бумажникъ, пересчитываетъ деньги и убѣждается, что изъ 2,300 рублей бывшихъ тамъ, недостаетъ полуторы тысячи.

«Гуляетъ» второй гильдіи купецъ. Гуляетъ съ утра до вечера. Вечеромъ онъ на нѣсколько минутъ появляется у себя на квартирѣ, про-

буетъ остаться, но загуль вступилъ въ свои права, и его жертва снова устремляется въ трактиръ на всю ночь. Поутру нужно расплачиваться. Хватъ за бумажникъ,—его нѣтъ, а въ бумажникѣ было денегъ, бумагъ и векселей тысячъ на двадцать. Второй гильдии купецъ летитъ въ полицію, даетъ знать всѣмъ мѣняламъ и банкамъ, подымаетъ на ноги сыщиковъ, которые рыщутъ по ярмаркѣ цѣлыя сутки,—все напрасно. Купецъ думаетъ, ужь не загулять-ли ему наново, уже съ горя, приѣзжаетъ домой, чтобы переодѣться, надѣваетъ другой сюртукъ, — о, радость, и вмѣстѣ съ тѣмъ—о, позоръ: деньги лежатъ въ этомъ сюртукѣ! Вчера вечеромъ между двумя гулянками купецъ перемѣнилъ сюртукъ, но рѣшительно этого не помнитъ.

Въ ярмарочное полицейское управленіе является отставной фейерверкеръ, Аполлонъ Львовъ Дорохинъ, и рассказываетъ, что на чердакѣ ресторана, гдѣ онъ служитъ лакеемъ, по нѣскольку дней лежатъ больные холерой и тамъ и умираютъ.

— Ты самъ ихъ видѣлъ?

— Такъ точно-съ. Недѣлю тому назадъ даже одного мертвеца самъ оттуда спустилъ-съ. Это было часа въ три ночи, когда гости разошлись. Я доложилъ хозяину, а онъ приказалъ завернуть тѣло въ рогожу и стащить.

по лѣстницѣ внизъ. Я исполнилъ-съ. Тогда хозяинъ отправилъ меня спать, а куда онъ дѣлъ мертвое тѣло—не могу знать-съ.

— Отчего-же ты до сихъ поръ молчалъ?

— Я надѣялся, что хозяинъ сошьетъ мнѣ новый фракъ.

— Что такое?!

— Такъ точно-съ. Другой официантъ дерзко со мной обошелся и изодралъ мнѣ фракъ. Совершенно правдоподобно, что господинъ хозяинъ долженъ возобновить, такъ-какъ какой-же я лакей въ худомъ фракѣ!..

Въ Дорохина начинаютъ вглядываться съ сомнѣніемъ. Онъ храбро выноситъ пытливые взгляды начальства и по-солдатски, молча, «ѣстъ» его глазами.

— Ваше высокоблагородіе! вдругъ восклицаетъ онъ.

— Ну?

— Ваше высокоблагородіе, прикажите мнѣ сшить фракъ, и я буду вѣрный патріотъ отечества! Ваше высокоблагородіе, позвольте мнѣ сыграть патріотическій персидскій маршъ!

И Дорохинъ играетъ персидскій маршъ пальцами на губахъ. Дорохинъ «догулялся» до мертвыхъ тѣлъ.

Или такой тоже «истинно-русскій» случай. Молодой купеческій сынъ, Апаринъ, заявляетъ полициі, что его ограбили.

— Какъ, гдѣ?

Апаринъ очень толково отвѣчаетъ на этотъ вопросъ. Дѣло было въ девять часовъ вечера въ переулкѣ, что около ярмарочной биржи. Жуликовъ было двое, одинъ—съ черной бородкой, плюгавенькій, а другой—здоровенный рыжій, рябой, въ длинномъ лѣтнемъ пальто. Бросились и вытащили изъ внутренняго кармана бумажникъ черной кожи, съ 1,700 рублей. Апаринъ сталъ съ ними бороться и кричать карауль. Уже подбѣгали городской и сторожъ отъ Обжорки, но грабители одолѣли и скрылись.

Въ виду точности показаній Апарина, полиція серьезно берется за дѣло. Допрашиваются городской и сторожъ, на которыхъ указалъ Апаринъ,—тѣ только выпучиваютъ глаза: ни криковъ они въ указанное время не слышали, ни Апарина не видали. Начинаютъ наводить дальнѣйшія справки. Оказывается, у Апарина въ данное время было всего три рубля, вырученные отъ залога шубы. Мало того, именно въ девять часовъ вечера онъ на другомъ концѣ ярмарки веселился съ крестьянской дѣвицей, Аленой Барабашкиной, а разставшись съ нею, заявилъ городскому, что у него холера и былъ доставленъ въ холерный баракъ, гдѣ докторъ удостовѣрилъ, что Апаринъ просто пьянъ какъ стелька. Вы-

зываютъ, наконецъ, отца Апарина, и старикъ съ первыхъ-же словъ объявляетъ, что его сыну, когда тотъ загуляетъ, всегда мерещится, что его ограбили,—и слезно просить закатить сыну по крайней мѣрѣ пятнадцать розогъ... Удивительно фантастическія формы принимаетъ «истинно-русское» опьянѣніе!

Всѣ эти эпизоды блѣднѣютъ въ сравненіи съ прошлогоднимъ загуломъ одного извѣстнаго и крупнаго пароходовладѣльца. Почтенный коммерсантъ загулялъ что-то особенно широко и продолжительно, притомъ съ грустнымъ оттѣнкомъ. Пьетъ и тоскуетъ. Событільники видятъ, что съ нимъ что-то неладно, и начинаютъ спрашивать. Оказывается, какъ сообщилъ купецъ по секрету, дѣла совсѣмъ плохи. Пилъ купецъ, пилъ и вдругъ неизвѣстно куда, скрылся. Назначили конкурсъ, стали провѣрять кассу: изъ кассы вмѣстѣ съ хозяиномъ исчезли тридцать тысячъ, что составляло только часть наличности. Ясное дѣло, тосковалъ, потому-что видѣлъ неминуемое банкротство. Отъ банкротства и бѣжалъ, стащивши довольно благородно только тридцать тысячъ, а не всю кассу. Отдавъ дань благородству коммерсанта, конкурсъ приступилъ къ ликвидаціи его дѣлъ и онѣмѣлъ отъ изумленія: дѣла оказались въ блистательномъ положеніи. Коммерсантъ «догулялся» до несостоя-

тельности, до кражи у самого себя тридцати тысячъ и до бѣгства. Слуховъ о немъ не было очень долго, и только недавно узнали, что онъ «спасается» на Аѳонѣ. Едва-ли онъ возвратится въ отечество. Во-первыхъ, его огромное дѣло погибло безвозвратно, а во-вторыхъ—срамъ на всю Россію.

Такой оттѣнокъ носить ярмарочное веселье, «гулянье»,—оттѣнокъ, надо сознаться, еще не выдохшагося русскаго варварства. На ярмаркѣ есть большой оперный театръ съ хорошей труппой, но полумилліонный городъ плохо его поддерживаеъ. Есть тутъ два-три театра съ кафе-шантанной программой,—и къ нимъ не лежитъ россійская душа. Эту душу тянетъ туда, гдѣ есть вино и арфистки. Такимъ требованіямъ удовлетворяютъ трактиры. Въ каждомъ имѣется эстрада, на которой женскіе хоры и солистки исполняютъ «вокальные номера», сопровождаемые болѣе или менѣе цензурными тѣлодвиженіями. Публика сидитъ, смотритъ, слушаетъ, пьетъ и пьетъ. У кого лишніе деньги въ карманѣ, или лишніе хмѣльные пары въ головѣ, отправляется въ отдѣльный кабинетъ, и тамъ начинается пиръ горой. Чѣмъ больше хмѣлѣютъ гости, тѣмъ чаще требуютъ къ себѣ хоры и солистокъ. Пьянѣютъ и хористки съ солистками,—русскія, французженки, нѣмки, жидовки, вен-

герки, галицкія хохлушки, «премированные красавицы», арабки—исполнительницы *danse du ventre*. Глаза у нихъ соловѣютъ, лица маленько опухаютъ, голоса становятся крикливыми и визгливыми,—а «гуляющіе» гости хрипятъ и ревуть. У лакеевъ, стоящихъ насторожѣ у дверей отдѣльныхъ кабинетовъ, у метрдотелей и хозяевъ лица принимаютъ возбужденное и счастливое выраженіе. Словомъ—свинство. Шведъ, на примѣръ, со своей шведкой пьютъ впятеро больше нашего брата, но никогда не допиваются не только до несостоятельности, даже не до скандала, а остаются приличными, точно и не пили ничего. По тому, какъ ведетъ себя пьяный, сейчасъ можно отличить, культурный онъ человѣкъ или еще порядочный варваръ. По словамъ врачей, го же обнаруживаетъ и хлороформъ. Мужикъ свирѣпѣетъ, ругается, пытается драться; человѣкъ культурный бредитъ вѣжливо, ему мерещится что-нибудь «образованное», и онъ обыкновенно передаетъ свои мысли и впечатлѣнія.

Веселье купцовъ и прикащиковъ по хорошимъ трактирамъ мало отличается отъ гулякъ изъ простонародья въ балаганахъ, трактирахъ и номерахъ Самокатской площади. Я имѣлъ храбрость пройти насквозь этотъ нижегородскій *cour des miracles*. Одинъ я, конечно, не

рѣшился-бы на рискованную экспедицію, и сидя въ одномъ изъ самокатскихъ балагановъ пригласилъ участвовать въ ней двухъ студентовъ. Студенты, по русскому обычаю, сначала отнеслись къ примазывающемуся къ нимъ неизвѣстному штатскому весьма подозрительно. По счастью, въ этотъ день мѣстная газета оказала мнѣ честь, извѣстивъ о моемъ приѣздѣ на ярмарку; подозрительность молодыхъ людей смѣнилась довѣріемъ, и мы отправились въ путь. Чего только ни насмотрѣлись мы! Грязные трактиры, грязныя и совершенно охрипшія хористки, пьяные отъ рожденія, опухшіе и небритые хористы. Толпы рақловъ на перекресткахъ, толпы «этихъ дамъ» въ кумачныхъ сарафанахъ, съ платочками на головахъ и простоволосыхъ, буквально берушихъ въ плѣнъ мимоидущихъ и на мѣстѣ стоящихъ Темныя переулки и еще болѣе темныя дворы, съ грязью по колѣно и неистовымъ смрадомъ. Сколоченные на живую нитку деревянные «нумера», гдѣ дрожатъ полы и перегородки, оклеенныя обоями съ подкладкой изъ таракановъ. Звонъ рюмокъ и бутылокъ. Запахъ пива, водки и неопрятной одежды. Ругательства, поцѣлуи, визгливое или хриплое пѣніе,— и всюду пѣсни разгульнаго Поволжья, «Мотаня»:

Въ саду яблочки повисли—

Ну, такъ что-жь!

Не найду себѣ по мысли—

Ну, такъ что-жь!

Въ саду яблочки повяли—

Ну, такъ что-жь!

Не найду себѣ Мотани—

Ну, такъ что-жь!

Я жену свою зарѣжу—

Ну, такъ что-жь!

Да Мотанюшку потѣшу—

Ну, такъ что-жь!

Я въ Сибирь пойду за это—

Ну, такъ что-жь!

Да Мотанюшка одѣта—

Ну, такъ что-жь!

Отчаянный припѣвъ—это «ну такъ что-жь!»

Но, странное дѣло, удивительное дѣло, — даже въ этомъ безобразіи русскаго просто-народья есть что-то, не то чтобы привлекательное, а примиряющее, дѣлающее его распутство и паденіе не ужасающимъ, не безнадежнымъ. Вся эта толпа Самокатской площади—голь, бѣдность. При суровыхъ условіяхъ русской жизни, они бѣдны не столько по своей винѣ, сколько потому, что недостаточно жестки, чтобы выбиться наверхъ, въ кулаки, кабатчики, купцы. Въ большинствѣ и въ сущности это — толпа слишкомъ мягкихъ для суровой борьбы за свое русское существованіе людей. Въ общемъ всѣ они тутъ

добрѣе, нѣжнѣе, веселѣй, чѣмъ жесткое, прямолинейное купечество лучшихъ трактировъ. Это дѣлаетъ толпу чернаго люда разностороннѣй, артистичнѣй, пожалуй, даже интеллигентнѣй, чѣмъ купецъ, специалистъ наживы. Лица здѣсь красивѣй и мягче, здѣшнія «феи» безъ сравненія свѣжѣй, а иной разъ и красивѣй, чѣмъ поношенныя «премированные» красавицы. А ужъ какихъ неожиданностей ни наслушались мы, проходя сквозь строй самокатскихъ трактировъ и номеровъ! Вотъ, за стѣной женскія рыданія, горькія, непритворныя; плачетъ и говоритъ, что она теперь проклята, и что горѣтъ ей въ огнѣ вѣчномъ, а покаяться ужъ невозможно. Осторожный и нѣжный, глубоко искренній мужской голосъ доказываетъ, что покаяться никогда не поздно, и нечистому всегда можно доставить эту неприятность. Вотъ, слышны за сосѣднимъ столомъ присказки и пословицы, которыми такъ и сыплеть развеселая, черноволосая, синеглазая сарафанница. Что ни слово, то оригинальная мысль, остроумное сближеніе, неожиданная идея.

— Весело, красавица?

— Красавица и есть. Рака горе красить. Такъ и наша сестра.

За другимъ столомъ такіе-же дамы и кавалеры, съ виду мастера съ фабрики или съ

желѣзной дороги, бесѣдуютъ ни болѣе ни менѣе какъ о томъ, что такое добродѣтель и счастье. Компанія, конечно, пьяна, но разговоръ идетъ бойкій, бѣглый. Лица воодушевлены, глаза блестятъ. Ни одной шаблонной мысли, — головы работаютъ и сами тутъ же создаютъ мысль. Собственный опытъ, примѣры изъ жизни, даже отвлеченныя разсужденія. Какая наблюдательность, какая критика, здоровая логика, какое воодушевленіе! О чудесномъ языкѣ, о произношеніи, такомъ же отчетливомъ, какъ и этотъ удивительный языкъ, объ изяществѣ и выразительности интонацій я ужъ и не говорю. Странное дѣло, удивительное дѣло!

Коммерческіе нравы.

Нижегородская ярмарка, какъ и всѣ русскія ярмарки, постепенно падаетъ. Въ 1881 году на Нижегородку было привезено товаровъ на 246 милліоновъ, а въ 1890 году только на 181 милліонъ. О томъ же свидѣтельствуется и докладная записка, поданная въ прошломъ августѣ г-ну министру финансовъ ярмарочнымъ купечествомъ. Въ этой запискѣ приводятся между прочимъ цифровыя данныя одной изъ самыхъ большихъ русскихъ мануфактуръ. Съ шестидесятыхъ до начала семидесятыхъ обороты мануфактуры на яр-

маркѣ возростали; съ 1872 года по 1881 г. колебались; затѣмъ началось быстрое и значительное ихъ пониженіе. Оборотъ этотъ составлялъ слѣдующее процентное отношеніе въ суммѣ продажи центрального склада въ Москвѣ: въ 1872 году — 153%, въ 1881 — 105%, въ 1886—81% и въ 1892—50%.

Паденіе ярмарочной торговли — отрадное явленіе. Оно означаетъ, что въ странѣ появились желѣзныя дороги, дающія возможность крупному покупщику быстро съѣздить въ центръ производства, сдѣлать закупку и быстро привезти ее къ себѣ. Это значитъ, что производитель сталъ предприимчивѣй и рассылаеть комми-вожеровъ, которые пропагандируютъ его товаръ и заключаютъ сдѣлки. Наконецъ, это значитъ, что производитель и оптовикъ становятся честнѣе, — что можно покупать товаръ, не перешупывая каждую штучку ситца отдѣльно, не звоня въ каждый чугунокъ, чтобы убѣдиться, что вамъ не всучиваютъ вмѣсто чугуновъ черепки; товары *партийные* начинаютъ покупать простою перепиской, а сырые и полусырые, — хлопокъ, пряжу, желѣзо, — путемъ маклерскихъ сдѣлокъ. Желѣзныхъ дорогъ у насъ достаточно, маклеровъ и комми-вожеровъ тоже, но недавно возникшей честности можно было-бы и прибавить.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ одинъ мой

знакомый, интеллигентный человекъ свободной профессіи, совершенно неожиданно получилъ въ наслѣдство послѣ дальняго родственника складъ «суконъ и трикъ» въ одной изъ столицъ. Дѣло шло при прежнемъ хозяинѣ хорошо, и новый владѣлецъ вступилъ въ отправленіе обязанностей бодро и съ надеждами. Вскорѣ я потерялъ его изъ вида и не встрѣчалъ нѣсколько лѣтъ. Когда мы столкнулись снова, я первымъ дѣломъ спросилъ:

— Ну, какъ ваши сукна и «трика»?

— Будь они трижды прокляты на томъ и на этомъ свѣтѣ. Насилу, насилу ликвидировалъ дѣло и остался чуть не съ нулемъ. Это такіе каналы, это такіе хивинцы-бухарцы...

— Кто?

— Россійскіе коммерсанты. Разорили, проклятые!

— Какъ-же у вашего родственника дѣло шло отлично?

— Да вѣдь родственничекъ, царство ему, впрочемъ, небесное, самъ былъ такой-же «хивинецъ-бухарецъ», дѣйствовалъ, стало быть, въ своей атмосферѣ и въ знакомой средѣ. А я, извѣстно, благородный интеллигентъ. Пока не доказано, что Сидоровъ мошенникъ, я считалъ его честнымъ человекомъ и такъ съ нимъ дѣла велъ. А Сидоровъ насквозь выжига. Надувательство у нашего купечества

даже не вполнѣ корысть, а еще и спортъ, и молодечество. Будь они прокляты, сукно, трика и Сидоры!

Въ словахъ моего знакомаго много правды. На ярмаркѣ всякій скажетъ вамъ, что кромѣ нѣсколькихъ, очень немногочисленныхъ, извѣстныхъ наперечеть фирмъ, никому нельзя вѣрить на слово. Чѣмъ торговецъ мельче, чѣмъ онъ по географическому положенію мѣста жительства восточнѣй, чѣмъ по племени семитичнѣй или азіатистѣй, тѣмъ онъ менѣе благонадеженъ. Коммерческая недобросовѣстность колеблется въ предѣлахъ отъ не вполнѣ точнаго исполненія условій сдѣлки до простѣйшаго мошенничества. Мѣстныя газеты, заключающія въ себѣ обширный матерьялъ для характеристики ярмарочнаго веселья, даютъ его еще въ большемъ количествѣ изъ области коммерческихъ нравовъ. Каждый день приноситъ нѣсколько новинокъ. Сегодня мы узнаемъ, что персіанинъ Мамедъ-Али, мошенникъ, ловко выдавалъ себя за другого персіанина, тоже Мамедъ-Али, который извѣстенъ за честнаго, купилъ въ кредитъ шорнаго товара на 1,500 рублей, товаръ увезъ, а самъ исчезъ, оставивъ въ рукахъ продавца свой вексель, которому грошъ цѣна. Завтра читаемъ, что купецъ Валугинъ купилъ у купца Золотова партію товара на 787 р. 87 к. и

денегъ не платитъ. Дѣло въ томъ, что Золотовъ вечеромъ въ день продажи умеръ, а Валугинъ увѣряетъ, что отдалъ Золотову деньги «наединѣ», безъ счета, фактуры и росписки. — такъ довѣрялъ покойнику, хотя встрѣтился съ нимъ въ первый разъ въ жизни. Послѣ завтра рассказывается продѣлка магазина швейныхъ машинъ «Наталисъ», который продавалъ сызранскимъ купцамъ машины Зингера, а продалъ какой-то ломъ совершенно неизвѣстной фабрики. Я могъ-бы привести сотни подобныхъ случаевъ, служащихъ далеко не къ чести ярмарочнаго купечества, азіатскаго, еврейскаго, равно какъ и русскаго.

Полицейскій порядокъ поддерживается особыми полномочіями губернатора. Порядокъ въ коммерческой сумятицѣ, среди «бухарцевъ-хивинцевъ», въ прямомъ и переносномъ смыслѣ, водворяется биржевымъ комитетомъ. Я получилъ разрѣшеніе присутствовать при разбирательствѣ одного изъ «торговыхъ споровъ» Шелъ я въ засѣданіе съ очереднымъ «судьей» г. Вагуринымъ. Дорогою онъ рассказалъ мнѣ суть дѣла. Оптовый торговецъ табакомъ Абрамъ Шухманъ, изъ Москвы, продалъ крупному перекупщику для Сибири, Волкову, на полторы тысячи рублей товара. Дѣло было еще въ прошломъ году. Шухманъ обязался выслать табакъ въ Омскъ. Волковъ долженъ

былъ уплатить деньги по полученіи имъ товара, а до тѣхъ поръ далъ вексель. Прошелъ годъ. Шухманъ и Волковъ встрѣчаются на ярмаркѣ.

— Я вашего табаку не получилъ, говоритъ Волковъ.—Давайте табакъ.

— А мы не получили съ васъ денегъ по векселю, говоритъ Шухманъ. — Платите по векселю.

— Говорятъ-же вамъ, что табакъ до сихъ поръ не полученъ.

— Не можетъ быть. Но теперь дѣло не въ этомъ. Намъ нужны деньги, вашему векселю пришелъ срокъ, поэтому извольте платить.

Волковъ уперся; Шухманъ протестовалъ вексель, получилъ исполнительный листъ и приступаетъ ко взысканію долга. Волковъ не виноватъ, онъ дѣйствительно товара не получилъ, а между тѣмъ для солиднаго торговца протестованный вексель—ножъ острый, зарѣзъ.

— Почему-же вы знаете Волкова? спросилъ я.

— Какъ не знать! Нашъ складъ кредитуетъ ему на десятки тысячъ уже нѣсколько лѣтъ подрядъ; человекъ извѣстный и вѣрный. А Шухмана мы тоже узнали, навели самыя тщательныя справки.

Мы подошли къ дверямъ судилища.

— Входите, безъ церемоній, сказалъ судья

— въ галошахъ и пальто: тутъ раздѣваться негдѣ.

Мы вошли въ галошахъ и пальто. Маленькая накуренная комната. Столъ, диванъ, нѣсколько стульевъ. За столомъ г. Знаменскій, помощникъ полицеймейстера, тоже «судья», — невозмутимый, добродушный и измученный «сессіей», дрящущаясь непрерывно вотъ уже нѣсколько недѣль.

— Повѣренный Шухмана здѣсь?

— Здѣсь, отвѣчаетъ красивый молодой человекъ еврейскаго типа, съ оскорбленнымъ выраженіемъ на лицѣ.

— Вы выслали Волкову сто ящичковъ табаку вмѣсто Омска въ Томскъ, какъ вы говорите, по ошибкѣ?

— Да, въ Томскъ, по ошибкѣ.

— Хорошая ошибка! Послали чрезъ контору Плотникова?

— Чрезъ контору Плотникова.

Судьи подають повѣренному Шухмана какую-то телеграмму.

— Читайте.

Тотъ читаетъ молча.

— Читайте громко.

— «Сто ящичковъ табаку, отправленные тогда-то и тогда-то Шухманомъ, получены въ Томскѣ Вейнтробомъ. Плотниковъ», читаетъ дрожащимъ голосомъ повѣренный. — Но это

недоразумѣніе! вдругъ кричитъ онъ отчаяннымъ голосомъ.

— Очень хорошо знаемъ эти недоразумѣнія. Одинъ и тотъ-же товаръ продаете два раза, сначала Волкову, а потомъ Вейнтробу. А осрамить коммерческаго человѣка протестомъ векселя вамъ ничего не стоить. Пожалуйста сюда исполнительный листъ на Волкова.

— Но вѣдь взысканіе безспорное.

— Пожалуйста исполнительный листъ.

— Я взыскиваю по закону.

— Давайте листъ.

— Ваше рѣшеніе принудительной силы не имѣетъ.

— Вѣрно, не имѣетъ... Но хотите, я сейчасъ къ генералу, къ Николаю Михайловичу, пойду? Объ усиленной охранѣ забыли?

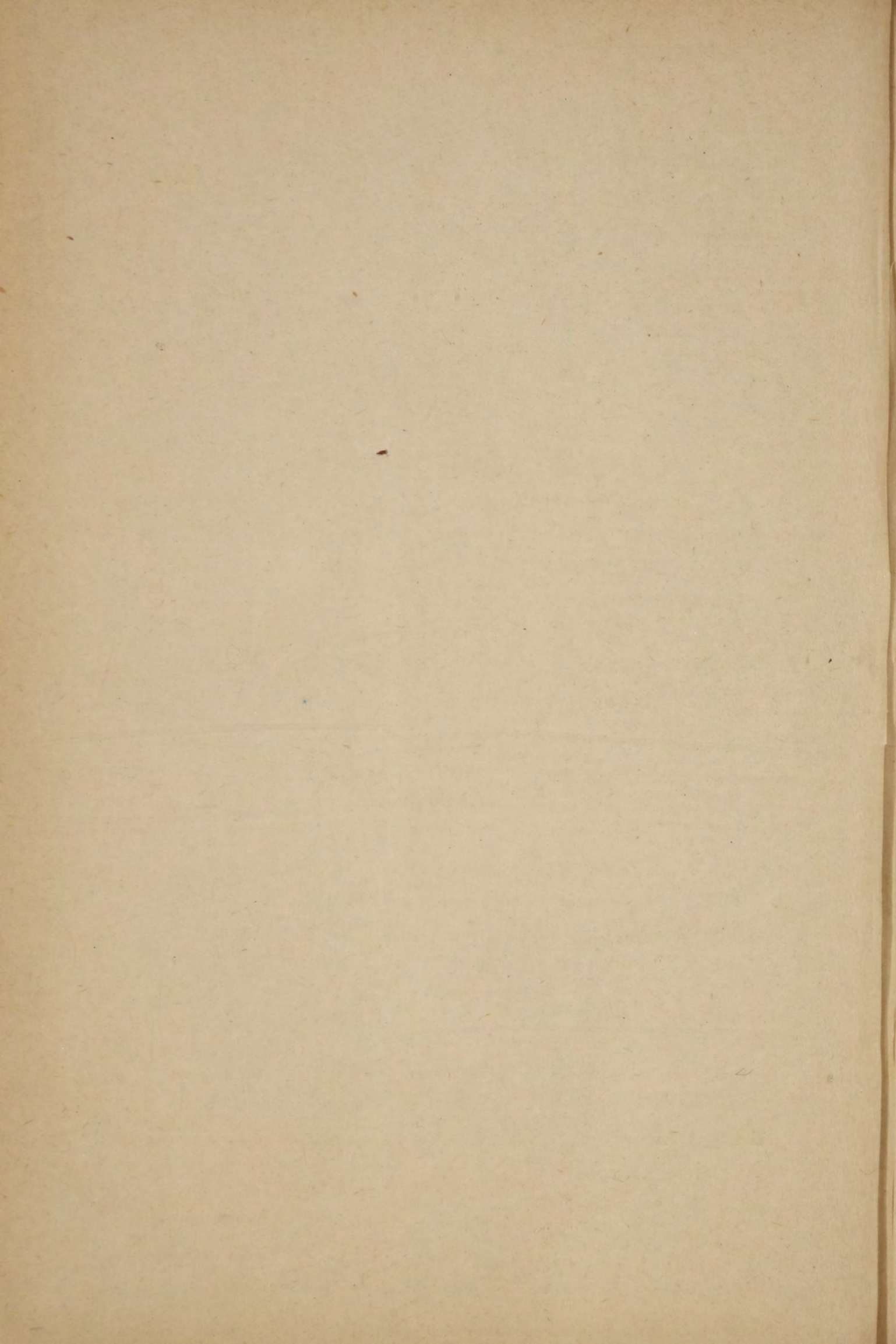
— Вотъ исполнительный листъ.

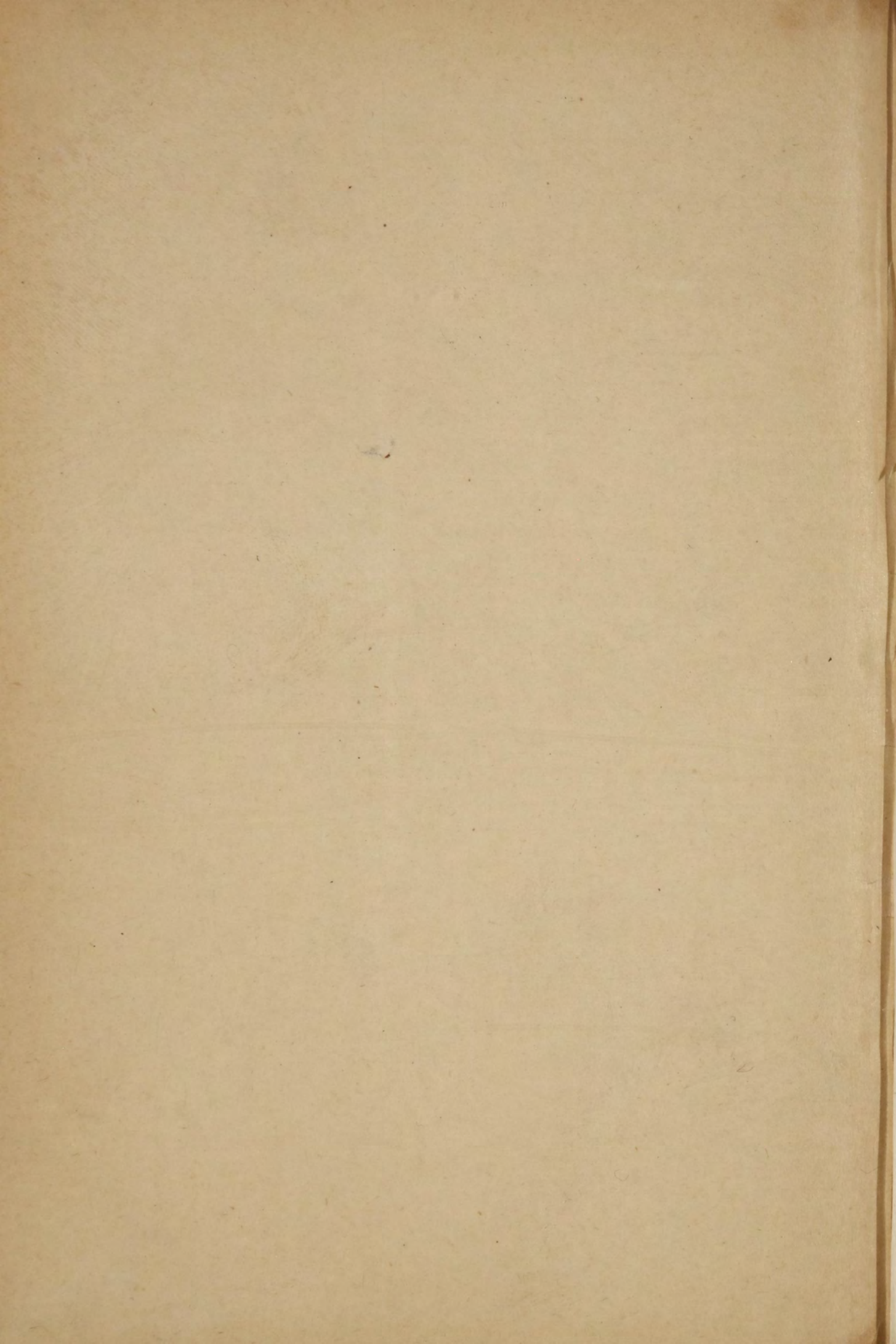
— Отлично. Потомъ, если найдете выгоднымъ, можете судиться съ Волковымъ, а пока мы спасемъ его отъ срама.

Судъ кончился. Многіе его не одобряютъ; но я и о немъ скажу: при существующихъ нравахъ менѣе простой, менѣе «брандмайорскій» судъ не достигаетъ цѣли.

Такое впечатлѣніе производитъ Нижегородская ярмарка, «всероссійское торжище», отражающее какъ въ зеркалѣ всероссійскіе

порядки, нравы и обычаи. Много сквернаго отражается въ этомъ зеркалѣ, и всетаки основное впечатлѣніе отрадное и бодрое. Нѣтъ никакого сомнѣнія, варварство смѣняется культурностью, Азія превращается въ Европу. Нѣтъ никакого сомнѣнія, естественныя силы, матеріальныя и духовныя, громадны и ждуть только болѣе совершенныхъ формъ дѣятельности, чтобы проявить себя во всей мощи. Нѣтъ сомнѣнія, эти формы все полнѣе облачаютъ собою русскую силу. Такъ смотритъ врачъ на язву и искренно восхищается ею: заживленіе идетъ успѣшно, а «субъектъ» такой здоровенный, что его ничѣмъ съ ногъ не свалишь. «Перевести на здоровую порцію», — приказываетъ врачъ. Россія еще на «выздоровливающей» порціи. Приходится съ этимъ мириться.





ФАБРИКА
Н.В.ГАЕВСКОГО
В.О.5 лнн.54
СЛВЛАДИМІРСК.ПР.4

ДѢДЛОВЪ

Вокругъ Россіи

М.Ф.